This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ЦСА 24В1 ПУШКИНТ77

ПУШКИНЪ

ВЪ РУССКОЙ КРИТИКѢ

ЦСА 24В1 Пушкин Т77

С. С. ТРУБАЧЕВЪ

Trubachev, A.S.

ПУШКИНЪ

ВЪ РУССКОЙ КРИТИКѢ

1820—1880

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. С. СУВОРИНА
1889

PG 3356
T74

37224-38
Ц.С.
7065 1951

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 11—2

Пушкинъ принадлежитъ къ вѣчно живущимъ и движущимся явленіямъ, нѣ останавливающимся на той точкѣ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ свое сужденіе и какъ бы ни вѣрно поняла она ихъ, но всегда оставитъ слѣдующей за нею эпохѣ сказать что нибудь новое и болѣе вѣрное, и ни одна, и никогда не выскажетъ всего...

Бѣлинскій, VI, 59.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стран.

Вмѣсто предисловія. 1

Глава I. 11

Романтизмъ на Западѣ и романтизмъ въ русской литературѣ.—Жуковскій и Пушкинъ, какъ представители двухъ направленій европейскаго романтизма.—Беллетристы-романтики 20-хъ годовъ.—Характеристика русской журналистики 20-хъ годовъ. — Критика 20-хъ годовъ. — Литературныя общества, «Арзамасъ» и его вліяніе на Пушкина. — Литературно-критическіе взгляды Пушкина.— Пушкинъ—провозвѣстникъ новой русской критики.

Глава II. 32

Причины враждебнаго отношенія критики къ «Руслану и Людмилѣ». — Отношенія Пушкина къ критикамъ «Руслана». — Библіографическій указатель статей о «Русланѣ». — Статья Бутырскаго Классика въ «Вѣстникѣ Европы». — Отвѣтъ на нее въ «Сынѣ Отечества» и вторичная статья Бутырскаго Классика.—Статьи «Благонамѣреннаго», «Невскаго Зрителя» и снова «Сына Отечества», дѣлающагося ареной для критическихъ поединковъ. — Характеръ полемики 20-хъ годовъ.— Статья г. Осетрова въ «Вѣстникѣ Европы» и замѣтки Неизвѣстнаго въ газетѣ «Рецензентъ».

Глава III 54

Благосклонный пріемъ критикой «Кавказскаго Плѣнника». — Мнѣнія Пушкина и его друзей о новой поэмѣ.— Библіографическій указатель статей о «Кавказскомъ Плѣнникѣ». — Статьи кн. Вяземскаго, Плетнева и М. П. (Погодина?).—Хвалебныя рецензіи «Благонамѣреннаго», «Сына Отечества» и «Русскаго Инвалида». — Сходство основныхъ мыслей критиковъ и разногласіе въ частностяхъ.—Любопытные образчики «филологической» критики.

стран.

Глава IV 66
Единодушныя похвалы критиковъ «Бахчисарайскому Фонтану». — Библіографическій указатель статей. — Критическія статьи и замѣтки «Литературныхъ Листковъ», «Сына Отечества», «Дамскаго Журнала», «Русскаго Инвалида», «Новостей Литературы» и др. журналовъ и газетъ. — Горячая полемика, вызванная предисловіемъ кн. Вяземскаго къ поэмѣ и имѣвшая предметомъ вопросы о классицизмѣ и романтизмѣ въ русской литературѣ. — Опредѣленія романтизма, сдѣланныя М. Дмитріевымъ, кн. Вяземскимъ, Ѳ. Булгаринымъ, Полевымъ, Марлинскимъ, Надеждинымъ, Бѣлинскимъ. — Мнѣнія Пушкина о романтизмѣ. — Полемика кн. Вяземскаго съ М. Дмитріевымъ. — Историко-литературное значеніе этой полемики.

Глава V. 92
Н. А. Полевой и его журналъ «Московскій Телеграфъ». — Мнѣніе о Полевомъ современниковъ и позднѣйшихъ критиковъ. — Характеристика критическихъ воззрѣній Марлинскаго и Полевого. — Значеніе «Московскаго Телеграфа» въ исторіи русской журналистики. — Отношеніе Полевого къ Пушкину до 30-го года, причины позднѣйшихъ враждебныхъ отношеній.

Глава VI 112
Отзывы критиковъ о «Цыганахъ». — Статья кн. Вяземскаго въ въ «Московскомъ Телеграфѣ», рецензіи въ «Сѣв. Пчелѣ» и въ «Сынѣ Отечества». — Статья «Московскаго Вѣстника» и историко-литературное значеніе ея выводовъ о дѣятельности Пушкина до 1825 года. — Три періода въ творчествѣ Пушкина. — Общія заключенія критика «Моск. Вѣстн.» о творчествѣ Пушкина.

Глава VII 126
Отношенія «Вѣстника Европы» къ Пушкину. — Эпиграммы Пушкина на Каченовскаго съ 1820 года. — Эпиграммы на Надеждина и характеристика послѣдняго, сдѣланная поэтомъ. — Причины пренебрежительнаго отзыва Пушкина о Надеждинѣ. — Значеніе Надеждина, какъ критика-журналиста. — Характеристика взглядовъ Надеждина на искусство по статьямъ въ «Вѣстникѣ Европы», по латинской диссертаціи и по статьямъ «Телескопа». — Отзывы Надеждина о талантѣ Пушкина.

Глава VIII. 155
Пріемъ, оказанный публикой и критикой «Графу Нулину». — Библіографическій указатель статей. — Разборъ Надеждина въ «Вѣстникѣ Европы». — Отвѣтъ Пушкина придирчивому моралисту. — Мнѣніе Пушкина о нравственномъ и безнравственномъ въ поэтическомъ произведеніи. — Остроумная пародія поэта на критику Надеждина. — Непониманіе критикой «Полтавы». — Библіографическій указатель статей о «Полтавѣ». — Отзывы «Московскаго Телеграфа», «Сына Отечества», «Атенея», возражавшаго послѣднему въ лицѣ Максимовича. —

стран.

Статья о «Полтавѣ» Надеждина, какъ исключительный образчикъ критической слѣпоты.

Глава IX 176

Значеніе «Евгенія Онѣгина» въ русской литературѣ. — Два лагеря критиковъ «Онѣгина».—Друзья поэта сошлись съ противниками «Онѣгина».—Библіографическій указатель статей объ «Онѣгинѣ».—Статья Полевого о первой главѣ «Онѣгина» и полемика его съ «Сыномъ Отечества» и «Вѣстникомъ Европы».—Рецензіи о второй главѣ «Москов. Телеграфа», «Сѣверной Пчелы» и «Москов. Вѣстника» (замѣтка Веневитинова). — Отзывы о послѣдующихъ главахъ «Дамскаго Журнала», «Москов. Вѣстника», «Москов. Телеграфа», «Атенея», «Сѣверн. Пчелы», «Сына Отечества» и др. журналовъ. — Охлажденіе критики къ послѣднимъ главамъ «Онѣгина».— Нападки «Сѣверн. Пчелы» и отвѣтъ Пушкина. — Статья Надеждина о седьмой главѣ «Онѣгина».

Глава X 206

Значеніе для Пушкина изученія Шекспира. — Мнѣнія Пушкина о Шекспирѣ.— Какъ понималъ Пушкинъ задачу своей «Комедіи о Царѣ Борисѣ»?—Императоръ Николай I—цензоръ «Бориса Годунова». — Библіографическій указатель статей о «Борисѣ Годуновѣ». — Странная участь «Бориса Годунова» при выходѣ въ свѣтъ. — Полевой—запѣвало хора противниковъ «Бориса».—Статья Надеждина въ «Телескопѣ».—Лучшій разборъ драмы. — Разборы Кирѣевскаго, Полевого, Плаксина съ отвѣтомъ Ѳ. Камашева въ «Сынѣ Отечества». — «Борисъ Годуновъ», какъ первая истинно народная трагедія, былъ совершенно не понятъ ни современной, ни послѣдующей критикой.

Глава XI 229

Охлажденіе критики и публики къ Пушкину послѣ выхода въ свѣтъ «Бориса Годунова». — Въ чемъ кроются истинныя причины такого несправедливаго охлажденія. — Мнѣнія по этому поводу нѣкоторыхъ тенденціозныхъ изслѣдователей.— Причины охлажденія критики кроются въ отсутствіи наличныхъ критическихъ силъ, способныхъ подняться до уровня Пушкинскаго творчества послѣдняго періода. — Характеристики Шевырева, издателей «Сѣверной Пчелы» и барона Брамбеуса (Сенковскаго).—Характеристика литературной дѣятельности Бѣлинскаго. — Три періода, характеръ и значеніе каждаго изъ этихъ періодовъ. — Разборъ главныхъ статей каждаго изъ періодовъ.— Общія заключенія о значеніи критико-просвѣтительной дѣятельности Бѣлинскаго для исторіи русской цивилизаціи вообще и для русской литературы въ частности.

Глава XII 264

Критическія статьи современной Пушкину критики объ его стихотвореніяхъ, повѣстяхъ, романахъ, драмахъ, исторіи.—

стран.

Библіографическій указатель этихъ статей. — Статьи «Сѣверной Пчелы», «Телескопа», «Сына Отечества», «Московскаго Телеграфа» и др. журналовъ. — Замѣтное охлажденіе критики къ творчеству Пушкина. — Непониманіе критикой «Повѣстей Бѣлкина».—Гоголь и Фарнгагенъ-фонъ-Энзе о значеніи Пушкина, какъ поэта русскаго, народнаго и мірового.— Статьи о посмертныхъ произведеніяхъ Пушкина, написанныя Раичемъ, Шевыревымъ и др.

Глава XIII 290

Восьмой томъ сочиненій Бѣлинскаго, какъ главное произведеніе третьяго періода его дѣятельности.— Общая характеристика Пушкинскаго творчества.— Противорѣчіе Бѣлинскаго въ общей оцѣнкѣ Пушкина. — Разборъ лирическихъ стихотвореній. — Полемика съ Гоголемъ по вопросу о народности вообще и народности Пушкина въ частности.—Дѣленіе творческой дѣятельности Пушкина на три періода.— Разборъ произведеній, принадлежащихъ къ каждому изъ этихъ періодовъ. — Общее заключеніе Бѣлинскаго о Пушкинѣ и оцѣнка этого заключенія.

Глава XIV. 312

Журналъ «Маякъ», какъ исключительное явленіе въ русской журналистикѣ сороковыхъ годовъ.— Нѣсколько словъ о сходствѣ и различіи направленія «Маяка» съ ученіемъ славянофиловъ.—Характеристика воззрѣній «Маяка» на современную литературу.— Статьи Мартынова въ этомъ журналѣ о Пушкинѣ. — Взглядъ Мартынова на искусство вообще и на поэзію въ частности. — Характеристика и разборъ дѣятельности Пушкина съ точки зрѣнія критика-аскета. — Общія заключенія. — Мартыновъ и позднѣе Писаревъ по разнымъ дорогамъ пришли къ однимъ выводамъ.

Глава XV 325

Послѣ смерти Бѣлинскаго критика приходитъ въ состояніе упадка.—Это произошло отъ образованія двухъ враждебныхъ критическихъ направленій — эстетическаго и публицистическаго.— Представители того и другого направленія.— Особое мѣсто, занимаемое Ап. Григорьевымъ.—Характеристика воззрѣній Чернышевскаго на искусство по диссертаціи: «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». — Характеристика воззрѣній на искусство Писарева и Ап. Григорьева.—Библіографическій указатель статей о Пушкинѣ съ 1855 по 1880 годъ.

Глава XVI. 349

Мнѣніе Ап. Григорьева о характерѣ русской критики по сравненію съ западной.—Непониманіе русской критикой своихъ задачъ по отношенію къ Пушкину. — «Домашняя бесѣда» и «Современникъ» о Пушкинѣ.— Отзывы Добролюбова и статьи Чернышевскаго.— Узкость и близорукость воззрѣній послѣдняго критика на Пушкина. — Катковъ въ «Рус-

стран.

скомъ Вѣстникѣ», какъ наиболѣе доказательный защитникъ Пушкина-художника.

Глава XVII 368

Статьи о Пушкинѣ Писарева и Ап. Григорьева. — Статья Добролюбова о седьмомъ дополнительномъ томѣ сочиненій Пушкина. — «Пушкинъ и Бѣлинскій». — Разборъ этихъ статей Писарева. — Подтасовки, противорѣчія, легкомысленное глумленіе и нелѣпости «мыслящаго реалиста». — Статьи Ап. Григорьева. — Истолкованіе народнаго значенія Пушкина и оригинальный взглядъ на типъ Бѣлкина въ связи съ общимъ міровоззрѣніемъ великаго поэта. — Значеніе Ап. Григорьева, какъ критика Пушкина. Открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ. — Общій характеръ «Пушкинскихъ дней». — Рѣчи въ Москвѣ и Петербургѣ. — Чествованіе Пушкина въ другихъ городахъ. — Рѣчи проф. Стороженко, Ключевскаго, Незеленова, Миллера и академика Я. К. Грота. — Рѣчь Достоевскаго, составившая «событіе». — Причины ея громаднаго впечатлѣнія. — Четыре пункта въ значеніи Пушкина. — Парадоксальность двухъ послѣднихъ пунктовъ. — Отчего Татьяна не пошла за Онѣгинымъ? — Своеобразное пониманіе Достоевскимъ русскаго народнаго идеала. — «Всечеловѣчность». — Общее заключеніе о Пушкинскомъ праздникѣ.

Алфавитный указатель 401

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Изученіе отношеній критики къ выдающимся писателямъ представляетъ глубокій историческій интересъ. По критикѣ той или другой эпохи мы знакомимся съ умственнымъ и эстетическимъ уровнемъ развитія вожаковъ общественнаго мнѣнія; по критикѣ, какъ представительницѣ извѣстнаго умственнаго теченія, мы знакомимся какъ со степенью литературнаго развитія современнаго писателю общества, такъ и вообще съ кругомъ симпатій и антипатій, убѣжденій, вѣрованій и взглядовъ окружающей писателя среды. Видное литературное явленіе особенно въ Россіи, гдѣ долго исключительно искусству принадлежала цивилизаторская прогрессивная роль,—обыкновенно, вызывало на борьбу лучшія силы, заставляя высказывать со всей прямотой и искренностью завѣтныя убѣжденія при оцѣнкѣ виднаго литературнаго дѣятеля.

Изучая критику, мы не только знакомимся съ характерами различныхъ литературныхъ теченій, но и съ характеромъ самаго общества, съ тѣми слоями интеллигенціи, которые образуютъ кругъ читателей извѣстныхъ журнальныхъ органовъ. Конечно, такое знакомство будетъ эпизодическимъ, не охватывая всѣхъ современныхъ интересовъ, ибо самый геніальный писатель не можетъ воплотить въ своей личности всей совокупности наличной дѣйствительности. Но это знакомство, не смотря на свою эпизодичность, будетъ являть

собой тѣмъ большій интересъ, чѣмъ даровитѣе личность писателя. При изученіи же отношеній критики къ такому исключительному явленію какъ Пушкинъ, эта эпизодичность пріобрѣтаетъ и характеръ исключительный по своей историко-литературной важности.

По волѣ судебъ Пушкинъ явился родоначальникомъ самобытной русской литературы, онъ первый геніальный русскій и вмѣстѣ съ тѣмъ міровой писатель. Какъ явленіе геніальное и исключительное, Пушкина не могло обойти молчаніемъ ни одно направленіе русской критической мысли, ибо его вліяніе чувствовалось и признавалось людьми самыхъ противоположныхъ литературныхъ понятій, вызывая самыя разнообразныя сужденія, отражавшія различныя степени литературнаго и общественнаго пониманія.

На произведеніяхъ Пушкина наша критика развилась, окрѣпла и выросла, хотя и нѣсколько уродливо. Въ теченіе двадцати слишкомъ лѣтъ русская критическая мысль развивалась исключительно въ направленіи эстетическомъ, чтобы только въ сороковыхъ годахъ найти почти законченное истолкованіе Пушкина, какъ художника. Эстетическое значеніе произведеній великаго реформатора совсѣмъ почти исчерпано и нынѣ можно мало прибавить чего либо' существеннаго къ раньше сказанному. Но до сихъ поръ остается мало изслѣдованнымъ вопросъ о народности Пушкина и объ его нравственной личности, вопросъ объ его общественномъ подвигѣ и міровомъ значеніи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ исторія литературы требуетъ, на ряду съ выясненіемъ художественныхъ достоинствъ писателя, выполненія другой, чрезвычайно важной задачи—указать живую связь писателя съ современностью, съ окружавшими его людьми, съ органическимъ развитіемъ литературы. Такъ какъ критикъ того или другого времени непремѣнно знаменуетъ собой извѣстный моментъ въ развитіи общественно-литературнаго сознанія, то критическіе отзывы современниковъ и въ этомъ отношеніи являются весьма цѣннымъ матеріаломъ, давая отвѣты на только что помянутыя требованія исторіи литера-

туры. Только такое изученіе можетъ повести къ правильной оцѣнкѣ писателя.

Объективныя историческія начала необходимы для критики, желающей опредѣлить мѣсто и значеніе писателя въ исторіи духовнаго и общественнаго развитія родины. Иначе критика рискуетъ впасть въ партійность, односторонность, въ служеніе задачамъ публицистическимъ, временнымъ и мимолетнымъ,— подчасъ даже въ злонамѣренное подтасовываніе фактовъ, въ умышленное нехотѣніе взглянуть на вопросъ объективно-исторически, показавъ при этомъ генетическую связь исторіи съ современностью.

Если мы обратимся къ современной Пушкину критикѣ, то замѣтимъ крайнюю односторонность ея взглядовъ, соединенную съ полнымъ непониманіемъ общественнаго значенія писателя. Для такого явленія, конечно, легко подыскать оправдательные мотивы. Современники Пушкина переживали тѣ же общественныя явленія, ихъ увлекалъ тотъ же водоворотъ событій, они не могли успѣвать за быстрыми шагами великана, почерпавшаго развитіе изъ нѣдръ своего духа, они могли многому сочувствовать, многое чувствовать въ созданіяхъ новаго пророка, но не могли, за недостаткомъ философскаго и научнаго развитія, подыскать настоящій ключъ къ объясненію загадокъ, которыя загадывалъ имъ таинственный сфинксъ.

Современники, по своему развитію, понимали только тѣ стороны писателя, которыя наиболѣе рѣзко бросались въ глаза. Они могли усвоить только наиболѣе существенныя отличія, и то въ общихъ чертахъ, въ лицѣ лучшихъ представителей критическаго сознанія. При оцѣнкѣ критикъ современниковъ не нужно упускать изъ виду также общаго соціальнаго состоянія общества за извѣстный періодъ времени. Современная Пушкину критика имѣетъ своимъ предметомъ, главнымъ образомъ, эстетическій судъ надъ его твореніями, произведенный съ разнообразнѣйшихъ точекъ зрѣнія,—судъ, развившійся и дорастающій и въ эстетическомъ отношеніи до своего подсудимаго и вмѣстѣ съ тѣмъ художника-учителя. Ослѣпленные художественной красотой благоухающихъ твореній генія,

наиболѣе даровитые критики успѣли за блескомъ формы и внутренняго изящества мыслей, чувствъ и настроеній писателя,—успѣли разсмотрѣть въ его произведеніяхъ идею народности, которую и отмѣтили, какъ существенную черту новаго романтическаго теченія литературы, но, къ сожалѣнію, не могли раскрыть всего плодотворнаго и великаго содержанія этой идеи. Толкуя о наступленіи новой эпохи самобытнаго литературнаго творчества, критики не съумѣли объяснить значенія этой самобытности, растолковать ея историческій смыслъ, разглядѣть новыхъ раздвигавшихся горизонтовъ. Словомъ, цивилизаторское значеніе Пушкина отъ нихъ ускользало такъ же, какъ отъ современниковъ Петра Великаго ускользало все огромное содержаніе его политическихъ реформъ. Мы говоримъ только о лучшихъ представителяхъ критической мысли, о критикѣ, сочувствовавшей поэту, пытавшейся дѣйствительно, по мѣрѣ силъ, истолковывать писателя, о критикѣ, носившей задатки будущаго развитія и являвшей собой прогрессивный ростъ русскаго критическаго сознанія.

Была и другая партія противниковъ великаго поэта, которая по смерти его не усомнилась утверждать, что Пушкинъ былъ только посредственный стихотворецъ, захваленный пріятелями, что онъ отодвинулъ русскую поэзію лѣтъ на сорокъ назадъ, что его произведенія представляютъ идеализацію разврата и уголовныхъ преступленій. Эта партія противниковъ при жизни преслѣдовала поэта злобными выходками, эта же партія сотворила и дикую тризну по великомъ поэтѣ. Пушкинъ мало при жизни обращалъ вниманія на мелкія нападки критики и былъ о ней не высокаго мнѣнія; онъ былъ въ этомъ отношеніи часто правъ, хотя про всю критику и со всѣхъ точекъ зрѣнія сказать этого нельзя. Пушкинъ былъ правъ по отношенію къ тѣмъ представителямъ стариннаго псевдоклассицизма, строгимъ литературнымъ формалистамъ, которые ополчались на поэта за рѣшительное отступленіе отъ преданій школьной піитики, за сочувствіе романтизму, который казался имъ порожденіемъ нечистаго духа въ силу отри-

цанія всякихъ литературныхъ традицій, въ силу нежеланія подчинить свое вдохновеніе правиламъ «науки стихотворства». Эта критика дальше чисто-формальной точки зрѣнія не хотѣла и не могла ничего видѣть, оставаясь въ тѣсномъ кругу отжившихъ теорій и обветшалыхъ понятій; она закоснѣла въ сухомъ школьномъ педантизмѣ и тщетно старалась полемизировать съ молодыми литературными силами, сплотившимися вокругъ Пушкина, защищая псевдоклассическую старину отъ нападокъ представителей новаго направленія, ратовавшихъ за свободу поэтическаго творчества. О такой критикѣ поэтъ совершенно справедливо замѣтилъ, что она «не имѣетъ никакой самостоятельности и почти никакого вліянія на судьбу литературныхъ произведеній». Глубоко былъ правъ также поэтъ по отношенію къ тѣмъ изъ своихъ противниковъ—самозванныхъ цѣнителей, лицемѣрныхъ и бездарныхъ аристарховъ, въ журналахъ которыхъ «критика или ограничивается сухими библіографическими извѣстіями, сатирическими замѣчаніями, болѣе или менѣе остроумными общими дружескими похвалами, или просто превращается въ домашнюю переписку издателя съ сотрудниками, съ корректоромъ» и пр.[1]).

Когда была написана эта замѣтка, остатки отжившихъ теорій были уже совершенно упразднены. Но наша критика въ массѣ все-таки еще оставалась позади литературнаго развитія. У нея все еще не было общихъ руководящихъ началъ, она все еще была бездоказательна и часто приправлена лично непріязненнымъ отношеніемъ къ поэту. То же было въ эпоху расцвѣта и зрѣлости Пушкинскаго генія. Такъ, въ тридцатыхъ годахъ мы читаемъ въ критическихъ замѣткахъ Пушкина, что «критики наши говорятъ обыкновенно: это хорошо потому, что прекрасно; а это дурно потому, что скверно. Отсель ихъ никакъ не выманишь» и что «оскорбленія личныя и клеветы нынѣ, къ несчастію, слишкомъ обыкновенны» (V, 112).

---

[1]) V т. 72 стр., изданіе Литературнаго Фонда, 1887 г. Всѣ дальнѣйшія ссылки сдѣланы по этому же изданію.

Печальное, но правдивое обыкновеніе отмѣчено было поэтомъ, переросшимъ современниковъ. Хотя опять-таки скажемъ, что Полевой, Надеждинъ и Бѣлинскій не заслуживали такого суроваго и сердито-пренебрежительнаго отношенія. Ниже мы постараемся объяснить причину такихъ отношеній Пушкина даже къ виднымъ и талантливымъ представителямъ критической мысли. Мы разберемъ критическія мнѣнія Пушкина въ связи съ его общими взглядами на значеніе писателя и литературы, покажемъ, какъ слагались эти взгляды, подъ какими вліяніями, и отсюда постараемся вывести отношенія Пушкина къ современной критикѣ, какъ представительницѣ общественнаго мнѣнія. Критическія мнѣнія Пушкина мы считаемъ существеннымъ элементомъ нашего изслѣдованія, ибо онъ во многихъ случаяхъ былъ лучшимъ цѣнителемъ своихъ твореній.

Еще въ 1832 году Гоголь смѣло и патетически привѣтствовалъ въ лицѣ Пушкина «чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа». Это мнѣніе только послѣ смерти поэта нашло свое развитіе. Въ 1839 году, въ предисловіи къ переводу замѣчательной статьи о нашемъ поэтѣ нѣмецкаго критика Фарнгагенъ-фонъ-Энзе сказано, что «въ лицѣ Пушкина мы имѣемъ поэта не одной какой нибудь страны, а цѣлаго міра». Самъ же критикъ, идя по слѣдамъ Гоголя, поставилъ Пушкина на ряду съ величайшими представителями европейской поэзіи и не усомнился признать въ немъ «выраженіе всей полноты русской жизни и потому поэта національнаго въ высшемъ смыслѣ этого слова» [1]).

Болѣе чѣмъ черезъ семь лѣтъ по смерти поэта Бѣлинскій, напоминая слова Гоголя о Пушкинѣ, какъ нашемъ національномъ выразителѣ въ искусствѣ, въ длинномъ рядѣ статей подвергъ подробному анализу всю поэтическую дѣятельность Пушкина и пришелъ къ заключеніямъ, долго державшимся въ нашей литературѣ, какъ послѣднее слово критики о поэтѣ, хотя не чуждымъ односторонности и недомолвокъ, про-

[1]) «Отеч. Зап.», 1839 г., III, 1—36.

маховъ и противорѣчій, но въ основѣ все-таки и до сихъ поръ вѣрнымъ. Можно, конечно, оправдывать Бѣлинскаго историческими обстоятельствами, что̀ отчасти и вѣрно. Но съ другой стороны несомнѣненъ тотъ фактъ, что Бѣлинскій во время писанія своихъ статей о Пушкинѣ смотрѣлъ на поэта съ исторической точки зрѣнія, признавая его уже устарѣвшимъ, не касаясь нравственнаго значенія Пушкина, не касаясь вопроса о томъ, какія новыя понятія и стремленія вносились имъ въ общественное сознаніе, въ русскую жизнь.

Бѣлинскій, какъ извѣстно, въ конечныхъ своихъ выводахъ высказалъ мнѣніе, что Пушкинъ великъ только какъ первый русскій писатель-художникъ и что въ этомъ именно и заключается его вѣчная заслуга. Эта неполнота не могла не отозваться неблагопріятно для поэта.

Въ дальнѣйшихъ сужденіяхъ о немъ совершенно стушевывается нравственное и общественное значеніе Пушкина; цѣлый рядъ статей послѣ Бѣлинскаго представляетъ лишь распространеніе мыслей знаменитаго критика въ направленіи эстетическомъ. Произведенія Пушкина въ этихъ статьяхъ русской критики 50-хъ и начала 60-хъ годовъ разсматривались совершенно отвлеченно, внѣ всякихъ условій времени и мѣста, какъ произведенія вѣчныя и общечеловѣческія, словомъ—съ точки зрѣнія чисто художественной, а не исторической. Даже появившееся черезъ 18 лѣтъ по смерти Пушкина первое достойное его имени изданіе сочиненій, сдѣланное Анненковымъ, встрѣченное съ восторгомъ и признательностью, вызвало сужденія исключительно о великомъ эстетическомъ значеніи его произведеній. Подобное явленіе въ критикѣ по смерти Бѣлинскаго знаменуетъ признаки несомнѣннаго регресса критической мысли.

Въ 60-хъ годахъ мы встрѣчаемъ весьма даровитую попытку объясненія высокопоучительнаго, нравственно-общественнаго элемента поэзіи Пушкина. Идя вообще по слѣдамъ Бѣлинскаго, но развивая и во многомъ существенно дополняя его взгляды, Ап. Григорьевъ ратовалъ противъ исключительнаго поклоненія Пушкину, какъ жрецу чистаго искус-

ства,—поклоненія, унижающаго поэта и низводящаго его до степени «кимвала бряцающаго и мѣди звенящей, громкаго и равнодушнаго эхо, сладко поющей птицы». Къ сожалѣнію, Ап. Григорьеву удалось написать только какъ бы введеніе къ своему разбору, оригинальному по новизнѣ взгляда, мѣткому по проницательности, важному по серьезности отношеній къ предмету. Свое мнѣніе онъ не развилъ со всею полнотою и систематическою опредѣленностью, обозначивъ его только въ общихъ чертахъ—и эта эскизность новой талантливой работы была причиной того, что новый взглядъ не упрочился въ литературномъ сознаніи общества. Ап. Григорьевъ хотѣлъ доказать, что «Пушкинъ — наше все», что онъ единственный, полный очеркъ нашей народной личности, контурами набросанный образъ нашей сущности и все современное литературное движеніе есть только «наполненіе красками рафаэлевски правдивыхъ и изящныхъ очерковъ» [1]).

Появленіе такого взгляда сдѣлалось органической необходимостью, какъ справедливаго протеста противъ тѣхъ близорукихъ сужденій, въ силу которыхъ Пушкина считали уже отжившимъ свое время, архивнымъ поэтомъ, съ исключительно-художественнымъ отвлеченнымъ міросозерцаніемъ, и поэтому совершенно непригоднымъ для жизни новыхъ поколѣній. Поэзія его была признана безсодержательной, ея народность и общественное значеніе безусловно отрицались. Увлеченная публицистическими задачами, критика впадала въ крайности утилитаризма, упрекала Пушкина за высокомѣрное отношеніе къ злобѣ дня, за аристократическое презрѣніе къ «черни»; въ лицѣ Пушкина сыпались разрушительные удары на всю эпоху нашей общественной жизни, въ продолженіе которой онъ является вожакомъ общественной мысли и какъ бы символомъ цѣлой полосы нашего развитія. На Пушкина воздвигается безпощадное гоненіе, цѣлый походъ передовыхъ журналовъ; лучшія созданія его музы

[1]) Т. I, стр. 238 и слѣд.

подвергаются жестокому глумленію, его имя вызываетъ враждебныя чувства, передовой критикой отрицается вся область искусства, представителемъ которой онъ былъ,—отрицается вмѣстѣ съ общимъ разрушеніемъ эстетики и приравниваніемъ значенія искусства къ нулю. Сѣмена этого отрицательнаго движенія къ Пушкину и къ искусству вообще были брошены въ 1855 году авторомъ диссертаціи «Объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности»—этого какъ бы корана для правовѣрныхъ передовыхъ отрицателей-публицистовъ, принявшихъ на себя роль критиковъ.

Конечно, такія отношенія не могли надолго оставаться въ литературѣ. Они должны были смѣниться историческимъ изученіемъ, которое начинало уже вступать въ свои права, указывая на необходимость пересмотра и провѣрки прежнихъ сужденій. Историко-литературныя изслѣдованія оправдывали односторонній взглядъ на поэта въ прежніе годы—неподготовленностью почвы для изученія Пушкина, говоря, что критика поэтому и не имѣла возможности заглянуть поглубже въ его душу, изучить его во всей полнотѣ и цѣлости его идей и произведеній. Если эта задача не разрѣшена, то она находится на пути къ разрѣшенію, ибо въ обществѣ уже назрѣлъ вопросъ объ историческомъ изученіи твореній великаго народнаго поэта, одного изъ главныхъ представителей нашей національной мысли.

Открытіе памятника поэту въ Москвѣ было торжественнымъ всенароднымъ признаніемъ его заслугъ, возведеніемъ его на ту высоту, на которой онъ долженъ стоять, какъ наша національная гордость и какъ поэтъ всемірный. Дни празднованія торжественнаго открытія памятника были днями святого восторга, вдохновеннаго трепета, охватившаго русскую интеллигенцію передъ чистымъ образомъ своего генія, которому впервые удалось проложить самобытные пути къ свободному развитію нашей общественной мысли. Здѣсь сошлись лучшіе современные представители мысли и слова, понимая, что настоящее торжество должно явиться радостнымъ бла-

говѣстомъ нашего мужающаго самосознанія, что въ лицѣ Пушкина чествуется русская народность и просвѣщеніе, чаемое примиреніе прошлаго съ настоящимъ. Здѣсь не было партійной розни, здѣсь раздавалось только утѣшительное слово мира и братской любви, въ разнообразныхъ привѣтствіяхъ сильно чувствовалась сердечная, братская теплота общественной манифестаціи въ честь величайшаго изъ художниковъ родного слова, въ честь благороднаго общественнаго дѣятеля, который въ свой «жестокій вѣкъ» явился вдохновеннымъ выразителемъ стремленій русскаго общества къ просвѣщенію и свободѣ.

ГЛАВА I.

Романтизмъ на Западѣ и романтизмъ въ русской литературѣ. — Жуковскій и Пушкинъ, какъ представители двухъ направленій европейскаго романтизма. — Беллетристы-романтики 20-хъ годовъ. — Характеристика русской журналистики 20-хъ годовъ. — Критика 20-хъ годовъ. — Литературныя общества, «Арзамасъ» и его вліяніе на Пушкина.—Литературно-критическіе взгляды Пушкина. — Пушкинъ—провозвѣстникъ новой русской критики.

Романтизмъ и народность—вотъ двѣ великія идеи, которыя проходятъ красною нитью черезъ дѣятельность лучшихъ представителей русскаго критическаго сознанія двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Идея народности порождена романтизмомъ, она—дѣтище этого могучаго и плодотворнаго политико-литературнаго явленія, охватившаго въ началѣ XIX столѣтія Западную Европу. Начиная съ Петра, русская наука и литература шли шагъ за шагомъ по слѣдамъ европейскаго движенія. Русская образованность постепенно воспринимала множество различныхъ вліяній, исходившихъ отъ современнаго европейскаго движенія. Въ прошломъ вѣкѣ съ Запада явились въ Россію вольфіанская философія и масонство, французская философія и вольнодумство, реакція мечтательности и сантиментальности.

Французскій псевдоклассицизмъ, преобладавшій въ XVIII столѣтіи на Западѣ, былъ отличительнымъ характеристическимъ признакомъ литературы прошлаго вѣка и у насъ. Въ XIX столѣтіи открываются романтическія вліянія Запада на Россію въ различныхъ видахъ—отъ чистаго мистицизма

до скептической разочарованности. Въ связи съ романтизмомъ у насъ, какъ и въ Европѣ, начинается съ одной стороны либеральное движеніе, съ другой — правительственная реакція; въ связи съ романтизмомъ развивается изученіе народной старины и поэзіи, археологія и ученіе о народности, Шеллингова философія и гегельянство въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, позднѣе фурьеризмъ и сенъ-симонизмъ. Романтизмъ имѣлъ на нашу литературу еще большее вліяніе, чѣмъ псевдоклассицизмъ, если не въ количественномъ, то въ качественномъ отношеніи. Обществу прискучили торжественныя и трескучія оды, трагедіи, комедіи съ тремя единствами—эти рабскія и безжизненныя копіи съ французскихъ пьесъ; старая литература совершенно выродилась, превратившись въ скучную безсодержательную рутину, которую не могли поддержать усилія оставшихся талантовъ. Между тѣмъ новое европейское направленіе вносило такое обновленіе въ литературу, давало столько новаго содержанія и столько разнообразныхъ свободныхъ формъ, что все талантливое, молодое среди писателей дружно примкнуло къ этому движенію, увлекая за собой молодыя поколѣнія читателей, набившихъ оскомину на заматорѣломъ классицизмѣ.

Европейскій романтизмъ былъ явленіе очень сложное, вызванное въ разныхъ литературахъ различными потребностями и сложившееся въ различныя формы. Начало его кроется въ политическомъ, умственномъ и религіозномъ броженіи, которое наполняло собою вторую половину XVIII столѣтія и которое разрѣшилось французскимъ переворотомъ съ его отраженіями въ Европѣ и съ послѣдовавшей реакціею. Когда улеглась буря революціи и реставрація воскресила, повидимому, старый міръ учрежденій и понятій, — усталыя общества, не думая о новыхъ переворотахъ, не могли забыть ни разъ поставленныхъ вопросовъ, ни потерять разъ пріобрѣтенное. Въ романтизмѣ были стремленія къ созданію лучшихъ идеаловъ нравственныхъ и общественныхъ рядомъ съ попытками оправдать реакціонный застой, ибо у общества была отнята возможность работать для непосредственныхъ задачъ

дѣйствительной жизни, а умственная жизнь остановиться не могла.

Потребность найти единство жизни и идеала выразилась въ обращеніи къ идеализированной старинѣ, а отсюда въ превознесеніи средневѣковыхъ принциповъ въ обществѣ и государствѣ; реакція противъ сухой разсудочности произвела сильную наклонность къ мистикѣ, къ піэтизму, къ вѣрѣ во всякія сверхъестественности и чудеса, къ мистическимъ витаніямъ въ мірѣ духовъ и привидѣній, къ необузданнымъ увлеченіямъ фантазіи, къ преувеличеннымъ понятіямъ о свободѣ поэтическаго генія.

Это одна сторона европейскаго романтизма, вліянію котораго наша литература подпала съ появленіемъ Жуковскаго. Конечно, Жуковскій не могъ исчерпать всего содержанія этой стороны по преимуществу нѣмецкаго романтизма, поэтическимъ теоретикомъ котораго считаютъ Шлегеля. Онъ заимствовалъ эклектически и хорошее и дурное, отвѣчавшее, съ одной стороны, личному его характеру, а съ другой—общему умственному уровню нашей литературы и общества. Жуковскій, вводя романтизмъ, былъ чуждъ какой нибудь сознательно поставленной цѣли: онъ просто хотѣлъ продолжать дѣло Карамзина, руководясь нравственно-идеалистическими началами. «Поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ» и «родитель на Руси нѣмецкаго романтизма» [1]) при всемъ мечтательно-мистическомъ характерѣ своей мрачной поэзіи, преисполненной меланхоліи, духовъ, видѣній и мертвецовъ, Жуковскій подкопалъ авторитетъ старой школы безвозвратно. Онъ расширилъ формальныя понятія о поэзіи, внесъ въ содержаніе малоизвѣстный дотолѣ міръ внутреннихъ ощущеній, мягкой человѣчности, задушевнаго чувства, возвышавшаго нравственныя требованія и идеалы.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ уже современники сознавали слабыя стороны его поэзіи [2]), сказавшіяся въ разладѣ романтизма съ

[1]) Соч. Жуковск. изд. 6-е, VI, 742.

[2]) Полевой. Очерки русск. литературы. I, стр. 112, 114.

дѣйствительной жизнью; за его отвлеченной меланхоліей чувствовалось равнодушное, если не враждебное, отношеніе къ непосредственнымъ жизненнымъ интересамъ и борьбѣ общества,— отношеніе, которое рѣзко отличаетъ извѣстныя стороны европейскаго романтизма. Отвлеченная мораль и проповѣдь добродѣтели совершенно не примѣнялись къ реальнымъ фактамъ; Жуковскій и люди его кружка не могли перейти къ практическому пониманію отвлеченныхъ идей, не могли уразумѣть, что̀ противорѣчило имъ въ дѣйствительности. Жуковскій не понималъ и не любилъ той поэзіи, которая выходила за предѣлы его спеціальности, которая смѣло обращалась къ реальной жизни, вмѣшивалась въ борьбу идей и съ испытующимъ скептицизмомъ говорила о человѣческихъ идеалахъ и самообольщеніяхъ.

По понятіямъ двадцатыхъ годовъ Жуковскій и Пушкинъ являлись главнѣйшими представителями романтизма. Двадцатые и тридцатые года признавали Пушкина великимъ національнымъ поэтомъ, между прочимъ, потому, что въ романтизмѣ предполагалась народность. Самъ Пушкинъ думалъ, что онъ представляетъ эту школу: при появленіи въ свѣтъ Бориса Годунова, съ котораго можно считать начало самобытной эпохи въ русской литературѣ, онъ боялся, что публика не оцѣнитъ «истиннаго романтизма» этой драмы. Въ эпоху полной поэтической самостоятельности Пушкинъ и его друзья были увѣрены, что въ произведеніяхъ его видятъ торжество романтической школы. Несомнѣненъ, между тѣмъ, тотъ фактъ, что только первыя произведенія Пушкина носили романтическій характеръ. Пушкинъ явился тоже представителемъ романтизма на первыхъ порахъ своей дѣятельности, но только въ другой области, чѣмъ Жуковскій.

Пушкинъ явился выразителемъ другой стороны европейскаго романтизма, не имѣвшей стремленій ни въ средніе вѣка, ни пристрастія къ легендѣ, ни симпатій къ патріархальному феодализму. Эта другая сторона—поэзія Байрона. Европейская литература не видѣла еще подобнаго соединенія роскошной поэзіи, мрачнаго озлобленія и язвительной сатиры. Это

было явленіе неслыханное, понявшіе его начали исповѣдывать радикализмъ. Байроновскій скептицизмъ отвергалъ тѣ узкія рамки, въ которыхъ насильственно была заключена европейская жизнь. Противники, приходившіе въ ужасъ отъ безпощаднаго порицанія, называли поэзію его «адской» и «сатанинской». Эти стороны тогдашняго романтизма, тѣсно связанныя съ политическимъ броженіемъ того времени, отразились въ первой эпохѣ дѣятельности Пушкина такъ же, какъ отразилось европейское политическое броженіе въ нашей общественной жизни. Разочарованность, недовольство условіями жизни, романтическое, несовсѣмъ ясное исканіе свободы, которыя Пушкинъ влагаетъ въ своихъ героевъ, несомнѣнно складывались подъ вліяніемъ байроновской поэзіи. Простодушные почитатели Пушкина видѣли въ немъ «нашего Байрона», они увлекались уже болѣе зрѣлымъ романтизмомъ, чѣмъ романтизмъ Жуковскаго, выродившійся въ піэтизмъ,—зрѣлымъ въ отношеніи содержанія, въ которомъ чувствовалась весьма сильно живая дѣйствительность, начиналась рефлексія.

Громадный талантъ и умъ спасали Пушкина отъ романтическихъ крайностей; изъ этой борьбы онъ вышелъ побѣдителемъ, самобытнымъ творцомъ, какъ выходилъ не разъ побѣдителемъ изъ борьбы съ другими европейскими типами. Въ юности Пушкинъ долго носилъ въ себѣ мутно-чувственную струю ложнаго классицизма, которая впослѣдствіи очистилась у него до наивнаго пластицизма древности; позднѣе, увлеченный романтическимъ теченіемъ, онъ, благодаря чувству мѣры и гармоніи, природнымъ началамъ правды и дивной простоты, миновалъ какъ безформенности романтизма, такъ и его дикаго неистовства. Пушкинъ сталъ властелиномъ того, что погубило много другихъ болѣе слабыхъ талантовъ.

Только великая и цѣльная натура Пушкина, рѣшительно не поддававшаяся туманному вѣянію, какъ слишкомъ ясная и живая,—подвергаясь вліянію стихійно-тревожнаго, боролась съ нимъ, увѣковѣчивая борьбу высокими созданіями, пытаясь уходить отъ стихійно-тревожнаго въ разсудочныя и просто-

душныя воззрѣнія Ивана Петровича Бѣлкина,—и опять будила въ себѣ страстные элементы, но будила ихъ уже овладѣвая ими, возводя ихъ въ мѣру и гармонію. «Пушкинъ года за три до своей смерти,—говоритъ Ап. Григорьевъ, доходилъ уже дѣйствительно до какого-то олимпійскаго спокойствія и величія въ творчествѣ, являлся властелиномъ и могучимъ заклинателемъ стихій самыхъ разнородныхъ» [1]).

Любимыми темами посредственныхъ талантовъ было возвеличеніе личнаго чувства, изображеніе высшихъ, исключительныхъ натуръ и широкихъ ощущеній, преувеличенное представленіе о поэзіи. Романтическій поэтъ считалъ себя натурой привилегированной, относился свысока къ дѣйствительности, негодовалъ на цѣлый вѣкъ, мѣшавшій ему практической суетой, своимъ холоднымъ разсудкомъ и сухой наукой; поэзія наполнялась условной ложью, романтической риторикой, личными изліяніями, романтической меланхоліей, или разгуломъ, разочарованностью, изображеніемъ титаническихъ страстей и неизвѣданныхъ тайнъ души. Видными представителями этого искаженія романтизма до уродливыхъ крайностей были: Марлинскій, этотъ необузданный романтикъ, потерявшій всякое чувство дѣйствительности, талантъ «обезсиленный вѣчнымъ принужденіемъ, избившійся и растрясшійся о пни и колоды выисканнаго остроумія» [2]),—Полевой со своей идеально-приторной до пошлости, натянутой до неестественности «Аббаддонной»,—Кукольникъ съ его хвастливо-патріотическими драмами.

То же направленіе породило безконечную фалангу историко-романтическихъ романистовъ съ главными представителями въ лицѣ Загоскина и Лажечникова. Этотъ романъ задавался не столько желаніемъ понять и изобразить эпоху, сколько желаніемъ набрать побольше романтической эффектности и особенно представить русскія доблести; въ немъ не-

---

[1]) Т. I, стр. 238.
[2]) Бѣлинскій, т. I, стр. 105, изд. 1872 г.

чего искать историческаго колорита, который расплывался въ сантиментальномъ прикрашиваніи стараго и новаго,—нечего искать оригинальности: всѣ эти романы писались по извѣстному шаблону, какъ старинныя комедіи. Въ этихъ романахъ являлись лица добродѣтельныя и порочныя, добродѣтель страдала, но въ концѣ концовъ награждалась, а порокъ наказывался. Эта историческая литература не знала еще общественной сатиры Гоголя, но она не воспользовалась и Грибоѣдовымъ; эта литература образовала консервативно-романтическую школу, характерическими чертами которой были романтическая напыщенность, внѣшній блескъ и отсутствіе содержанія.

Въ борьбѣ двухъ литературныхъ теченій 20-хъ годовъ—классическаго и романтическаго, вырабатывались начала болѣе или менѣе здравой критики, на ряду съ пониманіемъ лучшихъ современныхъ писателей. Журналистика 20-хъ годовъ была чрезвычайно полезнымъ факторомъ въ дѣлѣ умственнаго развитія современнаго общества. Въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей она стремилась къ увеличенію круга полезныхъ знаній въ обществѣ, къ распространенію знакомства съ западно-европейскимъ образованіемъ, съ лучшими представителями науки и искусства, — она стремилась къ возбужденію любви къ національному, къ искорененію или ослабленію въ обществѣ печальныхъ явленій невѣжества и необузданности стремленій, къ распространенію правильныхъ взглядовъ на жизнь семейную и общественную. Она обличала, хотя и не прямымъ и сдержаннымъ образомъ, произволъ помѣщичьей власти и разныя печальныя явленія въ служебномъ мірѣ. Она была скромной учительницей добра и разума. Она, въ лицѣ болѣе просвѣщенныхъ своихъ представителей, никогда не закрывала своихъ страницъ для выраженія лучшихъ стремленій своего времени. Въ ряду ея дѣятелей встрѣчались люди съ крупнымъ талантомъ, съ богатымъ запасомъ знаній и съ несомнѣнно честными и благородными стремленіями. Они расширили путь для дальнѣйшихъ дѣятелей, они дали первые образцы сносныхъ журналовъ.

Журналистика 20-хъ годовъ сдѣлала то, что было можно сдѣлать при ея скудныхъ средствахъ. Общество въ большинствѣ своихъ членовъ своимъ равнодушіемъ охлаждало благородные порывы ея лучшихъ представителей, желая видѣть въ журналистикѣ только средства для убиванія лишняго времени. Журналистика не располагала достаточными матеріальными средствами, чтобы твердо встать на ноги. Поэтому многіе изъ журналовъ еще на зарѣ своихъ дней сходили въ могилу. Отдѣломъ, болѣе или менѣе соприкасавшимся съ жизнью, былъ отдѣлъ беллетристики, въ которой часто являлись произведенія, характеризовавшія ту или другую сторону обыденной общественной жизни. Въ научномъ и критическомъ отдѣлахъ лучшими статьями были статьи историческія и историко-литературныя, содержаніе которыхъ часто отличалось заимствованнымъ характеромъ. Общій недостатокъ всѣхъ журналовъ — бѣдность статей, касающихся явленій экономической и политической жизни; большая часть послѣднихъ мало касалась сущности дѣла или смотрѣла всегда съ предвзятой точки зрѣнія, какъ бы повинуясь звуку одного камертона.

Выдающейся газетой 20-хъ годовъ была «Сѣверная Пчела», основанная въ 1826 году и игравшая въ теченіе 25 лѣтъ видную роль въ журналистикѣ. Въ тридцатыхъ годахъ она была въ зенитѣ своей славы, составляя съ родственнымъ ей «Сыномъ Отечества» и «Библіотекою для Чтенія» Сенковскаго знаменитый журнальный тріумвиратъ. Это объяснялось слабостью и бѣдностью остальной журналистики, въ рядахъ которой стояли такіе газетные органы, какъ чисто-казенныя «С.-Петербургскія Вѣдомости», или «Русскій Инвалидъ» съ своими «Литературными прибавленіями», которыя Бѣлинскій весьма остроумно называлъ «Инвалидными Повтореніями Литературы» [1]) и которыя читались очень мало, или, наконецъ, тоже чисто-казенныя «Московскія Вѣдомости». «Сѣверная

[1]) Т. II, стр 64.

Пчела» была единственной ежедневной газетой, доходившей до гостинныхъ — съ ней справлялись на высотѣ салоннаго величія, когда заходила рѣчь о русской литературѣ. Эта газета оставила по себѣ весьма темную славу. Главными и отличительными чертами ея были всегда пристрастіе, самохвальство и часто крайнее невѣжество относительно разбираемыхъ литературныхъ произведеній. Она долгое время была пріютомъ кумовства и сплетничества. Издатели газеты (Гречъ и Булгаринъ) нисколько не стѣснялись публики, разсыпались въ похвалахъ другъ другу, а одинъ изъ нихъ даже настолько имѣлъ безцеремонности, что писалъ панегирики самому себѣ. «Сѣверная Пчела» помѣщала статьи по политическимъ вопросамъ и усердно проповѣдывала, что Россія и Европа, особенно Европа конституціонная, представляли рѣзкую противоположность — порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволія съ другой, что Россіи нечего было завидовать Западу, потому что мнимая цивилизація приводитъ Западъ только къ безбожію и революціямъ, что намъ, поэтому, слѣдуетъ всячески отъ него оберегаться, чтобы къ намъ не проникла его зараза. Темная репутація «Сѣверной Пчелы», дѣлавшая ее предметомъ презрѣнія въ кругу образованнаго меньшинства, не мѣшала ей представлять собой цѣлый огромный слой русскаго общества изъ средняго грамотнаго класса,— чиновничества, дворянства, купечества, военнаго сословія, даже высшаго,— огромный слой непритязательныхъ читателей, удовлетворявшихся понятіями этой «ежедневной афиши», по выраженію Гоголя.

Видными журналами 20-хъ годовъ были: «Сынъ Отечества» и «Сѣверный Архивъ», въ 1829 году соединившійся съ «Сыномъ Отечества», наконецъ, «Московскій Телеграфъ» и «Московскій Вѣстникъ». Во второмъ ряду стояли менѣе значительные и потому менѣе долговѣчные журналы, какъ-то: «Невскій Зритель», «Новости Литературы», «Благонамѣренный», «Славянинъ», «С.-П.-Б. Зритель», «Атеней», «Соревнователь Просвѣщенія»,

«Мнемозина»; только одинъ изъ этихъ восьми второстепенныхъ журналовъ — «Атеней» пережилъ 20-е года; всѣ же остальные прекратились на зарѣ дней своихъ. «Вѣстникъ Европы» съ 1815 года до самаго прекращенія этого журнала въ 1830 году непрерывно издавался М. Т. Каченовскимъ (1775—1842), академикомъ и профессоромъ московскаго университета. Это былъ типъ скучнаго, сухого журнала, проповѣдывавшаго устарѣлыя теоріи и ведшаго безуспѣшную борьбу съ романтизмомъ. Онъ былъ идеаломъ скуки, мертвенности и какой-то старческой заплѣсневѣлости. Каченовскій получилъ прозвище «Зоила» главнымъ образомъ за свои критическія статьи объ исторіи Карамзина, а за тѣмъ и за нападки на новое направленіе въ литературѣ. Онъ возстановилъ противъ себя новое Пушкинское поколѣніе (кн. Вяземскій, Пушкинъ, Баратынскій и др.), которое не щадило его въ своихъ эпиграммахъ и журнальныхъ статьяхъ. Причину вражды кн. Вяземскаго [1]) объясняютъ тѣмъ, что «Вѣстникъ Европы» съ тѣхъ поръ, какъ онъ составляемъ г. Каченовскимъ, сдѣлался, какъ бы для оправданія сего выраженія, составомъ оскорбленій, изливаемыхъ щедрою рукой на имена, почтеннѣйшія въ области литературы нашей. Къ числу достоинствъ этого журнала должны быть отнесены замѣчательныя историческія изслѣдованія самого издателя,—одного изъ представителей скептическаго направленія въ русской исторіографіи и тонкаго критика Карамзина. «Вѣстникъ Европы» пользовался въ свое время значительнымъ успѣхомъ—именно благодаря значительному числу хорошихъ статей по части археологіи и исторіи Россіи. «Отечественныя Записки», издаваемыя Свиньинымъ, появившіяся въ 1820 и прекратившіяся въ 1830 году, имѣли средній успѣхъ, также какъ и «Сынъ Отечества» съ «Сѣвернымъ Архивомъ». Во всѣхъ этихъ журналахъ помѣщались матеріалы и изслѣдованія по русской исторіи, историческія и статистическія

[1]) Соч. I, 48: «О двухъ статьяхъ, напечатанныхъ въ «Вѣстникѣ Европы».

статьи, основанныя на источникахъ. «Сынъ Отечества» Греча началъ выходить въ 1812 году. Это былъ журналъ политическій и литературный, съ слабымъ отдѣломъ критики и библіографіи, но украшавшійся стихотвореніями Пушкина, Баратынскаго и критическими статьями Марлинскаго, бойкаго защитника романтизма. «Сынъ Отечества» открыто взялъ на себя обязанность защищать новую школу, представляя тѣмъ не менѣе собою смѣсь стараго съ новымъ и отсутствіе всякихъ началъ, похожихъ на опредѣленное мнѣніе. Въ этомъ отношеніи характерно его мнѣніе о романтизмѣ, который начался будто бы съ Байрона и отличается отъ классицизма тѣмъ, что начинаетъ съ половины или даже съ конца дѣла.

Огромный успѣхъ и огромное значеніе имѣлъ въ свое время «Московскій Телеграфъ» Н. А. Полевого. Первая мысль, которую съ страстной энергіей и талантомъ началъ развивать Полевой, которая постоянно одушевляла его,—была мысль о необходимости умственнаго движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхомъ времени, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь не болѣе какъ общее мѣсто, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общественное сознаніе, сдѣлать ходячею монетою. И это совершилъ Полевой. Его доставало на все — на повѣсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію, на критику и изданіе журнала. Полевой съумѣлъ привлечь талантливыхъ сотрудниковъ: въ его журналѣ принимали участіе кн. Вяземскій, впослѣдствіи и Пушкинъ. Его журналъ съ первой книжки изумилъ всѣхъ среди мертвой, вялой, безцвѣтной журналистики того времени своей живостью, свѣжестью, новостью, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ вѣрностію въ каждой строкѣ однажды принятому и рѣзко выразившемуся направленію [1]).

[1]) Бѣлинскій, XII, 176.

Полевой былъ главнымъ представителемъ романтизма, борьбу за который онъ перенесъ въ 30-е года, полемизируя съ Надеждинымъ. Выше всѣхъ между русскими поэтами онъ ставилъ Державина и Пушкина, у которыхъ поэзія была необходимостью, душою, всѣмъ бытіемъ ихъ. Ко всѣмъ литературнымъ явленіямъ онъ прилагалъ высшую, руководящую идею, высшіе взгляды, основанные на знакомствѣ съ нѣмецкой философіей изъ французскихъ источниковъ. Критика Полевого и затѣмъ Надеждина — это фундаментъ, на которомъ зиждется критика Бѣлинскаго. Въ 30-хъ годахъ Полевой совершенно измѣнилъ свой взглядъ на Пушкина и никакъ не могъ понять достоинствъ «Каменнаго Гостя», появленіе же Гоголя («Ревизоръ» и «Мертвыя Души») привѣтствовалъ бранью. Въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ онъ былъ рѣшительнымъ противникомъ своихъ критическихъ теорій. Журналъ Полевого существовалъ до 1834 г. Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы будемъ имѣть возможность болѣе подробно коснуться этой замѣчательной личности въ нашей литературѣ и обстоятельнѣе оцѣнить его дѣятельность. Теперь же мы ограничиваемся общей сжатой характеристикой журналистики 20-хъ годовъ, пиша какъ бы введеніе къ разбору отношеній критики къ Пушкину въ 20-хъ годахъ.

Сильнымъ противникомъ «Московскаго Телеграфа» относительно нѣкоторыхъ литературныхъ и научныхъ вопросовъ былъ «Московскій Вѣстникъ» Погодина, издававшійся съ 1827 по 1830 годъ. Пушкинъ истощилъ много усилій, поощреній, заботливости и увѣщаній на поддержаніе бодрости въ редакціи и на утвержденіе журнала. Главное значеніе этого журнала заключалось въ статьяхъ самого издателя и его сотрудника Шевырева; встрѣчались въ немъ также имена Снегирева, Востокова, Кеппена, Калайдовича, Строева и др. Часто бывали хорошія статьи историческаго и историко-литературнаго содержанія, былъ развитъ значительно отдѣлъ критики, находившійся въ рукахъ издателя и Шевырева. Замѣчательны повѣсти Погодина, отличавшіяся близостью къ жизни, естественной наблюдательностью, народ-

нымъ началомъ. Журналъ, понимая значеніе Пушкина, принимавшаго дѣятельное участіе въ судьбѣ его, посвятившаго ему много своихъ произведеній, и Жуковскаго — былъ честенъ и благороденъ, въ немъ было много ума, таланта и энергіи. «Московскій Вѣстникъ» старался ознакомить публику съ нѣмецкими теоріями изящнаго помимо толкованій и измѣненій французскихъ критиковъ. Безъ всякой послѣдовательности и строгой системы журналъ переводилъ отрывки изъ Жанъ-Поля, Тика и Шеллинга. Статьи сотрудниковъ только переработывали положенія нѣмецкихъ писателей, облекая ихъ въ ту восторженную и отчасти сантиментальную форму, которая составляла цвѣтъ журнала и тайну его вліянія на молодыхъ людей. Лирическій языкъ вообще короткихъ статей отлично служилъ къ достиженію цѣли журнала: держать въ напряженіи пробуждающееся эстетическое чувство и поддерживать стремленія къ изящному. Эстетическіе взгляды молодыхъ сотрудниковъ сильно повліяли, по словамъ Анненкова, на выработку воззрѣній Пушкина на художника и искусство. Онъ быстро усвоилъ себѣ ихъ теорію творчества: она только развивала и дополняла его собственные взгляды, высказанные ранѣе въ «Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ».

Двадцатые года тѣмъ замѣчательны въ отношеніи русской критики, что она начала заявлять претензіи на философію и высшіе взгляды. Въ сравненіи съ критикой Карамзина и Макарова съ одной стороны, и Мерзлякова—съ другой, она сдѣлала значительный шагъ впередъ. Карамзинъ въ разборѣ сочиненій Богдановича, Макаровъ въ разборѣ сочиненій Дмитріева—явились представителями критики стилистической, которая могла существовать въ ту эпоху, когда на литературныя произведенія смотрѣли исключительно со стороны языка и слога, восхищаясь удачной фразой, удачнымъ стихомъ, ловкимъ звукоподражаніемъ и т. п. Мерзляковъ уже заботился не только объ отдѣльныхъ стихахъ и мѣстахъ, но разсматривалъ завязку и изложеніе цѣлаго сочиненія, говорилъ о духѣ писателя, заключающемся въ общно-

сти его твореній. Онъ критиковалъ съ жаромъ, основательностью и замѣчательнымъ краснорѣчіемъ. Но тѣмъ не менѣе критика Мерзлякова была безплодна, будучи построена на авторитетѣ Батте, Блера, Лагарпа, Эшенбурга. Мерзляковъ отъ души считалъ Хераскова, Сумарокова и Петрова великими поэтами.

Критика двадцатыхъ годовъ въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей заговорила о народности, о требованіяхъ вѣка, о творчествѣ, о романтизмѣ и тому подобныхъ неслыханныхъ дотолѣ новостяхъ. Хотя она темно и сбивчиво повторяла съ чужого голоса эти понятія, но важенъ тотъ фактъ, что она произвела ими живую реакцію псевдо-классическому направленію литературы и псевдо-классической критикѣ. Если въ романтической критикѣ слышалась неопредѣленность и шаткость требованій, то еще болѣе этой шаткости въ общихъ критическихъ воззрѣніяхъ 20-хъ годовъ. Критикѣ 20-го года нельзя, конечно, отказать въ руководящемъ принципѣ, но это начало носило у различныхъ ея представителей чрезвычайно разнообразный характеръ. Одни въ основу клали начало художественное, другіе — нравственное, третьи — національное, четвертые — стилистическое, пятые — начало кумовства и литературной табели о рангахъ и т. д. Одни хвалили романтизмъ, другіе — классицизмъ, однихъ плѣняли старые русскіе писатели, другихъ — новые съ Пушкинымъ во главѣ. Съ критикой неразрывно связана полемика, какъ естественное ея слѣдствіе. Критика и полемика составляютъ душу журнала, и этой души не были лишены и журналы двадцатыхъ годовъ. Въ критикѣ и полемикѣ выражалось по преимуществу направленіе журнала. Нѣтъ нужды замѣчать, что полемика 20-хъ годовъ выражалась главнымъ образомъ въ спорахъ классиковъ съ романтиками. Кромѣ своего главнаго вопроса она касалась весьма разнообразныхъ вопросовъ научныхъ, литературныхъ и художественныхъ. Горячую полемику съ разными журналами велъ Полевой. Ему постоянно приходилось или самому нападать, или защищаться

отъ нападеній своихъ многочисленныхъ враговъ. Особенно искусно съ нимъ полемизировалъ Строевъ.

Въ первую четверть нынѣшняго столѣтія Россія переживала какъ бы эпоху обществъ съ филантропическими, моральными и литературными цѣлями. Существованіе ихъ было не особенно долговѣчно: массонскія общества сошли со сцены въ 1822 г., а литературныя — въ 1825 г., не оставивъ никакихъ слѣдовъ послѣ себя, не выработавъ для цивилизаціи и культуры ни одной черты, на которую бы можно было указать. Русское массонство времени Александра I утратило свой строгій подвижническій и моральный характеръ, отличавшій его во времена Новикова, Шварца, Походяшина. Литературныя общества тоже обнаруживали крайній недостатокъ самодѣятельности. Всякій членъ такого общества не долженъ былъ слишкомъ часто пропускать его засѣданій, терпѣливо выслушивать чтенія прозы и стиховъ, заниматься тайной исторіей отношеній между писателями и быть на готовѣ перевести или накропать какую нибудь статейку. Журналъ «Благонамѣренный», бывшій органомъ «Петербургскаго общества Любителей Словесности, Наукъ и Художествъ», и «Соревнователь Просвѣщенія и Благотворенія», бывшій органомъ «Вольнаго Общества Любителей Словесности»,—своей безсодержательностью превосходно иллюстрируютъ печальное состояніе дѣтской беллетристики и школьной критики, процвѣтавшихъ въ нѣдрахъ этихъ литературныхъ обществъ. Послѣднія вообще не подготовили никакого литературнаго направленія, не утвердили ничего похожаго на выработанное ученіе или доктрину, не воспитали на своихъ началахъ ни одного большого таланта.

Исключеніе представляетъ «Арзамасъ», оказавшій на Пушкина долю литературнаго и политическаго вліянія. Вообще же Пушкину не приходилось искать указаній и помощи у литературныхъ обществъ,—ему самому, наоборотъ, пришлось вести за собой какъ публику, такъ «общества» и писателей, открывая блестящими, быстро смѣняющимися произведеніями новые источники поэзіи, неожиданно новыя соображенія эстетиче-

скаго, моральнаго и частію даже политическаго характера. «Арзамасъ» былъ основанъ не только для противодѣйствія Державинско-Шишковской «Бесѣдѣ Любителей Русскаго Слова» и для поддержанія карамзинскаго переворота въ языкѣ и литературѣ, но и для защиты правъ русскихъ писателей на свободную, независимую дѣятельность. Карамзинъ считался какъ бы невидимой главою «Арзамаса», членомъ котораго былъ Пушкинъ съ лицейской скамьи. Ко времени появленія его въ свѣтъ «Арзамасъ» и «Бесѣда» существовали уже только номинально, не встрѣчаясь болѣе на литературной аренѣ. «Арзамасъ», не-смотря на старанія нѣкоторыхъ вновь вступавшихъ членовъ [1]), упрекавшихъ его въ безцвѣтности, пустотѣ и праздности и указывавшихъ политическія и соціальныя цѣли для дѣятельности, остался на почвѣ критики, изученія русскаго слова и литературы. «Арзамасъ» не имѣлъ собственно никакой, ни эстетической, ни политической теоріи, чѣмъ и отличался отъ своего соперника «Бесѣды Любителей». Цѣннымъ въ «Арзамасѣ» было отстаиваніе правъ каждаго даровитаго человѣка открывать, опираясь на примѣръ Карамзина, новыя дороги въ жизни и въ литературѣ. «Арзамасъ» ненавидѣлъ пустую трескучую фразу въ ея либеральномъ и консервативномъ видахъ. Онъ сопротивлялся намѣренію водворить общеобязательныя правила для умственной и общественной дѣятельности своего времени, подозрѣвая въ этомъ стремленіе журнальныхъ монополистовъ захватить право безаппеляціоннаго суда надъ мнѣніями и начинаніями эпохи. Онъ разоблачалъ старыя фальшивыя репутаціи, противопоставляя имъ новые таланты и принимая ихъ подъ свое покровительство.

Въ лицѣ Жуковскаго «Арзамасъ» привѣтствовалъ романтизмъ въ нашей литературѣ, а когда было воздвигнуто гоненіе на идею романтизма, «Арзамасъ» выслалъ горячаго защитника новаго направленія, князя Вяземскаго, и поддерживалъ его своимъ согласіемъ. Орудіемъ борьбы служили

[1]) М. Ѳ. Орлова, Н. М. Муравьева, Н. И. Тургенева.

острота, насмѣшка, ироническое восхваленіе, что очень пришлось по вкусу Пушкину, который мстилъ охотно безсильнымъ и отсталымъ претензіямъ эпиграммой, соображаясь съ одними нравственными и образовательными цѣлями. «Арзамасъ», существовавшій менѣе трехъ лѣтъ, наложилъ на всѣхъ членовъ его печать нѣкоторой либеральной окраски, одинаковаго пониманія европейскихъ идей и нуждъ русскаго общества. «Арзамасъ» соединялъ съ живыми инстинктами свободы — стремленія къ образованію и крѣпкія надежды на общечеловѣческую науку; онъ отличался непоколебимой вѣрой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства—монархизма и православія—съ свободой лицъ, сословій и учрежденій. Пушкинъ остался вѣренъ «Арзамасу» всю жизнь. Если атмосфера тайныхъ обществъ сообщила впослѣдствіи слову Пушкина прямоту, смѣлость и откровенность, съ какими онъ отвѣчалъ на всякій вопросъ, откуда бы онъ ни исходилъ, — то «Арзамасъ» научилъ его свободно подчиняться условіямъ русскаго быта, желать имъ наиболѣе разумнаго содержанія, искать для этихъ условій философской поддержки, теоретическаго оправданія.

Застой нашей литературы въ началѣ двадцатыхъ годовъ нарушается двумя замѣчательными явленіями,—«Русланомъ и Людмилой» и «Полярной Звѣздой» Рылѣева и Бестужева[1]). «Полярная Звѣзда» привела въ движеніе всѣ умы, пробужденные уже дѣятельностью Пушкина. Это былъ органъ, имѣвшій задатки блестящей будущности, но разсѣянный политической бурей 1825 года. Не пропалъ только толчокъ, данный литературѣ этимъ плодотворнымъ изданіемъ. Вслѣдъ за нимъ появляются: «Мнемозина», «Сѣверный Архивъ» Булгарина и «Московскій Телеграфъ» Полевого. Самъ Пушкинъ, поддержанный въ роли представителя новыхъ творческихъ началъ и романтизма на Руси восторженными похвалами Рылѣева и Бестужева, крѣпнетъ и дѣйствительно становится главой и свѣтиломъ цѣлаго литератур-

[1]) 1823 годъ.

наго періода. «Полярная Звѣзда» ставила себѣ задачами объединить наличныя разрозненныя литературныя силы и съ точки зрѣнія новыхъ талантовъ произвести провѣрку литературнаго наслѣдства, оставленнаго прежними дѣятелями. За эту работу взялся А. Бестужевъ, которому Пушкинъ, понявъ важность задачи, принятой на себя новымъ критикомъ, сочувственно поспѣшилъ на встрѣчу. Послѣ толчка, даннаго мысли Пушкина «Полярной Звѣздой», онъ уже былъ недоволенъ всѣмъ, что говорилось въ русской литературѣ по части критики.

Съ 1823 года возникаетъ переписка съ Бестужевымъ, Рылѣевымъ, Дельвигомъ, кн. Вяземскимъ, которая имѣетъ огромное литературное значеніе. Пушкинъ опровергаетъ нѣкоторыя положенія Бестужева, предлагая свои опредѣленія людей и произведеній; онъ томится по здравой и дѣльной критикѣ, пытается отыскать теперь же настоящія ея задачи и затронуть предметы, которыми она должна будетъ заниматься. Начать критику въ нашей литературѣ сдѣлалось для Пушкина любимой, завѣтной мыслію. Но, къ сожалѣнію, это ему было не подъ силу по слабости теоретико-мыслительныхъ способностей. Въ Пушкинѣ была бездна тонкаго вкуса; онъ былъ удивительно чутокъ ко всякой художественной фальши, къ промахамъ въ логикѣ, языкѣ и сознаніи у современныхъ и старыхъ писателей; по предчувствію нравственной сущности предметовъ онъ стоитъ несомнѣнно выше Бестужева, кн. Вяземскаго и др. Но его мнѣнію нехватаетъ систематическаго развитія, чтобы явиться въ видѣ законченныхъ критическихъ приговоровъ надъ писателями. Онъ очерчиваетъ удивительно мѣтко въ общихъ чертахъ различныя литературныя физіономіи, но общность характеристикъ и является причиной того, что всѣ онѣ носятъ характеръ замѣтокъ.

Пушкинъ въ Одесской перепискѣ является мыслителемъ-новаторомъ, который имѣетъ свое умное, никѣмъ еще не сказанное мѣткое слово относительно людей и явленій литературы. Пушкинъ какъ будто ждалъ человѣка, который дастъ ей твердое основаніе и направленіе, призывая къ тому

попеременно то одного, то другого изъ своихъ пріятелей. Онъ въ Одесскую и Михайловскую эпохи своей жизни явился провозвѣстникомъ того, что̀ будетъ говорить послѣдующая анализирующая критика Бѣлинскаго. Пушкинъ, напр., сѣтуетъ на ребяческое состояніе нашей критики, которая причисляетъ одинаково къ лику великихъ писателей: Ломоносова, Державина, Хераскова, Сумарокова, Озерова, Богдановича и пр. Онъ самъ набрасываетъ съ ясностью и мастерствомъ въ письмѣ къ Дельвигу блестящій типическій очеркъ литературной дѣятельности Державина; съ рѣдкою въ то время свободою отношеній къ именамъ, лицамъ и имущественному состоянію общества, Пушкинъ въ 1824 году пишетъ замѣтку о причинахъ, замедлившихъ ходъ нашей литературы, въ которой говоритъ, между прочимъ, что «у насъ нѣтъ еще ни словесности, ни книгъ», что всѣ наши знанія, всѣ наши понятія съ младенчества почерпнули мы въ книгахъ иностранныхъ, что «ученость, политика, философія по-русски еще не изъяснялись». Въ 1825 году, говоря «о предисловіи г-на Лемонте къ переводу басенъ Крылова», Пушкинъ трактуетъ о развитіи русскаго языка, исправляетъ мнѣнія иностранца о Ломоносовѣ, доказывая, что онъ не всеобъемлющій геній и что онъ вовсе не поэтъ, ибо, по другой замѣткѣ Пушкина, «стихотворство для Ломоносова было иногда забавою, но чаще должностнымъ упражненіемъ». Тогда же онъ набрасывалъ замѣтку о народности въ литературѣ, изъ которой легко видѣть, хотя она и не кончена, что народность онъ полагалъ естественнымъ, природнымъ качествомъ всякаго замѣчательнаго писателя, — впослѣдствіи, въ 30-хъ годахъ, Пушкинъ въ статьѣ: «Мысли на дорогѣ» пытается дать характеристику романтизма, говоритъ о характерѣ просвѣщенія въ Россіи въ связи съ литературою, набрасываетъ программу статьи по исторіи русской литературы, гдѣ отмѣчается ничтожество древнихъ памятниковъ, за исключеніемъ поражавшаго Пушкина «Слова о Полку Игоревѣ».

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Пушкинъ дѣлается жур-

налистомъ, участвуя въ литературной газетѣ, а за годъ до своей смерти начинаетъ издавать «Современникъ», объ изданіи котораго онъ такъ долго мечталъ, намѣреваясь кромѣ того издавать неосуществившуюся газету «Дневникъ». Въ газетѣ Дельвига Пушкинъ справедливо замѣчалъ, что критика не должна заниматься только разборомъ произведеній, имѣющихъ достоинство, что объ «Иванѣ Выжигинѣ» Булгарина критика могла бы сказать много поучительнаго и любопытнаго; что высокопарныя прозвища, безусловныя похвалы, пошлыя восклицанія не могутъ удовлетворять людей благомыслящихъ, когда Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ-Визинъ, не говоря уже о живыхъ писателяхъ, ожидаютъ еще «египетскаго суда». Въ своихъ критическихъ замѣткахъ, подводя итоги мнѣніямъ критиковъ о своихъ поэмахъ, Пушкинъ жалуется опять на недостатокъ критики, которая можетъ представить только нѣсколько отдѣльныхъ статей, «исполненныхъ свѣтлыхъ мыслей и важнаго остроумія», и объясняетъ такое явленіе несвоевременностью появленія ни нашихъ Шлегелей, ни даже Лагарповъ.

Вообще Пушкинъ является родоначальникомъ не только самобытной русской литературы, но и провозвѣстникомъ новой русской критики, на бѣдность и неразвитость которой онъ такъ горько сѣтовалъ, какъ на печальный признакъ низкой степени образованности всей литературы вообще. Онъ хотѣлъ начать критику, но не могъ этого сдѣлать, положивъ только нѣсколько краеугольныхъ камней дальнѣйшаго ея развитія. Пушкинъ же глубоко чувствовалъ и сознавалъ потребность историческаго изученія литературы, чему тоже хотѣлъ положить начало, набрасывая свои историко-литературныя замѣтки. Онъ показалъ намъ примѣры самостоятельнаго творчества и возродилъ въ другихъ людяхъ идею свободнаго и глубокаго поэтическаго созерцанія жизни. Истолкованіе же литературы онъ завѣщалъ грядущимъ поколѣніямъ, вмѣстѣ съ другимъ драгоцѣннымъ завѣтомъ, бывшимъ руководящимъ началомъ всей его дѣятельности, — завѣтомъ, въ которомъ сказалось сознаніе высокаго нравственнаго долга литературы,

какъ силы образовательной. «Дружина писателей и ученыхъ,—говорилъ онъ,—стоитъ всегда впереди во всѣхъ набѣгахъ просвѣщенія, на всѣхъ приступахъ образованности. Не должно имъ малодушно негодовать, что вѣчно имъ опредѣлено выносить первые выстрѣлы и всѣ невзгоды, всѣ опасности ремесла» [1]).

---

[1]) Т. V, стр. 120.

ГЛАВА II.

Причины враждебнаго отношенія критики къ «Руслану и Людмилѣ». — Отношенія Пушкина къ критикамъ «Руслана». — Библіографическій указатель статей о «Русланѣ».—Статья Бутырскаго Классика въ «Вѣстникѣ Европы». — Отвѣтъ на нее въ «Сынѣ Отечества» и вторичная статья Бутырскаго Классика. — Статьи «Благонамѣреннаго», «Невскаго Зрителя» и снова «Сына Отечества», дѣлающагося ареной для критическихъ поединковъ.—Характеръ полемики 20-хъ годовъ.—Статья г. Осетрова въ «Вѣстникѣ Европы» и замѣтки Неизвѣстнаго въ газетѣ «Рецензентъ».

По мѣрѣ того, какъ создавалась первая поэма Пушкина, ее обсуживали голосами извѣстныхъ литераторовъ на вечерахъ Жуковскаго и она составляла, вмѣстѣ съ другими предметами, содержаніе долгихъ бесѣдъ Пушкина съ Дельвигомъ и друзьями. Первыя пѣсни слышалъ Батюшковъ, послѣ же чтенія послѣдней Жуковскій подарилъ автору свой портретъ съ надписью: «ученику отъ побѣжденнаго учителя». При появленіи въ свѣтъ «Руслана и Людмилы», встрѣченной съ восторгомъ публикой, вся наличная критика подѣлилась на два враждебныхъ лагеря. Поборники новаго направленія увидѣли въ этой поэмѣ колоссальное произведеніе, долго величая Пушкина забавнымъ титуломъ «пѣвца Руслана и Людмилы»; представители классицизма были приведены въ ярость и негодованіе, видя въ ней чуть не безбожіе и не видя красивыхъ стиховъ и проблесковъ поэзіи. Исторически понятны какъ восторгъ первыхъ, такъ и негодованіе вторыхъ, хотя въ этой поэмѣ нѣтъ ни искры романтизма: онъ былъ въ ней даже очень остроумно осмѣянъ въ милой пародіи на «Двѣ-

надцать спящихъ дѣвъ». Въ «Русланѣ и Людмилѣ» русская поэзія дѣйствительно сдѣлала огромный шагъ впередъ, особенно со стороны технической: въ ней были новы и стихи, и поэзія, и шутки, и сказочный характеръ вмѣстѣ съ серьезными картинами. Причиной энтузіазма, возбужденнаго этой поэмой, было предчувствіе новаго міра творчества, а еще болѣе обольщеніе невиданною дотолѣ новинкою. Классиковъ же возмутила самостоятельность «неизвѣстнаго піиты» Пушкина, не взявшаго себѣ за образецъ ни одного изъ законодателей парнасскихъ; они вознегодовали на эротическія вольности поэмы, хотя давно уже были знакомы съ ними по Державину и въ особенности по Богдановичу; они оскорбились сказочнымъ характеромъ поэмы, нашли пошлыми многія выраженія изъ привычки къ облизаннымъ прозаическимъ общимъ мѣстамъ предшествовавшей Пушкину поэзіи, придрались даже къ версификаціи, которая, по сравненію со всей предыдущей, была верхомъ поэзіи и изящества. Главнымъ же образомъ спорили о русской сказкѣ, какъ о предметѣ для эпопеи. Вопросъ о народной поэзіи былъ поставленъ очень рѣзко въ журналѣ, имѣвшемъ явныя и тайныя симпатіи такихъ людей, которымъ знакомы были итальянскія и нѣмецкія волшебныя поэмы, но которымъ фантастическій міръ русскихъ народныхъ сказаній казался дикимъ и неблагороднымъ. Критики не поняли, что «Русланъ и Людмила» по духу, выраженію и облику героевъ слишкомъ далеко отстоитъ отъ народной сказки, что характеръ ея—подновленный французскій классицизмъ, что эта пьеса переходная, послѣдній блестящій плодъ того вліянія, подъ которымъ такъ долго находился Пушкинъ. «Русланъ и Людмила» вызвала вражду также и потому, что въ ней ярко сказывалась тайная насмѣшка надъ чопорностью прежнихъ такъ называемыхъ русскихъ пѣсенъ и разсказовъ изъ народной жизни, въ которыхъ перемѣшивались холодная эпическая торжественность съ элегической и жеманной поддѣлкой подъ характеры сказочныхъ лицъ и подъ тонъ простонародныхъ пѣсенъ. Въ молодой поэмѣ Пушкина было много граціи, игривости, остроумія, живости, движе-

нія и блеска. Поэтому-то многимъ она казалась дерзкимъ нововведѣніемъ, почти полнымъ разрывомъ со всѣми преданіями искусства.

Къ числу недовольныхъ «Русланомъ» принадлежалъ И. И. Дмитріевъ, питавшій, впрочемъ, несомнѣнное уваженіе къ таланту Пушкина. Ко второму изданію поэмы, вышедшему въ 1828 г., въ видѣ предисловія, Пушкинымъ приводятся наиболѣе характерные критическіе отзывы, замыкающіеся сурово-энергичнымъ отзывомъ Дмитріева, который сошелся въ данномъ случаѣ съ постояннымъ своимъ врагомъ по всѣмъ другимъ вопросамъ, М. Т. Каченовскимъ. На страницѣ 201 второго тома мы читаемъ: «Долгъ искренности, говоритъ Пушкинъ,—требуетъ также упомянуть и о мнѣніи одного изъ увѣнчанныхъ первоклассныхъ писателей, который, прочитавъ Руслана и Людмилу, сказалъ: я тутъ не вижу ни мыслей, ни чувства, вижу только чувственность. Другой (а можетъ быть и тотъ же) увѣнчанный, первоклассный, отечественный писатель привѣтствовалъ сей опытъ молодого поэта слѣдующимъ стихомъ: «Мать дочери велитъ на эту сказку плюнуть». По этому поводу Карамзинъ писалъ ему: «ты не отдаешь справедливости таланту или поэмкѣ молодого Пушкина, сравнивая ее съ Энеидою Осипова; въ ней есть живость, легкость, остроуміе, вкусъ; только нѣтъ искуснаго расположенія частей, нѣтъ или мало интереса; все сметано на живую нитку» [1]). Самъ Пушкинъ, въ 1825 году, въ письмѣ Бестужеву [2]) называетъ Руслана «молокососомъ», а въ 1830 — 31 году, пиша свои «Критическія замѣтки [3]), онъ замѣчаетъ, что кромѣ одной статьи въ «Вѣстникѣ Европы», въ которой ее побранили весьма неосновательно, и весьма дѣльныхъ вопросовъ, изобличающихъ слабость созданія поэмы, помѣщенныхъ въ «Сынѣ Отечества», не было объ ней сказано худого слова». Пушкинъ удивлялся, что не

---

[1]) Письма Карамзина къ Дмитріеву, Спб. 1866 г. стр. 290.
[2]) VII, стр. 166.
[3]) V, стр. 120–121.

замѣтили холодности его поэмы, соглашаясь вмѣстѣ съ тѣмъ съ критиками, порицавшими вступленіе къ третьей пѣснѣ и пародію на «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ», ибо «непростительно было пародировать, въ угожденіе черни, дѣвственное поэтическое созданіе». На избитое же и пустое обвиненіе тогдашней цѣломудренной критики въ излишней вольности фантазіи, Пушкинъ сердито, при надоѣдливомъ вѣроятно воспоминаніи, и справедливо замѣчаетъ, что въ Русланѣ не найдется ни одного мѣста, которое въ вольности шутокъ могло быть сравнено съ шалостями Аріоста; хотя нужно замѣтить, что во второмъ изданіи поэмы пропущено и передѣлано не безъ вліянія критики болѣе 12-ти мѣстъ, отмѣченныхъ послѣдней за ихъ сладострастный характеръ и вообще за легкомысленную и вѣтреную нескромность.

Первый появившійся отрывокъ изъ Руслана, напечатанный въ «Сынѣ Отечества» 1820 года №№, XV и XVI, вызвалъ въ «Вѣстникѣ Европы» 1820 года, въ № XI, первую бранчивую критическую статью: «Жителя Бутырской слободы», подъ заглавіемъ «Письмо къ Редактору». «Сынъ Отечества» отвѣчалъ въ лицѣ Г.... ева на это письмо въ свою очередь тоже письмомъ «Къ издателю Сына Отечества», которое не осталось безъ отвѣта со стороны Бутырскаго Классика («Вѣстн. Евр.», № 16). Далѣе появилась замѣтка въ «Благонамѣренномъ» Измайлова (1820 г. II, № 8, статья И.) и статья въ «Невскомъ Зрителѣ», составляющая отголосокъ мнѣнія даже друзей Пушкина: въ числѣ редакторовъ журнала были многіе короткіе пріятели поэта, какъ напр. Кюхельбекеръ и Рылѣевъ. Наконецъ «Сынъ Отечества» дѣлается настоящей журнальной ареной критическихъ поединковъ послѣ статей А. Ѳ. Воейкова («Сынъ Отеч.», №№ 32—34—37), вызвавшихъ «Письмо къ сочинителю критики на поэму «Русланъ и Людмила», въ которомъ NN. (молодой гвардейскій офицеръ Дм. Петр. Зыковъ) предлагаетъ вопросы о недостаткахъ поэмы. «Замѣчанія на письмо Зыкова» напечатаны въ № 41 «Сына Отеч.» съ подписью «К. Григорій Б—въ», а въ № 42 напечатаны новыя «Замѣчанія» въ защиту Воейкова, съ подписью П. К—въ (самъ же Воейковъ), и въ № 43 помѣщенъ «Скромный отвѣтъ на нескромное замѣчаніе г. К—ва» съ подписью М. К—въ. Въ 1821 году въ «Вѣстникѣ Европы», Ч. 116, № 4, помѣщена статья Семена Осетрова и, наконецъ, въ томъ же году, въ № 5 маленькой газетки «Рецензентъ» напечатаны замѣтки Неизвѣстнаго подъ заглавіемъ: «Мои мысли о рамантической поэмѣ г. Пушкина: «Русланъ и Людмила». Этимъ исчерпывается количество критическихъ статей 20-хъ годовъ о «Русланѣ» при его появленіи.

Въ первомъ письмѣ къ редактору «Вѣстника Европы» Бутырскій Классикъ разбираетъ два произведенія: балладу «Могильщикъ» и «Руслана». Онъ сознается, что нововведенія сначала было порадовали его, ибо старикамъ-писателямъ во снѣ не видѣлась такая замысловатость, такой свободный полетъ генія, такой обширный разгулъ фантазіи, такая очаровательная дикость, какими щеголяетъ нынѣшняя наша поэзія. Но очарованія и ожиданія «Бутырскаго Классика» вскорѣ разсѣялись; онъ пришелъ даже въ ужасъ при мысли о томъ, что̀ надѣлали новѣйшіе преобразователи, превратившіе нашъ Парнассъ въ «кладбище, гдѣ валяются черепа, кости, полуразвалившіяся гробницы и кресты могильные, гдѣ бродятъ духи, привидѣнія, мертвецы въ саванахъ и безъ савановъ, гдѣ слышны крики враговъ, шипѣніе змѣй, вой волковъ...» Негодованіе его еще больше возрасло, когда его взоръ поразилъ новый ужасный предметъ, «который, какъ у Камоенса «Мысъ бурь», выходитъ изъ нѣдръ морскихъ и показывается посреди океана россійской словесности». Этотъ новый «Мысъ бурь»—поэма, написанная въ подражаніе Еруслану Лазаревичу, пародирующая Киршу Данилова. Критикъ еще допускаетъ собираніе русскихъ сказокъ, какъ собираютъ безобразныя старыя монеты, но уваженія къ нимъ не понимаетъ, ибо не допускаетъ мысли, чтобы плоскія шутки старины снова появлялись между нами; просвѣщенный вкусъ не можетъ ихъ одобрить: они не смѣшны и забавны, а отвратительны по своей грубости. Изложивъ въ тонѣ глумливой иронiи сцену Руслана съ головой и выписавъ нѣкоторые стихи изъ этой сцены, въ которой онъ нашелъ пошлыми не только выраженія «удавить бородою», «стать передъ носомъ», «щекотать ноздри копьемъ», «эхо чихаетъ» и «ѣду, ѣду не свищу, а наѣду не спущу», но и «умирающій лучъ солнца»,—критикъ, въ приливѣ крайняго негодованія, восклицаетъ: «позвольте спросить: если бы въ Московское Благородное Собраніе какъ нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ и закричалъ бы зычнымъ го-

лосомъ: «здорово ребята!»—неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться!..»

Поклонники и защитники Пушкина особенно были затронуты обвиненіемъ противниковъ въ разрывѣ со всѣми преданіями искусства. Они постарались подыскать новому произведенію знаменитыхъ предковъ и въ русской литературѣ, и въ иностранной. Они старались доказать родство «Руслана» тѣми или другими сторонами съ «Душенькой» Богдановича, «Обероном» Виланда, съ «Неистовымъ Орландомъ» Аріоста и даже съ «Одиссеей» Гомера. Такова защита Пушкина г-мъ ...—евымъ, написавшимъ въ «Сынѣ Отечества» отвѣтъ жителю Бутырской слободы, «единаго изъ тысячи одного старцевъ нашихъ, plus enclins à blamer, que savans à bienfaire». Критикъ «Сына Отечества» замѣчаетъ, что для него непонятно—почему «г-нъ старецъ» относитъ поэму Людмила и Русланъ къ какому-то новому необычайному роду сочиненій? Онъ могъ бы назваться новымъ до Одиссеи, Роланда, Налоя (Lutrin), Оберона». Далѣе критикъ оправдываетъ Пушкина въ созданіи Черномора и въ сценѣ съ головой, поясняя, что «г-нъ старецъ напрасно негодуетъ» на лицо Черномора, на сраженіе съ головою, ибо исторія Полиѳема въ Одиссеѣ ничѣмъ не лучше, и оканчиваетъ свой сравнительно слабый отвѣтъ защитой выраженія Руслана «ѣду, ѣду не свищу», предлагая Бутырскому Классику припомнить примѣръ Богдановича, у котораго Греческая (!!!) Царевна плачетъ, какъ дура, ѣдетъ на щукѣ шехардой, называетъ дракона змѣемъ Горыничемъ, чудомъ юдомъ и проч.

Бутырскій Классикъ, задѣтый за живое остротами, задорными замѣчаніями и ѣдкими эпитетами критика «Сына Отечества», прикрываясь «общимъ дѣломъ», пускается въ длинную личную отповѣдь, въ личную перебранку и въ длинное разсужденіе о подражаніи Жуковскаго не безсмертнымъ красотамъ классиковъ, а нерѣдко ложнымъ прелестямъ романтизма «германическаго происхожденія». Классикъ осуждаетъ поэтовъ-подражателей, пустившихся въ «неизмѣримую

бездну мистицизма и романтизма». Относительно «Руслана» Классикъ говоритъ, что его намѣреніемъ было указать на новое явленіе въ нашей литературѣ, «которое угрожаетъ намъ громадою сочиненій во вкусѣ Еруслана Лазаревича», что Русланъ вовсе не принадлежитъ къ какому-то необычайному роду сочиненій, а имѣетъ образцы въ Бовѣ Королевичѣ, Игнатьѣ Царевичѣ, Иванѣ Царевичѣ и пр.; классикъ старается уколоть своего противника, который причисляетъ Руслана къ одному роду съ Одиссеею, Роландомъ (Орландомъ?), Налоемъ и Обероном—замѣчаніемъ, что если г-ну ....—еву нравится «передѣланный въ Черномора мужичокъ самъ съ ноготь, борода съ локоть, то не худо взять и другія, столь же стихотворныя выдумки: можно заставить Руслана взлѣзть въ ушко сивки-бурки, конюшимъ придать ему Ивашку бѣлу рубашку, заставить его сдѣлать визитъ Ягѣ Бабѣ, а въ оправданіе сослаться, что у Мильтона, у Шекспира, Камоэнса многія подробности ничѣмъ не лучше!..»

Не останавливаясь на замѣткѣ «Благонамѣреннаго», который достоинства «Руслана» видитъ «въ картинныхъ описаніяхъ, живости и пріятности разсказа и легкой, непринужденной версификаціи», мы разберемъ мнѣніе «Невскаго Зрителя», во многихъ отношеніяхъ любопытное, чтобы скорѣй перейти къ разсмотрѣнію ряда статей «Сына Отечества» во главѣ съ длиннымъ разборомъ въ четырехъ книжкахъ, принадлежащимъ перу Воейкова. Статья «Невскаго Зрителя» написана человѣкомъ, въ которомъ какъ будто новое неперебродившее вино влито въ старые мѣхи; онъ и старое не хочетъ обидѣть, и новое ему хочется похвалить,— но съ умѣренной воздержанностью, порядкомъ пожуривъ гдѣ нужно за излишнюю эротическую вольность.

Взглядъ критика на поэзію таковъ, что цѣль ея есть «возвышеніе нашего духа, чистое удовольствіе». Картины сладострастія плѣняютъ только грубыя чувства. Онѣ недостойны языка боговъ: поэтъ долженъ возвѣщать намъ о подвигахъ добродѣтели, возбуждать любовь къ отечеству, геройство въ несчастіяхъ, «плѣнять описаніемъ невинныхъ забавъ».

Къ сожалѣнію, критикъ находитъ, что «чрезвычайная легкость и плавность стиховъ—отмѣнная версификація составили бы существенное достоинство сего произведенія, еслибы піитическія красоты, въ немъ заключающіяся, не были перемѣшаны съ низкими сравненіями, безобразнымъ волшебствомъ, сладострастными картинами и такими выраженіями, которыя оскорбляютъ хорошій вкусъ». Критикъ откровенно сознается, что онъ при чтеніи нѣкоторыхъ мѣстъ краснѣлъ и потуплялъ взоры. Критикъ не находитъ чудеснаго въ Русланѣ, видя только грубое простонародное волшебство; критикъ замѣчаетъ, что, желая идти по слѣдамъ Аріоста, вмѣсто чудеснаго дѣйствія цѣлаго міра этого «поэта генія», молодой авторъ изобразилъ только четыре или пять лицъ, изъ которыхъ только одинъ пустынникъ великое лицо—имъ движется все дѣйствіе. Всѣ остальные критику кажутся выродками, созданіями фантазіи, вышедшей изъ границъ. Онъ говоритъ, что должно вооружиться правилами самаго искусства, утвержденными образованнымъ вкусомъ вѣковъ, противъ всѣхъ уродливостей, помѣщенныхъ въ «Русланѣ». Совершенно основательно, по мнѣнію рецезента, критикуютъ въ Виргиліи, что онъ превратилъ флотъ въ птицъ; въ Мильтонѣ—сраженіе ангеловъ съ горами и то, что онъ втащилъ на небеса огромную пушку; въ Камоэнсѣ, что онъ заставилъ Бахуса читать литургію; въ Малербѣ, что онъ сравнивалъ слезы св. Петра съ быстрымъ водопадомъ, а вздохи уподоблялъ разъяренному грому; въ Шекспирѣ, что у него плавалъ корабль при берегахъ Богеміи. Можно ли также похвалить находящуюся «въ Аугсбургской церкви картину, гдѣ жена Ноя одѣта въ богатое платье султанши и несетъ въ ковчегѣ на рукахъ болонскую собачку?» Нельзя въ силу такихъ же соображеній хвалить и дѣйствующихъ лицъ «Руслана», ибо «самъ герой томится и вздыхаетъ какъ селадонъ», Фарлафъ въ перчаткахъ три раза вонзалъ сталь въ Руслана, а онъ не умеръ, Людмила мила, особливо когда визжитъ и подымаетъ кулакъ на Черномора, Рогдай не возбуждаетъ никакого участія, Ратмиръ прекрасенъ, послѣ того какъ его омыли красавицы въ русской банѣ и пр.

Критикъ замѣчаетъ, что ходъ поэмы былъ бы хорошъ, еслибы не безпрестанныя отступленія. Критику часто желалось очароваться, забыться и въ то же время поэтъ останавливалъ его восторги, и—вмѣсто древности—критикъ узналъ, что онъ живетъ въ новѣйшія времена: такъ велика была несообразность чудеснаго въ поэмѣ. На ряду съ этимъ критикъ, осмѣявъ слабые стихи, выговариваетъ поэту за нескромное желаніе понравиться прекрасному полу съ такой оскорбительной для ихъ стыдливости поэмой, при чтеніи которой даже самъ критикъ, какъ мы уже говорили, краснѣлъ и потуплялъ взоры. Можно ли даже назвать новое произведеніе поэмой? Вѣдь прежде въ поэмахъ описывались «геройскіе подвиги касательно религіи, нравственности, или такихъ происшествій, которыми рѣшалась судьба царствъ, гдѣ если не заключалось участія цѣлаго человѣчества, то по крайней мѣрѣ какого либо народа—и гдѣ причины дѣйствій сверхъестественны». Пожалуй, можно, отвѣчаетъ самъ себѣ всетаки снисходительный аристархъ-псевдоклассикъ, потому что въ новѣйшія времена всякій почти разсказъ, гдѣ слогъ возвышается предъ обыкновеннымъ, называется поэмой. Въ Русланѣ слогъ поэтическій—ergo, она поэма. Не нужно только забывать, что когда во Франціи, — говоритъ критикъ, — въ концѣ минувшаго столѣтія стали въ великомъ множествѣ появляться подобныя сему произведенія, произошелъ не только упадокъ словесности, но и самой нравственности. Слѣдовательно, если «Русланъ и Людмила» расплодятъ подражателей, русская словесность и нравственность погибнутъ. Таковы комическіе выводы цѣломудреннаго критика. Подобную моральную точку зрѣнія мы встрѣтимъ еще не разъ при оцѣнкѣ твореній Пушкина. Здѣсь она является, конечно, въ примитивномъ видѣ; въ статьяхъ же «Маяка», напр., она превращается въ цѣлую развитую систему, съ точки зрѣнія которой почти всѣ произведенія Пушкина—идеализація разврата и уголовныхъ преступленій; моральная же точка зрѣнія вмѣсто трезваго историко-литературнаго взгляда привела въ 60-хъ годахъ

Писарева къ пренебрежительному глумленію надъ Пушкинымъ. Таковы въ большинствѣ случаевъ бываютъ результаты тенденціознаго отношенія критики къ писателямъ.

Въ 1820 году Пушкинъ въ письмѣ къ Н. И. Гнѣдичу [1]) говорилъ, что онъ не можетъ помириться съ критиками «Сына Отечества» и сейчасъ же поясняетъ причину своей враждебной настроенности, спрашивая Гнѣдича: «кто такой этотъ В. (Воейковъ), который хвалитъ мое цѣломудріе, укоряетъ меня въ безстыдствѣ, говоритъ мнѣ: краснѣй, несчастный (что между прочимъ очень неучтиво), говоритъ, что характеры моей поэмы писаны прочными красками этого нѣжнаго чувствительнаго Корреджіо и смѣлою кистію Орловскаго, который кисти въ руки не беретъ и рисуетъ только почтовыя тройки да киргизскихъ лошадей? Согласенъ съ мнѣніемъ неизвѣстнаго эпиграмматиста — критика его для меня ужасно какъ тяжка» [2]).

Рецензентъ «Сына Отечества» такъ формулируетъ достоинство новаго, прекраснаго явленія нашей словесности—богатырской, волшебной, шуточной поэмы, въ которой поэтъ идетъ по слѣдамъ Виланда и Аріоста и которая можетъ назваться поэмой потому, что заключаетъ въ себѣ описаніе героическаго подвига, движется пружинами сверхъестественными, раздѣлена на пѣсни и написана свѣжими, яркими красками: «въ ней мы находимъ, говоритъ онъ,—совершенство слога, правильность чертежа, занимательность эпизода, приличный выборъ чудеснаго и выдержанные отъ начала до конца характеры существъ сверхъестественныхъ, разнообразность и ровность въ характерахъ дѣйствующихъ героевъ и выдержанность каждаго изъ

---

[1]) VII, 12.

[2]) Послѣдній стихъ эпиграммы, приписываемой И. А. Крылову и напечатанной въ «Сынѣ Отечества» 1820 г., № 38:

Напрасно говорятъ, что критика легка.
Я критику читалъ Руслана и Людмилы:
Хоть у меня довольно силы, —
Но для меня она ужасно какъ тяжка!

нихъ въ особенности, прелестныя картины на самомъ узкомъ холстѣ, разборчивый вкусъ, тонкую, веселую шутку... Но прежде чѣмъ придти къ такому заключенію, рецензентъ пишетъ четыре статьи въ четырехъ книжкахъ, въ которыхъ пересчитываетъ описательныя мѣста, шуточные стихи, прибавляя: «нынѣ сей родъ поэзіи называется романтическимъ»; разсказываетъ содержаніе поэмы по пѣснямъ собственной своей прозой, опредѣляетъ чудесное и характеры силъ сверхъестественныхъ, хваля поэта за отмѣнноблагоразумный выборъ чудеснаго, добрыхъ и злыхъ волшебницъ и волшебниковъ, что̀ и немудрено съ талантомъ гибкимъ и разнообразнымъ, ко всему готовымъ. Онъ опредѣляетъ также характеры дѣйствующихъ лицъ, переписывая при этомъ чуть ли не всю поэму, и говоря о герояхъ въ общихъ чертахъ, въ родѣ слѣдующихъ: «Русланъ великодушенъ, храбръ, чувствителенъ, вѣренъ любови своей, чести и добродѣтели, но вспыльчивъ и нетерпѣливъ. Онъ напоминаетъ Ахиллеса... Характеръ Рогдая изображенъ сильною кистью Орловскаго, мрачными красками Корреджіо... Для начертанія характера женолюбиваго хазарскаго князя Ратмира нашъ стихотворецъ взялъ перо сладострастнаго Парни... Людмила веселонравна, рѣзва, вѣрна любови своей, нѣжна и сильна душа ея, непорочно сердце...» и пр. Критикъ старается оправдать поэта въ выборѣ простонароднаго сюжета, говоря, что и между простымъ народомъ есть своя благопристойность, свое чувство изящнаго, разумѣя при этомъ подъ простымъ народомъ не «толпы пьяницъ, буяновъ, праздношатающихся лѣнивцевъ, но почтенный, работающій и промышленный разрядъ гражданъ общества»; критикъ поетъ панегирики стихамъ молодаго поэта, плѣнившимъ его легкостью, свѣжестью, простотою и сладостью настолько, что критику кажется, будто они «сами собой скатывались съ лебединаго пера нашего поэта».

Заключается статья, по обыкновенію, разборомъ выраженій, среди которыхъ критикъ находитъ непонятнымъ могильный голосъ (не голосъ ли это какого нибудь музы-

кальнаго орудія? говоритъ онъ) и останавливается съ изумленіемъ передъ выраженіемъ: вопрошать нѣмой мракъ. «Смѣло до непонятности, замѣчаетъ онъ,—и если допустить сіе выраженіе, то можно будетъ написать: говорящій мракъ, болтающій мракъ, болтунъ мракъ, спорящій мракъ, мракъ, дѣлающій непристойные вопросы и не краснѣя на нихъ отвѣчающій: жалкій, пагубный мракъ!» Критику не нравятся также нѣкоторыя риемы, какъ напр., «копіемъ», «кругомъ», которыя онъ называетъ мужицкими, нѣкоторыя слишкомъ низкія и слишкомъ высокія выраженія, стихи вялые, стихи нескромные, при которыхъ критикъ совѣтуетъ ставить оговорку: съ позволенія сказать, иронизируетъ, напримѣръ, надъ стихами: «Гдѣ поле радости младой», удивляясь, зачѣмъ поставленъ эпитетъ младой къ слову радость. «Ужъ не для различія ли, говоритъ онъ, молодой радости отъ радости среднихъ лѣтъ, отъ радости старухи?»—или надъ стихами: «Предъ нимъ араповъ чудный рой», говоря, что «желательно было бы видѣть пчельникъ этого роя араповъ; вѣроятно, что въ немъ и самый медъ чернаго цвѣта»—или, наконецъ, надъ выраженіемъ «дикій пламень», прибавляя, что «скоро мы станемъ писать: ручной пламень, ласковый, вѣжливый пламень». Критикъ въ заключеніе своего классически-смѣхотворнаго филологическаго разбора не можетъ обойти молчаніемъ двухъ, странныхъ, поразившихъ его своею нелогичностью стиховъ: «уста дрожащія открыты, огромны зубы стѣснены». «Или открыты и уста и зубы, глубокомысленно исправляетъ онъ опрометчиваго поэта,—или уста закрыты и зубы стиснуты».

Несмотря на многія филологическія погрѣшности, найденныя критикомъ въ «Русланѣ», онъ не можетъ не признать новое произведеніе выдающимся явленіемъ. Онъ находитъ помимо многихъ литературныхъ достоинствъ въ этой поэмѣ и цѣль нравственную, которая достигнута поэтомъ, такъ какъ злодѣйство наказано, а добродѣтель торжествуетъ. Но все-таки въ частности поэтъ недостаточно цѣломудренъ: онъ любитъ

проговариваться, изъясняться двусмысленно, намекать, употреблять эпитеты нагіе, полунагіе, говоря даже о холмахъ и сабляхъ — напр.; холмы нагіе, сабли нагія; онъ безпрестанно томится какими-то желаніями, сладостными мечтами, во снѣ и на яву ласкаетъ младыя прелести дѣвъ, вкушаетъ восторги и пр. За такіе грѣшные стихи, по мнѣнію критика, за такія грубыя картины, помѣщенныя между другими прелестными, молодого и легкомысленнаго поэта слѣдуетъ предостеречь на будущее время въ видахъ общей пользы и для очищенія своей совѣсти предъ судомъ потомковъ, которые вдругъ вздумаютъ судить по этимъ картинамъ объ испорченныхъ вкусахъ въ XIX столѣтіи.

Если для обрисовки критическихъ воззрѣній начала 20-хъ годовъ характерны цитованныя нами статьи, какъ любопытные образчики критическихъ упражненій двухъ противоположныхъ по направленію журналовъ, то еще болѣе характерна полемика, возникшая по поводу этихъ статей на страницахъ «Сына Отечества». Послѣдній сдѣлался какъ бы циркомъ, на аренѣ котораго, по выраженію одного изъ антирецензентовъ «Руслана и Людмилы» происходили безпрестанныя «assaut d'esprit». Если критика была бездоказательна, безвкусна, груба, придирчива и смѣхотворна, все-таки она, такъ или иначе, руководилась извѣстными началами, хотя и не могла по своей теоретической неразвитости доказать справедливости своихъ воззрѣній въ примѣненіи къ разбираемому произведенію. Она говорила, что народныя сказки—жалкія и смѣшныя лепетанія, ибо онѣ принадлежатъ археологіи, какъ памятники младенчества народа; она осуждала съ точки зрѣнія строгой, чуть ли не аскетической морали эротическія вольности поэмъ, она разграничивала понятія чудеснаго и грубаго простонароднаго волшебства, которое, по ея мнѣнію, составляло сущность поэмы, не одобряла этого волшебства, предписывала границы фантазіи, чтобы она не творила выродковъ, и подкрѣпляла свое мнѣніе ссылками на литературные авторитеты,—она не понимала, наконецъ, многихъ смѣ-

лыхъ выраженій, пиша на нихъ смѣшныя пародіи. Все это, конечно, знаменуетъ жалкое, младенческое состояніе критики, взгляды которой прямолинейны, односторонни, упорно держатся, въ силу привычки, закоснѣлой рутины. Но все-таки это—взгляды. Журнальная же полемика чужда всякихъ началъ, обязательныхъ для полемизирующихъ. Въ полемикѣ обнаруживается все упорное невѣжество тогдашнихъ критиковъ, не терпящихъ никакихъ возраженій своимъ якобы безусловно справедливымъ воззрѣніямъ, полное отсутствіе всякаго журнальнаго приличія, уваженія какъ къ противнику, такъ и къ самому себѣ. Причины этого кроются, конечно, въ журнальныхъ нравахъ эпохи, которая произвела, съ одной стороны, слѣпую и задорную критику, а съ другой дала ей въ защитницы и помощницы задорную и грубую сестру-полемику. Нужно было много времени для того, чтобы одна прозрѣла, а другая обучилась приличію, какъ первому правилу человѣческаго общежитія. Какъ вѣрное эстетическое чувство въ оцѣнкѣ произведеній великаго поэта явилось не задолго до его смерти и имъ же было воспитано, такъ и облагороженіе полемическихъ пріемовъ совершилось не безъ значительной доли его же участія.

Въ «критическихъ замѣткахъ» Пушкина есть весьма любопытный отрывокъ, посвященный характеристикѣ журнальной полемики тридцатыхъ годовъ. Здѣсь онъ говоритъ [1]), что «самъ съѣшь» есть нынѣ главная пружина журнальной полемики. Является колкое стихотвореніе, въ коемъ сказано, что Фебъ, усадивъ было такого-то, велѣлъ его послѣ вывести лакею за дурной тонъ и заносчивость, — и тотчасъ въ отвѣтъ явилась эпиграмма, гдѣ то же самое пересказано немного похуже, съ надписью: самъ съѣшь. Поэтъ вздумалъ описать любопытное собраніе букашекъ. Самъ ты букашка, закричали журналисты, и стихи твои букашки, и друзья твои букашки. «Самъ съѣшь». Полемическій принципъ «самъ съѣшь», царившій, по мѣткому свидѣтельству Пушкина, въ

[1]) V, 115.

журналахъ 30-хъ годовъ, можетъ быть взятъ девизомъ и для журнальной полемики 20-хъ годовъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы почти не встрѣчаемъ такихъ антикритикъ на разборы «Руслана», въ которыхъ бы антирецензентъ отвѣчалъ противнику по существу, возражая противъ основныхъ его взглядовъ, разбирая ихъ и противопоставляя имъ самостоятельное воззрѣніе на предметъ. О такой полемикѣ нѣтъ и помину. Процвѣтала полемика, основанная на личностяхъ: она брала отдѣльныя мысли, или даже обрывки мыслей, глумилась надъ ними, приправляя свои глумленія болѣе или менѣе ѣдкими замѣчаніями и остротами,—по бѣдности же критической мысли и по безсилію отвѣчать на взгляды,—большею частію иронизировала надъ стилистическими замѣчаніями противника, стараясь отыскать промахи въ его прежнихъ литературныхъ работахъ и тѣмъ самымъ подорвать его критическій авторитетъ. Таковы статьи «Сына Отечества» 1820 года—«Замѣчанія на разборъ поэмы: Русланъ и Людмила», напечатанный въ 34, 35, 36 и 37 книжкахъ за подписью П. К—въ, и «Скромный отвѣтъ на нескромное замѣчаніе» Г. К—ва; такова же статья Семена Осетрова въ «Вѣстникѣ Европы» 1821 г. Первая и послѣдняя возражаютъ Воейкову, вторая представляетъ любопытную защиту Воейкова отъ нападокъ перваго антикритика.

Авторъ первой статьи смѣется надъ опредѣленіемъ романтической поэзіи у Воейкова, восклицая: «слѣдовательно, смѣсь богатырскаго волшебнаго и шуточнаго составляютъ романтическое!—прекрасная дефиниція,» совѣтуетъ Воейкову прочитать лорда Байрона, признаннаго первымъ сочинителемъ въ этомъ родѣ, но отъ прямого опредѣленія уклоняется, хотя и говоритъ, что время отъ времени у его противника являются «разсужденія и сентенціи, которыя либо ничего не значатъ, либо совершенно ложны». На доказательство ложности этихъ «разсужденій и сентенцій» у антикритика, очевидно, не хватаетъ силъ. Онъ щедръ только на восклицанія и неучтивыя выходки, которыя особенно рѣзки въ стилистическомъ спорѣ; напр., знаменитый «болтунъ мракъ» Воейкова заставляетъ

антикритика восклицать: «Какъ остро, г. В., какое богатство въ мысляхъ и какая удивительная логика въ доказательствахъ! Вы не допускаете выраженія: мракъ нѣмой, потому что не можно написать: мракъ болтающій; по сему правилу нельзя будетъ сказать: монументъ стоитъ на площади, потому что нельзя сказать: монументъ прыгаетъ на площади!» Или могильный голосъ, забракованный Воейковымъ, вызываетъ такую тираду: «признайтесь, г. критикъ, что вы воображаете, что сказали тутъ весьма остроумное словцо? Крайне ошибаетесь, г. В.: оно и плоско, и натянуто, и жалко!» Замѣчаніе Воейкова на счетъ несуществованія во времена Руслана рыцарскихъ перчатокъ, порождаетъ такую грубую выходку: «эй, г. В., говоритъ антирецензентъ, такъ вы видно не только ученый критикъ, но и искусный антикварій? — Вамъ помнится, что перчатки тогда еще не существовали? — Обяжите насъ, объяснивъ, когда именно онѣ начали существовать, если вамъ о томъ помнится». На мужицкія риѳмы Воейкова онъ возражаетъ: «человѣкъ меньше васъ образованный назвалъ бы ихъ просто бѣдными. Что значатъ мужицкія риѳмы? — Слѣдуя собственному вашему примѣру, имѣемъ право спросить: развѣ бываютъ «мужицкія риѳмы, поповскія риѳмы, дворянскія риѳмы, купеческія риѳмы» и пр. Посовѣтовавъ далѣе не писать Пушкину стиховъ, не обучившись прежде анатоміи у г. В., знаніе которой послѣдній обнаружилъ въ замѣчаніи, что гнѣвъ не стѣсняетъ, а расширяетъ сердце, антирецензентъ для окончанія высказываетъ желаніе прочитать разборъ новаго произведенія «гиганта въ словесности нашей, сдѣланной писателемъ опытнѣе, ученѣе и учтивѣе г-на В.»

Въ совершенно такомъ же стилѣ и духѣ написана статейка въ защиту Воейкова: тѣ же пустыя придирки къ словамъ и выраженіямъ, тѣ же съ претензіей на ядовитость и остроуміе восклицанія, обвиненія въ невѣжествѣ, въ неучтивости, — словомъ, полное торжество полемическаго принципа «самъ съѣшь», приправленное притомъ тщеславной гордостью за извѣстность (весьма сомнительнаго и двусмысленнаго до-

стоинства)[1]) защищаемаго, о которомъ антикритикъ посмѣлъ сказать, что издатель «С. О.» изъ снисхожденія напечаталъ въ журналѣ своемъ разборъ г. В.; въ защитникѣ проснулось чувство журнальнаго чинопочитанія,—и онъ патетически разрѣшается перечисленіемъ всѣхъ литературныхъ и ученыхъ званій г. Воейкова. «Мы сами увѣрены, говоритъ критикъ,— что это снисхожденіе; но такое, въ которомъ онъ подражалъ Россійской Академіи, Обществу любителей россійской Словесности при Московскомъ и таковому же при Казанскомъ университетѣ, избравшимъ г. В. въ свои дѣйствительные члены; С.-Петербургскому Обществу Любителей Словесности, Наукъ и Художествъ и Вольному Обществу Любителей Словесности, избравшимъ г. В. въ свои почетные члены; Дерптскому университету, сдѣлавшему г. В. ординарнымъ Россійскаго языка и словесности профессоромъ и докторомъ философіи, и гг. издателямъ «Вѣстника Европы», Каченовскому, Жуковскому и В. В. Измайлову, четырнадцать лѣтъ съ постояннымъ снисхожденіемъ печатавшихъ сочиненія и переводы его въ своемъ по всѣмъ отношеніямъ превосходномъ журналѣ». Конечно, въ такой выходкѣ нѣтъ ничего страннаго и удивительнаго, если припомнить, что «всякія званія» такъ же какъ и давность участвованія въ журналѣ академика и профессора, при крайнемъ младенчествѣ критическаго міровоззрѣнія эпохи, являлись единственнымъ правомъ на непоколебимый критическій авторитетъ. Таковы были времена, таковы были нравы.

Статья С. Осетрова, помѣщенная въ «Вѣстникѣ Европы», написана какъ будто на тему крыловской басни: «Зеркало и Обезьяна». Она предназначена для поученія тѣхъ критиковъ (въ родѣ г. Воейкова), которые, принимая на себя видъ наставниковъ, сами ежеминутно дѣлаютъ тѣ же самыя ошибки, за которыя они укоряютъ другихъ. Они безпрестанно твердятъ намъ о чистотѣ языка — и дѣлаютъ ученическія ошибки въ словосочиненіи; шутятъ надъ нелѣпо-

[1]) См. Греча: «Записки о моей жизни», стр. 159.

стями въ чужихъ стихотвореніяхъ—и не видятъ уродливыхъ картинъ въ своихъ собственныхъ; осуждаютъ каждое низкое слово, каждое смѣшное выраженіе—и подобными же выраженіями наполняютъ свои стихи и прозу. Авторъ статьи берется доказать всѣ эти положенія разборомъ «Посланія» Воейкова къ женѣ и друзьямъ, которое написано въ 1816 году, а напечатано въ 1821 году.

Если г. Воейковъ упрекалъ Пушкина за желаніе «сочетать слова, не соединяемыя по своей натурѣ, какъ напр.: молчаливый крикъ и ревущее молчаніе», говоря при этомъ, что молодой поэтъ заплатилъ дань «огерманизованному вкусу нашего времени» и что русскій языкъ ужасно страдаетъ подъ «перомъ, очиненнымъ на манеръ Шиллерова»,—то и самъ Воейковъ не свободенъ отъ подобныхъ же упрековъ,—онъ отдалъ дань тому же огерманизованному вкусу, очинивъ свое перо на манеръ любого изъ нынѣшнихъ нѣмецкихъ писателей; если онъ рѣшился употребить выраженіе: «миролюбивой ссоры», то кто знаетъ, что намъ еще не скажутъ, говоритъ г. Осетровъ, «бранчивый учтивецъ, нѣжныя проклятія, мирная драка, ласковая оплеуха?» Если г. Воейковъ пришелъ въ изумленіе отъ выраженія «нѣмой мракъ», то зачѣмъ онъ самъ говоритъ, что отъ скуки свѣчка дремлетъ; это выраженіе еще хуже: если свѣчка «одушевляется, чувствуетъ скуку и дремлетъ», то, слѣдовательно, она можетъ также храпѣть, бодрствовать, пѣть или плясать!..» Такимъ образомъ и далѣе г. Осетровъ старательно выискиваетъ стилистическіе промахи въ «Посланіи» Воейкова, пересмѣиваетъ ихъ по только что приведенному образцу, растягивая подобный разборъ на цѣлыхъ семь страницъ. Послѣ этого онъ считаетъ цѣль свою достигнутою, Воейкова совершенно раскритикованнымъ и слѣдовательно окончательно низведеннымъ съ критическаго пьедестала, на который его поставилъ авторъ, такъ безукоризненно усвоившій всѣ его «званія». Антикритикъ посмѣялся надъ забавными претензіями Воейкова быть авторитетнымъ судьей—и этого достаточно.

Характерно при этомъ то еще обстоятельство, что статья г. Осетрова напечатана въ «Вѣстникѣ Европы» въ томъ самомъ «превосходномъ» журналѣ, который въ продолженіе четырнадцати лѣтъ съ постояннымъ удовольствіемъ печаталъ сочиненія и переводы Воейкова. Это знаменательная черта для журнальныхъ нравовъ 20-хъ годовъ. Всего годъ тому назадъ Бутырскій Классикъ громилъ Пушкина на страницахъ того же «Вѣстника Европы»,—теперь г. Осетровъ выступаетъ его защитникомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ порицателемъ постояннаго сотрудника журнала, Воейкова.

Въ «Сынѣ Отечества» (1820, часть LXIV) была еще любопытная статья, написанная въ видѣ вопросовъ (весьма дѣльныхъ, по сознанію самого Пушкина, изобличающихъ слабость созданія поэмы). Она принадлежала перу одного молодого человѣка, г. Зыкова, диллетанта въ нашей литературѣ, рано похищеннаго смертью. Въ этомъ лаконическомъ допросѣ, занявшемъ двѣ печатныхъ странички, истинно дѣльное перемѣшивается иногда съ весьма капризными и произвольными требованіями: напр., вотъ начало этихъ вопросовъ: «Зачѣмъ Финнъ дожидался Руслана? Зачѣмъ онъ разсказываетъ Руслану свою исторію, и какъ можетъ Руслань въ такомъ несчастномъ положеніи съ жадностію внимать разсказы (или, по-русски, разсказамъ) старца? Зачѣмъ Руслань присвистываетъ, отправляясь въ путь; показываетъ ли это огорченнаго человѣка? Зачѣмъ Фарлафъ съ своею трусостью поѣхалъ искать Людмилы? Иные скажутъ: «Затѣмъ, чтобы упасть въ грязный ровъ: et puis on en rit et cela fait toujours plaisir...» Авторъ статьи, приводя отрывокъ: «О, поле, поле! кто тебя усѣялъ мертвыми костями?» — совершенно справедливо, напр., замѣчаетъ: такъ ли говорили русскіе богатыри? и похожъ ли Руслань, говорящій о травѣ забвенья и вѣчной темнотѣ времени, на Руслана, который чрезъ минуту послѣ восклицаетъ съ важностью сердитой: — «Молчи, пустая голова!» и пр. Или нѣсколько далѣе: «Зачѣмъ будить двѣнадцать спящихъ дѣвъ и поселять ихъ въ какую-то степь, куда, не знаю какъ, за-

ѣхалъ Ратмиръ? Долго ли онъ пробылъ тамъ? Куда поѣхалъ? Зачѣмъ сдѣлался рыбакомъ? Кто такая его новая подруга? Вѣроятно ли, что Русланъ побѣдилъ Черномора и, пришедъ въ отчаяніе, не находя Людмилы, махалъ до тѣхъ поръ мечемъ, что сшибъ шапку съ лежащей на землѣ супруги?»

На эти вопросы не нашелся даже отвѣтить г. Григорій Б—въ, писавшій по этому поводу антикритику. И, дѣйствительно, авторъ не безъ проницательнаго остроумія подмѣтилъ нѣкоторые промахи въ ходѣ и дѣйствіи поэмы, нѣкоторые недостатки въ логическомъ развитіи сюжета, сходясь въ этомъ отношеніи съ мнѣніемъ Карамзина, который говорилъ, что въ поэмѣ «нѣтъ искуснаго расположенія частей... все сметано на живую нитку». Авторъ, коснувшись въ своихъ вопросахъ поэмы Пушкина, не забылъ также и критиковъ, потревожившихъ тѣни Виргилія и Гомера ради граціозной шутки молодого таланта. Такъ онъ спрашиваетъ: «Зачѣмъ, разбирая Руслана и Людмилу, говорить объ Иліадѣ и Энеидѣ? Что есть общаго между ними? какъ писать (и кажется серьезно), что рѣчи Владиміра, Руслана, Финна и пр. не идутъ въ сравненіе съ Омеровыми?» Пушкинъ замѣтилъ, что особенно основательно послѣднее обвиненіе этого допроса. Антикритику онъ называетъ «остроумной и забавной». Мы не станемъ подробно разбирать ее; скажемъ только, что на нѣкоторые вопросы антикритикъ отвѣчаетъ прямо мѣстами изъ поэмы, невѣрно понятыми г. Зыковымъ; таковъ, напр., вопросъ: «Зачѣмъ Финнъ дожидается Руслана?» или: «Какъ можетъ Русланъ въ такомъ несчастномъ положеніи съ жадностью внимать разсказамъ старца?» и пр. На другіе вопросы онъ отвѣчаетъ по собственнымъ остроумнымъ соображеніямъ, которыя подчасъ доходятъ до истинной забавности по своей комической серьезности. Такъ напр., Воейковъ въ своемъ разборѣ похвалилъ сравненіе во второй пѣснѣ Руслана съ пѣтухомъ, «султаномъ курятника спѣсивымъ», а Черномора, похитившаго Людмилу, съ коршуномъ. Г. Зыковъ поставилъ здѣсь такой вопросъ Воейкову: «случалось ли вамъ это видѣть?» Г-нъ

же Григорій Б—въ съ совершенно серьезнымъ видомъ такимъ образомъ разрѣшаетъ сомнѣніе Зыкова. Онъ отвѣчаетъ: «Сравненіе точно справедливо, г. N. N., и г. В. ненапрасно его хвалитъ. Оно нравится весьма многимъ. Случалось ли г-ну В. это видѣть?—Не знаемъ, милостивый государь! Такія рѣдкости не всякому удается видѣть! Сочинитель поэмы говоритъ:

Съ порога хижины моей
Такъ видѣлъ я, средь лѣтнихъ дней,
Когда за курицей трусливой и пр.

Предоставляемъ самому г. В. отвѣчать на сей вопросъ, который не касается до русской словесности. И въ самомъ дѣлѣ, какая до того нужда ученому свѣту, случалось ли г-ну В. видѣть, какъ пѣтухи бѣгаютъ за курицами? это вопросъ совсѣмъ партикулярный».

Таковы были критическія статьи, вызванныя «Русланомъ», и такова была полемика, вызванная этими статьями. Мы не будемъ повторять уже сказаннаго по поводу того и другого. Но считаемъ нужнымъ замѣтить, что мы оттого такъ долго позволили себѣ остановиться на этихъ статьяхъ, что ни одно изъ произведеній Пушкина не вызывало ни такого восторга, ни такого негодованія и что немногимъ, даже геніальнымъ твореніямъ, удавалось производить столько шуму. Мы объяснили выше причины этого шума, на разборѣ же статей хотѣли показать воочію характеръ критическихъ мнѣній начала 20-хъ годовъ. Шумъ, произведенный «Русланомъ», знаменовалъ наступленіе новой эпохи русскаго искусства. Быстрый ходъ распространяющейся славы Пушкина такъ, вѣроятно, озадачилъ бутырскихъ критиковъ, что, повидимому, они начали привыкать къ его поэзіи. Такъ противъ «Кавказскаго Плѣнника» почти совсѣмъ уже не было воплей, Пушкину раздавались почти отовсюду только хвалебные гимны,—даже «Вѣстникъ Европы» присоединился къ похваламъ. Съ «Руслана» каждое изъ произведеній Пушкина только увеличиваетъ кругъ литературнаго волненія, поднятаго начальной поэмой. Все въ послѣдовавшихъ произведе-

ніяхъ было открытіемъ. «Кавказскій Плѣнникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ» изумили и околдовали публику неподдѣльнымъ языкомъ страсти, искренностью чувства, пыломъ молодого сердца, біеніе котораго чувствовалось во всѣхъ ихъ строфахъ, не говоря уже о поэтически-реальной обстановкѣ, въ которой двигались ихъ романтическія событія и байроническіе характеры.

ГЛАВА III.

Благосклонный пріемъ критикой «Кавказскаго Плѣнника».—Мнѣнія Пушкина и его друзей о новой поэмѣ. — Библіографическій указатель статей о «Кавказскомъ Плѣнникѣ».—Статьи кн. Вяземскаго, Плетнева и М. П. (Погодина?).—Хвалебныя рецензіи «Благонамѣреннаго», «Сына Отечества» и «Русскаго Инвалида». — Сходство основныхъ мыслей критиковъ и разногласіе въ частностяхъ.—Любопытные образчики «филологической» критики.

Поэма «Кавказскій Плѣнникъ» была первымъ опытомъ Пушкина создать характеръ, оказавшійся, какъ извѣстно, не вполнѣ удачнымъ. Это было понято раньше всѣхъ самимъ Пушкинымъ, которому принадлежитъ лучшая критика изъ когда либо написанныхъ на «Кавказскаго Плѣнника»,—это было понято вслѣдъ за поэтомъ и тогдашними критиками, справедливо находившими въ лицѣ героя неопредѣленность и противорѣчивость съ самимъ собою, которыя дѣлали его какъ бы безличнымъ. Противники поэта, такъ еще недавно столь ожесточенно обрушившіеся на него за «Руслана», поднявшіе страшную чернильную войну противъ «неизвѣстнаго піиты», теперь, подъ вліяніемъ всеобщаго увлеченія, или молчали, или отозвались какъ-то умѣренно о новомъ произведеніи, ограничившись нѣсколькими совѣтами, какъ измѣнить характеръ Плѣнника для вящшей его пользы, и робкими указаніями на неправильныя выраженія. Какъ будто и не было никогда въ журналахъ Руслановской эпохи критикъ, антикритикъ, рекритикъ, журнальныхъ споровъ, задорной полемики и пр. Отовсюду раздавались хвалебные гимны, ибо и самихъ противниковъ поразила величаво грандіозная картина Кав-

каза, съ его воинственными жителями, воспроизведенная въ первый разъ русскою поэзіей и притомъ съ такою поэтическою вѣрностью и простотою. Характеръ разочарованнаго въ жизни Плѣнника и героизмъ черкешенки, не шумный, но удивительно благородный и нѣжный, привели публику въ восторгъ. Изображеніе нѣсколько мелодраматическаго романа этихъ двухъ дѣйствующихъ лицъ поэмы на фонѣ разсказа о поэтической жизни дикихъ и вольныхъ горцевъ, сливаясь въ одну роскошно-поэтическую картину, произвели поразительное впечатлѣніе. Это вполнѣ понятно, если припомнить, чѣмъ была русская поэзія до Пушкина. «Это была, по словамъ Бѣлинскаго [1]), поэзія до наивности невинная: она гремѣла одами на иллюминаціи, писала нелѣпые стишки къ милымъ и была совершенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дѣйствительностью ея была мечта, а потому ея дѣйствительность была самая аркадская, въ которой невинное блеяніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцѣлуи пастушковъ и пастушекъ и сладкія слезы чувствительныхъ душъ прерывались только не менѣе невинными возгласами: «пою», или «о ты, священна добродѣтель!» и т. п. Даже романтизмъ того времени былъ такъ наивно-невиненъ, что искалъ эффектовъ на кладбищахъ и пересказывалъ съ восторгомъ старыя бабьи сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, вѣдьмахъ, колдунахъ, о дѣвѣ, за ропотъ на судьбу заживо уведенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобные невинные пустяки».

О «Кавказскомъ Плѣнникѣ» мы имѣемъ разныхъ годовъ нѣсколько отзывовъ самого Пушкина, изъ которыхъ можно убѣдиться съ одной стороны въ томъ, что первая попытка созданія характера очень сильно и волновала поэта, и занимала, и радовала, вызывая въ то же время недовольство своей работой. Еще до напечатанія поэмы въ 1821 г. въ письмѣ изъ Кишинева къ В. П. Горчакову мы читаемъ, что поэтъ соглашается съ слишкомъ справедливымъ и слишкомъ снисходительнымъ замѣчаніемъ своего друга. Съ за-

[1]) VIII, стр. 443.

мѣчательно простодушной откровенностью Пушкинъ пишетъ: «характеръ Плѣнника неудаченъ. Это доказываетъ, что я не гожусь въ герои романтическаго стихотворенія. Я въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка... Черкесы, ихъ обычаи и нравъ занимаютъ бо́льшую и лучшую часть моей повѣсти, но все это ни съ чѣмъ не связано и есть истинный hors d'oeuvre. Вообще я своей поэмой очень недоволенъ и почитаю ее гораздо ниже Руслана, хоть стихи въ ней зрѣлѣе»[1]). Такъ же откровенно онъ соглашается съ Н. И. Гнѣдичемъ, приславшимъ свои стилистическія замѣчанія на поэму[2]). Это отвѣтъ на второе письмо Пушкина, гдѣ онъ поручаетъ Гнѣдичу второе изданіе «Руслана» вмѣстѣ съ «Плѣнникомъ». По поводу изданія «Плѣнника», которое поручалось также Гнѣдичу, мы имѣемъ любопытный черновой набросокъ письма, найденнаго въ бумагахъ поэта[3]).

Здѣсь недостатки поэмы такъ зорко опредѣлены самимъ авторомъ, что критикѣ оставалось только развивать его собственныя указанія. Это и было сдѣлано, напр., рецензентомъ «Сына Отечества» (кн. Вяземскимъ), повидимому весьма хорошо знавшимъ мнѣніе Пушкина о своемъ произведеніи. Замѣчательный черновой набросокъ письма къ Гнѣдичу читается такимъ образомъ: «Недостатки этой повѣсти, поэмы или чего вамъ угодно—такъ ясны, что я долго не могъ рѣшиться ее напечатать. Простота плана близко подходитъ къ бѣдности изобрѣтенія, описаніе нравовъ черкесскихъ не связано съ происшествіемъ и есть не иное что, какъ географическая статья или отчетъ путешественника. Характеръ главнаго лица (а всего-то ихъ двое) приличенъ болѣе роману, нежели поэмѣ, да и что это за

---

[1]) VII, 25.
[2]) VII, 33.
[3]) VII, 30.

характеръ? Кого займетъ изображеніе молодого человѣка, потерявшаго чувствительность сердца въ какихъ нибудь несчастіяхъ, неизвѣстныхъ читателю? Его бездѣйствіе, его равнодушіе къ жестокости горцевъ и къ прелестямъ кавказской дѣвы могутъ быть очень естественны, но что тутъ трогательнаго? Легко было бы оживить разсказъ происшествіями, которыя сами собой истекали бы изъ предметовъ. Черкесъ, плѣнившій моего русскаго, могъ быть любовникомъ его избавительницы; мать, отецъ и братья ея могли бы имѣть каждый свою роль, свой характеръ — всѣмъ этимъ я пренебрегъ... Вы знаете, что отеческая нѣжность не ослѣпляетъ меня насчетъ «Кавказскаго Плѣнника», но, признаюсь, я люблю его, самъ не знаю за что: въ немъ есть стихи моего сердца»... Такимъ образомъ, въ этомъ письмѣ Пушкинъ охватываетъ всѣ недостатки своего творенія: онъ указываетъ и на двойственность интересовъ въ поэмѣ, происходящую отъ двойственности сюжета, отчего изображеніе «нравовъ черкесскихъ», не связанное съ происшествіемъ, напоминаетъ географическую статью; онъ сознаетъ «простоту плана, близко подходящую къ бѣдности изобрѣтенія», сознаетъ, какъ можно бы оживить разсказъ «происшествіями», логически развивъ интересныя данныя сюжета, оставленныя поэтомъ въ общихъ намекахъ. Въ 1825 году, въ письмѣ къ А. А. Бестужеву, извѣщая его о скоромъ, предполагаемомъ, но не состоявшемся, выходѣ поэмъ въ свѣтъ, Пушкинъ между прочимъ такъ отзывается о «Кавказскомъ Плѣнникѣ»: «Плѣнникъ зеленъ, и предъ поэзіей Кавказской природы поэма моя — Голиковская проза». Словомъ, то, что было сказано поэтомъ про свое твореніе на другой день, такъ сказать, его рожденія, впослѣдствіи времени повторялось Пушкинымъ при воспоминаніи о Плѣнникѣ, варьируясь на разные лады. Таково, еще болѣе позднее, напр., мнѣніе поэта, высказанное семь лѣтъ спустя послѣ появленія «Кавказскаго Плѣнника»: «Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено

вѣрно»; такова же и послѣдняя замѣтка [1]) о «Кавказскомъ Плѣнникѣ», гдѣ говорится, что онъ «первый неудачный опытъ характера», съ которымъ поэтъ насилу сладилъ. «Онъ былъ принятъ, продолжаетъ Пушкинъ,—лучше всего, что я написалъ, благодаря нѣкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но за то Николай и Александръ Раевскіе и я, мы вдоволь надъ нимъ посмѣялись». Пушкинъ говоритъ, что его поэма была принята лучше всего, что имъ написано. Разборъ критическихъ статей, посвященныхъ «Кавказскому Плѣннику», покажетъ полную справедливость замѣчанія поэта.

О «Кавказскомъ Плѣнникѣ» критическія статьи были напечатаны кн. Вяземскимъ («Сынъ Отечества» 1822 г. 82 № 49; соч., I, 73), Плетневымъ («Соревнователь Просвѣщенія» 1822. № 20, стр. 24—44; соч., I, 68) и М. П. (Погодинымъ?) («Вѣстникъ Европы» 1823, №1, стр. 35); рецензіи явились въ «Благонамѣренномъ» 1822 г. 19, № 36, гдѣ перепечатанъ и отрывокъ изъ поэмы, подъ заглавіемъ: «Воинскія упражненія и игры черкесовъ». Въ «Сынѣ Отечества» 1822 г. 80, № 35, «Русскій Инвалидъ», № 213. Интересенъ отзывъ Карамзина о «Кавказскомъ Плѣнникѣ» (Письма къ Дмитріеву, 337): «Въ поэмѣ либерала Пушкина слогъ живописенъ, я недоволенъ только любовнымъ похожденіемъ. Талантъ дѣйствительно прекрасный, жаль, что нѣтъ устройства и мира въ умѣ, а въ головѣ ни малѣйшаго благоразумія». Само собою разумѣется, что Карамзину, отцу русскаго сантиментализма, не могли нравиться байроническіе порывы молодого поэта. Въ этомъ отношеніи приведенное мнѣніе и характерно.

Тремъ большимъ статьямъ о «Кавказскомъ Плѣнникѣ»—(Плетнева, кн. Вяземскаго и М. Погодина?)—предшествовали три безусловно хвалебныя рецензіи, восторгавшіяся въ общихъ фразахъ и новымъ, необыкновенно интереснымъ содержаніемъ, и безукоризненной поэтической формой поэмы. Всѣ онѣ представляютъ, такимъ образомъ, варьяціи болѣе или менѣе цвѣтисто-фразистыя. Такъ «Благонамѣренный» считаетъ главнѣйшими достоинствами новой поэмы «прекраснѣйшія картины, списанныя съ натуры мастерскою ру-

[1]) V, 121.

кою, естественный и благородный разсказъ, легкую и исправную версификацію». Сказавъ нѣсколько словъ о быстромъ ростѣ таланта «Любезнаго Пѣвца Руслана и Людмилы» и пожалѣвъ въ примѣчаніи, что въ поэмѣ встрѣчаются нынѣшнія модныя слова и выраженія, напр.: привѣтъ, сладострастіе, молодая жизнь, также нѣкоторые излишніе и изысканные эпитеты, рецензентъ въ бѣгломъ очеркѣ сравниваетъ первую поэму Пушкина съ новой, находя преимущество на сторонѣ послѣдней, ибо въ ней, соотвѣтственно содержанію, видно вездѣ какое-то «трогательное уныніе, картины совсѣмъ другого рода, болѣе чувства, болѣе силы, болѣе возвышенной поэзіи». «Сынъ Отечества», съ удовольствіемъ привѣтствуя новое прекрасное произведеніе «легкаго, пламеннаго, краснорѣчиваго пера» пѣвца «Руслана и Людмилы», рекомендуя его всѣмъ любителямъ истинной поэзіи, которые найдутъ «въ семъ небольшомъ, изящномъ стихотвореніи пріятную для себя пищу», говоритъ, что пребываніе поэта «въ піитической странѣ, видѣвшей страданіе Прометея и прибытіе Аргонавтовъ греческихъ, въ странѣ, и нынѣ отличной воинственными, романтическими нравами своихъ жителей, побудило его воспѣть дикія красоты ея, оживить картину Кавказскихъ горъ повѣстію о происшествіяхъ, какія нерѣдко случаются въ тѣхъ мѣстахъ». «Русскій Инвалидъ», начиная свою замѣтку восклицаніемъ о новомъ подаркѣ любителямъ отечественной словесности, говоритъ далѣе, что авторъ, взявъ содержаніемъ для своей поэмы предметы, столь новые и разнообразные, какъ, съ одной стороны, «великолѣпныя картины природы, нерѣдко дикой и угрюмой, но всегда живописной и величественной», а съ другой — изображеніе воинственныхъ жителей его края, народа грубаго и хищнаго, но сохранившаго простоту нравовъ и гостепріимства временъ патріарховъ»,—осыпалъ эти предметы «обильными и прелестнѣйшими цвѣтами своего воображенія». «Сіи-то воспоминанія,—замѣчаетъ рецензентъ,—соединилъ онъ въ одно изящное цѣлое въ простой, но трогательной повѣсти». Рецензентъ, недоумѣвая — отдать ли преимущество описательной

или повѣствовательной части, въ которой изображены столь совершенно и трогательно «противорѣчія страстей, знакомыя сердцу мечты и страданія», — заканчиваетъ свой панегирикъ Пушкину выпиской эпилога поэмы, «полной піитическихъ красотъ всякаго рода».

Всѣ три большихъ статьи сходствуютъ между собою по основнымъ мыслямъ. И Плетневъ, и кн. Вяземскій, и М. П. сходятся въ мнѣніяхъ, что, во-первыхъ, характеръ Плѣнника неудаченъ, означенъ какъ бы слегка, что, во-вторыхъ, Черкешенка изображена гораздо обдуманнѣе и совершеннѣе, чѣмъ Плѣнникъ, что, въ-третьихъ, описанія поэмы, такъ же какъ и стихосложеніе, превосходны, наконецъ, въ-четвертыхъ, что въ общемъ новая поэма Пушкина «должна почесться прелестнымъ цвѣткомъ на Русскомъ Парнассѣ». Плетневъ и кн. Вяземскій говорятъ кромѣ того еще о вліяніи Байрона на созданіе характера героя поэмы, а М. П. пускается въ болѣе или менѣе пространный стилистическій разборъ неудачныхъ стиховъ и неловкихъ, по его мнѣнію, оборотовъ рѣчи. Во всемъ же остальномъ, въ самой сущности приговора надъ поэмой, критики словно сговорились заранѣе, причемъ, разумѣется, въ частностяхъ каждый отнесся къ разбору самостоятельно, оттѣняя ярче и развивая обстоятельнѣе то одну, то другую мысль.

Плетневъ начинаетъ свой разборъ замѣчаніемъ, что повѣсть «Кавказскій Плѣнникъ» написана въ родѣ новѣйшихъ англійскихъ поэмъ, которыя особенно встрѣчаются у Байрона. Въ подобныхъ поэмахъ поэтъ не предается вымысламъ чудеснаго, но, избравъ одинъ случай въ жизни своего героя, ограничивается отдѣлкою картинъ, представляющихся воображенію, смотря по всѣмъ обстоятельствамъ, сопровождающимъ главное дѣйствіе; въ такихъ произведеніяхъ выборъ происшествій, мѣстныя описанія и опредѣленность характера дѣйствующихъ лицъ составляютъ главное. Согласно этимъ тремъ требованіямъ располагается и разборъ «Кавказскаго Плѣнника». Сказавъ, что «происшествіе» въ новой поэмѣ самое простое, и изложивъ въ короткихъ словахъ въ под-

твержденіе этой мысли содержаніе, Плетневъ замѣчаетъ, что самое происшествіе въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» можно было бы сдѣлать и разнообразнѣе, и даже полнѣе, что «ходъ страсти, которая бываетъ изобрѣтательна и неутомима, слишкомъ коротокъ», что разсказъ о Плѣнникѣ остается неполнымъ, а участь послѣдняго «нѣсколько загадочна». Мѣстныя описанія въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» Плетневъ называетъ «совершенствомъ поэзіи», они навсегда останутся въ нашей поэзіи, какъ образцы описаній, среди которыхъ есть просто классическіе; въ нихъ стихотворецъ то отваженъ, то гибокъ, подобно разнообразной природѣ этого дикаго азіатскаго края. Свою мысль Плетневъ иллюстрируетъ двумя выписками, замѣчая, что описаніемъ кавказскихъ горъ, начинающимся стихами: «Великолѣпныя картины! Престолы вѣчные снѣговъ!» и пр. Пушкинъ побѣдилъ Байрона въ описаніи окрестностей Бонниваровой темницы въ «Шильонскомъ Узникѣ». Въ характерѣ Черкешенки Плетневъ видитъ «законченность и образованность»: въ немъ соединилось все, что только могутъ представить воображенію поэта нѣжная сострадательность, трогательное простодушіе и первая невинная любовь; поэтъ ничего не упустилъ, чтобы довершить изображеніе этого простодушнаго и нѣжнаго характера. Наоборотъ, въ характерѣ Плѣнника нельзя найти такой опредѣленности, онъ лицо недоконченное. Въ немъ есть черты, возбуждающія къ нему живое участіе, по которымъ мы составляемъ ясное понятіе о характерѣ человѣка, преданнаго «нѣжной любви къ милому предмету, отвергшему его роковую страсть». Въ этомъ одномъ видѣ Плѣнникъ составилъ бы самое занимательное лицо въ поэмѣ. Но въ другихъ мѣстахъ къ изображенію Плѣнника примѣшаны постороннія и затемняющія его характеръ черты. По этимъ мѣстамъ поэмы воображеніе то представляетъ человѣка, утомленнаго удовольствіями любви, то возненавидѣвшаго порочный свѣтъ и радостно оставляющаго родину, чтобы сыскать лучшій край. Плѣннику благороднѣе было отказаться отъ новой любви, хотя первая любовь его была и отвергнута: тѣмъ

вѣрнѣе онъ заслужилъ бы состраданіе и уваженіе Черкешенки. Теперь же онъ намъ рисуется совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, ибо кто имѣетъ причину признаваться, что онъ не стоитъ восторговъ невинности, тотъ разрушаетъ всякое очарованіе насчетъ своей нравственности. Указанные Плетневымъ недостатки въ поэмѣ Пушкина все-таки не мѣшаютъ критику замѣтить, что критика не можетъ и не должна говорить хладнокровно о подобныхъ произведеніяхъ, потому что они «питаютъ образованный вкусъ, однимъ своимъ появленіемъ уничтожаютъ ложно-прекрасное, очищаютъ поле словесности и разрѣшаютъ шумные толки невѣжества и пристрастія».

Въ статьѣ кн. Вяземскаго оригинально начало, гдѣ онъ говоритъ о бѣдности «пустынной нашей словесности», о появленіи поэмы романтической, не опредѣляя впрочемъ ея, но защищая отъ нападокъ «присяжныхъ приверженцевъ старой Парнасской династіи», которые не понимаютъ, что природа и геній слѣдуютъ въ своихъ твореніяхъ «однимъ вдохновеніямъ смѣлой независимости». Кн. Вяземскому повидимому самому неясенъ вопросъ—что такое романтизмъ, хотя онъ совершенно справедливо отмѣчаетъ несуществованіе словесности, достойной быть выраженіемъ народа «могучаго и мужественнаго», а существованіе только русскаго языка. Поэтому онъ ратуетъ за свободу направленія въ творчествѣ, ибо поприще литературы нашей такъ еще просторно, что, не сбивая никого съ мѣста, можно «предположить себѣ цѣль и безпрепятственно къ ней подвигаться». Хотя приведенныя разсужденія весьма общи и неопредѣленны, какъ и всѣ вообще теоретико-критическіе взгляды кн. Вяземскаго, представляя подчасъ весьма мѣткія отдѣльныя замѣчанія, отдѣльныя остроумныя мысли, но не вытекающія изъ цѣльнаго міровоззрѣнія,—однако важно выраженное въ нихъ мнѣніе о свободѣ поэтическаго творчества. Въ своихъ замѣчаніяхъ о сюжетѣ и о характерахъ кн. Вяземскій всецѣло, какъ мы уже имѣли случай упомянуть, повторяетъ взгляды Пушкина, не развивая, а распространяя и дополняя ихъ. Такъ, напр., онъ жалѣетъ, что

авторъ не приложилъ болѣе изобрѣтенія къ драматической части своей поэмы, замѣчаетъ, что характеръ Плѣнника походитъ на Child-Harold'a Байрона, показывая вмѣстѣ съ тѣмъ, въ чемъ состоитъ новизна этого характера. Кн. Вяземскій такимъ образомъ раскрываетъ сущность характера «Кавказскаго Плѣнника». Онъ говоритъ, что въ Плѣнникѣ замѣчается преизбытокъ силы, жизни внутренней, которая въ честолюбивыхъ потребностяхъ своихъ не можетъ удовольствоваться уступками внѣшней жизни, щедрой для однихъ умѣренныхъ желаній такъ называемаго благоразумія; что необходимыя послѣдствія подобной распри: волненіе безъ цѣли, дѣятельность пожирающая, неприкладываемая къ существенному; что упованія, никогда не совершаемыя и вѣчно возникающія съ новымъ стремленіемъ, должны неминуемо посѣять въ душѣ тотъ неистребимый зародышъ скуки, приторности, пресыщенія, которыя знаменуютъ характеръ Child-Harold'a, Кавказскаго Плѣнника и имъ подобныхъ. Во всѣхъ остальныхъ замѣчаніяхъ кн. Вяземскій сходится и съ Пушкинымъ, и съ другими двумя критиками, говоря, что лицо Черкешенки совершенно поэтическое, что явленіе ея, конецъ—все представляется тайною и что, наконецъ, она, какъ женщина, которая любила, совершила не землѣ свое предназначеніе и жила въ полномъ значеніи этого слова. Кромѣ того, критикъ прибавляетъ, что живопись «настоящей повѣсти» превосходна, что стихосложеніе отличное и пр., и пр.

Пересказавъ съ забавнымъ лаконизмомъ содержаніе поэмы, авторъ статьи въ «Вѣстникѣ Европы» особенно хвалитъ характеръ Черкешенки, потому что онъ отдѣланъ «мастерски». «Она простосердечна, тверда, страстна; одно мгновеніе рѣшаетъ навѣки судьбу ея; въ ней видно какое-то дикое великодушіе». Словомъ, «Черкешенка есть истинная дочь Кавказа и портретъ ея долженъ висѣть подлѣ портрета Душеньки въ галлереѣ красавицъ, созданныхъ русскими стихотворцами».

Характеръ Плѣнника М. П. находитъ непонятнымъ и страннымъ, потому что въ немъ замѣчаются противорѣчія. Эти про-

тиворѣчія весьма внимательно разработаны послѣднимъ критикомъ. Критикъ не знаетъ, что составляетъ основу этого характера: любовь или желаніе свободы; повидимому, можно предполагать, что поэтъ больше хотѣлъ выставить послѣднее. Но отвѣтъ Плѣнника Черкешенкѣ и нѣкоторыя другія мѣста поэмы показываютъ, что, и наслаждаясь свободой, Плѣнникъ былъ бы равно несчастливъ. Если же съ свободою Плѣнникъ не получитъ счастія, то для чего онъ такъ жаждетъ ея? Плѣнникъ тоскуетъ, что умретъ вдали отъ береговъ желанныхъ, гдѣ живетъ его прежняя любовь; но вѣдь раньше онъ самъ оставилъ ихъ и полетѣлъ за веселыми призраками свободы. По крайней мѣрѣ, Пушкинъ, замѣчаетъ далѣе М. П.,—могъ бы привести причиною желанія свободы любовь къ отечеству. «Зачѣмъ не влилъ онъ, спрашиваетъ критикъ,—въ своего Плѣнника этого прекраснаго чувства: хотя страдать, но по родинѣ?» Холодность Плѣнника къ благодѣяніямъ Черкешенки во всѣхъ отношеніяхъ неизвинительна. Слова, сказанныя Плѣнникомъ о себѣ: «твой другъ отвыкъ отъ сладострастья»—показываютъ, что онъ смотрѣлъ на любовь не съ благородной стороны (эти стихи, замѣчаетъ критикъ-пуристъ, напоминаютъ соблазнительности, коими наполнена первая поэма Пушкина). Плѣнникъ могъ бы затмить совершенно свою первую любовь и вмѣстѣ съ нею окаменить сердце къ подобнымъ чувствамъ и въ будущемъ; тогда сохранилось бы по крайней мѣрѣ единство во всемъ характерѣ, и свобода была бы его основою.

Вотъ любопытные образчики филологическихъ погрѣшностей, замѣченныхъ строгимъ блюстителемъ чистоты русскаго языка. Въ самомъ способѣ стилистической критики мы находимъ значительное улучшеніе: здѣсь уже нѣтъ того глумливаго полемическаго задора, претензій на ядовитую иронію, попытокъ грубой пародіи на неудачныя, по мнѣнію критика, выраженія. Теперь замѣчанія дѣлаются скромно, сопровождаются краткими комментаріями, что, напр., «этого выраженія не слѣдовало употреблять», «это выраженіе не ясно, не лучше ли сказать такъ» и т. п., хотя все еще эти замѣчанія не чужды подчасъ смѣхотворнаго элемента. Напр.,

на стихи: «Въ аулѣ на своихъ порогахъ черкесы праздные сидятъ» критикъ замѣчаетъ: «На своихъ порогахъ—значитъ, что черкесы сидятъ по домамъ своимъ каждый у себя. Здѣсь же они представляются бесѣдующими вмѣстѣ». Или вотъ еще нѣсколько подобныхъ же примѣровъ филологическаго остроумія критика: «Предъ нимъ пустынныя равнины лежатъ зеленой пеленой». — Пелена употребляется болѣе въ отношеніи къ тому, что подъ нею находится... «Одѣлись пеленою тучъ Кавказа спящія вершины».— Не лучше ли накрылись? Иначе горъ не будетъ видно... «Сѣдой потокъ предъ нимъ шумитъ».—Сѣдой—прилагательное неприличное.—«На берегъ пѣнистый выноситъ». Что такое берегъ пѣнистый?..—«И часто игры воли праздной игрой жестокой смѣнены».—Игры воли праздной—мудреное выраженіе.—«Скрываться рада я въ пустынѣ съ тобою, царь души моей»... Послѣднее привѣтствіе очень пошло... «Любви тоска въ печальной жизни излилася, уснувъ безчувственной душой».—Безчувственная душа не имѣетъ нужды въ засыпаніи и пр. Не смотря, однако, на нѣкоторыя замѣчанія о неправильности, вольности и пр., послѣдній критикъ не отстаетъ отъ первыхъ двухъ въ заключительныхъ похвалахъ, заявляя, что эти неправильности ничего не значатъ: «языкъ въ Плѣнникѣ отборный, стихи легкіе, чистые; — вѣнокъ изъ кавказскихъ цвѣтовъ у Пушкина неотъемлемъ».

ГЛАВА IV.

Единодушныя похвалы критиковъ «Бахчисарайскому Фонтану».—Библіографическій указатель статей. — Критическія статьи и замѣтки «Литературныхъ Листковъ», «Сына Отечества», «Дамскаго Журнала», «Русскаго Инвалида», «Новостей Литературы» и др. журналовъ и газетъ. — Горячая полемика, вызванная предисловіемъ кн. Вяземскаго къ поэмѣ и имѣвшая предметомъ вопросы о классицизмѣ и романтизмѣ въ русской литературѣ.— Опредѣленія романтизма, сдѣланныя М. Дмитріевымъ, кн. Вяземскимъ, Ѳ. Булгаринымъ, Полевымъ, Марлинскимъ, Надеждинымъ, Бѣлинскимъ. — Мнѣнія Пушкина о романтизмѣ.— Полемика кн. Вяземскаго съ М. Дмитріевымъ. — Историко-литературное значеніе этой полемики.

Если всѣ оттѣнки мнѣній, раздѣлявшихъ нашу литературу, слились при появленіи «Бахчисарайскаго фонтана» въ одну похвалу неслыханной еще дотолѣ гармоніи языка, небывалой у насъ роскоши стиховъ и описаній,—то, съ другой стороны, статья кн. Вяземскаго, помѣщенная передъ поэмой подъ заглавіемъ: «Вмѣсто предисловія. Разговоръ между Издателемъ и Классикомъ съ Выборской стороны или Васильевскаго острова» возбудила сильную и горячую полемику. Статья кн. Вяземскаго заключала въ себѣ какъ бы напередъ опроверженіе всѣхъ критикъ классической партіи, имѣвшей тогда еще у насъ сильныхъ представителей. Въ самомъ заглавіи статьи, написанной вообще очень остроумно, заключался колкій намекъ. Чтобы понять его, надо вспомнить о многочисленныхъ псевдонимахъ, появлявшихся тогда безпрестанно въ журналахъ. Критики, большею частію, скрывались подъ фирмами: жителей Бу-

тырской слободы, Тентелевой деревни, Галерной гавани, Лужницкихъ старцевъ и пр. Страницы повременныхъ изданій испещрены именами: Вередиковыхъ, Ферулиныхъ, Аристотелидевыхъ и пр. Это былъ вѣкъ псевдонимовъ, никого, впрочемъ, не скрывавшихъ. Вкратцѣ обозрѣвъ критическіе отзывы о самой поэмѣ, мы разскажемъ подробно весь ходъ этой борьбы, имѣющей историко-литературный интересъ, — борьбы, которая держала въ напряженномъ вниманіи всю публику, еще занимавшуюся тогда явленіями отечественной словесности, и вовлекла наконецъ въ полемику самого Пушкина, написавшаго изъ Одессы въ журналѣ «Сынъ Отечества» [1]) письмо къ издателю.

Критическія статьи и замѣтки о «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» были помѣщены въ слѣдующихъ журналахъ: въ «Литературныхъ Листкахъ» 1824 г. № 4 («Новости Литературы»), въ «Сынѣ Отечества» 1824 г., ч. 92. № 12 и № 13, въ «Дамскомъ Журналѣ» 1824 г. ч. 5, № 6, и опять въ «Литературныхъ Листкахъ» 1824 г., № 7 (статья Олина подъ заглавіемъ: «Критическій взглядъ на «Бахчисарайскій Фонтанъ»; эта статья снабжена примѣчаніемъ Булгарина, который, защищая романтизмъ, предлагаетъ для него свое опредѣленіе). Отвѣтъ на статью Олина помѣщенъ въ «Русскомъ Инвалидѣ» 1825 г., № 52. Кромѣ того нужно упомянуть, что въ «Новостяхъ Литературы» 1824 г., №№ 11 и 12 помѣщена статья: «О поэмахъ А. С. Пушкина и въ особенности о «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ». Второе изданіе поэмы вызвало замѣтки въ «Московскомъ Телеграфѣ» 1824 г. ч., 18, и въ «Сѣверной Пчелѣ», № 152; отвѣтъ на послѣднюю («Отвѣтъ на письмо Порфирія Фалалеича Байскаго») — въ «Славянинѣ» 1828 г. № 13. О третьемъ изданіи см. «Литературную Газету» 1830 г., № 22.

Разговоръ кн. Вяземскаго вызвалъ нѣсколько полемическихъ статей. М. А. Дмитріевъ напечаталъ въ «Вѣстникѣ Европы» 1824 г., № 5, «Второй разговоръ между Классикомъ и издателемъ «Бахчисарайскаго Фонтана», по своимъ выводамъ противоположный первому; кн. Вяземскій отвѣчалъ статьею: «О литературныхъ мистификаціяхъ» («Дамскій журналъ», № 7, и отдѣльной брошюрой); Дмитріевъ напечаталъ въ «Вѣстникѣ Европы», № 7, свой «Отвѣтъ на статью о литературныхъ мистификаціяхъ»; кн. Вяземскій помѣстилъ въ «Дамскомъ Журналѣ», № 8, «Разборъ второго разговора», вызвавшій новыя возраженія Дмитріева («Вѣстникъ Европы», № 8), на которыя кн. Вяземскій отвѣчалъ статьею «Мое послѣднее слово» («Дамскій Журналъ», № 9). Пушкинъ самъ считалъ «Бахчисарайскій Фонтанъ» слабѣе другихъ своихъ произведеній. Въ критическихъ замѣткахъ 30-го года мы читаемъ: «Бахчисарай-

[1]) 1824 г. № 18.

скій Фонтанъ слабѣе Плѣнника и, какъ онъ, отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ. Сцена Заремы съ Маріей имѣетъ драматическое достоинство... Ал. Раевскій хохоталъ надъ слѣдующими стихами:

Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безумiемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ etc.

Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами и пр. Все это смѣшно, какъ мелодрама». Карамзинъ (письмо къ Дмитріеву, 370—371) находилъ, что въ поэмѣ «слогъ живъ, черты прекрасныя, но въ цѣломъ не довольно силы и связи. Объ евнухѣ слишкомъ много; рѣчь Заремы слаба, кромѣ пяти или шести стиховъ; окончаніе хорошо».

За что же критики хвалили «Бахчисарайскій Фонтанъ», за что порицали это юношеское, благоухающее твореніе поэта? Въ опредѣленіи главнаго недостатка въ основѣ всѣ они сходятся съ Пушкинымъ, который сознавалъ въ своей поэмѣ отсутствіе плана; очарованные прелестью формы, всѣ критики разсыпались въ самыхъ лестныхъ для поэта сравненіяхъ, похвалахъ, въ благодарности за прекрасный подарокъ, высказывали надежды на блестящее будущее, открывающееся поэту, и пр.

Одни называли Пушкина «юнымъ Саади», который преподнесъ публикѣ цвѣтокъ своей роскошной музы, дышащій свѣжестью долинъ своихъ; говорили вмѣстѣ съ тѣмъ, что его произведеніе — «фонтанъ, бьющій розовою водой, которая разливаетъ благоуханіе въ чистѣйшей атмосферѣ прелестнаго Востока и утоляетъ жажду чувства и воображенія»; — защищали заранѣе отъ нападокъ классиковъ-старовѣровъ, замѣчая, что ихъ упорство въ непризнаніи достоинствъ произведенія, родъ котораго не былъ извѣстенъ Аристотелю, но который нравится всему свѣту и внутренно вѣроятно самимъ классикамъ,—что ихъ упорство напоминаетъ упорство комическаго доктора, желающаго лучше умереть по правиламъ медицины, нежели наперекоръ имъ выздоровѣть [1]).

[1]) «Дамскій Журналъ», 1824 г., 5, № 6.

Другіе говорили, что произведеніе, въ которомъ каждый стихъ, каждая черта обворожаютъ и заставляютъ забываться, похоже на «прелестный и любимый предметъ», недостатки котораго, видимые холоднымъ разсудкамъ, заглушаются голосомъ сердца [1]). Третьи, отстраняя отъ себя разсужденія о слогѣ и стихахъ «нашего Минестреля», у котораго слогъ вездѣ «живъ, блистателенъ и правиленъ», а «версификація всегда музыкальна»,—переходятъ къ перечисленію удачныхъ и неудачныхъ картинъ, разсматриваютъ планъ поэмы и разбираютъ характеры, замѣчая, что они созданы не безъ вліянія байронизма. При этомъ одинъ изъ критиковъ сознается, что во время чтенія отъ него ускользали недостатки поэмы: прелесть поэзіи и слога, какъ двѣ могущественныя волшебницы, околдовали его. Когда же, наконецъ, онъ, изумленный, очнулся отъ своего столбняка очарованія,—ему долго не хотѣлось вѣрить, «какъ могутъ таиться пороки подъ небесною мелодіей лица красавицы». Но эти пороки несомнѣнно таятся въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», ибо въ планѣ этой поэмы нѣтъ узла или завязки, нѣтъ возростающаго интереса, нѣтъ развязки. Критикъ сознается, что онъ долго не могъ догадаться по концу, что Зарема убила Марію и что Гирей велѣлъ послѣ сего утопить Зарему, ибо для этого нѣтъ ни «малѣйшихъ признаковъ». Такова была привычка къ прозаичности прежней поэзіи, что слишкомъ поэтическій и потому уже слишкомъ ясный оборотъ казался темнымъ и непонятнымъ.—Критикъ не находитъ также движенія въ повѣсти, потому что ханъ съ той самой минуты, какъ пошелъ въ гаремъ, совершенно исчезаетъ «со сцены дѣйствія, такъ сказать, еще не развернувшагося»; остаются на сценѣ только два лица—Марія и Зарема, изъ которыхъ дѣйствуетъ только одна Зарема, и то весьма слабо, остальныя же лица «выставлены единственно въ разсказѣ». Далѣе критикъ порицаетъ, что ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ не имѣетъ характера. Критикъ не доказываетъ этого,

---

[1]) «Литературные Листки» 1824 г., № 4.

уклончиво отдѣлываясь замѣчаніемъ, что просто трудно даже отвѣчать на вопросъ: «какой характеръ Гирея, Заремы и Маріи?» Однако, въ лицѣ Заремы онъ безсознательно признаетъ характеръ, ибо нѣкоторыя поступки ея, по его мнѣнію, подлежатъ строгой критикѣ. Такъ, напримѣръ, критикъ находитъ неприличнымъ, что обиженная любовница-азіятка хочетъ возвратить свои права на любовь Гирея кинжаломъ, что ея просьбы и угрозы не производятъ никакого дѣйствія, ибо деспотъ, разлюбивъ однажды, въ другой разъ уже не полюбитъ тотъ же самый предметъ, и пр. Такимъ образомъ, критикъ, обнаруживая поразительное отсутствіе всякаго психологическаго чутья, удивляетъ сколько своею неосновательною близорукостью, столько же безпричинной строгостью приговора [1]).

Четвертые, наконецъ, съумѣли найти идею поэмы, что можетъ считаться рѣдкостью среди тогдашнихъ строгихъ цѣнителей и судей, которые, обыкновенно, бывали поглощены слогомъ, версификаціей, сюжетомъ, развитіемъ его, и за всѣмъ этимъ, увлекаясь разсматриваніемъ отдѣльныхъ деревьевъ, не могли, по ограниченности кругозора, дать себѣ отчетъ въ цѣломъ лѣсѣ. Идея произведенія, по мнѣнію критика,—«пылкая любовь, разорвавшая узы нравственныхъ существъ». Опредѣленіе довольно безтолковое и туманное, похожее на лепетъ младенцевъ, но все-таки опредѣленіе, встрѣчающееся въ первый разъ при оцѣнкѣ произведеній Пушкина. Поэтому мы и отмѣтили его, какъ первую попытку такого отношенія къ дѣлу, въ которомъ сказывается, несмотря на дѣтскость пріемовъ, стремленіе къ критической серьезности и даже, пожалуй, къ нѣкоторому глубокомыслію «Развитіе одной идеи въ одеждѣ вещественной, говоритъ критикъ,—принимаетъ опредѣленный видъ, и открываетъ дѣйствіе въ поэмѣ», которое полно, но ослаблено «средствами». Эти «средства» —подробности поэмы, которыми авторъ увлекся, проливъ на нихъ избытокъ творческихъ силъ дарованія. Опи-

[1]) «Литературные Листки», 1824, г., № 7.

санія, которымъ принесены «немаловажныя жертвы на счетъ другихъ красотъ», осуждаютъ поэму на «неподвижность дѣйствія». Тѣмъ не менѣе критикъ вынесъ изъ чтенія поэмы, такъ же какъ всѣ другіе его собратья, чарующее впечатлѣніе: ему кажется, что поэма есть переложеніе въ стихи бесѣды поэта съ «задумчивой граціей», что стихи проникнуты духомъ восточныхъ обычаевъ и цвѣтутъ азіатской роскошью, которая, впрочемъ, подчинена «законамъ образованнаго вкуса», что наконецъ, «покровъ унынія» накинутый на цѣлое твореніе, составляетъ плѣнительную противоположность съ живыми красками подробностей, раскрывающихъ блестящіе цвѣты свои подъ полупрозрачною пеленою. «Бахчисарайскій Фонтанъ», по справедливому замѣчанію критика, написанъ подъ сильнымъ вліяніемъ Байрона, который служилъ образцомъ для Пушкина какъ въ созданіи характеровъ, такъ и «въ наружной формѣ» произведенія, напоминающаго съ этой стороны «Гяура». Вліяніе Байрона на характеры «Бахчисарайскаго Фонтана» критикъ, впрочемъ, признаетъ съ оговоркой, что у Пушкина они «разнообразнѣе въ идеяхъ», что Пушкинъ чаще нежели Байронъ совѣтуется со вкусомъ Корреджіо; на характерахъ же Байрона можно всегда различить «слѣды грознаго величія», оставленные какъ будто бы рѣзцомъ М. Анжела. Далѣе этихъ общихъ замѣчаній въ сравнительномъ разборѣ двухъ поэтовъ критикъ не идетъ, ограничиваясь только сопоставленіемъ бьющей въ глаза разницы.

Разбирая характеры, критикъ находитъ, что лучше всего создана Зарема, что въ ней развита осязаемо идея пламенной страсти, что она не живетъ внѣ любви, что въ ней побѣждена сущность женщины сущностью страсти, отъ которой она и гибнетъ. Ханъ Гирей составленъ по героямъ Байрона настолько чувствительно, что «самыя движенія Гирея, самыя положенія подражательны». Если критикъ «Литературныхъ Листковъ», г. Олинъ, находилъ, что окончаніе повѣсти не заключено чѣмъ-то еще нужнымъ, то, наоборотъ, критикъ «Сына Отечества» въ окончаніи видитъ великое искусство, ибо «иногда легкій туманъ способ-

ствуетъ выразительности болѣе нежели свѣтъ»; статуя въ честь Пенелопы, представлявшая идеалъ стыдливости, была подъ покрываломъ. Поэтъ, намекая только о смерти Маріи, «пожертвовалъ возможностью дарованія для успѣховъ искусства», ибо наше очарованіе разсѣялось бы, еслибы онъ представилъ робкую красавицу подъ кинжаломъ грузинки, негодованіе изгнало бы изъ души всѣ прочія чувства, возбужденныя поэмой: картина насильственной смерти почти никогда или очень рѣдко принимаетъ одежду изящества. Пушкинъ же представляетъ читателю право по даннымъ чертамъ окончить картину, поступая вполнѣ достойно примѣра греческихъ трагиковъ. Такъ поступилъ Еврипидъ въ разсказѣ о смерти царевны въ трагедіи Поликсена.

Мы не будемъ разбирать ни замѣчаній на «Бахчисарайскій Фонтанъ» кн. Вяземскаго, въ которомъ онъ считаетъ особенными достоинствами поэмы «цвѣтъ мѣстности» и, наперекоръ другимъ критикамъ, «обильное движеніе разсказа, зависящее отъ дѣятельности дарованія», причемъ слогъ придаетъ ему «крылья или гирями замедляетъ ходъ его»;—ни примѣчанія г. Булгарина къ статьѣ Олина, въ которомъ Булгаринъ распространялся о романтизмѣ (объ этомъ мы скажемъ ниже), мимоходомъ роняя незначительныя мысли о «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ»,—ни, наконецъ, о статьѣ, помѣщенной въ «Новостяхъ Литературы»; въ ней много хвалебно-пышныхъ фразъ, много цитатъ, длинный пересказъ содержанія, много патріотическихъ желаній, чтобы поэтъ воспѣлъ либо Іоанна Грознаго, либо Ермака, либо Владиміра Св., создавъ эпопею на манеръ твореній Гомера и Виргилія, — но мало дѣла. Вся сущность разбора «Новостей Литературы» умѣщается въ словахъ, что въ поэмѣ «планъ не хитрый», не многосложный, но искусно развернутый; «ходъ легкій, связь естественная, занимательность часъ отъ часу возростаетъ, характеры привлекаютъ, положенія трогаютъ». Коротко и неясно, хотя эта неясность въ сознаніи литературнаго значенія новой поэмы не мѣшаетъ критику называть ее «алмазомъ, столь прелестно обдѣлан-

нымъ». — Обозрѣвъ критическіе отзывы о «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», мы переходимъ къ изложенію весьма интереснаго спора, возбужденнаго предисловіемъ кн. Вяземскаго къ поэмѣ,—спора, обрисовавшаго намъ въ нѣкоторой степени взгляды классиковъ и романтиковъ на романтизмъ, на предшествовавшій ходъ русской литературы, на связь литературнаго прошлаго съ настоящимъ и пр.

Споръ о классицизмѣ и романтизмѣ былъ занесенъ къ намъ изъ Франціи и по дорогѣ потерялъ свою серьезную, ученую сторону. Начало для дальнѣйшихъ преній было положено нѣмцами еще въ прошломъ столѣтіи при посредствѣ сравнительной критики древнихъ, восточныхъ и староевропейскихъ литературъ. Въ Германіи эта критика очистила путь двумъ самостоятельнымъ творцамъ—Гёте и Шиллеру. Во Франціи начали поговаривать, что «пьяный дикарь Шекспиръ» неизмѣримо выше накрахмаленнаго Расина, что Шлегель знаетъ объ искусствѣ болѣе Лагарпа, что всѣ хваленые французскіе теоретики безбожно оклеветали искусство. Во Франціи, по словамъ Бѣлинскаго [1]), «Шатобріанъ былъ крестнымъ отцомъ, а г-жа Сталь—повивальною бабкою юнаго романтизма»; Викторъ же Гюго съ толпою другихъ талантовъ воплотили новыя идеи въ своихъ произведеніяхъ. Въ Англіи Байронъ и Вальтеръ Скоттъ раздавили своими твореніями школу Попа и Блера, представителями же романтизма въ Польшѣ явился Мицкевичъ, въ Италіи—Манцони, въ Даніи — Эленшлегеръ, въ Швеціи — Тегнеръ. На Западѣ романтизмъ былъ возвращеніемъ къ самобытности и народности, онъ былъ явленіемъ роднымъ, корни его обрѣтались въ старой и новой исторіи Запада. Въ высшемъ своемъ развитіи, олицетворяясь въ титаническихъ характерахъ Рене, Манфреда, Обермана и др., онъ отвѣчалъ общему состоянію умовъ послѣ французской революціи, въ немъ отражались дѣйствительно переживаемые психическіе моменты тогдашняго поколѣнія, которое безъ труда находило

[1]) Бѣлинскій, I, стр. 81.

въ этихъ типахъ свой же безотрадный анализъ, отчаянныя усилія придти къ какому нибудь вѣрованію, ту же безочарованность, ту же томившую ихъ скуку. Убѣгая отъ философіи и раціонализма, романтизмъ находилъ забвеніе ихъ въ воспоминаніяхъ о среднихъ вѣкахъ, влюблялся въ народныя преданія, повѣрія, суевѣрія и сказанія, умилялся передъ пѣснями труверовъ и миннезингеровъ, утѣшался фантастическими представленіями средневѣковыхъ народныхъ массъ. Эти воспоминанія помогали переносить ему тяжесть жизни, въ переработкѣ средневѣковаго матерьяла на особый ладъ люди искали тамъ свѣжести чувствъ, живыхъ вѣрованій, пищи для фантазіи, согрѣвающей теплоты религіозныхъ идеаловъ, — словомъ, всего того, чего имъ недоставало. На Западѣ романтизмъ былъ, такимъ образомъ, явленіемъ бытовымъ.

У насъ же въ Россіи романтизмъ явился въ формѣ новаго эстетическаго ученія, новой художнической теоріи, потому что въ нашей общественной средѣ не существовало никакихъ поводовъ ни для возникновенія его въ формѣ Манфредовъ, Рене и пр., ни для процвѣтанія въ смыслѣ обновленія преданій. Тогда еще старая русская народная жизнь лежала въ сторонѣ, никому невѣдомая и никѣмъ не изслѣдованная. Романтизмъ, дѣйствительно, незамѣтно впослѣдствіи времени подвелъ Пушкина къ народной поэзіи; но не ея слабый, никѣмъ еще не распознаваемый голосъ могъ участвовать въ призывѣ новаго ученія къ себѣ на помощь. Изъ живого явленія, какимъ романтизмъ былъ на Западѣ, у насъ онъ сдѣлался школьнымъ вопросомъ и, принявъ обликъ схоластической теоріи, нашелъ себѣ безчисленныхъ учителей, комментаторовъ, толкователей. Недостатокъ почвы и ясно-сознаннаго содержанія, ощущаемый въ большей части статей этой эпохи по предмету, раздѣлившему литературу на двѣ враждебныя партіи,—превосходно объясняется тѣмъ, что къ намъ перешли одни опредѣленія романтизма изъ вторыхъ рукъ, изъ Франціи, а первоначальная работа науки, которая могла объяснить сущность дѣла, была пренебрежена. Пониманіе сущ-

ности романтизма, какъ мы увидимъ ниже, не давалось русскому міру: однако, нельзя отрицать жизненнаго значенія романтизма и у насъ. Для извѣстной доли литературы двадцатыхъ годовъ онъ былъ призывомъ къ жизненной борьбѣ, а не отбоемъ или отступленіемъ отъ нея. Романтизмъ освобождалъ писателей отъ гнета условныхъ правилъ творчества, отъ стѣснительныхъ школьныхъ предразсудковъ относительно значенія образцовъ отечественной словесности. Съ появленіемъ романтизма возникаетъ у насъ предчувствіе о новыхъ неоффиціальныхъ путяхъ жизненной и творческой дѣятельности. Подъ вліяніемъ романтизма исповѣдь личности получила интересъ политическаго дѣла, но подъ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы эта исповѣдь была отраженіемъ задушевныхъ стремленій, страданій и надеждъ другихъ людей. Это движеніе въ пользу личности ко времени Пушкина и подъ его вліяніемъ выросло до того, что въ концѣ измѣнило понятіе о литературѣ. Для насъ освобожденіе отъ господства одъ, высокопарныхъ поэмъ и псевдо-народныхъ патріотическихъ трагедій и обращеніе къ частному воззрѣнію, частному горю, частной жалобѣ было огромнымъ шагомъ впередъ. Кромѣ того, нужно отмѣтить весьма важную и плодотворную сторону романтической школы — это ея космополитизмъ, сказывавшійся въ равной степени вниманія къ проявленіямъ человѣческаго духа въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и открывавшій школѣ цѣлый міръ предметовъ для вдохновенія, фантазіи и мысли. Благодаря романтизму и вліянію Шекспира, открылся впервые разнообразнѣйшій русскій міръ съ самобытными чертами нравовъ, понятій и представленій. По общему приговору, Пушкинъ увѣровалъ въ свое призваніе вести романтическую школу въ своемъ отечествѣ, какъ передовой ея дѣятель, на высоту, какая ей будетъ подъ силу, и онъ дѣйствительно первый подошелъ къ русскому міру съ поэтическимъ чутьемъ его дѣйствительнаго содержанія.

Теоретическое пониманіе романтизма, высказавшееся въ критикѣ, носило совершенно произвольный характеръ, смотря по случайностямъ личныхъ впечатлѣній каждаго автора или

критика; каждый изъ нихъ предлагалъ опредѣленіе романтизма на основаніи бросавшихся въ глаза признаковъ и подробностей. Такъ, для однихъ онъ былъ накопленіемъ этнографическихъ чертъ и народныхъ выраженій въ произведеніи, для другихъ—тонкимъ до мелочей психическимъ анализомъ характеровъ, для третьихъ—подробнымъ изложеніемъ неуловимыхъ оттѣнковъ мысли и ощущеній, для большинства—проявленіемъ необузданной фантазіи, которая пренебрегаетъ всѣми условіями искусства. Такъ, напр., критикъ «Вѣстника Европы» [1]) М. Дмитріевъ объясняетъ романтизмъ своенравіемъ мысли, скучающей положительными законами искусства, а сущность его смѣсью «мрачности съ сладострастіемъ, быстроты разсказа съ неподвижностью дѣйствія, пылкостью страстей съ холодностью характеровъ»; притомъ, у плохихъ подражателей новой, романтической школы критикъ отмѣчаетъ ту особенность, что «части картинъ разбросаны, несоотвѣтственны одна другой и неокончены, чувства неопредѣленны, языкъ теменъ». Кн. Вяземскій въ своемъ «Разговорѣ» полагалъ романтизмъ въ соблюденіи мѣстныхъ красокъ, couleur locale, тогда сильно прославляемомъ современными французскими эстетиками. Были у насъ романтики, восхищавшіеся эпопеями Хераскова, составившіе особый отдѣлъ классическихъ романтиковъ, представителемъ которыхъ сдѣлался журналъ кн. В. Одоевскаго: «Мнемозина»; были такіе романтики, которые упрекали Жуковскаго за наклонность его къ повѣрьямъ, за мечтательность и туманность его поэзіи. Таковъ, напр., авторъ статьи: «О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической въ послѣднее десятилѣтіе» [2]); онъ, будучи романтикомъ, осуждалъ элегіи вообще и элегіи Пушкина въ особенности, какъ мелочный родъ поэзіи, не выдерживающій сравненія съ пареніемъ оды. Мѣриломъ художническаго достоинства обоихъ родовъ онъ взялъ восторгъ и пришелъ къ заключенію, что

---

[1]) «Вѣстн. Евр.» 1824 г., № 4.
[2]) «Мнемозина» 1824 г.

въ одѣ гораздо больше поэзіи, чѣмъ въ элегіи. Такъ, напр., Ѳ. Булгаринъ въ примѣчаніи къ статьѣ Олина [1]) не признаетъ никакого рода поэзіи, ни классической, ни романтической, говоря, что всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго, что для дарованія должна быть одна школа, одинъ образецъ — природа. Въ дикихъ и разнообразныхъ красотахъ природы хотя и нѣтъ связнаго плана, но есть гармонія, это взаимное согласіе и соотвѣтственность разнородныхъ предметовъ. Романтическій поэтъ, такъ сказать, уловляетъ, подслушиваетъ природу въ ея дѣйствіи, но не вовлекаетъ ее въ сферу искусства. Онъ не заботится объ очертаніи полнаго характера, но изображаетъ отличительныя черты, изъ которыхъ читателю представляется составить цѣлое въ своемъ воображеніи. Въ поэзіи романтической (которую Булгаринъ называетъ природною) должно искать не плана, но общей гармоніи или характера въ цѣломъ: не полнаго очертанія характеровъ, но душевныхъ движеній, заимствующихъ характеръ. Такимъ образомъ, необходимыя черты романтической поэзіи «суть общее согласіе въ цѣломъ и живое изображеніе душевныхъ движеній, все вмѣстѣ трогающее сердце и впечатлѣвающееся въ памяти».

Бестужевъ (Марлинскій) говоритъ, что мы живемъ въ вѣкъ романтизма, который является потребностью вѣка, жаждой ума народнаго, зовомъ души человѣческой, что «романтизмъ есть стремленіе безконечнаго духа человѣческаго выразиться въ конечныхъ формахъ» [2]). Наконецъ въ «Московскомъ Телеграфѣ» [3]) Полевой отстаиваетъ право генія и таланта творить наперекоръ теоріямъ и поясняетъ новое направленіе тѣмъ высокимъ наслажденіемъ, «въ которомъ человѣкъ, упоенный очаровательнымъ восторгомъ, не можетъ, не смѣетъ дать отчетъ самому себѣ въ своихъ чувствахъ» и прибавляетъ при этомъ, что «въ

---

[1]) «Литературные Листки», № 7.
[2]) Полное собраніе сочин., ч. XI, стр. 256.
[3]) «Московскій Телеграфъ» 1825 г., № 5.

неопредѣленномъ, неизъяснимомъ состояніи сердца человѣческаго заключена и тайна такъ называемой романтической поэзіи». Съ другой стороны тотъ же «Московскій Телеграфъ», какъ бы издававшійся для романтизма, понималъ его какъ противоположность псевдо-классицизму, т. е. какъ нарушеніе правилъ условныхъ формъ классицизма. Такъ, кто, напр., въ драмѣ переносилъ безпрестанно дѣйствіе изъ одного мѣста въ другое, кто на нѣсколькихъ страницахъ сосредоточивалъ событіе, совершившееся въ продолженіе не одного десятка лѣтъ, число актовъ драмы своей не хотѣлъ ограничивать завѣтною суммою пяти, а дѣйствующимъ лицамъ въ ней позволялъ быть людямъ всякаго званія, тотъ считался ультра-романтикомъ. Иллюстраціей такихъ воззрѣній на романтизмъ могутъ служить драматическія издѣлія самого Полевого. Его драмы—сколки и рабскія копіи только съ другихъ образцовъ, въ нихъ видна способность передразниванія и смѣлаго заимствованія,—словомъ, тѣ качества, которыя Полевой ставилъ въ непростительный грѣхъ псевдоклассическимъ поэтамъ.

Противникъ романтической поэзіи Надеждинъ, осуждая ее въ своей латинской диссертаціи и говоря, что она въ наше время существовать не можетъ, все-таки сознается, что нужно имѣть въ себѣ скудную, «малую душу», чтобы «не признавать и не чтить безграничной выспренности самодержавнаго духа, сего неистощимаго роскошествованія разобузданной фантазіи, сей безкорыстной расточительности разыгравшагося сердца, однимъ словомъ, сего то плѣнительнаго, то величественнаго выраженія, преизбыточествующаго надъ природою, коимъ запечатлѣны оригинальныя произведенія романтической поэзіи»[1]). Верховнымъ первообразомъ изящества для романтической поэзіи была «внутренняя природа человѣческая, предоставленная одной себѣ, и сей перво-

[1]) См. De origine, natura et fatis poesëos, quae romantica audit, Москва, 1830 стр. 125: Angusti enim et parvi animi esset diffiteri et dedignari hanc excelsitatem idealem ingenii et cetera.

образъ сручно было воплотить ей въ бурномъ кипѣніи страстей или пламенномъ восторженіи чувствъ»[1]). Только, наконецъ, въ сороковыхъ годахъ, подъ перомъ талантливаго Бѣлинскаго, теоретическое объясненіе романтизма сдѣлало значительный шагъ впередъ, стало опредѣленнѣе, несмотря всетаки на нѣкоторую неясность и односторонность опредѣленія романтизма «какъ внутренняго міра души и сокровенной жизни сердца», «какъ таинственной почвы (?) души и сердца, откуда подымаются всѣ неопредѣленныя стремленія къ лучшему и возвышенному, стараясь находить себѣ удовлетвореніе въ идеалахъ, творимыхъ фантазіею и пр.» [2]). Такимъ образомъ, это разнообразіе и неясность существовавшихъ мнѣній о романтизмѣ, показывали, что самое движеніе не представляло для современниковъ опредѣленнаго положительнаго содержанія и цѣли: они взяли готовое слово изъ европейской литературы и прямо примѣнили его къ русской литературѣ, предполагая въ немъ каждый свое значеніе. Одно было для нихъ ясно, что романтизмъ представлялъ собою новое литературное направленіе, споривше е съ классицизмомъ.

Въ какомъ же отношеніи стоялъ Пушкинъ къ враждующимъ сторонамъ и какъ понималъ онъ споръ о романтизмѣ въ глубинѣ своей мысли? Нужно сказать, что на пути полнаго и обстоятельнаго опредѣленія романтизма Пушкинъ встрѣтилъ непреодолимыя затрудненія, которыхъ не могъ побѣдить. Онъ приступалъ къ дѣлу весьма просто, полагая разницу между обоими родами произведеній только въ формѣ ихъ и говоря, что если различать ихъ по духу, то нельзя будетъ выпутаться изъ противорѣчивыхъ и насильственныхъ толкованій. Пушкинъ говорилъ, что его не удовлетворяетъ пониманіе романтизма нашими критиками, что «сбивчивымъ понятіемъ о семъ предметѣ мы обязаны французскимъ жур-

---

[1]) Ibidem, стр. 125: Ejus typus fuit natura humana interna, sibi ipsi relicta et cetera.

[2]) VIII, стр. 155—156.

налистамъ, которые, обыкновенно, относятъ къ романтизму все, что имъ кажется ознаменованнымъ «печатью мечтательности и германскаго идеологизма или основаннымъ на предразсудкахъ и преданіяхъ простонародныхъ». Онъ находилъ такое опредѣленіе неточнымъ, замѣчая, что стихотвореніе можетъ являть всѣ эти признаки и принадлежать къ роду классическому. Къ романтическому же роду, по мнѣнію Пушкина, должны быть отнесены тѣ стихотворенія, которыя «не были извѣстны древнимъ и тѣ, въ коихъ прежнія формы измѣнились или замѣнены другими». Такимъ образомъ, къ классическому роду онъ причисляетъ тѣ формы, которыя были извѣстны грекамъ и римлянамъ или образцы которыхъ они намъ оставили. Поэтому, творенія Пиндара и Анакреона, сатиры Ювенала и сатиры Горація, Освобожденный Іерусалимъ и Энеида, различаясь между собою по духу,—всѣ, однако, принадлежатъ по формѣ къ роду классическому.

Также тщетно искалъ Пушкинъ романтизма въ курсѣ французской словесности, начиная его исторію съ провансальской поэзіи и труверовъ, отыскивая первые слѣды его въ сонетахъ, рондо и тріолетахъ, противопоставляя свойства и пріемы народныхъ драмъ Кальдерона, Шекспира и другихъ придворнымъ трагедіямъ псевдо-классиковъ временъ Людовика XIV и думая такимъ образомъ уловить въ этомъ контрастѣ коренные признаки и отличія обѣихъ школъ. Въ своей перепискѣ съ друзьями Пушкинъ очень часто употреблялъ выраженіе «романтическое произведеніе». Но всѣмъ извѣстное и принятое слово обозначало у него понятіе, о которомъ еще не многіе тогда думали. Въ умѣ Пушкина таилось совсѣмъ другое пониманіе романтизма: онъ, повидимому, соединяетъ съ нимъ значеніе творческаго созданія, не принадлежащаго къ какой либо системѣ или односторонему воззрѣнію. Повтореніе этого воззрѣнія мы встрѣчаемъ также въ письмахъ о «Борисѣ Годуновѣ»: тамъ Пушкинъ подъ романтической трагедіей разумѣетъ совершенно свободное проявленіе творящаго духа въ области искусства. Никто,

конечно, тогда не подозрѣвалъ, что вскорѣ произведенія Пушкина сдѣлаютъ этотъ споръ анахронизмомъ и замѣнятъ оба понятія, соединенныя съ именами классицизма и романтизма,— новымъ и гораздо высшимъ понятіемъ творчества и художественности, отыскивающихъ законы для себя въ самихъ себѣ. Его созданія ясно указали эти законы, на которыхъ должна основываться истинная теорія искусства, и сдѣлали Пушкина учителемъ изящнаго и воспитателемъ эстетическаго вкуса въ обществѣ.

Предисловіе къ «Бахчисарайскому Фонтану» написано кн. Вяземскимъ по просьбѣ Пушкина [1]) и когда этотъ «Разговоръ» появился въ свѣтъ, Пушкинъ горячо благодарилъ своего друга, говоря, что «Разговоръ» — «прелесть: какъ мысли, такъ и блистательный образъ ихъ выраженія. Сужденія неоспоримы. Слогъ твой чудесно шагнулъ впередъ» — и нѣсколько далѣе въ томъ же письмѣ [2]) мы читаемъ: «знаешь ли что? Твой «Разговоръ», написанъ болѣе для Европы, чѣмъ для Руси. Ты правъ въ отношеніи романтической поэзіи. Но старая классическая, на которую ты нападаешь, полно, существуетъ ли у насъ?.. Мнѣнія «Вѣстника Европы» не можно почитать за мнѣнія; на «Благонамѣренный» сердиться невозможно· Гдѣ же враги романтической поэзіи? Гдѣ же столбы классической?» То же самое Пушкинъ повторяетъ въ своемъ письмѣ къ издателю «Сына Отечества».—Прослѣдимъ теперь весь ходъ полемики по поводу предисловія къ «Бахчисарайскому Фонтану».

Въ своемъ «Разговорѣ» кн. Вяземскій вывелъ двухъ лицъ — Издателя и Классика. Послѣдній является сѣтующимъ, что у насъ миновала пора истинной классической литературы, негодующимъ на то, что завелась какая-то новая школа, никѣмъ не признанная, кромѣ самой себя, не слѣдующая никакимъ правиламъ, кромѣ своей прихоти, искажающая языкъ Ломоносова, пишущая наобумъ,

[1]) VII, стр. 56.
[2]) VII, стр. 75.

щеголяющая новыми выраженіями, новыми словами. Классикъ вооружается противъ этихъ нововведеній «подъ вліяніемъ германскимъ», не понимаетъ народности въ литературѣ, ибо «этой фигуры нѣтъ ни въ Піитикѣ Аристотеля, ни въ Піитикѣ Горація»,—отказывается признать какой бы то ни было смыслъ въ романтической литературѣ, ибо самое названіе ея не имѣетъ опредѣленнаго, утвержденнаго общимъ условіемъ значенія и, наконецъ, обращаясь къ «Бахчисарайскому Фонтану», по поводу его сюжета говоритъ вообще, что «въ наше время обратили музъ въ разсказчицъ всякихъ небылицъ» и что если поэзію будутъ питать однѣми сказками—она потеряетъ всякое достоинство; по поводу же выполненія этого сюжета Классикъ высказываетъ недовольство манерами и пріемами романтическихъ поэтовъ, у которыхъ читатель бываетъ «подмастерьемъ автора»: читатель долженъ по легкимъ намекамъ, туманнымъ загадкамъ досказывать мысли и намѣренія автора; романтическій зодчій творитъ только воздушные замки, не имѣющіе ни плана, ни основанія, оставляя, такимъ образомъ, каждому распоряженіе и устройство зданія.—Такими-то чертами нарисовалъ кн. Вяземскій образъ современнаго ему классика, въ которомъ нельзя не признать многихъ типическихъ чертъ, весьма удачно схваченныхъ и соединенныхъ въ болѣе или менѣе цѣлостный портретъ. Въ классикѣ кн. Вяземскаго, вѣроятно, признали себя многіе критики, писавшіе, напр., о «Русланѣ и Людмилѣ». Такова именно и была цѣль кн. Вяземскаго, судя по его post scriptum'у къ «Разговору».

Столь же интересенъ Издатель, защитникъ романтизма, не щадящій подчасъ изъ духа противорѣчія самой исторической правды и говорящій софизмами. Издатель убѣжденъ, что классическая пора литературы у насъ еще не наставала, что новая школа щеголяетъ новыми выраженіями, взятыми изъ Словаря Россійской Академіи, что Классикъ не можетъ жаловаться на новизну выраженія, ибо «законы языка нашего не приведены еще въ уложеніе». Далѣе, возражая Классику, Издатель беретъ на себя даже смѣлость утверждать, что поэты-

современники слѣдуютъ движенію, данному Ломоносовымъ, съ тою лишь разницею, что онъ слѣдовалъ Гинтеру и нѣкоторымъ другимъ изъ современниковъ, а не Гёте и Шиллеру; что германскій отпечатокъ можно найти на всѣхъ трехъ эпохахъ нашей литературы — Ломоносовской, Карамзинской и нынѣшней, и что, хотя мы не имѣемъ еще «русскаго покроя въ литературѣ», все-таки новѣйшая романтическая поэзія не менѣе намъ сродна, чѣмъ поэзія Ломоносова и Хераскова, даже пожалуй болѣе, ибо на ней лежитъ отпечатокъ народности, мѣстности, которыхъ не найдешь ни въ Петріадѣ, ни въ Россіадѣ. А такъ какъ этотъ отпечатокъ составляетъ существенное достоинство древнихъ, то слѣдовательно совершенно напрасно г-нъ Классикъ силится поэзію Ломоносова и Хераскова выставить за классическую. Съ этой точки зрѣнія, конечно, Гомеръ, Горацій, Эсхилъ имѣютъ гораздо болѣе сродства и соотношеній съ главами романтической школы, чѣмъ съ своими холодными рабскими послѣдователями, которые силятся быть греками и римлянами заднимъ числомъ. На обвиненіе же Классика въ безсмысленности романтической литературы, не имѣющей даже никакого общаго опредѣленнаго значенія,—Издатель весьма остроумно возражаетъ, что «не было еще времени условиться», но что такое время настанетъ, и тогда «Байронъ, Томасъ Муръ, какъ нынѣ Анакреонъ или Овидій, попадутся подъ рѣзецъ испытателей, и цвѣты ихъ яркой и свѣжей поэзіи потускнѣютъ отъ кабинетной пыли и закоптятся отъ лампаднаго чада комментаторовъ, антикваріевъ, схоластиковъ, потому что, вѣроятно, и въ будущихъ столѣтіяхъ найдутся люди, живущіе чужимъ умомъ и кои, подобно вампирамъ, роются въ гробахъ, гложутъ и жуютъ мертвыхъ, не забывая притомъ кусать и живыхъ». Въ дальнѣйшемъ разговорѣ Классика съ Издателемъ защита и оцѣнка «Бахчисарайскаго Фонтана» перемѣшиваются съ общими замѣчаніями. Для насъ только важны теперь послѣднія: мы уже говорили о взглядѣ Вяземскаго на поэму Пушкина. Издатель старается отпарировать нападки Классика на романтическую поэзію за ея новое содержаніе, за ея ма-

неру и пріемы творчества. По мнѣнію Классика, сказки унижали достоинство поэзіи; по мнѣнію же Издателя, онѣ не могутъ унижать, ибо только «исторія не должна быть легковѣрна, поэзія напротивъ»; «твореніе искусства—обманъ»—говоритъ онъ далѣе, защищая романтическія произведенія отъ упрековъ въ отсутствіи плана, въ отсутствіи законченности,—въ изящныхъ твореніяхъ довольно одного дѣйствія общаго: чѣмъ менѣе высказывается прозаическая связь въ частяхъ, тѣмъ болѣе выгоды въ отношеніи къ цѣлому. «Частыя мѣстоименія въ рѣчи замедляютъ ея теченіе, охлаждаютъ разсказъ. Есть въ изобрѣтеніи и въ вымыслѣ также свои мѣстоименія, отъ коихъ дарованіе старается отдѣлываться удачными эллипсисами».

Мы особенно подробно изложили отвѣты Издателя, руководствуясь тою мыслію, что, какъ намъ кажется, мнѣнія Издателя были не только мнѣніями кн. Вяземскаго, но и мнѣніями самого Пушкина и его школы. Поэтому-то фактъ появленія предисловія вмѣстѣ съ поэмой пріобрѣтаетъ характеръ историко-литературной важности, до извѣстной степени. Почти всѣ мысли Издателя съ теченіемъ времени получили общелитературную и критическую санкцію, войдя, въ качествѣ основныхъ положеній, въ послѣдующую критику. Пушкинъ, желая имѣть предисловіе къ своей романтическо-байронической поэмѣ и напечатавъ его вмѣстѣ съ ней, сдѣлалъ открытый вызовъ классикамъ предисловіемъ Вяземскаго, этимъ романтическимъ манифестомъ, который, опираясь на поэму, черпалъ изъ нея нѣкоторые выводы.

Какъ глава романтической школы въ Россіи, Пушкинъ поступилъ въ данномъ случаѣ смѣло и благородно, вызывая на открытый бой литературныхъ старовѣровъ, досадившихъ ему своими часто несправедливыми, а еще чаще непристойными критиками. Такъ же поступалъ Викторъ Гюго, обнародывая въ предисловіяхъ къ своимъ драмамъ манифесты романтизма. Было, вѣроятно, и нѣкоторое сатирическое намѣреніе при печатаніи «Разговора». На такую мысль могутъ навести замѣчанія въ письмѣ Пушкина къ издателю «Сына

Отечества», въ которомъ онъ говоритъ, что «Разговоръ» писанъ болѣе для Европы вообще, чѣмъ исключительно для Россіи, гдѣ противники романтизма слишкомъ слабы и незамѣтны и не стоятъ столь блистательнаго отраженія». Поэтому, цѣлью «Разговора» могло быть также осмѣяніе обветшалыхъ воззрѣній классиковъ-рутинеровъ. Но, такъ или иначе, «Разговоръ» произвелъ сильное впечатлѣніе на классиковъ, которые выслали на единоборство съ кн. Вяземскимъ одного изъ «послѣднихъ могиканъ» — М. Дмитріева, посредственнаго поэта, въ родѣ «бѣдныхъ риемачей первыхъ двухъ третей XVIII столѣтія во Франціи» [1]) — Деллиля, Дюссиса, Бауръ-Лорміона и пр.

Полемика исчерпывалась слѣдующими вопросами, поставленными главнымъ образомъ кн. Вяземскимъ въ своемъ «Разговорѣ», съ присоединеніемъ еще нѣкоторыхъ, прибавленныхъ его противникомъ Дмитріевымъ: 1) настала ли у насъ пора истинной классической литературы? 2) въ чемъ состоитъ отличительный признакъ нынѣшней новой школы? 3) слѣдуютъ ли нынѣшніе русскіе стихотворцы, подражающіе германцамъ, движенію, данному Ломоносовымъ? 4) была ли во время Ломоносова оригинальная германская школа? 5) преобразованіе русской прозы, произведенное Карамзинымъ, носитъ ли на себѣ отпечатокъ германской? 6) Есть ли въ предисловіи къ «Бахчисарайскому Фонтану» ошибки противъ логики? и, наконецъ, 7) существуетъ ли различіе между поэзіей народной и національной?

М. Дмитріевъ поясняетъ въ Post-scriptum'ѣ къ своему «Отвѣту на статью О литературныхъ Мистификаціяхъ кн. Вяземскаго», что при написаніи «Второго Разговора» имъ руководило единственно желаніе опровергнуть ложныя мнѣнія о литературѣ, не основанныя ни на образцахъ, ни на опытѣ, ни на исторіи,—мнѣнія, притомъ, вредныя для успѣховъ словесности, потому что они могли нѣкоторыхъ ввести въ заблужденіе. Поставивъ эпиграфомъ къ «Второму Разговору» довольно

---

[1]) Н. А. Полевой, Очерки русск. литер., Т. I, стр. 642.

колкое двустишіе самого же Вяземскаго («Ты хочешь исправлять; но будь исправленъ самъ! Уваженъ будешь ты, когда другихъ уважишь!»), Дмитріевъ отъ имени «пріятелей», которыхъ онъ уважалъ, заявляетъ, что «Разговоръ Вяземскаго подложенъ, ибо это «Разговоръ» двухъ учениковъ», что «Классику стыдно было связаться съ такимъ противникомъ, а еще стыднѣе возражать столь слабо и несвязно». Послушаемъ же дѣльныхъ возраженій М. Дмитріева. Онъ говоритъ, что Издатель перваго «Разговора» не сказалъ бы, что произведенія Ломоносова, Дмитріева, Карамзина, Озерова, Батюшкова не составляютъ классической литературы, еслибы не былъ по молодости лѣтъ такъ самонадѣянъ и еслибы учился въ университетѣ; что новость выраженій новой школы состоитъ не столько въ новыхъ словахъ, сколько въ несовмѣстномъ соединеніи словъ уже извѣстныхъ. Далѣе М. Дмитріевъ даетъ уже извѣстное намъ опредѣленіе романтизма вообще и характеризуетъ его искаженіе у плохихъ подражателей. Увѣренный, что своимъ мѣткимъ опредѣленіемъ онъ убилъ романтизмъ наповалъ, авторъ принимается за другіе пункты разногласія. Онъ говоритъ, что Ломоносовъ заимствовалъ у нѣмцевъ одно стихосложеніе, въ ходѣ одъ своихъ подражалъ болѣе древнимъ, а наружную форму (т. е. строфы, поясняетъ педантичный Дмитріевъ, подъ которыми вы сбивчиво разумѣете піитическую форму вообще) перенялъ у Жанъ-Баптиста Руссо. Ломоносовъ не слѣдовалъ Гинтеру: читалъ его пѣсни онъ только по чувствамъ влеченія къ стихотворству. Во время Ломоносова не было въ Германіи того, что называется оригинальной школой германской; слѣдовательно, еслибы Ломоносовъ и ввелъ современныя ему германскія формы, то нынѣшніе поэты, слѣдуя данному имъ движенію, не имѣли бы ничего отличительнаго, собственно германскаго. Точно такъ же «эпоха русской прозы, сдѣланная Карамзинымъ», не носитъ на себѣ отпечатка германскаго, ибо Карамзинъ болѣе обращалъ вниманія на французскихъ прозаиковъ. Кн. Вяземскій, по мнѣнію М. Дмитріева, «не имѣетъ опредѣленности въ мысляхъ»: онъ не разграничи-

ваетъ понятій народнаго и національнаго, не опредѣляетъ, что такое поэзія романтическая. По объясненію М. Дмитріева, народная поэзія можетъ существовать и у народа необразованнаго: доказательство тому—наши старинныя пѣсни; поэзія же національная существуетъ у тѣхъ народовъ, «политическое бытіе которыхъ тѣсно соединено съ просвѣщеніемъ гражданскимъ», имѣющихъ, при образованности общей имъ съ другими, свои собственные нравы, свои обычаи, не изглаженные, но только смягченные временемъ, свои преданія, которыхъ, можетъ быть, не признаетъ исторія, но которымъ вѣритъ духъ націи. Этимъ исчерпываются возраженія М. Дмитріева, сдѣланныя по существу положеній кн. Вяземскаго. Но есть еще, кромѣ того, во «Второмъ Разговорѣ» элементъ личный. Безъ личностей тогдашняя полемика не могла обойтись, безъ болѣе или менѣе колкихъ замѣчаній, задѣвающихъ за живое самолюбіе противника, не обходился ни одинъ литературный споръ. Такъ, М. Дмитріевъ безпрестанно повторяетъ, что еслибы его противникъ учился въ университетѣ, онъ зналъ бы лучше логику и не говорилъ бы фразъ въ родѣ слѣдующихъ: «мы еще не имѣемъ русскаго покроя въ литературѣ; можетъ быть, и не будетъ его, потому что нѣтъ». М. Дмитріевъ находитъ, что такой оборотъ похожъ на слѣдующій (имъ самимъ сочиненный): «у меня не будетъ моднаго фрака, потому что нѣтъ». Этотъ оборотъ безсмысленъ такъ же, какъ и оборотъ кн. Вяземскаго. Совсѣмъ другое дѣло сказать: «У кого нѣтъ денегъ, тому не на что сдѣлать фрака; у меня нѣтъ денегъ, слѣдственно, у меня и не будетъ фрака»; заключеніе же кн. Вяземскаго слѣдовало изложить такъ: «мы еще не имѣемъ русскаго покроя въ литературѣ; чего нѣтъ, то еще быть можетъ: слѣдственно, этотъ покрой еще можетъ быть». М. Дмитріевъ безпрестанно повторяетъ, что, вѣроятно, противникъ его очень еще молодъ: онъ весьма незрѣло разсуждаетъ,—что его подстрекаютъ высказывать опрометчивыя сужденія друзья и поверхностные люди, смѣется надъ остроумнымъ замѣчаніемъ кн. Вяземскаго, что и романтическая

поэзія попадетъ «подъ рѣзецъ испытателей», говоря: «прекрасная группа! Одного анатомируютъ и клеймятъ, другихъ пытаютъ! И все это совершается въ лампадномъ чаду комментаторовъ! — Ха! ха! ха! Вы шутите надъ читателями, почтенный г-нъ Издатель.

«Издатель. А вы, вы шутите, кажется, надо мною. Знайте, сударь, что я не позволю.

«Классикъ. On sera ridicule et je n'oserai rire! Позвольте! позвольте! На странницѣ XII еще одна картина: «Вампиры роются въ гробахъ, гложутъ и жуютъ мертвыхъ, не забывая притомъ кусать и живыхъ»... Повѣрьте, классикъ не сказалъ бы этого, это отвратительно!»

На всѣ эти грубыя выходки и на всѣ возраженія М. Дмитріева, какъ мы сейчасъ увидимъ, кн. Вяземскій, будучи почти по всѣмъ пунктамъ правъ, достойно отвѣтилъ своему противнику. Съ положеніями кн. Вяземскаго сошлась вполнѣ вся послѣдующая критика. Мы не говоримъ со всѣми положеніями, ибо его замѣчаніе, напр., о томъ, что романтическая школа слѣдуетъ движенію, данному Ломоносовымъ,—представляетъ безусловный софизмъ. Видъ софизма имѣетъ также его мысль о сходствѣ греческихъ писателей съ романтиками въ силу ихъ народности. Въ сущности, конечно, это мысль справедливая, но нѣсколько сжатое изложеніе сообщило ей софистическій характеръ. Всѣ же остальныя замѣчанія кн. Вяземскаго безусловно справедливы. Современные же классики думали совершенно иначе: какъ они думали,—мы только что сейчасъ показали, изложивъ «Второй Разговоръ», въ которомъ Классикъ является лицомъ наступающимъ и разбивающимъ Издателя, между тѣмъ какъ въ первомъ «Разговорѣ» роли распредѣлены наоборотъ.

Кн. Вяземскій въ своей первой статьѣ, «О литературныхъ мистификаціяхъ», по случаю напечатанія второго подложнаго разговора между Классикомъ и Издателемъ, въ 5-й книжкѣ «Вѣстника Европы»—признается, что еслибы его собесѣдникъ былъ похожъ на Классика второго разговора, — онъ бы съ первыхъ пріемовъ его поворотился бы

къ нему спиною, оставя дальнѣйшія возраженія: онъ не умѣетъ выносить хладнокровно пустословія, въ особенности же того, которое даже и «не облечено въ вѣжливость общежительной образованности». Кн. Вяземскій равнодушно пропускаетъ нѣкоторыя личныя выходки М. Дмитріева, говоря, напр., что «классическое лицо укоряетъ меня въ молодости; это давняя замашка!» и во второй статьѣ, посвященной разбору «Второго Разговора», замѣчаетъ, что онъ берется не оставить въ цѣлости ни одного изъ литературныхъ положеній, выставленныхъ во «Второмъ Разговорѣ», изобилующемъ погрѣшностями». Что же и какъ онъ возражаетъ М. Дмитріеву?

На первыхъ порахъ онъ даетъ опредѣленіе настоящаго рецензента, чтобы показать, насколько М. Дмитріевъ походилъ на этотъ идеалъ. Для званія рецензента, говоритъ онъ, необходимы природныя дарованія, которыя не добываются въ школахъ: умъ открытый, взглядъ смѣтливый, вѣрный, чутье изящнаго, правила благородныя, независимость характера. Грубо ошибаются тѣ, кои полагаютъ, что для званія критика потребны только ученый чинъ и дипломъ; еще непростительнѣе поступаютъ тѣ, кои пускаются на поприще критики для отмщенія мелкой своей личности и для удовлетворенія раздраженныхъ страстей Зоила (т. е. М. Т. Каченовскаго). «Побужденія полемическаго писателя должны быть всегда чисты и откровенны». Конечно, ничего подобнаго нельзя было найти въ Дмитріевѣ; отповѣдь кн. Вяземскаго была мѣткой характеристикой, которая произвела достаточный эффектъ въ враждебномъ лагерѣ. Нельзя того же сказать про остальныя возраженія: не всѣ они отличаются равною обстоятельностію и опредѣленною ясностью. Весьма мѣтко замѣчено кн. Вяземскимъ, что нѣсколько классическихъ произведеній, хотя бы и образцовыхъ поэтовъ, каковы Ломоносовъ, Дмитріевъ, Озеровъ, Батюшковъ, не составляютъ классической литературы; нѣсколько раннихъ плодовъ, созрѣвшихъ весною, не составляютъ еще лѣта; полдюжины томовъ не образуютъ литературы. Озерова нельзя

ставить въ образецъ чистоты и правильности языка вмѣстѣ съ Дмитріевымъ, Карамзинымъ, Батюшковымъ, точно такъ же и Ломоносова нельзя ставить образцомъ вкуса. Опредѣленіе романтизма, сдѣланное М. Дмитріевымъ, кн. Вяземскій совершенно справедливо находитъ лишеннымъ всякаго здраваго смысла, называя его «nonsens» и считая классика ультраромантикомъ за его несовмѣстное соединеніе словъ въ родѣ: «пылкости страстей съ холодностью характеровъ». Правъ также кн. Вяземскій, замѣчая, что ученику непростительно сказать, будто мы въ одахъ превосходимъ почти всѣ другіе народы европейскіе. Дальнѣйшія же опроверженія не столь основательны. Такъ, кн. Вяземскій совершенно уклоняется отвѣчать на вопросъ: какая же связь современнаго романтизма съ Ломоносовымъ? Здѣсь онъ прибѣгаетъ даже къ софистическимъ увертками, говоря, напр.: «что значитъ слѣдовать? идти далѣе, а не сидѣть сиднемъ, какъ нѣкоторые запоздалые въ ограниченномъ кругѣ старыхъ понятій, забытыхъ предразсудковъ и преданій! Итакъ, современники наши, слѣдуя движенію, данному Ломоносовымъ, должны были сойтись съ Шиллеромъ, Гёте и пр.». Не разбираетъ онъ и возраженій классика на то, что Ломоносовъ не подражалъ Гинтеру, стараясь отдѣлаться отъ прямого отвѣта выискиваніемъ противорѣчій въ словахъ противника и объявляя, что тѣ или другія мысли заимствованы тамъ-то и тамъ-то. Не особенно ясно кн. Вяземскимъ объясненъ вопросъ о томъ, носитъ ли эпоха Карамзина отпечатокъ германскій, такъ же какъ и вопросъ о различіи эпитетовъ народный и національный, ибо умничаніе классика «не выдержитъ и не стоитъ легчайшаго изслѣдованія». «Легчайшее же изслѣдованіе» заключается въ замѣчаніи, что у насъ въ русскомъ языкѣ то и другое слово употребляется одинаково, между тѣмъ какъ французскій языкъ имѣетъ два—populaire и national. Не остались безъ отвѣта и выходки М. Дмитріева. Въ концѣ концовъ кн. Вяземскій все-таки считалъ себя побѣдителемъ, думая, что имъ всѣ погрѣшности выведены на свѣжую воду «изъ сонной и вялой прозы, которою онѣ

были заглушены». Мы не будемъ разбирать отвѣта М. Дмитріева и послѣдней статьи Вяземскаго. Намъ кажется, что въ нихъ нѣтъ никакого литературнаго интереса: въ нихъ идетъ препирательство на чисто личной почвѣ, не имѣющее поэтому никакой литературной важности. Все характерное для критическихъ воззрѣній этой поры мы тщательно выбрали, ибо видѣли въ этой полемикѣ зародыши дальнѣйшихъ полемикъ, которыя, напр., приходилось вести болѣе талантливому критику — Н. А. Полевому, подготовившему критику Надеждина и Бѣлинскаго.

ГЛАВА V.

Н. А. Полевой и его журналъ «Московскій Телеграфъ».—Мнѣніе о Полевомъ современниковъ и позднѣйшихъ критиковъ.—Характеристика критическихъ воззрѣній Марлинскаго и Полевого.—Значеніе «Московскаго Телеграфа» въ исторіи русской журналистики.—Отношеніе Полевого къ Пушкину до 30-го года, причины позднѣйшихъ враждебныхъ отношеній.

Прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему изложенію отношеній критики къ Пушкину, мы считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о появленіи новаго критика, въ своемъ новомъ журналѣ принявшаго не малую долю участія въ истолкованіи значенія Пушкина и означившаго своей журнальной дѣятельностью извѣстную ступень въ развитіи русскаго критическаго сознанія. Мы говоримъ о Н. А. Полевомъ и его журналѣ «Московскій Телеграфъ». Современники и послѣдующая критика, люди сочувствовавшіе Полевому и его заклятые враги, представители новой эпохи русской литературы и журналисты, группировавшіеся, напр., около «Вѣстника Европы»,—всѣ единогласно сходятся въ мнѣніи, что Полевой съ своимъ журналомъ представлялъ явленіе замѣчательное, всѣ говорятъ, что 1825 годъ, когда народился «Телеграфъ», можетъ служить поворотнымъ пунктомъ въ исторіи русской журналистики и критики. Пушкинъ и его друзья, напр. кн. Вяземскій [1]), вполнѣ сочувственно отнеслись къ появленію литературнаго собрата, при-

[1]) Соч. Вяземскаго, т. I, стр. 198 и слѣд.

вѣтствуя вмѣстѣ съ нимъ появленіе перваго хорошаго журнала; впослѣдствіи времени Надеждинъ, литературный врагъ Полевого, въ своей автобіографіи [1]) отдавалъ дань полнаго уваженія многостороннимъ заслугамъ противника; Бѣлинскій, неоднократно писавшій о Полевомъ, сравнивалъ его значеніе для русскаго общества, какъ журналиста, съ значеніемъ Карамзина въ той же сферѣ; критика 50-хъ годовъ, въ лицѣ автора статей «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы» [2]), говоря объ отношеніяхъ Полевого къ Гоголю, оправдываетъ его позднѣйшіе промахи въ литературѣ (особенно непониманіе Гоголя) съ цѣлью показать, что Полевой для своего времени былъ выдающимся явленіемъ; Ап. Григорьевъ въ своей интересной статьѣ: «Мои литературныя и нравственныя скитальчества» [3])—характеризуетъ Полевого, какъ предводителя тогдашняго молодого поколѣнія, какъ журналиста-самоучку, «даровитаго до геніальности», легко усвояющаго, ясно и страстно передающаго всѣ вѣянія жизни, увлекающагося и увлекающаго за собой другихъ.

Дѣйствительно, Полевой страстно увлекался всѣми современными идеями. Все интересовало его и всему онъ учился съ жаромъ, упорствомъ, настойчивостью. Но этотъ энциклопедизмъ, эта жажда всезнанія были причиной, съ одной стороны, неопредѣленности идей, а съ другой—поверхностности многосторонняго знанія. Эти качества отзывались въ многомъ, что писалъ Полевой, особенно же въ его философскихъ воззрѣніяхъ. Онъ живо чувствовалъ необходимость системы и увлекся нѣмецкой философіей, познакомившись съ ея идеями не изъ первоисточника, а изъ популярныхъ лекцій Кузена. Главная ошибка въ томъ и состояла, что Полевой принялъ беллетриста философіи за главу философскаго движенія, будто бы скончавшагося въ Германіи съ Шеллингомъ.

---

[1]) «Русск. Вѣстн.» 1856 г., т. II.
[2]) «Современникъ» 1855 и 1856 гг.
[3]) «Эпоха», 1864 г., т. II, № 3.

На самомъ же дѣлѣ, эклектическая философія Кузена была составлена изъ произвольно-смѣшанныхъ научныхъ понятій, заимствованныхъ отчасти у Канта, еще болѣе у Шеллинга, съ нѣкоторыми обрывками изъ Локка, Декарта и др. мыслителей. Все рѣзкое было сглажено, всѣ смѣлые выводы были отброшены, чтобы не смутить никакой смѣлой мыслью предразсудковъ французскаго общества, и вся эта разнородная смѣсь образовала своего рода систему, которой не боялись даже обскуранты. Не имѣя никакихъ научныхъ достоинствъ, такая эклектическая философія все-таки была хороша тѣмъ, что легко усвоивалась людьми, не приготовленными къ пониманію строгихъ и рѣзкихъ системъ нѣмецкой философіи, и во всякомъ случаѣ была полезна какъ приготовленіе къ переходу отъ прежней закоснѣлости и іезуитскаго обскурантизма къ болѣе здравымъ воззрѣніямъ,— какъ самый переходъ къ болѣе раціональнымъ идеямъ и обобщеніямъ. Въ этомъ переходно-подготовительномъ смыслѣ была она полезна и въ «Московскомъ Телеграфѣ». Переходными же можно считать и воззрѣнія Полевого на искусство, которыя мы находимъ въ его многочисленныхъ критическихъ статьяхъ и которыя являются отголоскомъ новыхъ теченій романтической критики во Франціи. Критика Полевого была, по мѣткому выраженію Бѣлинскаго, «неистовою вакханкою юной французской литературы, съ восторженною рѣчью, блуждающими взорами, бѣшеными движеніями» [1]). Полевой явился представителемъ романтической критики, которая продолжалась около десяти лѣтъ и родила изъ себя другую, болѣе строгую, болѣе твердую и опредѣленную критику Надеждина. За романтической критикой остается та заслуга, что она дала просторъ уму и фантазіи, освободивъ ихъ отъ Прокрустова ложа авторитета и стѣснительныхъ условныхъ правилъ. Полевой явился не иниціаторомъ новаго критическаго направленія: онъ былъ только наиболѣе виднымъ представителемъ его во второй

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VI, стр. 235.

половинѣ двадцатыхъ годовъ, имѣя уже бойкаго и остроумнаго предшественника въ лицѣ Марлинскаго [1]).

Марлинскій не отличался глубокимъ взглядомъ на искусство, но почти вездѣ обнаруживаетъ эстетическое чувство и вѣрный вкусъ человѣка умнаго и образованнаго. Конечно, въ его обозрѣніяхъ встрѣчаются похвалы такимъ сочиненіямъ и сочинителямъ, имена которыхъ даже въ сороковыхъ годахъ сдѣлались «допотопными, ископаемыми рѣдкостями»; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ встрѣчаются и чистыя отставки «заржавѣвшимъ и заплѣсневѣвшимъ» знаменитостямъ того времени, на ряду съ правдивыми оцѣнками старыхъ и новыхъ талантовъ, особенно Державина, Жуковскаго и Пушкина. Вотъ, напр., что Марлинскій говорилъ о Пушкинѣ въ 1825 году [1]):

«Еще въ младенчествѣ онъ изумилъ мужествомъ своего слога, и въ первой юности дался ему кладъ русскаго языка, открылись горы поэзіи. Новый Прометей, онъ похитилъ небесный огонь и, обладая онымъ, своенравно играетъ сердцами. Каждая пьеса его ознаменована оригинальностью; послѣ чтенія каждой остается что нибудь въ памяти или въ чувствѣ. Мысли Пушкина остры, смѣлы, огнисты; языкъ свѣтелъ и правиленъ. Не говорю уже о благозвучіи стиховъ—это музыка; не упоминаю о плавности ихъ,—по русскому выраженію, они катятся по бархату жемчугомъ. Двѣ поэмы сего юнаго поэта: Русланъ и Людмила и Кавказскій Плѣнникъ исполнены чудесныхъ, дѣвственныхъ красотъ; особенно послѣдняя, писанная въ виду сѣдовласаго Кавказа и на могилѣ Овидіевой, блистаетъ роскошью воображенія и всею жизнію мѣстныхъ красотъ природы. Нервность нѣкоторыхъ характеровъ и погрѣшность въ планѣ суть его недостатки—общіе всѣмъ пылкимъ поэтамъ, увлекаемымъ порывами воображенія».

Конечно, подобная характеристика обличаетъ въ авторѣ скорѣе диллетанта, тонкаго любителя и знатока поэзіи, чѣмъ критика. Но для критики того времени и подобная оцѣнка мощнаго таланта Пушкина была цѣнной и важной, потому что исходила изъ устъ до того страстнаго защитника новаго направленія, что онъ все талантливое, даровитое окрещивалъ

---

[1]) Соч. Марлинскаго, XI часть, гдѣ помѣщены годовые отчеты за литературу 1823, 1824 и частію 1825 годовъ, очеркъ исторіи древней и новой литературы до 1825 года и разборъ романа г. Полевого «Клятва при гробѣ Господнемъ».

[1]) Соч., XI т., стр. 227.

именемъ романтизма. У него, наравнѣ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, были романтиками и Державинъ, и Карамзинъ, и Полевой. Романтизмъ для Марлинскаго былъ альфой и омегой истины, краеугольнымъ камнемъ міра; онъ былъ для него, по словамъ Бѣлинскаго, «ключемъ ко всякой мудрости, рѣшеніемъ всего и на землѣ, и подъ землею, причиной всѣхъ причинъ, началомъ всѣхъ началъ, разгадкой всевозможныхъ загадокъ, отъ бородавки на носу старушки до тайной думы генія». Марлинскій оказалъ несомнѣнную услугу русской литературѣ и литературному образованію общества своими талантливыми обозрѣніями, въ которыхъ попадаются многія свѣтлыя мысли, обнаруживается вѣрное чувство изящнаго, высказанное живо, пламенно, увлекательно, оригинально и остроумно. Всѣ его мысли о русской литературѣ повторялись Полевымъ въ «Московскомъ Телеграфѣ», а это лучшее доказательство ихъ цѣнности, свѣжести и новизны. Хотя онъ немного дѣйствовалъ, какъ критикъ, но много сдѣлалъ, и его заслуги въ этомъ отношеніи гораздо существеннѣе, чѣмъ достоинства его повѣстей, отъ которыхъ въ свое время всѣ были безъ ума.

Къ критическимъ воззрѣніямъ Марлинскаго Полевымъ прибавлено очень мало. И тотъ, и другой были у насъ поборниками французскаго романтизма; послѣдній нужно отличать отъ романтизма нѣмецкаго, вліяніе котораго на нашу литературу не было такъ сильно. Романтизмъ во Франціи засталъ почти то же самое, что было у насъ до Жуковскаго и Пушкина. Поэтому борьба обратилась преимущественно на вопросы о свободѣ формы; на самое содержаніе французскіе романтики смотрѣли съ формалистической точки зрѣнія, стараясь сдѣлать все наперекоръ прежнему: у псевдоклассиковъ лица раздѣлялись на героевъ и злодѣевъ,—противники ихъ рѣшили, что злодѣи—не злодѣи, а истинные герои; страсти изображались у классиковъ съ жеманно-холодной сдержанностью,—романтическіе герои стали неистовствовать; классики хлопотали о щеголеватости,—противники ихъ провозгласили, что всякая благовидность есть пошлость, а дикость,

безобразіе—истинная художественность и т. д. Однимъ словомъ, романтики имѣли цѣлью не природу и человѣка, а противорѣчіе классикамъ. Планы произведеній, характеры и положенія дѣйствующихъ лицъ, даже языкъ создавались у нихъ не по свободному вдохновенію, а сочинялись по разсчету противорѣчія классикамъ. Въ ихъ произведеніяхъ нельзя было найти никакихъ слѣдовъ простоты и естественности, пониманія дѣйствительной жизни и художественности. Таковы были произведенія Виктора Гюго, предводителя романтиковъ, таковы же были у насъ произведенія Марлинскаго и Полевого, для которыхъ, особенно для Полевого, Викторъ Гюго былъ идеаломъ поэта и романиста. Вопросы о близкомъ соотношеніи поэтическаго созданія съ жизнью общества не приходили въ голову романтикамъ: они хлопотали только о томъ, чтобы изображать бурныя страсти и раздирательныя положенія неистово-фразистымъ языкомъ. Могъ ли человѣкъ, пропитанный подобными воззрѣніями на искусство, понимать истинную художественность, могъ ли восхищаться ея простотою, естественностью, вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности? Въ свое время романтики были очень полезны у насъ, ибо возстали противъ закоснѣлости, неподвижной заплѣсневѣлости; еслибы имъ удалось направить литературу по дорогѣ, которая имъ нравилась, это было бы дурно, потому что дорога вела къ вертепамъ фантастическихъ злодѣевъ съ картонными мечами, къ жилищамъ фразеровъ, которые тщеславились выдуманными преступленіями и страстями. Но этого не случилось: романтики успѣли только вывести литературу изъ неподвижнаго и прѣснаго болота, и она пошла своей дорогой, не слушаясь ихъ возгласовъ.

Полевой появился тогда, когда литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, ареною которыхъ должна была сдѣлаться журналистика. Такимъ образомъ, обстоятельства литературы создали Полевому роль бойца. Онъ не столько утверждалъ, сколько отрицалъ, не столько доказывалъ, сколько оспаривалъ. Тогда

только что пробилось стремленіе къ сознанію, къ изслѣдованію, къ анализу; захотѣли узнать, что такое Шекспиръ, Байронъ, Данте и Сервантесъ, Гёте и Шиллеръ, что такое Востокъ и классическая древность, что такое философія и политическая экономія и пр., и все это свели на споръ о классицизмѣ и романтизмѣ, или, по крайней мѣрѣ, кстати и некстати все это привязали къ нему.

Полевой дѣйствовалъ по всѣмъ отраслямъ литературы и умѣлъ себѣ снискать такой авторитетъ, какимъ рѣдко кто пользовался въ русской журналистикѣ. Главной тенденціей этого талантливаго и во всякомъ случаѣ замѣчательнаго русскаго писателя было въ полномъ смыслѣ слова разрушеніе всего стараго и въ этомъ отношеніи онъ дѣйствовалъ благотворно на просвѣщеніе, пробуждая отъ застоя, который тогда болѣе или менѣе обнаруживался всюду. Полевой взялся за дѣло съ чисто юношескимъ жаромъ и запальчивостью—и съ первыхъ же книжекъ журнала возбудилъ общее сочувствіе въ публикѣ разнообразіемъ и интересностью статей. Марлинскій замѣтилъ при появленіи «Московскаго Телеграфа», что онъ извѣщаетъ и судитъ обо всемъ, начиная «отъ безконечно малыхъ въ математикѣ до пѣтушьихъ гребешковъ въ соусѣ или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ». И Полевой съумѣлъ поддерживать это сочувствіе въ теченіе 10-ти лѣтъ. Въ отдѣлѣ беллетристики сначала помѣщались изрѣдка стихотворенія Пушкина, кн. Вяземскаго, Баратынскаго, Козлова; но численный перевѣсъ былъ и здѣсь на сторонѣ такихъ стихотворцевъ, какъ баронъ Розенъ, Орловъ, Алексѣевъ, Иванчинъ-Писаревъ и т. д. Страсть къ стихотворству и умѣнье писать стихи въ это время видимо были чрезвычайно распространены. Стихотворенія присылались отовсюду—изъ Парижа и Кинешмы, изъ Петербурга и Аткарска, изъ Костромы и Рязани, изъ разныхъ помѣщичьихъ усадьбъ и т. д. По части прозаической беллетристики журналъ переводилъ всѣ иностранныя повѣсти романтической школы, помѣщая произведенія Байрона, Шиллера, Гёте, Вальтеръ-Скотта, Гофмана, Ваш. Ирвинга, Мицкевича и др. Съ

1831 года этотъ отдѣлъ «Телеграфа» пріобрѣлъ особую занимательность для публики, благодаря помѣщенію въ немъ нѣсколькихъ произведеній популярнѣйшаго беллетриста того времени—Марлинскаго[1]). Повѣсти Вельтмана и самого Полевого читались тоже съ увлеченіемъ.

Особенную заботливость проявлялъ издатель къ ознакомленію публики съ исторіей и современнымъ состояніемъ литературъ, равно и съ литературными теоріями. Въ каждой книжкѣ помѣщался подробный обзоръ всѣхъ иностранныхъ литературъ, даже исландской, китайской, арабской. Съ 1826 г. начаты были подробныя статьи о польской литературѣ. Характеристика отдѣльныхъ произведеній и писателей занимала одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ журналѣ. Столь же разнообразенъ и интересенъ былъ отдѣлъ критики и библіографіи. Кромѣ обширныхъ критическихъ статей самого редактора-издателя, о которыхъ мы будемъ говорить ниже, здѣсь помѣщались короткія рецензіи новѣйшихъ иностранныхъ и полная библіографія русскихъ книгъ. Въ 1826 году, напр., Полевой далъ отзывы не менѣе какъ о 250-ти русскихъ книгахъ. Не меньшимъ богатствомъ отличался отдѣлъ географіи и путешествій. Статистика Россіи тоже обращала на себя вниманіе Полевого, помѣщавшаго то статьи по статистикѣ Сибири, то статьи о Кавказѣ и пр. По русской исторіи печатались и статьи, и матеріалы, а по всеобщей мы встрѣчаемъ любопытныя характеристики Шлоссера, Минье, Нибура, Савиньи, Гизо и др. По естествознанію Полевой знакомилъ читателей со всѣми новыми теоріями и открытіями, съ произведеніями Гумбольдта, съ физіологической теоріей иллюзій, съ системою Кювье и др. Изслѣдованія германскихъ филологовъ тоже популяризировались и разбирались въ «Московскомъ Телеграфѣ». По вопросамъ политическимъ и экономическимъ Полевой не только сообщалъ всегда интересные факты и живыя свѣдѣнія, но и провѣрялъ оригинальные взгляды, которые были новостью для

[1]) «Страшное Гаданье», «Аммалатъ Бекъ» и др.

его читателей. Весьма любопытна, напр., его статья о развитіи русской промышленности[1]), въ которой Полевой набрасываетъ картину плачевнаго экономическаго состоянія Россіи и въ которой между строкъ виднѣется мысль объ уничтоженіи крѣпостного права. Но отдѣлъ русской публицистики былъ по необходимости крайне неполонъ и поверхностенъ, и Полевой, касаясь нѣкоторыхъ чрезвычайно важныхъ вопросовъ русской жизни, нерѣдко долженъ былъ ограничиваться освѣщеніемъ ихъ съ одной оффиціальной точки зрѣнія, что было совершенно не въ духѣ его журнала. Въ популярныхъ статьяхъ Полевой знакомилъ публику съ политической экономіей, переводя изъ Адама Смита, Сисмонди, Рикардо, Сея и др. экономистовъ. Съ 1826 года онъ открылъ даже отдѣлъ политическаго обозрѣнія, въ которомъ, примѣняясь къ обстоятельствамъ и умственному развитію своей публики, толковалъ какъ о текущихъ событіяхъ въ Россіи, такъ и знакомилъ читателей съ исторіей и современнымъ положеніемъ различныхъ государствъ. Съ особеннымъ вниманіемъ Полевой слѣдилъ за промышленными открытіями; онъ чуть ли не первый, напр., пропагандировалъ въ Россіи желѣзныя дороги, которыя тогда только начинали строиться въ Англіи. Отдѣлъ «Разныя Извѣстія» сообщалъ множество свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ знанія.

При журналѣ помѣщались новости модъ съ картинками, а впослѣдствіи Полевой открылъ чрезвычайно оживлявшій его сатирическій отдѣлъ. Вообще «Телеграфъ» своею первою обязанностію считалъ слѣдить за всѣми проявленіями современной жизни, и каждая книжка его имѣла поэтому животрепещущій интересъ. Ни одна новость никогда не ускользала отъ этого дѣятельнаго журналиста. Въ «Телеграфѣ» никогда не было балласта. Большинство же журналистовъ тогдашняго времени смотрѣло на періодическія изданія съ той старинной точки зрѣнія, которая характеризовалась уже одними названіями журналовъ: «Часы Досуга», «Пріят-

[1]) 1826 г., т. X, стр. 129.

ное препровожденіе времени», «Невинныя упражненія» и т. д. Полевой же ставилъ цѣлью журнала умственное и эстетическое воспитаніе общества, нравственная пустота котораго и невѣжество были постояннымъ предметомъ его обличеній.

Журналъ Полевого пріобрѣлъ вскорѣ же послѣ своего появленія небывалую цифру подписчиковъ (2,000), пробудилъ общество отъ равнодушнаго отношенія къ литературѣ, развивалъ охоту къ чтенію, любовь къ знанію, распространяя разнообразныя свѣдѣнія. «Надобно, — говоритъ онъ, — расшевелить задніе ряды читателей, пробудить отъ умственнаго сна псовыхъ охотниковъ и любителей виста, прожектеровъ, сутягъ, дамъ и законодательницъ баловъ и вечеровъ»[1]). Кн. Вяземскій въ своей статьѣ «О московскихъ журналахъ» сравниваетъ «Телеграфъ» съ застольнымъ обѣдомъ въ гостинницѣ, не лакомымъ для взыскательнаго и разборчиваго вкуса гастрономовъ, но довольно сытнымъ, — съ обѣдомъ, изъ-за котораго голоднымъ не встанешь. Онъ имѣетъ хорошее свойство выбирать хорошую и свѣжую провизію, разнообразить блюда, соображаясь съ требованіями аппетита и гастрономическими способностями застольниковъ. Вяземскій упрекалъ только издателя за недостатокъ вкуса, который обнаруживается въ оцѣнкѣ разбираемыхъ произведеній; онъ же упрекалъ Полевого въ «фундаментальномъ невѣдѣніи въ первоначальныхъ познаніяхъ литературныхъ». «Если г. Полевой, — говоритъ кн. Вяземскій далѣе, — и принадлежитъ къ какой нибудь школѣ, то развѣ къ Суворовской, которая не терпѣла немогузнайки. И въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ въ умственномъ и ученомъ мірѣ ни одного вопроса, отъ коего запнулся бы онъ». Тѣмъ не менѣе кн. Вяземскій находилъ, какъ, вѣроятно, и всѣ современники, что Полевой по своимъ способностямъ и погрѣшностямъ, по многимъ дѣйствіямъ благонамѣреннымъ и по злоупотребленіямъ своимъ, по роли, кото-

[1]) 1829 г., т. XXVIII, 66.

рую онъ играетъ въ современной эпохѣ словесности нашей,— Полевой любопытный предметъ для изслѣдованія. Познакомимся теперь ближе съ его литературными взглядами.

Выступая на критическое поприще, Полевой объявилъ на первыхъ порахъ, что у насъ нѣтъ литературы, что куда ни оглянись — вездѣ отечественная литература представляетъ «обширную степь», изрѣдка покрытую «ковылемъ, кустарникомъ и немногими деревами, сиротѣющими въ обширности пустынной». Весьма вѣрная мысль, но уже не новая послѣ критическихъ замѣчаній Пушкина и Вяземскаго въ предисловіи къ «Бахчисарайскому Фонтану», притомъ сильно украшенная мало говорящей риторикой. Полевой поясняетъ, что онъ долго думалъ о причинахъ такого печальнаго явленія и пришелъ къ заключенію, что подобная бѣдность русской литературы происходитъ отъ того, что мы «не охотники трудиться и насъ избаловали легкія занятія». Послѣднее замѣчаніе въ моральномъ отношеніи, конечно, весьма поучительно, но едва ли выставленная причина можетъ быть названа основательной и вполнѣ исторически вѣрной. Впрочемъ, послѣдуемъ за Полевымъ въ изложеніи его критико-литературныхъ воззрѣній. Заявляя въ своей программѣ, что критика должна быть существеннымъ отдѣломъ журнала, Полевой прямо говоритъ, что ему приходится создать русскую критику, что критиковъ у насъ много, а критики нѣтъ еще [1]), ибо она состояла въ голословныхъ похвалахъ пріятелямъ и въ ярости чисто личныхъ нападокъ на литературныхъ враговъ [2]). Русскіе критики не постигли еще той науки, жрецами которой себя называютъ. Пропитанные духомъ партій, пріученные къ мелочному мелочными предметами, многіе изъ нихъ не понимаютъ той великой истины, что уразумѣть и оцѣнить достоинства и красоты гораздо труднѣе, нежели выискать ошибки, неисправности, неточности. Критика—наука: въ ней есть постоянныя правила, есть условія, но все это донынѣ

---

[1]) 1825 г., т. II, стр. 325.
[2]) Т. I, стр. 259.

тайна для нашихъ критиковъ[1]). Истинно просвѣщенный литераторъ (критикъ?) долженъ соединить въ своемъ образованіи полную систему всеобщей литературы и изъ идеала изящнаго, соображаясь съ опытами вѣковъ, извлечь правила и образцы, которымъ и должно слѣдовать[2]). Будучи такимъ «истинно просвѣщеннымъ литераторомъ», Полевой взялъ на себя литературную критику, библіографію русскихъ и иностранныхъ книгъ и обозрѣніе журналовъ; правда, по этимъ отдѣламъ печатались иногда статьи кн. Вяземскаго и другихъ, и Полевому помогалъ его братъ Ксенофонтъ; но не только духъ и направленіе журнала зависѣли вполнѣ отъ издателя, но и главная масса труда выпадала на его же долю. Критика научныхъ сочиненій была поручена спеціалистамъ. Желая сдѣлать критическій отдѣлъ вполнѣ серьезнымъ, Полевой съ самаго начала отказался отъ полемическихъ «антикритикъ». Первое полугодіе онъ твердо держался этого правила, но дальше не выдержалъ: онъ долженъ былъ неизбѣжно увлечься полемикой. О Полевомъ составилось мнѣніе, какъ о неутомимомъ рыцарѣ романтизма; но онъ, независимо отъ своихъ увлеченій романтизмомъ, прежде всего былъ пропагаторомъ серьезнаго знанія, врагомъ всякаго шарлатанства, невѣжества, бездарности, лѣзшей въ геніи, пройдохъ въ родѣ Булгарина, пускавшихъ пыль въ глаза своею мнимою ученостью и благонамѣренностью.

Уже въ первый годъ своей издательской дѣятельности Полевой затронулъ столько личныхъ самолюбій, сорвалъ столько масокъ, что вооружилъ противъ себя почти поголовно весь журнальный міръ. Поднялась цѣлая буря негодованія и злобы на умную, оригинальную, «чуждую предразсудковъ» критику «Московскаго Телеграфа», высказывавшую свои мнѣнія прямо и уничтожившую столько дутыхъ авторитетовъ тѣхъ «великихъ писателей», изъ которыхъ одинъ «дубовыми стишищами переложилъ расиновскую трагедію, другой написалъ

---

[1]) Т. IV, стр. 237.
[2]) Ibidem, стр. 339.

мадригалъ Лилетѣ и тріолетъ Хлоѣ; третій — дюжину плаксивыхъ стишонковъ, четвертый — сантиментальную повѣсть, извѣстность пятаго была основана на статьѣ, выкраденной изъ иностранной книги, а шестой просто выдалъ за свое сочиненіе забытый трудъ какого нибудь стараго русскаго писателя». Всѣ обиженные и друзья ихъ начали самую жестокую борьбу противъ «Телеграфа», имѣя во главѣ издателей «Сына Отечества» и «Сѣвернаго Архива» — Греча и Булгарина. Для опроверженія ихъ клеветъ и инсинуацій, для обличенія ихъ шарлатанствъ, Полевой завелъ у себя полемическій отдѣлъ подъ видомъ приложеній къ журналу. Главные удары его были направлены противъ Булгарина и Греча. Еще въ началѣ 1825 года Полевой доказалъ, что статьи Булгарина о романтическомъ искусствѣ заимствованы изъ книги Шлегеля и въ теченіе года онъ неутомимо разоблачалъ всѣ шарлатанства этого писателя, резюмировавъ всѣ высказанныя имъ нелѣпости въ особыхъ примѣчаніяхъ къ IV и VI томамъ своего журнала[1]). При всемъ томъ, Полевой относился къ своимъ противникамъ въ высшей степени честно и сдержанно, только въ припадкахъ крайняго раздраженія дозволяя себѣ изрѣдка такія выходки, какъ, напр., противъ Каченовскаго, которому онъ однажды замѣтилъ, что «статьи писать — не порохомъ торговать» (Каченовскій въ молодости былъ привлеченъ къ суду по дѣлу о незаконной продажѣ купленнаго пороха). Беллетристы «Телеграфа» были вполнѣ солидарны съ принципами критики Полевого, основанной на философскихъ началахъ. Такъ, Полевой опровергалъ теорію подражанія природѣ: «не природа творящее, а человѣкъ, природа же только творимое». Человѣкъ развиваетъ въ своихъ способностяхъ и знаніяхъ внутренній духовный міръ свой. Это положеніе, основанное на умозрѣніи и доказываемое опытностью, должно быть краеугольнымъ камнемъ всѣхъ нашихъ системъ и изслѣдованій[2]). Вслѣдствіе этого, истинный поэтъ весь от-

---

[1]) Бѣлинскій, соч., т. XII, стр. 482 и слѣд.
[2]) 1826 г., т. VIII, стр. 247.

дается вдохновенію и слушается только его голоса. Поэтъ долженъ быть совершенно независимъ отъ внѣшнихъ условій, долженъ бѣжать отъ всякой прозы житейской и горе ему, если міръ обхватитъ его своими желѣзными когтями: «среди людей онъ будетъ страннымъ, уродливымъ созданіемъ, жертвой страстей чужихъ и своихъ, жизнь его будетъ борьба между небомъ и землею. Тревожный, безпокойный, снѣдаемый внутреннимъ огнемъ—поэтъ никогда не уживется съ людьми, не помирится съ условіями жизни ихъ».

«Телеграфъ» не отрицалъ и общественнаго значенія поэзіи, указывая на общественные мотивы Ювенала, Державина, Байрона и др. Полевой говоритъ, что поэтъ, такъ же какъ и ораторъ, можетъ посредствомъ поэзіи распространять мнѣнія, которыя онъ почитаетъ полезными для благосостоянія своихъ согражданъ[1]). Но нельзя сказать, чтобы въ этомъ отношеніи всѣ его разсужденія были вполнѣ опредѣленны и послѣдовательны: онъ часто путался въ противорѣчіяхъ и въ другихъ статьяхъ рѣшительно вооружался противъ утилитарныхъ направленій поэзіи[2]). Истинная поэзія должна быть народна; но требуя отъ поэзіи національнаго духа, Полевой, Марлинскій и др. романтики выводили дѣйствительную жизнь въ причесанномъ, прилизанномъ видѣ и «Телеграфъ» вооружался какъ противъ «низкаго слова», такъ и противъ изображенія жизненной грязи и пошлости въ ихъ настоящемъ видѣ[3]). Поэтому-то Полевой и не могъ понять Гоголя и поэзіи Лермонтова. Точно также Полевой не могъ понять и новой критики, основанной на гегеліанствѣ. Онъ защищалъ свои убѣжденія и называлъ нелѣпымъ то, что говорили люди, опередившіе его въ умственномъ движеніи. Онъ называлъ гегеліанство схоластикой и, какъ человѣкъ съ горячимъ и живымъ характеромъ, возсталъ сначала противъ критики Надеждина, а затѣмъ и критики Бѣлинскаго. По-

---

[1]) 1826 г., т. XII, стр. 53.
[2]) «М. Т.» 1825 г., VI, стр. 73.
[3]) Очерки русск. лит., ч. I, стр. 168 и ч. II, стр. 48.

слѣдній періодъ жизни лежитъ темнымъ пятномъ на памяти Полевого: онъ, сначала бодро выступившій однимъ изъ предводителей въ литературномъ и умственномъ движеніи,—онъ, знаменитый редакторъ «Московскаго Телеграфа» (запрещеннаго въ 1834 году за статью о драмѣ Кукольника «Рука Всевышняго Отечество спасла»), столь сильно дѣйствовавшій въ пользу просвѣщенія, разрушившій столько литературныхъ и другихъ предубѣжденій, подъ конецъ жизни сталъ ратовать противъ всего, что было тогда здороваго и плодотворнаго въ русской литературѣ, занявъ съ своимъ «Русскимъ Вѣстникомъ» то самое положеніе въ литературѣ, которое нѣкогда занималъ «Вѣстникъ Европы».

Около конца 1830 г. отзывы «Телеграфа» о Пушкинѣ совершенно измѣнились; вмѣсто прежняго энтузіазма водворилась сначала холодность, а потомъ и явный раздоръ. Причинъ такого непріязненнаго отношенія нужно искать, съ одной стороны, въ поступкахъ Полевого, а съ другой во взглядахъ и характерахъ Пушкина и его друзей. Отношенія Пушкина къ Полевому, вѣроятно, внутренно измѣнились еще въ 1829 г., когда послѣдній написалъ въ своемъ журналѣ критическую статью объ «Исторіи Государства Россійскаго». Статья была написана превосходно, мѣра заслугъ Карамзина оцѣнена безпристрастно, съ полнымъ уваженіемъ къ имени знаменитаго писателя. Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ появилось въ «Телеграфѣ» объявленіе о скоромъ выходѣ «Исторіи Русскаго Народа». Невольно являлась мысль, что его статья о Карамзинѣ есть какъ бы предисловіе къ объявленію о подпискѣ на собственную исторію. Противъ Полевого поднялась страшная буря, въ которой долю участія принималъ Пушкинъ, столь благоговѣйно чтившій память и заслуги Карамзина. Въ «Литературной Газетѣ» Дельвига помѣщены двѣ статьи Пушкина объ «Исторіи» Полевого[1]), въ бумагахъ найдена программа третьей статьи. Еще въ болѣе рѣзкомъ тонѣ Пушкинъ отозвался о той же исторіи въ

[1]) V, 73—78.

1836 году, называя ее «шарлатанской книгой, написанной безъ смысла, безъ изысканій и безо всякой совѣсти—не говоря уже о плутовствѣ подписки, что уже касается управы благочинія, а не Академіи наукъ».—Конечно не однѣ нападки на Карамзина были причиной охлажденія Пушкина къ «Московскому Телеграфу» и его издателю; въ холодности поэта къ этому изданію, между прочимъ, открываются черты характера, не лишенныя своего значенія и знаменательности. Пушкинъ находилъ въ «Телеграфѣ» болѣе хлопотливости вокругъ науки, чѣмъ изученія какой либо ея части, и не одобрялъ хвастовства всякой чужой системой при первомъ ея появленіи, не дозволявшемъ еще зрѣлаго обсужденія. Всегоже болѣе оскорбляло Пушкина то уничтоженіе авторитетовъ и литературныхъ репутацій, которое происходило отъ немедленнаго приложенія вычитанныхъ идей къ явленіямъ отечественной словесности [1]). Пушкинъ вооружался противъ произвола журнальныхъ сужденій, захватившихъ довольно обширный кругъ дѣйствія. При такомъ литературномъ аристократизмѣ Пушкинъ и его школа неизбѣжно должны были разойтись съ представителемъ интеллигентной массы, который демократизировалъ литературу съ главнымъ представителемъ этого произвола, возникавшаго общественнаго мнѣнія и нарождавшейся серьезной критики. Журналъ «Московскій Телеграфъ» былъ совершенною противоположностью духу, господствовавшему у насъ въ эпоху литературныхъ обществъ, онъ образовалъ новое направленіе въ словесности и критикѣ, замѣстивъ литературныя общества и измѣнивъ прежнее направленіе журнала—быть открытой ареной для всѣхъ писателей съ самыми различными мнѣніями объ искусствѣ. Сохраняя долѣе многихъ своихъ друзей основныя убѣжденія стараго члена литературныхъ обществъ, — Пушкинъ долго не могъ привыкнуть къ новому порядку вещей и мечталъ о томъ, чтобы возвратить критику въ руки малаго избраннаго круга писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренно-

[1]) Анненковъ, Матеріалы, стр. 175.

стью публики. Были, наконецъ, и чисто личныя причины охлажденія. «Телеграфъ» враждовалъ съ «Московскимъ Вѣстникомъ», къ издателю котораго, Погодину, Пушкинъ относился съ особеннымъ расположеніемъ; «Телеграфъ», уничтожая литературныя репутаціи, не пощадилъ и друзей Пушкина. Полевой неблагосклонно отозвался о «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» Дельвига, поссорился съ кн. Вяземскимъ, не раздѣлялъ мнѣній Пушкина о поэтическихъ произведеніяхъ Катенина (въ чемъ былъ совершенно правъ), враждовалъ съ Ор. Сомовымъ, который имѣлъ большое вліяніе на Дельвига и, конечно, раздувалъ ненависть къ Полевому. Поэтому неудивительно, что Пушкинъ, горою стоявшій за своего друга Дельвига, принимавшій къ сердцу всѣ его жалобы и горести, оскорблявшійся нападеніями на его авторскую славу гораздо болѣе, чѣмъ на свою собственную; Пушкинъ, любившій и уважавшій кн. Вяземскаго, благоговѣвшій передъ Катенинымъ, былъ увлеченъ въ ихъ борьбу съ Полевымъ. «Телеграфъ», защищаясь отъ нападеній «Литературной Газеты», долженъ былъ нападать и самъ. Газета и ея издатель не были щадимы. Вотъ, напр., нѣсколько пародій на антологическія стихотворенія Дельвига:

Сходство.

Сшили фракъ; и былъ онъ модный, прекрасный, изящный.
Мода прошла—и на ветошь онъ проданъ; не то ли и съ нами?

Θеокритовъ.

Судьба человѣка.

Трубку я докурилъ и, пепелъ ея выбивая, думалъ:
«Такъ выбиваетъ изъ свѣта насъ Кронъ безпощадный!»

Θеокритовъ.

Это, конечно, еще болѣе усилило вражду, а удары на Полевого сыпались въ каждомъ номерѣ «Литературной Газеты». Его объявили вздорнымъ крикуномъ и осыпали эпиграммами; его обвиняли въ хвастовствѣ, невѣжествѣ, своекорыстіи, отсутствіи литературной и коммерческой честности. Было много

и другихъ выходокъ, еще менѣе дозволительныхъ правилами литературной полемики. Въ началѣ полемики Пушкинъ, повидимому, внутренно не раздѣлялъ вполнѣ полемическихъ пріемовъ своего друга; это можно видѣть, напр., по его замѣткамъ [1]), въ которыхъ онъ, между прочимъ, говоритъ о Полевомъ, обвиняя его только въ «юношеской заносчивости, не уважающей ни лѣтъ, ни званія, ни славы, и оскорбляющей равно память мертвыхъ и отношенія къ живымъ» и отдавая Полевому, вмѣстѣ съ тѣмъ, справедливость въ томъ, что его нельзя упрекнуть въ «низкомъ подобострастіи предъ знатными». Въ такомъ же незлобивомъ духѣ написана и одна изъ трехъ «Дѣтскихъ сказокъ», предназначавшихся, вѣроятно, для «Литературной Газеты»,—подъ заглавіемъ: «Вѣтренный мальчикъ» [2]). Но въ 1834 году мы уже читаемъ злорадно-благонамѣренный отзывъ о прекращеніи «Телеграфа» [3]). Очевидно къ этому времени Пушкинъ сталъ въ явно-враждебныя отношенія къ Полевому: отношенія ихъ обострились до радости одного при бѣдѣ, постигающей другого. Мы видѣли, что если мало-по-малу личная непріязнь къ издателю «Телеграфа» овладѣла великимъ поэтомъ и если нападеніями другихъ своихъ противниковъ, друзей Пушкина, и отчасти самого Пушкина, Полевой былъ вызываемъ на нѣкоторыя полемическія выходки, обычныя въ то время, то невозможно сказать, чтобы издатель «Телеграфа» былъ виновенъ въ томъ: не онъ началъ полемику; напротивъ, онъ старался избѣжать ея. Еще важнѣе то, что, несмотря на свои личныя враждебныя отношенія къ Пушкину, какъ члену одной литературной партіи, Полевой продолжалъ разсматривать поэтическія произведенія его съ безпристрастіемъ, отдавая полную справедливость ихъ достоинствамъ. Критика «Моск. Телеграфа» стремилась проникнуть въ существенный смыслъ произведенія, и часто достигала этого не безъ успѣха; она старалась опредѣлить отношенія каждаго новаго произведе-

[1]) Т. V, стр. 164.
[2]) Т. V, стр. 105.
[3]) Т. V, стр. 204, отрывки изъ Дневника.

нія къ прежнимъ, она удачно объясняла и отношенія различныхъ созданій нашего поэта къ публикѣ, — словомъ, по своему времени, критика Полевого была достойна своего имени. Поэтому чистымъ предразсудкомъ нужно считать всѣ нареканія объ ея тупоуміи, пустотѣ, которыя мы читаемъ у Пушкина въ его огульныхъ осужденіяхъ всей современной критики. Критика Полевого давно уже отжила свой вѣкъ, но въ цвѣтущее время «Московскаго Телеграфа» она имѣла огромное значеніе и оказала нашей литературѣ великія заслуги въ томъ отношеніи, что освободила ее окончательно отъ стѣснительныхъ условій классицизма и дала ей возможность естественнаго, народнаго, самостоятельнаго развитія. Чрезъ два года послѣ «Московскаго Телеграфа» явился «Московскій Вѣстникъ», за нимъ «Атеней» и «Галатея», даже дряхлый «Вѣстникъ Европы» оживился, ударился въ ожесточенную полемику, схватился за «Θеорію» и даже философію, потомъ всѣ соединились въ «Телескопѣ», чтобы сильнѣе ударить на своего общаго врага; но они могли только поднять его своими натисками, ничего не сдѣлавши ни для себя, ни для Пушкина, исключая, конечно, самого Надеждина. Полевой слишкомъ двадцать лѣтъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ и можетъ назваться представителемъ мнѣнія объ искусствѣ и наукѣ цѣлаго періода нашей литературы. По своему времени онъ далъ лучшія и примѣчательнѣйшія статьи о Державинѣ, Жуковскомъ и Пушкинѣ.

Въ этихъ трехъ статьяхъ заключается сводъ мнѣній и понятій автора объ изящномъ и русской поэзіи [1]). Лучшей статьей нужно считать статью о Державинѣ, изъ лучшихъ— о Жуковскомъ. Никто до Полевого не судилъ вѣрнѣе о Державинѣ и Жуковскомъ, не былъ ближе къ истинѣ при оцѣнкѣ этихъ двухъ великихъ представителей русской поэзіи. Но, со всѣмъ тѣмъ, вполнѣ вѣрнымъ его взглядъ нельзя назвать: Полевой окончательно не опредѣлилъ ихъ цѣны, мѣру ихъ заслуги, не указалъ настоящаго мѣста въ исторіи русскаго

[1]) «Очерки русской литературы», томъ I.

творчества. Эту задачу предстояло разрѣшить уже послѣдующей историко-эстетической критикѣ. Полевой вѣрно подмѣтилъ въ Державинѣ сторону народности, которой до него не подозрѣвали въ этомъ поэтѣ, наивно считая его вмѣстѣ съ тѣмъ міровымъ геніемъ, но не доказывая ни этого, ни его народности. Критикъ какъ бы чувствовалъ недоступность для себя мысли, на самой себѣ основывающейся и изъ себя развивающейся, и потому безпрестанно мѣшалъ поэта съ человѣкомъ, стараясь одно объяснить другимъ, отъ воззрѣнія обращаясь къ жизни Державина, требуя отъ нея помощи. Полевой также вѣрно подмѣтилъ отличительныя черты поэзіи Жуковскаго, восторгался этой поэзіей, забавно упрекая его только въ недостаткѣ народности. Вообще же, бѣда Полевого въ томъ, что онъ зачастую, понимая фактъ, не понимаетъ мысли, скрытой въ этомъ фактѣ. Поэтому опредѣленія его принимаютъ характеръ личнаго мнѣнія, основаннаго на личномъ чувствѣ, а не на самомъ предметѣ изслѣдованія, чрезъ развитіе выраженной этими опредѣленіями мысли. Но ложныя опредѣленія, встрѣчаемыя у него, являются слѣдствіемъ предубѣжденія и мнѣній эпохи. Поэтому съ Полевого должна быть снята половина вины: всякій человѣкъ есть прежде всего сынъ своего времени Въ оцѣнкѣ Пушкина Полевой дѣлалъ много промаховъ и непростительныхъ ошибокъ, особенно послѣ 30-го года, когда Пушкинъ явился уже вполнѣ самобытнымъ, гармонически успокоеннымъ творцомъ; первые же періоды дѣятельности Пушкина нашли въ Полевомъ, по большей части, мѣткаго истолкователя, потому что тогда Пушкинъ былъ «задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель духа и мечтаній своихъ ровесниковъ». Таковы были сужденія романтическаго критика, который совсѣмъ не понималъ реализма и смутно сознавалъ великія общественныя задачи искусства. Ниже, при дальнѣйшемъ разборѣ критическихъ взглядовъ на произведенія Пушкина, мы въ подробностяхъ познакомимся съ мнѣніями Полевого по занимающему насъ вопросу.

ГЛАВА VI.

Отзывы критиковъ о «Цыганахъ».— Статья кн. Вяземскаго въ «Московскомъ Телеграфѣ», рецензіи въ «Сѣв. Пчелѣ» и въ «Сынѣ Отечества».— Статья «Московскаго Вѣстника» и историко-литературное значеніе ея выводовъ о дѣятельности Пушкина до 1825 года.—Три періода въ творчествѣ Пушкина.—Общія заключенія критика «Моск. Вѣстн. о творчествѣ Пушкина.

Несмотря на то, что въ 1825 году появилась первая глава «Онѣгина», вызвавъ многочисленныя критическія статьи и возбудивъ сильную полемику, несмотря на то, что поэмы: «Братья Разбойники» и «Цыгане» отдѣльнымъ изданіемъ появились въ свѣтъ въ 1827 году, а «Графъ Нулинъ» и «Полтава» въ 1827 и 1828 годахъ, мы, нѣсколько измѣнивъ хронологическому порядку, разсмотримъ сначала отношенія критики къ этимъ поэмамъ, а затѣмъ перейдемъ къ разсмотрѣнію критики объ «Онѣгинѣ», которая обнимала періодъ времени въ семь лѣтъ—съ 1825 по 1831, о «Борисѣ Годуновѣ» и стихотвореніяхъ и остальныхъ при жизни напечатанныхъ произведеніяхъ Пушкина до 1837 г. «Онѣгинъ», какъ извѣстно, создавался Пушкинымъ съ 1822 по 1831 годъ; отдѣльныя же пѣсни появлялись въ свѣтъ въ теченіе шести лѣтъ; поэтому прерывать изложеніе отношеній критики къ «Онѣгину» отношеніями къ поэмамъ намъ кажется неудобнымъ, ибо это будетъ вредить цѣлостности изложенія.

«Братья Разбойники» и «Цыгане»—послѣдняя дань Пушкина Байрону, хотя кое-какіе слѣды вліянія послѣдняго

можно замѣтить даже въ 1828 году — наканунѣ созданія «Полтавы». Восторженное удивленіе геніальнымъ пріемамъ и художественной манерѣ Байрона продолжалось у Пушкина довольно долго. Британскій поэтъ во время пребыванія Пушкина на югѣ Россіи былъ для него кумиромъ, подъ гнетомъ котораго поэтъ отрекался отъ собственной личности, дѣлаясь снимкомъ съ чужой физіономіи и перенимая даже многія мелочныя привычки жизни и характера. Ко времени «Цыганъ» Байронъ началъ уже превращаться изъ личности въ понятіе, «властитель думъ» дѣлался уже наравнѣ съ другими явленіями романтизма подсуденъ опредѣленію, разбору, классификаціи. Освободившись отъ прямаго вліянія личности, нужно было освободиться отъ направленія, даннаго ею самой мысли подражателя, отъ ея взглядовъ на людей и предметы нравственнаго свойства. Эта цѣль могла быть достигнута только посредствомъ самостоятельнаго труда, который начался у Пушкина съ «Онѣгина». Съ этой поэмы начинается нравственное отрезвленіе Пушкина отъ хмѣля восторженнаго подражанія Байрону, возвращеніе къ самому себѣ, къ природѣ и свойствамъ своего таланта и своего характера. Хотя начало «Онѣгина» и «Цыгане», эти поэмы-близнецы, писались въ одно время и были свидѣтелями нравственнаго переворота въ Пушкинѣ, тѣмъ не менѣе «Цыгане», въ противоположность съ реальнымъ «Онѣгинымъ», съ жизненнымъ, бытовымъ оттѣнкомъ его картинъ и характеровъ, представляютъ высшее и самое пышное цвѣтеніе русскаго романтизма, успѣвшаго овладѣть поэтически-философской темой. Хотя въ «Цыганахъ» и чувствуется вліяніе байронизма, но вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтны оригинальность замысла, возмужалость и зрѣлость таланта. Эти качества были замѣчены современниками и они признали въ поэмѣ свободное, независимое созданіе, несмотря на нѣкоторые признаки родства съ чужою мыслію. Записные критики и публика долгое время предпочитали романтическихъ «Цыганъ» реалистическому «Онѣгину». Публикѣ нравились какъ вся романтическая обстановка «Цыганъ», съ характерами стараго цыгана и Земфиры, такъ и самъ Алеко,

представлявшій намекъ на великолѣпный типъ, въ которомъ олицетворилась политическая несостоятельность и нравственная пустота при громадныхъ претензіяхъ и сильномъ умственномъ развитіи. Восторгамъ публики не было предѣловъ, когда поэма появилась въ печати. Самъ Пушкинъ думалъ иначе: на «Цыганъ» онъ смотрѣлъ какъ на переходную ступень въ своемъ развитіи, — онъ говорилъ Плетневу, что только съ «Цыганъ» почувствовалъ въ себѣ призваніе къ драмѣ. Это значило, что «Цыганами» Пушкинъ прощался съ романтическими твореніями, выходя на дорогу творчества самобытнаго, первыми плодами котораго были «Онѣгинъ» и «Борисъ Годуновъ».

Если «Цыгане» относятся къ переходной эпохѣ Пушкинскаго творчества, то «Братья Разбойники», написанные въ 1821 году, всецѣло принадлежатъ къ эпохѣ байронизма. Эта поэма, бѣдная поэзіею, мелодраматичная по характерамъ самихъ разбойниковъ, была встрѣчена критикой и публикой весьма сухо. О «Братьяхъ Разбойникахъ» мы имѣемъ только двѣ критическія замѣтки—въ «Сынѣ Отечества» 1827 г., № 16, стр. 399, и въ «Сѣверной Пчелѣ» 1827 г., № 101. Также поскупилась критика и на отзывы о «Цыганахъ»: о нихъ единственная критическая статья написана кн. Вяземскимъ[1]), рецензіи явились въ «Сѣверной Пчелѣ» 1827 г., № 65, и 1828 г. № 43 и въ «Сынѣ Отечества» 1827 г., № 12. Критика, разбирая «Цыганъ», ни словомъ не намекнула на идею поэмы, наговоривъ о Байронѣ, о цыганскомъ племени, о небезгрѣшности ремесла водить медвѣдя, объ успѣшномъ развитіи таланта пѣвца «Руслана и Людмилы» и пр. Забавна также для критическаго духа того времени, когда вышли «Цыгане», черта, встрѣчающаяся въ «Критическихъ замѣткахъ» Пушкина. На страницѣ 121-й пятаго тома мы читаемъ: «О «Цыганахъ» одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ только честный человѣкъ и то — медвѣдь. Покойный Рылѣевъ негодовалъ, зачѣмъ Алеко водитъ

[1]) «Московскій Телеграфъ» 1827 г., № 10, и соч., т. I, стр. 313.

медвѣдя и еще собираетъ деньги съ глазѣющей публики. Вяземскій повторилъ то же замѣчаніе. Рылѣевъ просилъ меня сдѣлать изъ Алеко—хоть кузнеца, что было бы не въ примѣръ благороднѣе. Всего бы лучше сдѣлать изъ него чиновника или помѣщика, а не цыгана. Въ такомъ случаѣ «правда, не было бы и всей поэмы: ma tanto meglio». Кромѣ того, авторъ статьи: «Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина», помѣщенной въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1828 г., ч. 8, № 16, разбираетъ, между другими поэмами, и «Цыганъ». Ниже мы разсмотримъ эту статью въ подробностяхъ, ибо, какъ намъ кажется, она была весьма мѣткой характеристикой творчества Пушкина до 1825 года съ подраздѣленіемъ его на три періода, сохранившимся у всѣхъ позднѣйшихъ критиковъ.

Библіографическая замѣтка «Сѣверной Пчелы» о «Братьяхъ Разбойникахъ» говоритъ только, что многіе считали это стихотвореніе «эпизодомъ изъ новой поэмы», но что, по мнѣнію «Сѣверной Пчелы», вслѣдствіе «полноты дѣйствія, живости картинъ и разнообразія ощущеній, попеременно тревожащихъ душу писателя», они составляютъ цѣлую поэму. «Сынъ же Отечества», въ душѣ негодуя на порочность дѣйствующихъ лицъ, къ которымъ, кажется, не можетъ быть никакой жалости, говоритъ объ «очаровательномъ чудномъ дѣйствіи поэзіи и музыки на душу человѣка». «Мы негодуемъ, говоритъ рецензентъ, на пороки дѣйствующаго лица поэмы—и невольно удѣляемъ ему вздохъ сожалѣнія; досадуемъ на нѣкоторые звуки, оскорбляющіе нашъ слухъ,—и не можемъ дать себѣ отчета, почему въ цѣломъ они намъ нравятся». Рецензентъ въ характерѣ разбойника находитъ, при всей его жестокости и развратности, «одно господствующее чувство природы—любовь братскую», которая сдерживаетъ въ немъ порывы кровожадности и, выраженная очаровательными стихами, пробуждаетъ минутное чувство жалости даже къ разбойнику. Въ этомъ рецензентъ видитъ нравственную сторону поэмы, изъ которой можно вывести, говоритъ онъ, «послѣдствіе, что человѣкъ, даже въ крайнемъ униженіи своемъ, не вовсе еще

отметаетъ тѣ чувствованія, которыя Милосердый Промыселъ влилъ въ душу его при самомъ рожденіи».

Если «Братья Разбойники» въ рецензентѣ «Сына Отечества» вызвали только «вздохъ сожалѣнія», то «Цыгане», наоборотъ, восторженные возгласы въ родѣ: «Новое прелестное стихотвореніе А. С. Пушкина», «Такова сила истиннаго дарованія!» и пр. Подобными восклицаніями, обыкновенно, исчерпывалась критика изданій Греча и Булгарина, прибавляя при этомъ, какъ напр., говоря про «Цыганъ», что «вся поэма написана какъ бы отдѣльными картинами, въ которыхъ живость изображеній и звучность, сладость стиховъ Пушкина, совокупляясь съ заманчивостью предмета, дѣйствуютъ на воображеніе читателя тройнымъ очарованіемъ». Далѣе критикъ «Сѣверной Пчелы» въ какомъ-то упоеніи заявляетъ, что не хотѣлъ было разставаться съ повѣстью, ждалъ еще новыхъ событій, искалъ въ душѣ новыхъ впечатлѣній, но, къ сожалѣнію, въ это время онъ дочиталъ послѣднюю страницу поэмы и началъ размышлять объ удивительныхъ свойствахъ истиннаго дарованія, которое посредствомъ того, что утаено и недосказано имъ, «открываетъ предъ нами рядъ нѣжныхъ картинъ и пробуждаетъ такія ощущенія», какихъ самъ критикъ понять не можетъ, не отдавая себѣ въ нихъ отчета.

Не лучше его и рецензентъ «Сына Отечества». «Цыгане» ему отмѣнно понравились свѣжестью предмета и разсказа, иногда повѣствовательнаго, иногда драматическаго. Критикъ находитъ въ «Цыганахъ» изображеніе смѣлыми, но вѣрными чертами, въ стихахъ плѣнительныхъ, дикой кочевой жизни племени цыганъ, простоты ихъ нравовъ и нуждъ, шумности ихъ таборовъ; и подлѣ сихъ своевольныхъ, но не злобныхъ дѣтей природы, буйныя страсти «полуобразованнаго Алеко», унесшаго съ собой въ цыганскій таборъ гордость и самолюбіе горожанъ; далѣе критикъ перечисляетъ и выписываетъ нѣкоторыя мѣста, поразившія его своей «новостью». Начинается эта глубокомысленная замѣтка восклицаніемъ: «Новое прелестное стихотвореніе А. С. Пушкина!»,

ѣ оканчивается нѣкоторыми разсужденіями о свободѣ творчества въ родѣ тѣхъ, которыя мы приводили выше, говоря про мнѣнія о романтизмѣ Булгарина. Здѣсь говорится почти то же; а именно, что поэтъ пишетъ только слѣдуя своему воображенію, которое у него подчиняется «тѣмъ же уставамъ, какими правятся событія міра существеннаго». Поэтъ свободенъ въ выборѣ своего предмета, и если не избралъ предмета историческаго, то свободенъ придавать лицамъ такіе характеры, а происшествіямъ такое направленіе и развязку, какія ему заблагоразсудятся. Не меньше того онъ свободенъ въ выборѣ формъ и отдѣлкѣ стиховъ; во всѣхъ сихъ случаяхъ онъ руководствуется «только воображеніемъ, вкусомъ и нѣкоторыми правилами безусловными». Вѣроятно, подобная защита предназначалась по адресу, напр., «Вѣстника Европы», который угрюмо и зловѣще молчалъ со времени жаркаго спора по поводу «Разговора» кн. Вяземскаго и который не обмолвился ни словомъ ни при появленіи «Онѣгина», ни при появленіи «Цыганъ», если не считать одного полемическаго письма къ редактору о спорѣ по поводу «Онѣгина». Очевидно, дряхлый старецъ собирался съ силами, чтобы выслать на послѣдній бой въ 1828 году Никодима Надоумку[1]) съ его статьей: «Литературныя опасенія за будущій годъ» и съ послѣдующими рѣзкими отзывами о «Полтавѣ» и послѣднихъ пѣсняхъ «Онѣгина». Какъ бы то ни было, это молчаніе знаменовало или высшую степень презрѣнія къ произведеніямъ Пушкина, не стоющихъ даже библіографическаго отзыва, или сознаніе своего безсилія въ борьбѣ съ гигантомъ творчества. Вѣроятно, презрѣніе и собственное безсиліе до поры до времени заставляли молчать «Вѣстникъ Европы». Онъ ожидалъ только храбраго витязя, чтобы выслать его на единоборство и дождался его въ лицѣ Надеждина — «Критика съ патріаршихъ прудовъ».

Немногимъ лучше разобранныхъ нами рецензій и дилле-

[1]) Н. И. Надеждина.

тантская статья кн. Вяземскаго, которому во всю свою жизнь въ критикѣ не удалось подняться выше просвѣщеннаго любителя словесности, не удалось выработать никакого твердо-опредѣленнаго критическаго міровоззрѣнія и приходилось довольствоваться слабыми критическими упражненіями, излагающими личныя впечатлѣнія, подчасъ остроумныя замѣчанія, приправленныя притомъ разсужденіями о романтизмѣ, понятомъ на односторонній французскій ладъ. За статьями кн. Вяземскаго остается одно неотъемлемое достоинство: онѣ написаны довольно литературно и въ нихъ соблюдены всѣ правила приличія «свѣтской общежительности». Къ сожалѣнію, для критики этихъ достоинствъ слишкомъ мало. Итакъ, кн. Вяземскій напечаталъ критическую статью о «Цыганахъ». Здѣсь мы читаемъ, что весьма любопытно слѣдовать за ходомъ таланта, постепенно зрѣющаго, мужающаго и обѣщающаго достигнуть «сочнѣйшей зрѣлости и полнѣйшаго развитія свободы»,—читаемъ, что «Цыгане» рождаютъ ощущенія новыя, впечатлѣнія цѣльныя, что въ нихъ нѣтъ и подражанія уловимаго, подлежащаго уликѣ, но что «вѣроятно, не будь Байрона, не было бы и поэмы «Цыгане» въ настоящемъ ихъ видѣ: въ отсутствіи связи видимой и ощутительной замѣчается вліяніе плана «Гяура» Байрона. Впрочемъ, вѣдь Байронъ, вслѣдствіе «мысли свѣтлой и вѣрнаго понятія о характерѣ эпохи своей», не спаялъ отдѣльныхъ частей цѣлаго, слѣдовательно, и Пушкинъ, подражая Байрону, явился представителемъ тоже своей эпохи. «Если и стрѣлка времени, говоритъ далѣе кн. Вяземскій,—какъ-то перескакиваетъ нынѣ минуты и считаетъ одними часами, то немудрено, что мы всѣ такъ стремимся къ заключеніямъ. Это характеристическая примѣта нашего времени. Мы всѣ на письмѣ и на дѣлѣ перескакиваемъ союзныя частицы скучныхъ подробностей и порываемся къ результатамъ», хотя ихъ у насъ и нѣтъ и хотя мы, слѣдовательно, стремимся къ какой-то пустотѣ. Конечно, подобныя разсужденія, какъ и все, что писалъ кн. Вяземскій, болѣе остроумны, чѣмъ мѣтки и основательны. Въ «Цыга-

нахъ», несмотря на то, что она составлена изъ отдѣльныхъ явленій, то «описательныхъ, то повѣствовательныхъ, то драматическихъ, не хранящихъ математическаго послѣдствія», — критикъ находитъ во всѣхъ этихъ «явленіяхъ» «нравственное послѣдствіе, въ которомъ части соглашены правильно и гармонически». Вѣроятно, въ этомъ мѣстѣ критикъ, говоря о «нравственномъ послѣдствіи», хотѣлъ проникнуть въ идею поэмы, но сдѣлать ему этого не удалось, ибо онъ не опредѣляетъ, что разумѣетъ подъ «нравственнымъ послѣдствіемъ. Вмѣсто подобной трудной для тогдашей критики задачи, кн. Вяземскій принимается за пересказъ содержанія, комментируя его общими, незначительными замѣчаніями, и хотя отказывается «обращать вниманіе читателя на отдѣльныя красоты разсказа, яркія черты живописныя, поэтическое движеніе въ оборотахъ, строгую и вмѣстѣ съ тѣмъ свободную точность выраженій пламенныхъ и сильныхъ», — онъ, далѣе, болѣе чѣмъ на двухъ страницахъ занимается подобнымъ разборомъ, прибавляя къ этому еще разсмотрѣніе характеровъ трехъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, сдѣланное въ видѣ перифраза въ прозу Пушкинскихъ стиховъ. Оригинально, впрочемъ, одно самобытное замѣчаніе кн. Вяземскаго насчетъ того, какъ Алеко по селеніямъ ходитъ съ пьянымъ медвѣдемъ. «Этотъ промыселъ, говоритъ критикъ, хотя и совершенно въ числѣ принадлежностей молдаванскихъ цыганъ, не имѣетъ въ себѣ ничего поэтическаго. Понимаемъ, что Алеко сдѣлался цыганомъ изъ любви къ Земфирѣ и ненависти къ обществу; но все-таки не можетъ онъ съ удовольствіемъ школить несчастнаго медвѣдя и наживаться его боками. Если непремѣнно нужно свести Алеко въ совершенный цыганскій бытъ, то лучше предоставить барышничать и цыганить лошадьми. Въ этомъ ремеслѣ, хотя не совершенно безгрѣшномъ, есть какое-то удальство и слѣдственно поэзія». Сколь оригинально выписанное нами мнѣніе критики о непоэтичности вожденья медвѣдя, столь же оригинально и самобытно замѣчаніе, будто

послѣдній стихъ эпилога «и отъ судебъ защиты нѣтъ»— что-то «слишкомъ греческій для мѣстоположенія»; критикъ даже весьма проницательно подозрѣвалъ поэта въ заимствованіи этого стиха изъ какого нибудь хора древней трагедіи. Не менѣе любопытны послѣднія два замѣчанія кн. Вяземскаго, въ которыхъ онъ говоритъ, что «напрасно авторъ заставляетъ Земфиру умирать эпиграмматически, повторяя послѣднія слова изъ пѣсни: «Умру любя». Во всякомъ случаѣ, развѣ: умираю, а то при послѣднемъ издыханіи и некогда было бы ей разлюбить». Кромѣ того, критикъ замѣтилъ одинъ вялый стихъ: «и съ камня на траву свалился»,—это второе и послѣднее «щепетильное», по словамъ критика, замѣчаніе. Для заключенія своей статьи критикъ высказываетъ надежду, что поэтъ совершитъ еще болѣе и что кн. Вяземскій убѣжденъ въ этомъ, ибо поэтъ уже далеко за собою оставилъ какіе-то «берега и сверстниковъ своихъ» и поэтому онъ можетъ «плыть далѣе въ глубь и полноводіе».

Мы уже упоминали выше о статьѣ «Московскаго Вѣстника», которая для своего времени не лишена литературнаго значенія въ томъ смыслѣ, что являетъ собой первую попытку дѣленія Пушкинской дѣятельности на періоды. Авторъ этой статьи (вѣроятно, Шевыревъ) находитъ три періода въ поэтической дѣятельности Пушкина. Первый онъ называетъ періодомъ школы итальяно-французской, второй — отголоскомъ лиры Байрона, третій—періодъ Русско-Пушкинской. Критикъ, принимаясь за свою статью, дѣлаетъ довольно самоувѣренное примѣчаніе, что всѣ напечатанныя до сихъ поръ рецензіи и критическія статьи о «Русланѣ и Людмилѣ», «Кавказскомъ Плѣнникѣ», «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» и «Онѣгинѣ» ограничивались простымъ извѣщеніемъ о выходѣ упомянутыхъ поэмъ или толками о романтизмѣ, разборовъ же поэмъ Пушкина мы не имѣемъ; что онъ берется опредѣлить характеръ поэзіи Пушкина вообще, оцѣнить ея красоты и недостатки, показать мѣсто, которое поэтъ нашъ успѣлъ занять между первоклассными

поэтами и, наконецъ, вывести общее заключеніе о значеніи Пушкина. Намъ кажется, что критику удалось исполнить весьма удачно только первое свое намѣреніе: дать названія различнымъ періодамъ творчества Пушкина и сдѣлать довольно вѣрную, хотя и не всегда полную, бѣглую характеристику этихъ періодовъ.

Такъ критикъ замѣчаетъ, что въ первомъ періодѣ школы итальяно-французской «сладость Парни», непринужденное и легкое остроуміе, нѣжность, чистота отдѣлки, свойственная характеру французской поэзіи вообще, соединились съ роскошью, съ изобиліемъ жизни и свободою Аріоста. Кое-что, конечно, въ этой характеристикѣ вѣрно, какъ, напр., «сладость Парни», «легкое остроуміе», «роскошь Аріоста», но нельзя сказать, чтобы все это было ново, за исключеніемъ Парни. Современники «Руслана» обо всемъ этомъ уже говорили на разные лады; не говорили они только того, что самъ критикъ говоритъ о «Русланѣ», считая это созданіе «творца поэта» (въ слѣдующемъ періодѣ онъ называетъ Пушкина «поэтомъ философомъ») совершеннѣйшимъ изъ всѣхъ его произведеній по соразмѣрности частей, по гармоніи и полнотѣ изобрѣтенія, по богатству содержанія, по стройности переходовъ, по безпрерывности господствующаго тона, и, наконецъ, по вѣрности, разнообразію и оригинальности характеровъ». Въ чемъ критикъ нашелъ богатство содержанія, съ чѣмъ гармонію и какую полноту изобрѣтенія? Этотъ болѣе чѣмъ восторженный отзывъ о «Русланѣ» стоитъ совсѣмъ особнякомъ въ нашей критикѣ, поражая своей парадоксальностью. Критикъ, повидимому, недоволенъ тѣмъ, что въ послѣдующихъ произведеніяхъ Пушкина содержаніемъ дѣлается «жизнь дѣйствительная и человѣкъ нашего времени съ ихъ пустотою, ничтожностью и прозою» и восторгается «Русланомъ» особенно потому, что въ немъ поэтъ просто созидаетъ намъ новую судьбу, новую жизнь, свой новый міръ, населяя его существами новыми, отличными, принадлежащими исключительно его творческому воображенію», что поэтому только «Русланъ» имѣетъ совершенную полноту и окончен-

ность, что оттого «каждая пѣснь, каждая сцена, каждое отступленіе живетъ самобытно и полно». Мнѣніе, конечно, весьма оригинальное, но едва ли вѣрное. Общая характеристика второго періода гораздо вѣрнѣе. По словамъ критика, если Пушкинъ «совпадается съ пѣвцомъ Гяура во взглядѣ на жизнь и человѣка, видя въ жизни одно противорѣчіе, одну обманутую надежду, въ каждомъ героѣ своемъ рисуя разочарованность», то сходство простирается и на «остальныя части поэзіи»: тотъ же способъ изложенія, тотъ же тонъ, та же форма поэмъ, такая же неопредѣленность въ цѣломъ и подробная отчетливость въ частяхъ, такое же расположеніе и даже характеръ лицъ по большей части столь сходныя, что съ перваго взгляда ихъ почтешь за «чужеземцевъ-эмигрантовъ, переселившихся изъ Байронова міра въ творенія Пушкина». Однако же, въ этомъ періодѣ Пушкина нельзя назвать подражателемъ, потому что въ его произведеніяхъ мы находимъ «неподдѣльную свѣжесть чувствъ», вѣрность описаній, тонкость въ замѣчаніяхъ и естественность въ ходѣ, оригинальность въ языкѣ и много чисто русскаго. Для доказательства своего взгляда критикъ разбираетъ «Кавказскаго Плѣнника», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Цыганъ». Разборъ первыхъ двухъ поэмъ не прибавляетъ ничего существеннаго къ сказанному предыдущими критиками; о «Цыганахъ» же нашъ критикъ совершенно оригинальнаго мнѣнія.

Совершенно вѣрно критикъ замѣчаетъ, хотя и весьма вычурно, что въ этой поэмѣ видна «какая-то борьба между идеальностью Байрона и живописною народностью поэта русскаго» и что поэтому нужно считать эту пьесу на рубежѣ второго и послѣдняго періодовъ, словомъ, пьесой переходной, ибо въ ней чувствуется «бо́льшая самобытность поэта». Все это очень мѣтко и вѣрно. Но за то критикъ заявляетъ, будто красотѣ стиховъ поэмы не соотвѣтствуетъ содержаніе, въ которомъ, по мнѣнію критика, поэтъ запутался въ противорѣчіяхъ. Поэтъ, повидимому, намѣревался представить среди цыганъ какой-то золотой вѣкъ. Такая мысль могла бы имѣть

высокое поэтическое достоинство, если-бы прекрасный цыганскій полъ не разрушилъ «все очарованіе». Въ самомъ дѣлѣ, между тѣмъ какъ цыгане любятъ «горестно и трудно»,— ихъ жены, какъ вольная луна, на всю природу «мимоходомъ изливаютъ равное сіяніе». Такое несовершенство женщинъ, по мнѣнію критика, несовмѣстно съ совершенствомъ народа. Поэтому, либо цыгане не знаютъ вѣчной исключительной привязанности, либо они ревнуютъ непостоянныхъ женъ своихъ, и тогда месть и другія страсти также должны быть имъ не чужды; тогда Алеко не можетъ уже казаться имъ страннымъ и непонятнымъ; тогда весь бытъ европейцевъ отличается отъ нихъ только выгодами образованія; тогда, вмѣсто золотого вѣка, они представляютъ просто полудикій народъ, не связанный законами, бѣдный, несчастный, какъ дѣйствительные цыгане Бессарабіи; тогда вся поэма противорѣчитъ самой себѣ. Если забыть эту «нестройность» содержанія, то богатыя поэтическія красоты поэмы заставятъ признать «Цыганъ» однимъ изъ лучшихъ произведеній Пушкина. Тѣмъ не менѣе критикъ отказывается признать «Цыганъ» созданіемъ истинно поэтическимъ, ибо, по его мнѣнію, истинно-поэтическое живетъ въ нашемъ воображеніи, а «Цыганы» наоборотъ: цыганскій бытъ сначала завлекъ мечту критика, но при первомъ же «покушеніи» критика «присвоить» его (т. е. цыганскій бытъ) своему воображенію, весь цыганскій бытъ разлетѣлся въ ничто, какъ туманы Ледовитаго моря, которые, принимая видъ твердой земли, заманиваютъ къ себѣ любопытнаго путешественника и при его глазахъ, разогрѣтые лучами солнца, улетаютъ на небеса. Но этотъ противорѣчивый цыганскій бытъ, улетающій изъ воображенія критика на подобіе «тумановъ Ледовитаго моря», находитъ въ немъ вмѣстѣ съ тѣмъ и защитника: если взять все «отдѣльно» и «просто», не заботясь о томъ, какому народу все это принадлежитъ, то самобытность созданія поэта очаруетъ васъ. Весьма оригинальный способъ оцѣнки поэтическихъ произведеній. Всѣ недостатки поэмы критикъ объясняетъ «противорѣчіемъ двухъ разногласныхъ стремленій:

одного—самобытнаго, другого—байроническаго». Поэтому, по мнѣнію критика, «самое несовершенство поэмы есть для насъ залогъ усовершенствованія поэта». Разсужденія критика по поводу «Онѣгина» и оцѣнка его будутъ нами разобраны въ своемъ мѣстѣ, при разборѣ отношеній критики къ «Онѣгину». Теперь же мы скажемъ объ общей характеристикѣ третьяго періода и о заключительныхъ выводахъ критика. Отличительными чертами третьяго періода онъ считаетъ «живописность, какую-то безпечность, какую-то особенную задумчивость» и, наконецъ, «нѣчто невыразимое», понятное лишь русскому сердцу, ибо это «невыразимое есть центръ сердечной жизни русскаго народа». Въ этомъ же періодѣ замѣтна способность поэта, которая вмѣстѣ съ тѣмъ есть основаніе русскаго характера,—«забываться въ окружающихъ предметахъ и текущей минутѣ». Эта способность служитъ началомъ всѣхъ добродѣтелей и недостатковъ: изъ нея происходитъ смѣлость, безпечность, неукротимость минутныхъ желаній, великодушіе, неумѣренность, запальчивость, понятливость, добродушіе и пр., и пр. Словомъ, всѣ душевныя свойства вытекаютъ изъ способности «забываться въ текущей минутѣ». Дѣйствительно, удивительная способность, «невыразимо» удивительная, какъ и самое опредѣленіе критика, которое, не смотря на многое «невыразимое», заключаетъ въ себѣ все-таки зерно правды, ибо нѣкоторыя черты русскаго характера подмѣчены очень вѣрно.

Каковы же общія заключенія критика о творчествѣ Пушкина? 1) Пушкинъ рожденъ для драматическаго рода, ибо онъ слишкомъ объективенъ и многостороненъ, чтобы быть лирикомъ, 2) въ поэзіи его есть одно важное качество: соотвѣтственность съ своимъ временемъ и, наконецъ, 3) онъ дѣлается поэтомъ народнымъ, ибо раздѣляетъ «надежды своего отечества, его стремленія, его страсть»,—словомъ, живетъ его жизнью и выражаетъ ее невольно, выражая себя. Конечно, всякій согласится только съ третьимъ выводомъ критика; съ первыми же двумя можно спорить. Въ

самомъ дѣлѣ, если Пушкинъ объективенъ и многостороненъ, то отчего же онъ рожденъ только для драматическаго рода? Произведенія Пушкина не подтверждаютъ этого, да и можетъ ли только драматургъ называться многостороннимъ? И наоборотъ, развѣ многосторонній и объективный талантъ непремѣнно долженъ писать драмы? Многосторонній талантъ долженъ заявить себя и въ лирикѣ, и въ поэмѣ, и въ драмѣ, и въ романѣ для того, чтобы называться дѣйствительно многостороннимъ. Далѣе, отчего критикъ ставитъ Пушкину въ заслугу «соотвѣтственность съ своимъ временемъ?» Развѣ это качество не присуще всякому истинному таланту, не говоря уже о геніи, какимъ былъ Пушкинъ? Не смотря, однако, на указанные промахи и странности, критикъ «Московскаго Вѣстника» сказалъ много дѣльнаго, мѣткаго и вѣрнаго. Его дѣленіе творчества Пушкина на періоды, повторяемъ, сохранилось въ общихъ чертахъ и донынѣ. За это дѣленіе, конечно, нельзя не признать значительной критической проницательности въ Шевыревѣ, въ которомъ вообще она несомнѣнно была, но только соединялась съ поразительно уродливыми странностями въ сужденіяхъ. Образчики такихъ странностей мы только что видѣли и еще увидимъ, когда будемъ говорить о разборахъ произведеній Пушкина, появившихся послѣ его смерти.

ГЛАВА VII.

Отношенія «Вѣстника Европы» къ Пушкину. — Эпиграммы Пушкина на Каченовскаго съ 1820 года. — Эпиграммы на Надеждина и характеристика послѣдняго, сдѣланная поэтомъ. — Причины пренебрежительнаго отзыва Пушкина о Надеждинѣ.—Значеніе Надеждина, какъ критика-журналиста.—Характеристика взглядовъ Надеждина на искусство по статьямъ въ «Вѣстникѣ Европы», по латинской диссертаціи и по статьямъ «Телескопа».—Отзывы Надеждина о талантѣ Пушкина.

Въ общемъ хвалебномъ хорѣ критическихъ замѣтокъ, вызванныхъ «Графомъ Нулинымъ», и критическихъ статей, написанныхъ о «Полтавѣ», рѣзкимъ диссонансомъ раздались жесткіе и грубые возгласы «Вѣстника Европы», перемѣнившаго съ 1828 года свое оборонительное положеніе на смѣлое наступательное движеніе. «Вѣстникъ Европы», умершій въ 1830 году, какъ будто собралъ къ концу своего поприща все негодованіе, накопленное въ немъ долгими годами насмѣшекъ и оскорбленій, нанесенныхъ ему тогдашнимъ молодымъ поколѣніемъ писателей, и въ послѣдній разъ отвѣчалъ имъ съ удвоеннымъ жаромъ и злобной энергіей. Дѣйствительно, Пушкинъ и его друзья не щадили Каченовскаго въ своихъ эпиграммахъ, которыми поэтъ утѣшалъ самого себя и близкихъ ему людей, задѣтыхъ рѣзкими сужденіями журнала. Эпиграммы Пушкина на Каченовскаго начали появляться съ 1820 года. Почти ни одного года не проходило безъ подарка въ видѣ эпиграммы Пушкина «Зоилу». Такъ, въ 1821 году Пушкинъ, обращаясь къ Каченовскому, говоритъ: «Хавроніосъ! ругатель закоснѣлый, во тьмѣ, въ

пыли, въ презрѣньи посѣдѣлый, уймись, дружокъ!» Въ томъ же году Пушкинъ дѣлаетъ слѣдующую лестную характеристику Каченовскаго, называя его «клеветникомъ безъ дарованья», который «палокъ ищетъ чутьемъ, а дневного пропитанья ежемѣсячнымъ враньемъ», и, прибавляя въ другой эпиграммѣ, что не видалъ «негоднѣй смѣси», чѣмъ Каченовскій, ибо «въ сраженіи онъ трусъ, въ трактирѣ онъ бурлакъ, въ передней онъ подлецъ, въ гостиной онъ дуракъ!»—Два года царило молчаніе; за то въ 1824 г. мы опять читаемъ четверостишныя характеристики литературнаго врага въ родѣ слѣдующихъ: «Охотникъ до журнальной драки, сей усыпительный Зоилъ, разводитъ опіумъ чернилъ слюною бѣшеной собаки», а въ 1825 году эпиграмму: «Живъ, живъ курилка!», которая вызвана критикою М. А. Дмитріева на «Бахчисарайскій фонтанъ». Въ этой эпиграммѣ Пушкинъ совѣтуетъ плюнуть на вонючую лучинку-курилку-журналиста, который «все также сухъ и скученъ, и грубъ, и глупъ, и завистью размученъ,—все тискаетъ въ свой непотребный листъ—и старый вздоръ, и вздорную новинку».—Въ извѣстной эпиграммѣ подъ заглавіемъ «Собраніе насѣкомыхъ» Каченовскій, въ видѣ паука, вмѣстѣ съ другими собратьями по перу—рядкомъ съ Глинкой-божіей коровкой, Свиньинымъ—россійскимъ жукомъ, Олинымъ—черной мурашкой и Раичемъ—мелкой букашкой—торчитъ у поэта за стекломъ въ рамѣ, пронзенный эпиграммой. Критическія статьи Надеждина «Сонмище нигилистовъ» и «Полтава» вызвали въ 1829 году опять эпиграммы, въ двухъ изъ которыхъ опять повторяются старыя насмѣшки, а третья зло иронизируетъ надъ оригинальнымъ правописаніемъ, введеннымъ Каченовскимъ въ свой журналъ. По правиламъ этого правописанія въ словахъ, заимствованныхъ изъ греческаго языка, слѣдуетъ писать і, ѳ, ѵ, напр.: історія, фѵсіка, маѳематіческій, енѳусіасмъ, есѳетическій, апаѳія (апатія), мисанѳропія и пр. Пушкинъ говоритъ, что «дурень, къ солнцу ставъ спиною, подъ холодный «Вѣстникъ» свой прыскалъ мертвою водою, прыскалъ

Ужицу живой». Въ своемъ журналѣ Каченовскій помѣщалъ цѣлыя стихотворныя посланія за подписью Н. Н. (не Надеждинъ-ли?) въ защиту новаго правописанія [1]).

Когда же въ 1828 г. появился на помощь Каченовскому въ его журналѣ новый дѣятельный сотрудникъ, который далъ новую силу и ѣдкость старымъ жалобамъ «Вѣстника Европы» на легкость современной литературы, на ея самонадѣянность, неуваженіе къ старымъ образцамъ, на безначаліе и отсутствіе торжественности въ ея произведеніяхъ,— тогда Пушкинъ направляетъ свои эпиграммы не только противъ «брюзгливаго ворчанья» стараго педанта Каченовскаго, но и противъ «непристойныхъ криковъ пьянаго семинариста» (т. е. Надеждина). «Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ», «Картину разъ высматривалъ сапожникъ», «Надѣясь на мое презрѣнье»—всѣми этими эпиграммами Пушкинъ мѣтко отвѣчалъ на суровыя критики Надеждина. Извѣстенъ также «Отрывокъ изъ литературныхъ Лѣтописей», написанный Пушкинымъ послѣ статьи Полевого, за которую такъ обидѣлся Каченовскій и которая была вызвана статьею Надеждина «Литературныя опасенія за будущій годъ» [2]). Въ этомъ отрывкѣ Пушкинъ, стано-

[1]) См. «Посланіе Ужицы къ Азу», «Вѣстникъ Европы» 1828, ч. 163, № 21, стр. 187. Въ этомъ характерномъ посланіи, между прочимъ сама Ужица такъ отстаиваетъ свои права на существованіе въ русскомъ языкѣ; она говоритъ:

Во всѣхъ почти концахъ
Европы вновь обмоложенной
Я наслаждаюсь заслуженной
Достойно честью въ букваряхъ,
Изъ рода въ родъ и въ вѣкъ изъ вѣка
Подъ скромнымъ именемъ Игрека!
На сѣдобрадый опытъ шлюсь:
Сквозь зубы свищущій Британецъ,
Гнусящій изъ носа Французъ,
Какъ гусь гогочущій Испанецъ,
Шипучій Нѣмецъ—искони
Мнѣ вѣрой правдой преданы:
Мои права для нихъ священны,
Непрекословны, несомнѣнны!

[2]) «Вѣстн. Европы» 1828, № 27.

вясь на сторону Полевого, усумнившагося въ первой статьѣ своей въ обѣщаніяхъ Каченовскаго въ своемъ журналѣ «отнынѣ далѣе видѣть, свободнѣе соображать и рѣшительнѣе дѣйствовать»,—говоритъ, что онъ вполнѣ согласенъ съ мнѣніями Полевого относительно Каченовскаго, высказанными во второй статьѣ «Литературныя опасенія за кое-что» (т. е. за ученую славу редактора «Вѣстника Европы»), ибо, дѣйствительно, почтенный редакторъ пользуется славой ученаго мужа, такъ сказать, на честное слово и донынѣ «кромѣ переводовъ съ переводовъ, кой-какихъ заимствованныхъ кое-гдѣ статеекъ ничего не произвелъ». Въ томъ же 1829 году Пушкинъ написалъ статейку, оставшуюся, впрочемъ, ненапечатанною, подъ заглавіемъ «Литературное Общество»[1]). Въ этой замѣткѣ Пушкинъ, пародируя объявленіе объ изданіи «Вѣстника Европы», называетъ предсѣдателя (Каченовскаго) новаго общества, основаннаго «для распространенія правилъ критики Курганова и Тредьяковскаго»,—Трандофыремъ, а секретаря (Надеждина)—Никодимомъ Невѣждинымъ, который, хотя и ведетъ свою родословную изъ честнаго сословія слугъ, но обѣщаетъ быть законодателемъ вкуса, не смотря «на лакейскій тонъ своихъ статеекъ». Это карикатурное общество собиралось издавать журналъ «Азіатскій Ракъ», намѣреваясь вывести изъ «недоумѣнія нашихъ писателей, подвизающихся во мракѣ, не озаренныхъ свѣтильникомъ критики»,—намѣреваясь давать читателямъ переводы Байрона съ польскаго, угощать ихъ стихами молодыхъ семинаристовъ, разсказами о проказахъ Трандофыря въ юности и пр.

Вообще Пушкинъ былъ невысокаго мнѣнія какъ о критикѣ Надеждина, такъ и объ его личности. Одна изъ «Дѣтскихъ сказочекъ», написанныхъ въ 1830 году, подъ заглавіемъ «Исправленный забіяка», говоритъ, что Ванюша, сынъ приходскаго дьячка, былъ ужасный шалунъ, что ка-

[1]) V, стр. 69—70.

ждому проходящему порядочному человѣку показывалъ языкъ, бѣгалъ за нимъ, изо всѣхъ силъ крича: «пьяница, уродъ, развратникъ, зубоскалъ, писака, безбожникъ» и кидалъ въ него грязью, пока одинъ степенный человѣкъ, имъ обиженный, больно не прибилъ его тросточкою. Эта сказка несомнѣнно относилась къ Надеждину, который въ литературномъ мірѣ былъ большимъ забіякой, растравивъ много писательскихъ самолюбій своими рѣзкими и насмѣшливыми отзывами, своими грубыми и энергичными нападками на пустоту, мелочность и псевдо-романтическую напыщенность тогдашней литературы. Въ замѣткахъ 1834 — 36 годовъ мы находимъ такой отзывъ о Надеждинѣ, тогда уже редакторѣ «Телескопа». «Я встрѣтился, говоритъ Пушкинъ, съ Надеждинымъ у Погодина. Онъ показался мнѣ весьма простонароднымъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ всякаго приличія. Напримѣръ, онъ поднялъ платокъ, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но съ живостью, а иногда и съ краснорѣчіемъ. Въ нихъ не было мыслей, но было движеніе; шутки были плоски» [1]). Эта характеристика страдаетъ достаточной дозой легкомыслія и отдаетъ сильной аристократической привычкой судить о человѣкѣ по внѣшности,—привычкой, въ силу которой комильфотность считается главнѣйшимъ условіемъ порядочности. Конечно, Пушкину могли и не понравиться простонародныя манеры Надеждина, какъ не могли никому понравиться и литературно-критическіе пріемы новаго сотрудника «Вѣстника Европы». Но вмѣстѣ съ тѣмъ, всякій, знакомый въ полномъ объемѣ съ литературной дѣятельностью Надеждина и читавшій о немъ, напр., воспоминанія Панаева или воспоминанія И. И. Срезневскаго, будетъ поставленъ въ нравственную невозможность согласиться съ Пушкинскими замѣчаніями, будто бы критики Надеждина глупо написаны, будто бы въ нихъ не было мыслей, а было только движеніе, будто Надеждинъ, какъ собесѣдникъ, былъ

[1]) V, стр. 276, XXVIII.

скученъ, — и всякій признаетъ эту часть характеристики крайне поверхностной и совершенно необдуманной.

Дѣйствительно, Надеждинъ писалъ свои большія статьи въ странной драматической формѣ, гдѣ одно лицо обязано говорить вздоръ, а другое, возражая первому, быть постоянно умникомъ. Мѣсто дѣйствія этихъ критическихъ діалоговъ происходитъ въ каморкахъ, косморамахъ, на буйныхъ вечерахъ, на прогулкахъ. Все это несомнѣнно обличало отсутствіе вкуса въ авторѣ, который, съ другой стороны, владѣлъ несомнѣнными критическими способностями, мыслящимъ логическимъ умомъ, большою начитанностью, ловкимъ анализомъ и своеобразнымъ, нѣсколько цвѣтистымъ языкомъ. Одинъ только существенный недостатокъ для критика изящныхъ произведеній—недостатокъ эстетическаго чувства—уничтожалъ всѣ другія цѣнныя качества, приводя къ неимовѣрнымъ странностямъ какъ въ формѣ статей, такъ и въ содержаніи ихъ. Вѣроятно, это отсутствіе эстетическаго вкуса, соединенное притомъ съ уродливой формой статей, написанныхъ вообще рѣзко и довольно грубо, были причиною неблагосклоннаго отзыва Пушкина о Надеждинѣ, вначалѣ столь жестоко нападавшемъ на поэта. Впослѣдствіи Пушкинъ, повидимому, примирился съ Надеждинымъ, принявъ участіе въ полемикѣ «Телескопа» подъ псевдонимомъ Ѳ. Косичкина. Самъ Надеждинъ къ этому времени совершенно измѣнилъ отношенія къ Пушкину, привѣтствуя въ 1831 году «Бориса Годунова», сказку Жуковскаго и романы Загоскина—какъ разсвѣтъ русской народной поэзіи и самобытной литературы, которой предстоитъ пышное развитіе. По этому поводу Надеждинъ говорилъ, что «въ русской словесности близокъ долженъ быть поворотъ искусственнаго рабства и принужденія, въ коемъ она доселѣ не могла дышать свободно, къ естественности, народности»[1]).

Надеждинъ былъ несомнѣнно выдающимся явленіемъ для своего времени и въ сферѣ тогдашней критики, и въ сферѣ

[1]) «Телескопъ» 1831 г., № 14, стр. 237.

тогдашней журналистики. Если за Полевымъ неоспоримо остается заслуга, что онъ первый сдѣлалъ критику существенно-важною частью нашей журналистики, то Надеждину принадлежитъ заслуга еще болѣе важная: онъ первый далъ правильное основаніе нашей критикѣ. До него у насъ повторялись непрочувствованныя мысли и повторялись съ голоса учителей очень поверхностныхъ. Эти учители были французскіе романтики. Надеждинъ первый ввелъ въ нашу критику глубоко-философскій взглядъ. Онъ далъ нашей критикѣ глубокіе, всеобщіе принципы, открытые для эстетики нѣмецкою наукою. Онъ заговорилъ о такихъ вещахъ, о которыхъ до него и не слыхивали: объ идеѣ, какъ душѣ художественнаго созданія, о художествѣ, какъ сообразности формы съ идеею и т. д. Нѣмецкая философія, питомцемъ которой былъ Надеждинъ, не была извѣстна никому. Всѣ видѣли только, что онъ противорѣчитъ французскимъ книжкамъ, изъ которыхъ была почерпнута вся наша тогдашняя критическая мудрость. Всѣ слушали, соображали, изумлялись, оскорблялись, махнули, наконецъ, рукою и рѣшили, что все это нелѣпость, порожденная педантизмомъ. Всѣмъ показалось, что Никодимъ Аристарховичъ Надоумко (таковъ былъ псевдонимъ Надеждина въ «Вѣстникѣ Европы») хочетъ только бранить и унижать нашу литературу. Онъ возсталъ противъ всей литературы — и вся литература возстала противъ него, объявивъ строгаго критика безумцемъ. Будучи замѣчательнымъ, для своего времени, критикомъ, Надеждинъ былъ столь же замѣчательнымъ профессоромъ, а впослѣдствіи времени, съ 1836 года, оставивъ журналистику и профессуру, дѣлается виднымъ ученымъ-этнографомъ, не оставляя этихъ занятій до самой смерти въ 1856 году. Какъ профессоръ Московскаго университета, занимая каѳедру теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи, Надеждинъ пользовался громаднымъ вліяніемъ на слушателей, невольно увлекаемыхъ блестящимъ изложеніемъ человѣка большого ума и таланта, лекціи котораго были всегда живой импровизаціей. Какъ ученый этнографъ, Надеждинъ поражаетъ оригинальностью взгляда,

обширною эрудиціей, талантливостью изложенія. По словамъ г. Савельева, написавшаго характеристику Надеждина, какъ ученаго, при его автобіографіи, кромѣ чисто литературныхъ статей у Надеждина наберется около восьми большихъ томовъ различныхъ трактатовъ по географіи, этнографіи, исторіи, археологіи, исторіи православной церкви [1]).

Первые литературные опыты Надеждина, помѣщавшіеся въ «Вѣстникѣ Европы», несмотря на нѣсколько схоластическій тонъ, обнаруживали его строго ученое направленіе: онъ требовалъ, напр., чтобы и самое вдохновеніе поэта опиралось на науку и чтобы поэтъ отдавалъ себѣ отчетъ, конечно, не на основаніи старыхъ піитикъ, а на основаніи вѣчныхъ законовъ изящнаго. Эти научные взгляды Надеждинъ внесъ и въ свой «Телескопъ» (1831—1836), повидимому, враждебный «Московскому Телеграфу», противодѣйствовавшій его мнимому романтизму, но заодно съ нимъ, хотя другими путями, пробуждавшій нашу эстетическую критику. Выступивъ на литературное поприще въ полемическую эпоху, Надеждинъ вмѣшался въ споръ между классицизмомъ и романтизмомъ—и сталъ противъ послѣдняго, посвятивъ животрепещущему вопросу свою докторскую латинскую диссертацію. Самымъ рѣшительнымъ образомъ Надеждинъ возставалъ противъ трескучаго романтизма и пустоты тогдашней ходячей литературы. Несомнѣнно, этотъ противникъ романтизма понималъ романтизмъ лучше его защитниковъ и былъ не совсѣмъ искреннимъ поборникомъ классицизма такъ же, какъ и не совсѣмъ искреннимъ врагомъ романтизма. Надеждинъ первый сказалъ справедливую истину, что поэзія нашего времени не должна быть ни классическою, ни романтическою, но что въ поэзіи нашего времени должны примириться обѣ эти стороны и произвести новую поэзію. Тѣмъ не менѣе, эта правдивая и глубокая мысль не многихъ убѣдила и не вошла въ общее сознаніе. Одною изъ причинъ такого явленія было противорѣчіе между воззрѣніями Надеждина и ихъ при-

[1]) «Русскій Вѣстникъ» 1856 г., т. II.

ложеніемъ къ дѣлу. Надеждинъ, понимая, что классическое искусство было только у грековъ и римлянъ, называя французскую поэзію псевдоклассическою, неестественною и надутою, въ то же время съ благоговѣніемъ произносилъ имена Корнеля, Расина и Мольера, смѣло цитовалъ риторическіе стихи Ломоносова, Петрова, Державина и Мерзлякова, увѣряя, что въ нихъ-то и заключается всяческая поэзія. Съ другой стороны, очень хорошо понимая, что Шекспиръ, Байронъ, Гёте, Шиллеръ, Пушкинъ—совсѣмъ не романтики, а представители новой поэзіи, Надеждинъ съ ожесточеніемъ глумился надъ ними, какъ надъ неистовыми романтиками, смѣшивая ихъ съ героями юной французской литературы. Вообще нужно замѣтить, что критическая дѣятельность Надеждина носила траги-комическій характеръ, происходящій оттого, что въ Надеждинѣ видный художественный теоретикъ враждовалъ съ критикомъ-практикомъ; въ этомъ нужно искать главной причины малой плодотворности и ограниченной популярности его критической дѣятельности при жизни, равнодушнаго забвенія обществомъ и его диссертаціи, и его критическихъ статей, и, наконецъ, его журнала, вскорѣ послѣ прекращенія послѣдняго въ 1836 году. Тѣмъ не менѣе Надеждинъ, во всякомъ случаѣ, долженъ быть незабвененъ для насъ, какъ Хронъ, воспитатель Ахиллеса, т. е. Бѣлинскаго. Мы должны всегда помнить, что этотъ «одинъ изъ оригинальнѣйшихъ самородковъ, одинъ изъ величайшихъ русскихъ умовъ и одна изъ громадныхъ ученостей», по мнѣнію Ап. Григорьева[1]), что этотъ «циникъ-семинаристъ Никодимъ Надоумко» былъ «крестнымъ отцомъ великаго борца»— Бѣлинскаго. Съ этимъ, конечно, всякій согласится, ближе познакомившись со взглядами Надеждина на искусство вообще и на задачи современнаго ему искусства въ частности[2]).

---

[1]) «Эпоха» 1864, т. 2, № 3.

[2]) Для характеристики воззрѣній Надеждина на искусство см. его латинскую диссертацію, полное заглавіе которой читается такъ: «De origine, natura et fatis poëseos, quae romantica audit. Dissertatio

Въ первыхъ своихъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ «Вѣстникѣ Европы» за 1828—30 года, Надеждинъ, нападая на современную литературу, обвиняетъ ее въ томъ, что она влечется «силою собственнаго тяготѣнія въ туманную бездну пустоты или въ оный, созданный гигантскою фантазіей Байрона, страшный хаосъ, куда можетъ низвергаться душа только въ высочайшемъ кризисѣ нравственной огневицы». Съ такимъ тяжкимъ обвиненіемъ Надеждинъ выступилъ на литературное поприще, оно высказано въ его первой статьѣ «Литературныя опасенія за будущій годъ» («Вѣстн. Евр.» 1828, ч. 163, № 21), оно же неоднократно повторялось критикомъ и въ его дальнѣйшихъ писаніяхъ, какъ-то: въ статьѣ «Сонмище нигилистовъ» (Сцена изъ Литературнаго балагана, «Вѣстн. Евр.» 1829, ч. 165, № 1), въ статьѣ объ «Иванѣ Выжигинѣ» («Вѣстн. Евр.» 1829, ч. 166 и 167), наконецъ, въ статьѣ «Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ» (Новая погудка на старый ладъ, ibidem, ч. 168 и 169). Надеждинъ въ первые годы своей критической дѣятельности не находилъ ни одного писателя, въ которомъ замѣчалось бы «таинственное пареніе генія въ горнюю страну вѣчныхъ идеаловъ», ни одного произведенія, въ которомъ бы можно было найти всѣмъ говорящій смыслъ и опредѣленную цѣль. Молодая русская литература—эта «бѣдная Пенелопа, повитая въ цвѣтѣ юности вдовьимъ печальнымъ крепомъ»—влачила, по мнѣнію критика, жалкое суще-

---

historico-critico-elecntica. Conscripsit examinique eruditarum publico submittit sanctiorum Humaniorumque Litterarum Magister Nicolaus Nadeżdin, gradum humaniorum litterarum doctoris legitime obtinendum praetendens».—Отрывки изъ нея помѣщены въ «Вѣстникѣ Европы» 1830 г., №№ 1 и 2 и въ «Атенеѣ» 1830 г., №№ 1 и 2.—«О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ», слово, произнесенное въ торжественномъ собраніи Московскаго университета. См. Ученыя Записки Имп. Моск. Университета 1833 г., ч. I.—«Телескопъ» 1832 г., №№ 7, 8, 17, за 1833 г. ч. 13 и 14, за 1835 г. ч. 25. Всѣ указанныя статьи, включая и диссертацію, являютъ взгляды Надеждина на искусство окончательно развившимися. Прослѣдить ихъ развитіе можно, начиная съ 1828 года, по статьямъ «Вѣстника Европы». См. «Вѣстникъ Европы» 1828 г., ч. 163, № 21, 1829 г., № 1, 1829 г., ч. 166 и 167, стр. 199 и слѣд., ч. 168 и 169 за тотъ же годъ.

ствованіе рабыни подъ гнетомъ псевдо-романтическаго деспотизма. Если древняя поэзія называлась языкомъ боговъ, то современная, по мнѣнію Надеждина, есть не болѣе какъ «воробьиное щебетанье». Нельзя, конечно, и требовать идеаловъ отъ «писакъ нашихъ», которые «разрождаются безъ всякихъ болѣзней и трудовъ недоношенными произведеніями», которые пишутъ о томъ, что взбредетъ на умъ, скитаясь съ своими музами «по нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбойничьимъ вертепамъ», избирая въ герои своихъ произведеній «или ожесточенныхъ изверговъ, или заматорѣвшихъ въ бездѣльничествахъ повѣсъ», изображая «безпрестанныя рѣзанья, стрѣлянья и душегубства». Надеждинъ видитъ исцѣленіе отъ этой «романтической стукотни и рѣзни» въ свѣтлыхъ мысляхъ и въ теплотѣ ощущеній, замѣчая при этомъ, что недостатокъ содержанія можно искупить «счастливымъ выборомъ, живописною полнотою, изящною отдѣлкою поэтическаго костюма», который сообщаетъ произведенію индивидуальность, накладываетъ на него печать мѣста и времени. Истинный романтизмъ тѣмъ и отличается отъ классицизма, что «исчерпываетъ мощное лоно природы всеобъемлющимъ окомъ со всѣхъ точекъ, во всѣхъ направленіяхъ». Для доказательства Надеждинъ предлагаетъ всмотрѣться въ чудныя творенія Байрона, Чайльдъ-Гарольдъ котораго есть «богатѣйшая ткань идеализированной исторіи человѣчества, убранная драгоцѣнными воспоминаніями, собранными изъ всѣхъ вѣковъ, подъ всѣми земными поясами», Джяуръ котораго дышетъ палящимъ зноемъ Востока, а Каинъ является во всей суровой наготѣ первобытнаго міра, между тѣмъ какъ въ Мазепѣ кипитъ буйная сарматская кровь. Кромѣ того, Надеждинъ настаивалъ на необходимости для всякаго таланта ученія, — для нашихъ молодыхъ поэтовъ въ особенности, ибо они знаютъ природу и сердце лишь по наслышкѣ. Вслѣдствіе этого неестественность и нелѣпость составляютъ ихъ отличительныя качества. Поэтому-то русскаго духа въ нихъ нѣтъ и слѣда, — нѣтъ ни одной поэмы, которая бы «не гремѣла проклятіями, не

корчилась судорогами, не заговаривалась во снѣ и на яву, не кончалась бы смертоубійствомъ», имѣя въ виду одинъ избитый эффектъ—«подрать морозъ по кожѣ, взбить дыбомъ волоса на закружившейся головѣ, однимъ словомъ—бросить и тѣло, и душу въ лихорадку». Такое печальное состояніе литературы происходитъ, по мнѣнію Надеждина, отъ непониманія писателями истинныхъ задачъ искусства, истинной цѣли поэзіи. Поэтому въ ихъ произведеніяхъ было бы «ужаснѣйшимъ литературнымъ анахронизмомъ» искать идеи, составляющей «есѳетическую душу» произведенія, въ зависимости отъ которой можно было бы произнести приговоръ о внутреннемъ поэтическомъ достоинствѣ самой наружной отдѣлки. Задача искусства, поясняетъ Надеждинъ, состоитъ въ томъ, чтобы «подслушивать таинственные отголоски вѣчной гармоніи природы и представлять ихъ внятными для нашего слуха въ согласныхъ ритмическихъ аккордахъ». Это первая и существенная задача всякой поэзіи. Мраморъ, воодушевленный рѣзцомъ Фидія или Лизиппа, потому-то и «растворяетъ души зрителей сладкимъ восторгомъ», что рука художника, совокупивъ въ мраморѣ различныя черты, союзъ которыхъ неощутителенъ въ природѣ, освѣтила ихъ магическимъ свѣтомъ, озаривши ихъ внутреннее сокровенное единство. Чѣмъ легче и свободнѣе мы ощущаемъ это единство, тѣмъ совершеннѣе произведеніе. На «мистическомъ языкѣ нѣмецкихъ эсѳетиковъ» такое творчество называется идеализированіемъ или твореніемъ по идеаламъ, при чемъ идеалъ у тѣхъ же «есѳетиковъ» означаетъ «фантастическую цѣлость идеи, воплощаемой художникомъ въ его творческомъ произведеніи». Эстетическій интересъ всякаго произведенія заключается въ гармоническомъ сліяніи начала нравственнаго съ умственнымъ, ибо «красота не что иное какъ истина, растворенная добротою», ибо «изящное неудобомыслимо безъ отношенія къ существеннымъ потребностямъ духа нашего—истинному и доброму». Поэтому первые гимны поэзіи были посвящаемы религіи и мудрости,

поэтому древняя поэзія называлась языкомъ боговъ. — Единая, верховная законодательница искусства — природа; человѣческій духъ, созерцающій въ самомъ себѣ всю природу, есть хранилище ея законовъ, которые «должны извлекаться изъ вѣковыхъ и всесторонникъ наблюденій надъ величественнѣйшими и блистательнѣйшими произведеніями духовныхъ силъ человѣческихъ».

Находя, что современная литература совсѣмъ далека отъ истиннаго идеала искусства, который мы только что обрисовали, и осуждая ее за это несоотвѣтствіе, Надеждинъ тѣмъ не менѣе жилъ надеждою, что слово — «наилучшее произведеніе наилучшаго созданія Божія» — не вѣчно будетъ «добычею безсмыслія и органомъ развращенія». Надеждинъ горячо вѣрилъ въ лучшую и свѣтлую будущность русской литературы, предсказывая для нея наступленіе такого времени,

«когда животворный свѣтъ кроткой и смиренной мудрости озаритъ мрачный хаосъ буйнаго и всепрезирающаго невѣжества; когда чувства, притупленныя чрезъ сладострастное пресыщеніе преступными наслажденіями, обновятся дѣвственною непорочною чистотою и содѣлаются достойными органами внятія горнихъ таинственныхъ впечатлѣній; когда фантазія, сія радужная Ириса вѣчной превыспренной красоты, перестанетъ скитаться блудящимъ огнемъ по грязнымъ болотамъ, но раскинувшись золотою дугою мира въ свѣтлыхъ эфирныхъ странахъ, будетъ соединять небо съ землею, горняя съ дольными; когда слово приливаться будетъ отъ избытка сердца чистаго, растворенаго святою любовью ко всему доброму, истинному и прекрасному».

Въ этихъ патетическихъ и краснорѣчивыхъ строкахъ всякій, конечно, увидитъ больше любви къ истинѣ, чѣмъ самой истины, — больше юношескаго одушевленія неопредѣленно-прекрасными стремленіями, чѣмъ трезваго аналитическаго пониманія дѣла, — больше страстнаго порыванія въ область общихъ и довольно туманныхъ идеаловъ, чѣмъ яснаго сознанія реальныхъ задачъ русскаго искусства. Все это — только предчувствіе истины, хотя предчувствіе очень вѣрное и плодотворное, воспринятое Бѣлинскимъ и развитое имъ до степени самой истины. Такимъ же предчувствіемъ истины являются на первыхъ порахъ и взгляды Надеждина на искусство. Это не логическая система строго выработанныхъ

мнѣній и положеній, это только общія начала, изъ которыхъ должна исходить эстетическая критика, это — первые краеугольные камни, положенные Надеждинымъ въ основу истиннаго развитія русской критики. Если Пушкина мы называли провозвѣстникомъ новой русской критики, ясно понимавшимъ ея задачи и намѣтившимъ ихъ въ своихъ краткихъ, но блестящихъ по глубинѣ мысли и тонкости эстетическаго чутья разборахъ различныхъ писателей, — то такимъ же провозвѣстникомъ нужно считать и Надеждина, познакомившаго впервые русскаго читателя съ глубокими всеобщими принципами, открытыми для эстетики нѣмецкою наукою. Заслуга Пушкина была практической, заслуга Надеждина—теоретической. Первый не былъ надѣленъ философскими способностями для того, чтобы обосновать свои взгляды на почвѣ убѣдительныхъ и неопровержимыхъ доказательствъ, второй, при философскомъ и логическомъ умѣ, страдалъ зачастую фальшивымъ чутьемъ, порождавшимъ неустойчивость мнѣній, изворотливое, хотя и не совсѣмъ искусное исканіе дѣла, порождавшимъ желаніе замѣнить живую поэзію понятіями философско-этическаго порядка. И Пушкинъ — этотъ критикъ-практикъ, и Надеждинъ — этотъ критикъ-теоретикъ, — нашли примиреніе лишь въ Бѣлинскомъ, который соединялъ въ себѣ страстную логическую послѣдовательность философскаго ума съ поразительною вѣрностью непосредственнаго эстетическаго чувства, съ тонкой воспріимчивостью нервной, художнической натуры.

Мы сказали, что въ первыхъ статьяхъ взгляды Надеждина на искусство являются предчувствіемъ истины. Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ это подслушиванье «таинственныхъ оттолосковъ вѣчной гармоніи природы»? Не есть ли это простая риторическая фраза или наборъ громкихъ словъ? Неясность пониманія влечетъ за собой неясность выраженія. Очевидно, въ эту пору Надеждинъ самъ не сознавалъ отчетливо задачъ искусства. Только примѣры мрамора, воодушевленнаго рѣзцомъ Фидія или Лизиппа, могутъ навести читателя на мысль, что критикъ, повидимому, разумѣетъ

подъ подслушиваньемъ «отголосковъ гармоніи природы» типичность въ искусствѣ, которая является дѣйствительно одной изъ первыхъ задачъ его. Далѣе, въ опредѣленіи красоты у Надеждина замѣчается тоже неясность, туманность и запутанность, ибо нельзя уподоблять изящное истинному и доброму. Красота можетъ существовать совершенно независимо отъ истины и добра; примѣръ такой красоты мы находимъ въ природѣ,—въ пейзажѣ. Приводимый Надеждинымъ примѣръ древней поэзіи не убѣдителенъ, ибо тогда искусство, какъ таковое, еще не существовало, играя совершенно служебную роль. Недостатокъ исторической точки зрѣнія въ первыхъ статьяхъ Надеждина слишкомъ бьетъ въ глаза. Наконецъ, послѣднее замѣчаніе критика о томъ, что одна «природа — законодательница искусства» опять-таки достаточно туманно. Здѣсь, повидимому, критикъ хотѣлъ сказать, что искусство не должно уклоняться отъ жизненности и естественности. Въ этомъ смыслѣ, конечно, его замѣчаніе вѣрно, хотя выражено не точно: нельзя сказать, что природа всегда и во всемъ законодательница для искусства; для примѣра стоитъ лишь взять правду дѣйствительности и правду въ искусствѣ, которыя не совпадаютъ. Въ искусствѣ важна и нужна не правдивость, а правдоподобіе. — Вѣрно также и послѣднее замѣчаніе о томъ, что законы искусства должны быть выводимы изъ произведеній искусства. Но опять-таки эта мысль не получила должнаго поясненія и развитія, ибо было вѣдь и искусство псевдоклассическое, изъ котораго Буало, Батте и Лагарпы дѣлали по своему вѣрные выводы для теоріи искусства. А развѣ эти выводы можно считать непреложными законами?—Такимъ образомъ, истину въ первыхъ своихъ статьяхъ Надеждинъ ищетъ ощупью, она скрывается отъ него еще въ туманѣ какой-то неопредѣленности, и критикъ описываетъ намъ одни только приблизительно вѣрныя очертанія смутно различаемой имъ богини. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ первыхъ же статьяхъ ясно обрисовалось отрицательное отношеніе Надеждина къ псевдоромантической трескотнѣ въ нашей литературѣ, несмотря

на шаткость и неопредѣленность общихъ критическихъ принциповъ. Въ нападкахъ на фальшивый романтизмъ сказался въ большей или меньшей степени непосредственный эстетическій вкусъ Надеждина, который, однако, и въ этомъ направленіи не привелъ его къ безошибочнымъ выводамъ.

Вопросу о романтизмѣ, о современной романтической поэзіи посвящена Надеждинымъ его латинская диссертація на степень доктора. Содержаніе ея вкратцѣ можетъ быть резюмировано слѣдующимъ образомъ. Начавъ съ того, что̀ такое поэзія, и опредѣляя ее силою творческаго духа, авторъ раздѣляетъ поэзію на первобытную, классическую и романтическую. Романтическая поэзія существовала, но болѣе уже не существуетъ. Произойдя изъ нѣдръ природы человѣческой, а не изъ нѣдръ природы внѣшней (въ противоположность классической), она должна была ограничиться періодомъ среднихъ вѣковъ, коего духа была развитіемъ; а такъ какъ міръ, въ которомъ мы живемъ теперь, совершенно отличенъ отъ міра среднихъ вѣковъ, то и возстановленіе романтической поэзіи для насъ невозможно. Такъ называемый современный русскій романтизмъ есть только бездушное подражаніе истинному романтизму, служащее намъ въ укоръ и униженіе. Для излеченія современной поэзіи отъ ложнаго романтизма лучшимъ средствомъ должно быть изученіе поэзіи классической; нашему же отечеству нужно особенно позаботиться объ огражденіи себя отъ псевдо-романтической заразы.

Въ этой диссертаціи взгляды Надеждина на искусство высказаны гораздо рѣзче и опредѣленнѣе, чѣмъ въ статьяхъ «Вѣстника Европы»». Три первые тезиса посвящены общимъ положеніямъ искусства. Такъ, первый тезисъ гласитъ, что гдѣ жизнь, тамъ и поэзія (ubi vita, ibi poësis),—второй, что поэзія, единая по своей сущности, облекается въ разнообразныя формы (poësis, una in se, formas varias induit)‘ и третій, что формы поэзіи, въ которыхъ она проявляется, опредѣляются духомъ времени (formae poëseos, qua viget, aetatis ingenio determinantur). Съ первымъ изъ этихъ тезисовъ всякій безусловно согласится; онъ сдѣлался девизомъ

всей послѣдующей реалистической литературы и реалистической критики. Исповѣданіе такого мнѣнія должно считаться заслугою Надеждина въ исторіи русской критики. Два же остальные тезиса едвали могутъ быть приняты, едва ли кто нибудь согласится съ ними, всякій, напротивъ, увидитъ, что Надеждинъ въ этихъ тезисахъ противорѣчитъ самъ себѣ. Онъ говоритъ въ своей диссертаціи, что классическая литература происходила «изъ нѣдръ природы внѣшней», что, слѣдовательно, матеріальность есть существенный признакъ ея содержанія и что, съ другой стороны, поэзія романтическая произошла «изъ нѣдръ природы человѣческой», что, слѣдовательно, духовность есть отличительное ея качество. Несмотря же на это, Надеждинъ все-таки заявляетъ, что поэзія едина по своей сущности, что все ея разнообразіе заключается только въ формахъ, которыя опредѣляются духомъ времени. Положимъ, что формы зависятъ отъ духа времени,—но и содержаніе никогда не избѣгало подобной участи: оно всегда зависѣло отъ умственнаго и нравственнаго строя той или другой эпохи.

Смѣшнымъ и страннымъ современникамъ казались и намъ кажутся обвиненія Надеждина въ «поэтическомъ отступничествѣ» Вольтера и Байрона, которымъ нынѣшніе лже-романтики подражаютъ въ отступничествѣ отъ «всесовершеннѣйшей гармоніи, составляющей есѳетическую душу произведенія»; эти нападки тѣмъ болѣе странны, что годъ или два тому назадъ тотъ же Надеждинъ совѣтовалъ учиться у Байрона «изящной отдѣлкѣ поэтическаго костюма» и умѣнью «исчерпывать мощное лоно природы всеобъемлющимъ окомъ». Теперь же Надеждинъ, перемѣнивъ фронтъ, разражается противъ Байрона такой грозной филиппикой (мы соединяемъ разбросанныя въ его диссертаціи мнѣнія въ одну характеристику):

«Британскій поэтъ-ненавистникъ показываетъ ужасный примѣръ души, которая, закатившись въ безпредѣльную бездну самой себя и не воздерживаемая тяготѣніемъ къ единому вѣчному средоточію жизни, обрушивается собственною своей тяжестью глубже и глубже до тѣхъ поръ, пока, оглушенная безпрерывнымъ риновеніемъ, ожесточается

злобной лютостію противъ всего сущаго и изрыгаетъ собственное свое бытіе въ святотатственныхъ хулахъ съ неистовыми проклятіями. Байронъ представляетъ судорожную агонію романтизма. Подобно созданному имъ Каину, онъ шатается тѣнью по мертвымъ костямъ бытія, изъ которыхъ самъ высосалъ соки жизни, не обрѣтая нигдѣ спокойствія и отрады,—язва природы, ужасъ человѣчества, ненавидящій землю, отверженный небомъ. По сему справедливо величается онъ даже своими соотечественниками именемъ сатанинскаго. Для Байрона вселенная есть не что иное, какъ мрачная юдоль вѣчной ночи, въ которой печально скитаются блѣдные призраки, то цѣпенѣя отъ смертельнаго хлада, то сожигаясь въ губительномъ пламени, на минуту вспыхивающемъ и опять угасающемъ. Жизнь человѣческая есть для него кровавое пиршество, отравленное адскою желчью смерти и отбиваемое другъ у друга съ свирѣпымъ остервенѣніемъ тѣнями, томимыми лютою алчбою».

Прочитавъ эту трескучую филиппику, всякій читатель долженъ недоумѣвать — нужно или не нужно молодымъ писателямъ подражать Байрону? Раньше критикъ совѣтовалъ, теперь же нѣтъ. Теперь его мнѣніе о Байронѣ совсѣмъ иное. Которое же изъ нихъ вѣрное? Недоумѣніе же вызываетъ и мнѣніе Надеждина, что отличительный характеръ русской поэзіи составляетъ яко бы «патріотическій енѳузіазмъ». Такое мнѣніе у критика могло составиться, конечно, только послѣ чтенія «Петріадъ», «Россіадъ», «Телемахидъ», трагедій Сумарокова и напыщенныхъ одъ на иллюминаціи. Вы удивляетесь заранѣе, какъ могъ критикъ съ такими воззрѣніями на искусство, съ такими взглядами на романтическую поэзію увлекаться чтеніемъ стопудовыхъ «піимъ». Впрочемъ, можетъ быть, критикъ человѣкъ совершенно безвкусный. Но удивленіе ваше переходитъ предѣлы, когда вы читаете въ диссертаціи, что будто высокая степень совершенства, на которую возведена у насъ басня (преимущественно передъ всѣми прочими отраслями поэзіи (!), глубокомысленно прибавляетъ критикъ), обязана этому самому «патріотическому енѳузіазму». Басня ознаменована у насъ, по мнѣнію Надеждина, «печатію высочайшей народности, она есть вѣстовщица духа и характера русскаго». Положимъ, что въ лицѣ Крылова русская басня достигла извѣстной степени народности; но отчего же басня, это пересажен-

ное растеніе, какъ и вся послѣ-петровская литература,—растеніе, скоро увявшее на русской почвѣ,—должна представлять собой характерное для русской литературы явленіе? На это критикъ не отвѣчаетъ, ибо всякія прорицанія принимаются на вѣру,—а критикъ въ данномъ случаѣ прорицалъ и притомъ весьма неудачно. Надеждинъ не замѣчалъ, что его мнѣніе о направленіи русской поэзіи противорѣчитъ его же общимъ взглядамъ на поэзію вообще. Критикъ говорилъ, что поэзія должна быть «зерцаломъ природы», должна тяготѣть къ своему вѣчному средоточію—безконечному и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сѣтовалъ, что русская поэзія потеряла, благодаря романтизму, свой яко-бы отличительный характеръ «патріотическаго энѳузіазма», лучшими образцами котораго были басни. Но что же общаго между патріотическимъ энѳузіазмомъ и баснями Крылова, что общаго между стремленіемъ поэзіи къ безконечному и басней вообще? Почему же русскую поэзію нужно выгораживать изъ литературъ европейскихъ, навязывая ей патріотическо-энѳузіастическій характеръ.

Но, минуя всѣ недостатки и всѣ противорѣчія, всѣ странныя уродливости въ языкѣ и въ разсужденіяхъ, — въ родѣ его близорукаго отношенія къ представителямъ новѣйшей поэзіи, особенно къ Байрону, въ которомъ онъ видѣлъ только одну отрицательную сторону,—минуя схоластическій характеръ всей диссертаціи, въ которой литература разсматривается на основаніи отвлеченныхъ критеріевъ,—нельзя не признать историческаго значенія этой диссертаціи. Безъ сомнѣнія, Надеждинъ въ своихъ нападкахъ на романтизмъ сильно перехватилъ, но отрезвляющее значеніе этихъ нападокъ въ пору сильнаго, почти слѣпаго увлеченія внѣ всякаго спора. Съ легкой руки Надеждина Бѣлинскій въ продолженіе всей своей критической дѣятельности велъ борьбу съ нашими псевдоромантиками, доказывая публикѣ, что произведенія Марлинскаго, Полевого, Загоскина и друг. вовсе не художественныя произведенія. Общія философско-критическія начала у Надеждина были еще слишкомъ неопредѣленны, подчасъ противорѣчивы и сбивчивы, не были разработаны детально, не

были приведены въ стройно-развитую систему,—но важенъ починъ въ приложеніи ихъ къ критикѣ художественныхъ произведеній; мысль о соединеніи классицизма съ романтизмомъ для образованія новой поэзіи тоже нова и глубоко справедлива, но она не привилась, ибо сами представители новѣйшей поэзіи были раскритикованы по всѣмъ пунктамъ и сама мысль не получила должнаго разъясненія и развитія.

Критикамъ-современникамъ бросились въ глаза только одни недостатки Надеждинской диссертаціи. Они не могли растолковать плодотворнаго значенія нѣкоторыхъ Надеждинскихъ идей, не вмѣщавшихся въ ихъ головы, незнакомые ни съ нѣмецкой философіей, не умѣвшіе противопоставить новому критику самостоятельную систему мнѣній. И кн. Вяземскій, и Полевой, писавшіе о диссертаціи Надеждина, просто разругали ее, поглумились надъ ней, наговорили всякихъ колкостей автору, стараясь приравнять ее къ совершенному ничтожеству, безстыдно заимствованному изъ чужихъ рукъ.

Кн. Вяземскій въ своей статьѣ «О московскихъ журналахъ» [1]), говоря о первомъ отрывкѣ изъ Надеждинской диссертаціи («Вѣстникъ Европы», 1830 г. — «О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи») откровенно сознавался въ своемъ незнаніи—чему больше удивляться въ этомъ «доносѣ на романтизмъ»: изступленію ли слога, или полному отсутствію мыслей? Догадываясь, что отрывокъ принадлежитъ перу критика съ Патріаршихъ прудовъ, кн. Вяземскій ядовито замѣчалъ, будто Патріаршіе пруды такъ тинисты, что не распознаешь самой истины, когда она выходитъ изъ нихъ въ люди. Кн. Вяземскій называлъ этотъ отрывокъ простымъ наборомъ словъ, удивлялся, для кого писать такимъ символическимъ, исполненнымъ загадокъ языкомъ, который для ученыхъ кажется верхомъ невѣжества, а для свѣтскихъ простолюдиновъ недоступнымъ верхомъ учености: съ такого языка нужно переводить на другой, болѣе житейскій языкъ. Прочитавъ же второй отрывокъ, помѣщен-

[1]) Сочин., т. II.

ный въ «Атенеѣ» 1830 г. («Различіе между классическою и романтическою поэзіею, объясняемое изъ ихъ происхожденія»), кн. Вяземскій сказалъ, что, судя по этимъ отрывкамъ и вообще по мнѣніямъ нашимъ о романтизмѣ, надѣяться на появленіе новыхъ понятій, точнѣйшихъ распредѣленій двухъ родовъ, кажется, еще не время. Притомъ критикъ находилъ, что «въ изысканіи началъ классической и романтической поэзіи въ двойственности природы нашей—вещественной и духовной, внѣшней и внутренней»—болѣе «мистицизма, чѣмъ лучезарной критики».

«Московскій Телеграфъ» встрѣтилъ диссертацію грубыми насмѣшками, какъ бы предвидя опаснаго соперника. Полевой всегда старался представить юнаго ученаго (Надеждину тогда было всего 26 лѣтъ: онъ родился въ 1804 году, а умеръ въ 1856 г.) старовѣромъ въ литературѣ и наукѣ, человѣкомъ отсталымъ отъ вѣка (это для Полевого бывало всегда наиболѣе тяжкимъ обвиненіемъ противника), сподвижникомъ Каченовскаго и схоластическаго упорства, отживавшаго свой вѣкъ въ «Вѣстникѣ Европы», — тогда какъ Надеждинъ былъ и остался такимъ же двигателемъ и проводникомъ новыхъ идей, какъ и Полевой, но идей болѣе строгихъ и опредѣленныхъ, опиравшихся на твердую ученую эрудицію, которой недоставало Полевому. Въ своей рецензіи о диссертаціи Надеждина [1]) Полевой разсматриваетъ послѣднюю вмѣстѣ съ трактатомъ о романтизмѣ какого-то белебѣевскаго уѣзднаго землемѣра Виктора-Ѳомы Товарницкаго, представляющимъ пародію на разсужденія «классическихъ пустослововъ», прибавляя, что Товарницкій забылъ нѣсколько отличительныхъ чертъ «русскихъ классическихъ диссертацій». По мнѣнію Полевого, русскій классикъ долженъ, во-первыхъ, украсть что нибудь у нѣмцевъ, французовъ и англичанъ, переврать это и потомъ утверждать что нибудь самое нелѣпое, самое пошлое; во-вторыхъ, онъ долженъ цитоваться — и особливо латынью (если можно, то и по-гречески); въ-треть-

[1]) Очерки русск. литер., т. II, стр. 284—299.

ихъ — что̀ самое важное — онъ долженъ громко вопіять о развратѣ, о погибели вкуса и искусно соединить съ этимъ мысль, что романтизмъ есть чадо безвѣрія и революціи; онъ долженъ также сильно вопить о славѣ Державина, Ломоносова, Хераскова, Поповскаго, Кострова, Петрова, Майкова; въ-четвертыхъ, онъ долженъ какъ можно надутѣе говорить о славѣ Россіи вообще и о возвышеніи нашемъ надъ всѣми народами въ особенности. Полевой отказывается защищать нашихъ романтиковъ, ибо они, какъ классики, недоученыя дѣти, ибо наше литературное образованіе не вышло еще изъ пеленокъ и ходитъ на всякихъ помочахъ, только не на самобытно-русскихъ; но онъ защищаетъ творенія Гёте, Байрона, Мура, Пушкина, какъ представителей новѣйшей поэзіи, отъ нападокъ русскаго классика — Надеждина, написавшаго по вышеуказанному рецепту свою диссертацію, въ которой утверждаетъ, будто бы поэзія всѣхъ новыхъ поэтовъ есть только лживый призракъ поэзіи романтической. Отказываясь понимать мысль Надеждина о соединеніи классицизма съ романтизмомъ, Полевой отказывается также отъ критическаго разбора подобнаго литературнаго созданія, которое болѣе смѣшно, а потому и не опасно. Полевой, находя, что основныя мысли въ диссертаціи Надеждина чужія, взятыя на прокатъ у Штуцмана и Аста, считалъ отличительными чертами новаго произведенія — варварскій латинскій и русскій языки, неприличныя шутки, непостижимо безстыдное присвоеніе чужого, неслыханное искаженіе этого чужого и отсутствіе всякихъ литературныхъ приличій.

Вышутивъ диссертацію Надеждина, Полевой, между тѣмъ, невольно подчинился вліянію болѣе сильнаго и устойчиваго противника. Черезъ годъ или полтора послѣ того, какъ Надеждинъ началъ писать свои статьи, въ журналѣ Полевого стала ощутительна перемѣна. Полевой видимо многому учился у своего противника. Такъ, напр., Полевой сталъ писать свои статьи въ діалогической формѣ; Полевой значительно поубавилъ тону, говоря о романтизмѣ, и, относя его къ заблужденіямъ нашего вѣка, замѣчалъ, что на немъ всѣ народы съ

ума сошли. Полевой началъ говорить, что мы не романтики и не классики, что въ наше время романтизмъ и классицизмъ должны соединиться, что изъ ихъ сліянія должна возникнуть новая литература и т. д. Все это мысли Надеждина. Еще большее вліяніе Надеждина отразилось на Бѣлинскомъ, для котораго критика Надеждина (особенно въ «Телескопѣ») сдѣлалась исходной точкой дальнѣйшаго развитія критической мысли. Бѣлинскій началъ свою литературную дѣятельность въ «Молвѣ», издававшейся въ 1834 году при «Телескопѣ», и въ теченіе двухъ лѣтъ дѣятельно сотрудничалъ въ названныхъ изданіяхъ Надеждина, завѣдуя почти всѣмъ критическимъ отдѣломъ. Познакомимся съ послѣднимъ временемъ дѣятельности Надеждина—съ 1830 по 1836 годъ, съ котораго Надеждинъ умираетъ для русской критики, уступая свое перо болѣе даровитому преемнику и обращаясь къ изученію исторіи и этнографіи Россіи. Этотъ даровитый преемникъ повторялъ во многомъ своего учителя, обстоятельнѣе обосновывая и проницательнѣе развивая его мысли.

Теперь на вопросъ—что такое искусство—Надеждинъ отвѣчаетъ, что искусство есть «проявленіе творческой силы нашего духа, созидающей внѣшніе ощутимые образы для выраженія незримой полноты внутренняго міра идей». Но такъ какъ духъ нашъ рождается и живетъ среди природы, такъ какъ «его мысли объемлютъ природу, а его дѣйствія объемлются природою» и поэтому природа составляетъ для нашего духа «и предметъ идей, и матерію дѣйствій», то, слѣдовательно, искусство есть не что иное, какъ воспроизведеніе природы. Это какъ бы мірозданіе въ миніатюрѣ. Искусство не должно состоять въ подражаніи природѣ: искусственное воспроизведеніе природы есть только «возведеніе естественныхъ явленій къ пункту зрѣнія, съ коего въ полномъ блескѣ открывается для насъ ихъ красота, или, что то же, гармонія жизни, ихъ одушевляющая». Искусство подражать природѣ не можетъ: это выше человѣческихъ силъ. Достоинство подражанія состоитъ въ совершенномъ сходствѣ съ оригиналомъ. Но этого мы никогда не достигнемъ: у насъ не можетъ быть равныхъ творческихъ силъ съ Творцомъ

Вселенной. Прекраснымъ доказательствомъ высказаннаго мнѣнія можетъ служить опытъ съ тафтяными цвѣтами и восковыми фигурами, въ которыхъ чѣмъ совершеннѣе матерія, сходство съ природою въ наружныхъ формахъ, тѣмъ ощутительнѣе и грустнѣе отсутствіе жизни. Невозможность матеріальнаго подражанія природѣ привела нѣкоторыхъ мыслителей къ убѣжденію, что искусство должно передѣлывать природу, украшать ее. Такое мнѣніе могло утвердиться только вслѣдствіе непониманія, что природа сама по себѣ есть образецъ высочайшей красоты и наши прибавленія могутъ ее только исказить, обезобразить. Это «кокетство искусства» не могло долго существовать: оно рухнуло съ своихъ поддѣльныхъ ходулей, разлетѣвшись въ прахъ подъ стопами неумолимой истины.

Назначеніе искусства ни чисто умственное, ни чисто нравственное; оно не занимается ни развитіемъ истины, ни преслѣдованіемъ блага, но стремится прямо и исключительно къ изображенію красоты, какъ совершеннѣйшаго единства блага и истины. Искусство приноравливаетъ къ намъ природу, «умѣщаетъ ее въ предѣлы нашего кругозора», сближаетъ ее съ нашей точкой зрѣнія, подводя подъ нашъ уголъ зрѣнія. Поэтому, въ твореніяхъ искусства явленія природы, кажущіяся безсмысленными и безжизненными «въ своей необъятной вещественности», получаютъ жизнь, мысль и душу. Творчество, поэзія мысли состоитъ въ смѣломъ, безстрашномъ взглядѣ на бытіе, не преломляемомъ «никакимъ стороннимъ стекломъ», не искажаемомъ никакимъ чуждымъ вліяніемъ. Геній художника повторяетъ на себѣ глубокій миѳъ древнихъ о Пигмаліонѣ. Онъ сжимаетъ въ своихъ пламенныхъ объятіяхъ хладный мраморъ—и жизнь отзывается на жизнь. Это «таинственное пресуществленіе» природы искусствомъ весьма вѣрно обозначается словомъ «идеализированіе». Въ современномъ движеніи творческой дѣятельности очень ощутительно направленіе къ всеобщности послѣ многихъ безуспѣшныхъ покушеній возстановить для настоящаго вѣка одно изъ двухъ предшествовавшихъ имъ направленій—классическое или роман-

тическое. Для генія современнаго задача искусства состоитъ «въ просвѣтленіи мрачной глубины Шекспира лучезарнымъ изяществомъ Гомера», въ соединеніи идеальнаго воодушевленія среднихъ вѣковъ съ изящнымъ благообразіемъ классической древности, въ уравненіи души съ тѣломъ, идеи съ формой. Изъ этого стремленія къ всеобщности проистекаютъ всѣ частныя требованія отъ современной художественной дѣятельности. Главныя требованія суть естественность и народность. Современное направленіе искусства требуетъ отъ художественнаго созданія полнаго сходства съ природою, спрашивая «у образа: гдѣ твой духъ?—у мысли: гдѣ твое тѣло?» Отсюда нисхожденіе изящныхъ искусствъ въ сокровеннѣйшіе изгибы бытія, вникновеніе въ мельчайшія подробности жизни, соединенное съ строгимъ соблюденіемъ колорита мѣста и времени. Необходимое слѣдствіе естественности,—есть народность. Всякій талантъ, разъ только онъ творитъ свободно, безъ вліянія предубѣжденій и страстей»,—будетъ непремѣнно народенъ, и только умышленныя неестественныя усилія могутъ стереть съ его произведеній печать родины. Нынѣ всюду видно стремленіе къ самосозерцанію, къ самоопредѣленію. Геній чувствуетъ, что онъ можетъ жить и дышать свободно только въ своей родной атмосферѣ, своимъ роднымъ воздухомъ. Рано или поздно, но искусство во всѣхъ своихъ отрасляхъ должно сдѣлаться полнымъ и свѣтлымъ отраженіемъ народовъ, среди которыхъ живетъ и развивается. Тогда жизнь разрѣшится въ «сладкозвучную гармонію» истины и блага, въ «очаровательную поэзію неистощимаго самоуслажденія».—Таковы были взгляды Надеждина на искусство въ апогеѣ ихъ развитія. Они составляютъ какъ-бы программу перваго періода дѣятельности Бѣлинскаго. Они, съ нѣкоторыми добавленіями и измѣненіями, живутъ до сихъ поръ—и эта живучесть ихъ есть лучшее доказательство ихъ глубины и вѣрности. Конечно, это схема, но схема, начертанная мастерскою рукой. Надеждину принадлежитъ мысль о скудости и бѣдности нашей литературы,—мысль, сдѣлавшаяся основнымъ положеніемъ «Литератур-

ныхъ мечтаній» Бѣлинскаго, съ появленія которыхъ роль Надеждина въ литературѣ можно считать покончепной. Надеждинъ неоднократно повторялъ, что наша литература долго была «барщиной европейской», что она «безплодный пустырь», на которомъ только изрѣдка возникаютъ прекрасные цвѣты, приводящіе въ недоумѣніе своимъ появленіемъ. Совершенно вѣрно отмѣчены Надеждинымъ существенныя черты послѣ-петровской литературы. Слѣдующая тирада изъ «Отчета о русской литературѣ за 1831 годъ», можетъ служить эпиграфомъ всѣхъ статей Бѣлинскаго, въ которыхъ послѣдній говоритъ о характерѣ новой русской литературы (послѣ Петра):

«Что у насъ теперь своего?—испытующе спрашивалъ Надеждинъ, придя къ убѣжденію, что вся литература и образованность русская суть только слабыя копіи европейскаго просвѣщенія.—Поэтическій нашъ метръ выкованъ на германской наковальнѣ, — проза представляетъ вавилонское смѣшеніе всѣхъ европейскихъ идіотизмовъ, нароставшихъ поочередно, слоями, на дикую массу русскаго необработаннаго слова. Какими произведеніями можемъ мы похвалиться, какъ нашими собственными? Театръ у насъ представлялъ всегда жалкую пародію французской чопорной сцены; объ эпопеяхъ и говорить нечего; лирическое одушевленіе временъ Очаковскихъ выливалось въ оффиціальныхъ формулахъ, общихъ всей Европѣ; въ балладахъ, коими смѣнилось царство одъ, развертывалась нѣмецкая трескучая фантасмагорія; современныя поэтическія мечты, думы, грезы отзываются или, по крайней мѣрѣ, хотятъ отзываться байронизмомъ. Такимъ образомъ, благодатный весенній возрастъ словесности и у насъ обреченъ въ жертву рабскому подражанію и искусственной принужденности».

Не боясь смотрѣть истинѣ прямо въ глаза, Надеждинъ не боялся и за будущее русской литературы, которой онъ предрекалъ близкій «поворотъ отъ искусственнаго рабства и принужденія» къ естественности и народности, къ свободѣ самобытнаго творчества. Признаки новаго періода Надеждинъ самъ и отмѣтилъ, привѣтствуя появленіе «Бориса Годунова» Пушкина и «Марѳы Посадницы» Погодина (неправда ли, странное сосѣдство?), проникнутыхъ, по мнѣнію критика, глубокою народностію. Отсутствіе самобытной литературы, поэзіи Надеждинъ проницательно объяснялъ глубокимъ сномъ

нашей общественной жизни, которая представляла «жалкую игру китайскихъ бездушныхъ тѣней». Всякая умственная дѣятельность начинается съ самопознанія, но «сознаемъ ли мы себя, какъ русскихъ,—спрашиваетъ Надеждинъ,—объяснили ли мы настоящее наше положеніе въ системѣ рода человѣческаго, опредѣлили ли должныя отношенія къ окружающей насъ природѣ, къ развивающейся вокругъ насъ жизни»? Конечно, на все это приходилось отвѣчать отрицательно, ибо наше общественное самосознаніе только что пробуждалось и Надеждинъ былъ однимъ изъ первыхъ пробудителей этого сознанія. Приходилось отвѣчать, что мы еще не знаемъ сами себя, не думаемъ о себѣ—и потому всѣ «наши умственные труды представляютъ такой смутный, безобразный хаосъ»: азіатскій фатализмъ соединяется съ французскимъ легкомысліемъ, нѣмецкая мечтательность съ англійскимъ сплиномъ. Поэтому у насъ не можетъ и быть самобытной поэзіи. Наши нравы или «суздальской иконной работы, или китайской шпалерной живописи, только въ шляпкахъ Гербо и съ прическою г. Нарцисса»; въ нашихъ нравахъ нѣтъ души, нѣтъ жизненнаго румянца, нѣтъ произвольнаго движенія,—поэтому не можетъ быть у насъ въ настоящее время,—говорилъ Надеждинъ,—и поэзіи, которая была бы «вторымъ зрѣніемъ души», разоблачающимъ жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ, которая была бы послѣдней «религіей души», послѣднимъ земнымъ блаженствомъ, послѣдней вѣрой, послѣднимъ упованіемъ, послѣдней любовью, корень которой лежитъ въ каждомъ изъ насъ.

Отношенія Надеждина къ Пушкину на первыхъ порахъ были чисто отрицательныя; они измѣнились только, какъ мы уже упоминали, въ 1831 году,—ко времени появленія въ свѣтъ «Бориса Годунова». Въ своей статьѣ «Литературныя опасенія за будущій годъ» Надеждинъ, говоря о необходимости изученія какъ самой природы, такъ и великихъ произведеній духа человѣческаго для укрѣпленія и развитія творческой способности и, не находя ничего подобнаго въ дѣятельности молодыхъ писателей, подъ которыми почти

всегда подразумѣвался только Пушкинъ, такъ опредѣляетъ содержаніе ихъ поэзіи (т. е. поэзіи Пушкина). «Главнѣйшими изъ пружинъ,—говоритъ Надеждинъ,—приводящими въ движеніе весь піитическій машинизмъ новѣйшихъ поэтовъ (т. е. Пушкина), обыкновенно бываютъ: пуншъ, ай, бордо, дамскія ножки, будуарное удальство, площадное подвижничество. Самую любимую сцену дѣйствія составляютъ Муромскіе лѣса, подвижные Бессарабскіе наметы, магическое уединеніе овиновъ и бань, спаленные закоулки и Θермопилы. Оригинальные костюмы ихъ: «копыты, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавы языки, рога и пальцы костяные». Торжественный оркестръ ихъ: «визгъ, хохотъ, свистъ и хлопъ, людская молвь и конскій топъ».—Въ статьѣ о «Полтавѣ» суровый критикъ отзывается о Музѣ Пушкина еще рѣзче и оригинальнѣе. По мнѣнію Надеждина, Пушкина можно назвать только «геніемъ на каррикатуры», поэзія его есть «просто пародія», а муза — рѣзвая шалунья, для которой весь міръ ни въ копѣйку, стихія которой—пересмѣхать все—худое и хорошее не изъ злости или презрѣнія, а «просто изъ охоты позубоскалить». Зубоскальство, по мнѣнію Надеждина, сообщаетъ «особую физіономію поэтическому направленію Пушкина, отличающую оное рѣшительно отъ Байроновой мисанеропіи и отъ Жанъ-Полева юморизма».

Въ 1830 году, при разборѣ седьмой главы Онѣгина [1]) критикъ, какъ бы устыдясь своего прежняго строгаго приговора, передѣлываетъ свое мнѣніе о музѣ Пушкина и переходитъ къ другой странности. Критикъ удѣляетъ Пушкину славу Скаррона, Паррона, Берни, Аретина и прочихъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ писателей, находитъ, что изъ-подъ его кисти «выпадаютъ» если не картины, то картинки, на которыя нельзя налюбоваться; вмѣстѣ съ тѣмъ Надеждинъ замѣчаетъ, что Пушкину не дано изображать природу поэтически, съ лицевой ея стороны, подъ прямымъ угломъ зрѣ-

[1]) «Вѣстн. Европы» 1830 г., № 7.

нія: онъ можетъ только «мастерски выворачивать» ее на изнанку и поэтому можетъ блистать только «въ арабескахъ». Таковы были оригинальныя воззрѣнія Надеждина на талантъ Пушкина до 1830 года. Этимъ воззрѣніямъ нельзя придавать особеннаго значенія, ибо критикъ порицалъ Пушкина на основаніи отвлеченнаго эстетическаго идеала, совершенно упуская изъ виду историческій ходъ развитія русской литературы. Съ отрицанія прошлаго русской литературы и ея настоящаго началъ и Бѣлинскій, придя черезъ немного времени къ признанію ея существованія. То же случилось и съ Надеждинымъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, подобные приговоры продиктованы не безъ большого участія слабаго художническаго чутья. Ниже мы будемъ имѣть случай познакомиться въ подробностяхъ съ оригинальными критическими отзывами Надеждина о Пушкинѣ, всегда представлявшими странную смѣсь нелѣпыхъ до смѣшной уродливости замѣчаній съ истинно-дѣльными теоретическими положеніями. Повторяемъ, Надеждинъ былъ видный художественный теоретикъ для своего времени и плохой критикъ. Въ этомъ и кроется траги-комическій характеръ его дѣятельности, въ этомъ нужно искать главной причины малой плодотворности ея, слабаго успѣха и ограниченной популярности при жизни, равнодушнаго забвенія обществомъ и его диссертаціи, и его критическихъ статей и, наконецъ, его журнала вскорѣ послѣ прекращенія послѣдняго. Но, во всякомъ случаѣ, Надеждинъ долженъ быть незабвененъ для насъ, какъ Хронъ — воспитатель Ахиллеса, т. е. Бѣлинскаго.

ГЛАВА VIII.

Пріемъ, оказанный публикой и критикой «Графу Нулину».— Библіографическій указатель статей.—Разборъ Надеждина въ «Вѣстникѣ Европы».— Отвѣтъ Пушкина придирчивому моралисту. — Мнѣніе Пушкина о нравственномъ и безнравственномъ въ поэтическомъ произведеніи.— Остроумная пародія поэта на критику Надеждина.—Непониманіе критикой «Полтавы».—Библіографическій указатель статей о «Полтавѣ».—Отзывы «Московскаго Телеграфа», «Сына Отечества», «Атенея», возражавшаго послѣднему въ лицѣ Максимовича. — Статья о «Полтавѣ» Надеждина, какъ исключительный образчикъ критической слѣпоты.

Граціозная шутка «Графъ Нулинъ» была написана Пушкинымъ въ два утра и навѣяна довольно слабой поэмой Шекспира—«Лукреціей». Пушкинъ сознавался самъ, что не могъ противиться двойному искушенію [1]) — пародировать исторію и Шекспира, когда, во время чтенія «Лукреціи», у него блеснула мысль: что̀ еслибы Лукреція дала пощечину Тарквинію? Можетъ быть, Лукреція бы не зарѣзалась, Публикола не взбѣсился бы — и міръ, и исторія были бы не тѣ. Императоръ Николай I, начавшій въ то премя цензуровать произведенія Пушкина, изволилъ читать «Графа Нулина» съ большимъ удовольствіемъ и разрѣшилъ эту прелестную пьесу къ печатанію, только съ измѣненіемъ двухъ стиховъ: «Порою съ бариномъ шалитъ» и «коснуться хочетъ одѣяла». Въ свѣтѣ эта поэмка была принята благосклонно, — благосклонно же она была встрѣчена во всѣхъ журналахъ, за ис-

[1]) Т. V, стр. 194.

ключеніемъ «Вѣстника Европы», который, устами Надеждина, обвинялъ Пушкина въ безнравственности. Пушкинъ, повидимому, сильно оскорбленный и разсерженный рѣзкимъ и насмѣшливымъ отзывомъ Надеждина, написалъ довольно длинную и суровую отповѣдь, съ которой мы сейчасъ познакомимся, Надеждину въ особенности и всѣмъ критикамъ вообще, обвинявшимъ и обвиняющимъ его въ безнравственности [1]).

Критическія статьи и рецензіи о «Графѣ Нулинѣ» были напечатаны въ «Сѣверной Пчелѣ» 1828, №№ 4 и 150, въ «Московскомъ Телеграфѣ» 1828, № 12; въ «Сынѣ Отечества» 1829, №№ 5 и 12, въ «Атенеѣ» 1829, № 1, въ журналѣ «Бабочка», № 6 и, наконецъ, въ «Вѣстникѣ Европы» 1829, №№ 2 и 3. Особенно рѣзко отозвался о «Нулинѣ» Надеждинъ въ своей статьѣ: «Сонмище нигилистовъ» [2]); здѣсь онъ говоритъ, напримѣръ: «нашъ литературный хаосъ, осѣменяемый мрачною философіей ничтожества, разражается Нулиными. Множить ли, дѣлить ли нули на нули, — они всегда останутся нулями».

Благосклонные критики называли «анекдотическую повѣсть» «Нулинъ» прелестной игрушкой, находили, что у насъ эта повѣсть небывалая, что она можетъ служить образцомъ остроумія и утонченнаго вкуса, что многіе уже знаютъ ее наизусть, благодаря превосходному изображенію мѣстностей и что самъ старичекъ Вольтеръ, вѣроятно, не отказался бы подписать своего имени подъ «Графомъ Нулинымъ». Иначе взглянулъ на дѣло Надеждинъ: онъ вздумалъ стрѣлять изъ пушекъ по воробьямъ. Разбирая двѣ повѣсти, напечатанныя вмѣстѣ: «Балъ» Баратынскаго и «Графа Нулина», строгій критикъ говоритъ, что подобныя произведенія — «выродки», для которыхъ ни одинъ Кювье не составилъ еще полной систематической классификаціи. Называя двѣ эти поэмы «разряженными куколками», критикъ ядовито замѣчаетъ, что было бы ужаснымъ литературнымъ анахронизмомъ искать въ нихъ идеи, которая бы составляла

---

[1]) Т. V. стр. 122—126.

[2]) «Вѣстникъ Европы», 1829 г., №№ 1 и 2.

ихъ «есѳетическую душу» и на основаніи которой можно было бы говорить о внутреннемъ поэтическомъ достоинствѣ самой наружной отдѣлки: это значило бы искать «порожняго мѣста», ибо разбираемыя критикомъ повѣсти, по его словамъ, излились изъ нѣдръ самозаконныхъ геніевъ, презирающихъ правила. Если Пушкинъ сотворилъ «чисто изъ ничего» свою поэму, то на ней и оправдывается во всей силѣ древняя аксіома, гласящая, что изъ ничего ничего не бываетъ. Никогда произведеніе такъ не соотвѣтствовало носимому имени: «Графъ Нулинъ» есть «нуль во всей маѳематической полнотѣ значенія сего слова». Критикъ не находилъ даже комическаго элемента въ поэмѣ, который является, по мнѣнію Канта, тогда, когда ожиданія, возбуждаемыя этимъ комическимъ, превращаются въ нуль. Нулинъ не возбуждаетъ никакихъ ожиданій кромѣ нульныхъ и поэтъ можетъ про себя сказать, что онъ взгромождалъ нули на нули, умножалъ ихъ, возвышалъ въ безчисленныя степени, а нуль все-таки остался равенъ самому себѣ. Критикъ не знаетъ что̀ анатомировать въ поэмѣ, которая отъ малѣйшаго дуновенія разлетается въ прахъ, какъ мыльный пузырь. Цвѣтность этого мыльнаго пузыря составляетъ все «оптическое» бытіе его, содержанія въ поэмѣ нѣтъ никакого, ибо графъ Нулинъ проглотилъ пощечину Натальи Павловны, геній поэта переварилъ ее съ творческимъ одушевленіемъ и... разрѣшился Нулинымъ. Единственное достоинство поэмы — поэтическая живопись, которую критикъ не считаетъ за «есѳетическій нуль». Поэма исполнена картинами, схваченными съ натуры рукою мастерскою, одушевленною; въ ней есть даже картины, достойныя знаменитѣйшихъ мастеровъ Фламандской школы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ критикъ остался недоволенъ отсутствіемъ въ картинѣ дворовой природы, на которую любовалась Натальи Павловна, нѣкоторыхъ необходимыхъ подробностей. «Неужели, говоритъ онъ съ тонкимъ видомъ знатока-сапожника, разсматривающаго картину, — въ широкой рамѣ чернаго барскаго двора не умѣстились бы двѣ-три хавроньи, кои, разметавшись по-султански на пышныхъ диванахъ то-

пучей грязи, въ блаженномъ самодовольствіи и совершенно эпикурейской беззаботности о всемъ окружающемъ ихъ, могли бы даже сообщить нѣчто занимательное изображенному зрителю?.. Почему поэтъ, продолжаетъ Надеждинъ, представляя бабу, идущую черезъ грязный дворъ развѣшивать бѣлье, уклонился нѣсколько отъ вѣрности, позабывъ изобразить, какъ она, со всѣмъ деревенскимъ жеманствомъ, приподнимала подолъ своей пестрой понявы, чтобы ей «воскрылій не смочить усыпленною грязнаго моря волною?..» «Это едва извинительно въ живописцѣ великомъ и всеобъемлющемъ!..»

Критикъ, насмѣшливо замѣтивъ, что изображенія внутреннихъ душевныхъ ситуацій не менѣе живописны, вмѣстѣ съ тѣмъ начинаетъ выговаривать поэту за нескромность сюжета и неприличіе многихъ мѣстъ поэмы. Онъ самъ немножко раскраснѣлся при описаніи ночнаго пилигримства Нулина, творя молитву при такомъ живомъ изображеніи бѣсовскаго навожденія; самому критику мерещился бѣдный Нулинъ, облизнувшійся какъ «лысый бѣсъ», въ ушахъ критика долго отдавалась звонкая пощечина, разбудившая даже косматаго шпица и вѣрную Парашу. Критикъ находитъ, что не слѣдуетъ изображать безчисленныя повѣсничества и безпутства, не слѣдуетъ вызывать ихъ изъ мрака, въ которомъ они совершаются, ибо выставлять ихъ на показъ—значитъ оскорблять человѣческую природу: вѣдь не оберешься грѣха, если, напр., двоюродная сестра критика, которой «невступно еще шестнадцать лѣтъ», соблазненная демономъ дѣвическаго любопытства, вытащитъ потихоньку изъ незапирающагося бюро критика «это сокровище». Въ натурѣ вообще есть много такихъ вещей, которыя «совсѣмъ нейдутъ къ показу, ибо дай себѣ волю... пожалуй залетишь и Богъ вѣсть куда!—отъ спальни недалеко до дѣвичьей; отъ дѣвичьей—до передней; отъ передней—до сѣней; отъ сѣней—дальше и дальше!» Вѣдь есть много мѣстъ и предметовъ, еще болѣе вдохновительныхъ, могущихъ представить новое неразработанное и неистощимое поле для трудолюбивыхъ дѣлателей! Дѣлая выговоры поэту за нескромный сюжетъ, критикъ все-таки считаетъ своей обя-

занностью сознаться, что поэтъ не совсѣмъ еще отрѣшился отъ узъ приличія, умѣя полагать границы своевольному своему генію. Такъ, напр., онъ ставитъ въ риѳму «свѣтильнику» — «будильникъ», замѣняя имъ другое «равнозвучное», болѣе идущее къ дѣлу, слово, принесенное поэтомъ «съ истинно героическимъ самоотверженіемъ въ жертву тиранскому приличію»; то же самое чувство благородной снисходительности къ людскимъ предразсудкамъ выражается въ полумимическомъ отвѣтѣ графа на вопросъ Натальи Павловны:

«Какъ тальи носятъ?» «Очень низко,
Почти до... вотъ до этихъ поръ».

Отзываясь далѣе съ похвалой о плавности и гладкости стиховъ, которые какъ бы сами собою сливаются съ языка поэта и, увлекаясь ихъ плѣнительною гармоніею, критикъ все-таки въ общемъ не можетъ одобрить обѣихъ разобранныхъ имъ повѣстей и называетъ ихъ «прыщиками на носу вдовствующей литературы», которые «и красны, и пухлы, и зрѣлы: но che chi ha i duo'occhi il veda».

Оригинальныя по своей странности замѣчанія объ отсутствіи въ картинѣ двора хавроніи и бабы, подымающей подолъ, жеманныя и лицемѣрныя обвиненія въ безнравственности, чрезмѣрная догадливость критика, далеко не говорящая въ пользу его вкуса и скромности,— наконецъ, нелѣпый общій приговоръ, въ которомъ сочетались вульгарная грубость выраженія съ грязнымъ сравненіемъ,— все это, конечно, должно было обратить на себя вниманіе и поэта, и журналистовъ. «Сынъ Отечества» помѣстилъ маленькую статейку «о чутьѣ критика (имя рекъ), живущаго на Патріаршихъ прудахъ», въ которой рецензентъ ограничивается подборомъ выписанныхъ нами оригинальныхъ мѣстъ изъ статьи Надеждина, за исключеніемъ обвиненій послѣднимъ Пушкина въ неприличіи, и отказывается отъ всякихъ комментаріевъ, совершенно справедливо считая указанныя мѣста краснорѣчивѣе всякихъ поясненій. Рецензентъ весьма кстати припомнилъ басню Крылова о хавроньѣ, которая въ богатомъ и пышномъ барскомъ домѣ ничего не нашла кромѣ навоза, да

сору, хотя, не жалѣя рыла, изрыла весь задній дворъ. Соглашаясь вполнѣ съ остроумнымъ замѣчаніемъ рецензента, что «подобный подобнымъ и любуется», мы позволимъ прибавить отъ себя, что, къ сожалѣнію, Надеждинъ очень часто походилъ на критика, изображеннаго въ помянутой баснѣ: дѣйствительно онъ часто былъ способенъ «одно худое видѣть».

Пушкинъ превосходно отвѣтилъ строгому и придирчивому моралисту, у котораго о нравственности литературныхъ произведеній были понятія лицемѣрнаго святоши, который, по своей стыдливости, напоминаетъ Тартюфа, накидывающаго платокъ на открытую грудь Дорины. Мы видѣли, что тотъ же самый журналъ—«Вѣстникъ Европы»—вопіялъ о безнравственности «Руслана», о вольности шутокъ поэта, о неприличіи многихъ выраженій; черезъ восемь лѣтъ мы встрѣчаемъ повтореніе того же самаго при появленіи «Графа Нулина». Пушкину видимо надоѣли тартюфскія выходки чопорныхъ критиковъ и онъ взялся, наконецъ, за перо, чтобы объяснить близорукимъ «цѣнителямъ и судьямъ», что̀ нужно считать безнравственнымъ въ литературномъ произведеніи, какія выраженія не должны употребляться, какъ неприличныя и неблагопристойныя. Совершенно справедливо удивленіе Пушкина незнанію критиками шутливыхъ повѣстей Аріоста, Боккачіо, Лафонтена, Касти, Спенсера, Чаусера, Виланда, Байрона, точно такъ же какъ и эротическихъ стихотвореній Державина, Богдановича и Дмитріева съ ихъ повѣстями «Душенька» и «Модная жена», которыхъ только «несчастный педантъ» или «угрюмый дуракъ» осмѣлится укорить въ безнравственности и неблагопристойности. Конечно, критики, можетъ быть, и знали о существованіи многочисленныхъ легкихъ и шутливыхъ разсказовъ, по привычкѣ примирились съ ними, а новое произведеніе въ этомъ жанрѣ все-таки вызывало ихъ на нравоучительные выговоры потому, что это было новое произведеніе молодого поэта. Весьма основательно сдѣлано Пушкинымъ опредѣленіе безнравственнаго̀ сочиненія. «Безнравственное сочиненіе есть то, коего цѣлью и дѣйствіемъ бываетъ потрясеніе правилъ, на коихъ

основано общественное счастіе или достоинство человѣческое». Критики же о нравственности имѣли совершенно дѣтское или темное понятіе, смѣшивая ее съ нравоученіемъ и видя въ литературѣ одно педагогическое занятіе. Поэтому-то «Графъ Нулинъ», уступая въ живости шутокъ произведеніямъ Богдановича и Дмитріева, былъ провозглашенъ «безнравственнымъ, похабнымъ»: у одного изъ критиковъ была 15-ти-лѣтняя племянница, а у другого 15-тилѣтняя знакомая. Но вѣдь публика не 15-ти-лѣтняя дѣвица и не 13-ти-лѣтній мальчикъ. По справедливому замѣчанію Пушкина, «шутка, вдохновенная сердечною веселостію и минутною игрою воображенія», не можетъ считаться безнравственной; только произведеніе, исполненное любострастными описаніями, дѣйствительно уничижаетъ поэзію, превращая ея божественный нектаръ въ воспалительный составъ, а музу—въ отвратительную колдунью. Вѣроятно, еслибы «Недоросль» явился во времена Пушкина, то критики, по мѣткому замѣчанію поэта, съ ужасомъ замѣтили бы, что Простакова бранитъ Палашку «каналья и собачья дочерью», а себя сравниваетъ «съ сукой». Критики, конечно, опять бы сослались на дамъ, нѣжный и разборчивый вкусъ которыхъ не можетъ выносить подобныхъ вульгарныхъ выраженій. «Отчего происходитъ это мѣщанское, отвратительное жеманство, въ справедливомъ негодованіи восклицаетъ Пушкинъ,—эта чопорность деревенской дьячихи, пришедшей въ гости къ петербургской барынѣ, засѣдательницы въ гостяхъ у пріѣзжей горожанки? Оттого, что нашимъ литераторамъ хочется доказать, что они принадлежатъ къ высшему обществу (high life), что имъ извѣстны его законы; не лучше ли было бы имъ постараться по своему тону и поведенію принадлежать къ хорошему обществу (bonne société)?»[1]).

Доказавъ критикамъ-моралистамъ дѣтскость и смѣшную чопорность ихъ воззрѣній, Пушкинъ, конечно, не берется возражать Надеждину по пунктамъ на его разборъ «Нулина»,

[1]) Т. V, стр. 135.

а замѣчая, что всѣ уже привыкли читать «ребяческія критики», онъ пишетъ великолѣпную и остроумную пародію на критику Надеждина, столь же мѣткую, какъ и знаменитая пародія поэта на оды Хвостова [1]). Пушкинъ представляетъ себѣ критика разбирающимъ «Федру» Расина и пишущимъ по этому поводу слѣдующее: «*Нѣтъ ничего отвратительнѣе предмета, избраннаго г-мъ сочинителемъ: женщина замужняя, мать семейства, влюблена въ молодого олуха, побочнаго сына ея мужа (!!!!). Какое неприличіе! Она не стыдится въ глаза ему признаваться въ развратной страсти своей (!!!!). Сего не довольно: сія фурія, употребляя во зло глупую легковѣрность супруга своего, взноситъ на невиннаго Ипполита гнусную небывальщину, которую, изъ уваженія къ нашимъ читателямъ, не смѣемъ объяснить (!!!). Злой старичишка, не входя въ обстоятельства, не разобравъ дѣла, проклинаетъ своего собственнаго сына (!!), послѣ чего Ипполита разбиваютъ лошади (!!!); Федра отравливается; ея гнусная наперсница утопляется — и только. Вотъ что пишутъ, не краснѣя, писатели, которые и проч.* (Тутъ личности и ругательства). *Вотъ до какого разврата дошла у насъ литература, кровожадная, развратная вѣдьма съ прыщиками на лицѣ! Шлюсь на совѣсть самихъ критиковъ!*» Въ этой коротенькой замѣткѣ тонъ и манера надеждинскихъ критикъ пародированы мастерски: на подобныя критики дѣйствительно нельзя было отвѣчать серьезно, хотя бы онѣ были писаны

[1]) См. т. I, стр. 330. «Ода его Сіятельству графу Дм. Ив. Хвостову, съ примѣчаніями автора». Она начинается такъ:

Султанъ ярится. Кровь Эллады
И рѣзво скачетъ, и кипитъ.
Открылись грекамъ древни клады,
Трепещетъ въ Стиксѣ лютый Питтъ!
И се—летитъ предерзко судно
И мещетъ громы обоюдно:
Се Бейронъ, Феба образецъ,
Притекъ—но недугъ быстропарный,
Строптивый и неблагодарный,
Взнесъ смерти на него рѣзецъ... и пр.

по-латыни. Между тѣмъ, критикъ такимъ же образомъ, пиша притомъ еще болѣе кудрявымъ языкомъ, разбиралъ очень часто произведенія, ничуть не предосудительнѣе въ нравственномъ отношеніи расиновской «Федры», а «Вѣстникъ Европы» считалъ этотъ вздоръ глубокомысліемъ, гостепріимно открывая свои страницы для подобныхъ quasi критическихъ упражненій.

Отчего же не возражали другіе критики-журналисты и если возражали, то слабо и поверхностно, ограничиваясь пересмѣшками выраженій? Вѣдь, напримѣръ, въ данномъ случаѣ дѣло касалось принципіальныхъ вопросовъ о нравственномъ и безнравственномъ въ литературныхъ произведеніяхъ? На это можно отвѣчать только гадательно: можетъ быть, критики находили ниже своего достоинства спорить о такихъ пустякахъ, — можетъ быть, не могли, а можетъ быть, наконецъ, соглашались съ нотаціями Надеждина, которыя онъ читалъ русской литературѣ. Такъ или иначе, мы позволили себѣ разобрать подробно статью Надеждина о «Графѣ Нулинѣ» и отвѣтъ на нее Пушкина потому, что видѣли въ нихъ много характернаго для обрисовки духа времени. Мы остановились на замѣчаніяхъ Пушкина болѣе или менѣе подробно для того, чтобы еще разъ показать, что Пушкину дѣйствительно приходилось брать на себя и роль критика своихъ произведеній, которую онъ часто такъ удачно исполнялъ, и чтобы еще разъ подтвердить ту мысль, что современная поэту критика была въ общемъ въ періодѣ младенчества и что ей предстояло воспитаться на произведеніяхъ геніальнаго творца и чуткаго, умнаго, проницательнаго цѣнителя художественныхъ произведеній.

Черезъ два года послѣ «Цыганъ», т. е. въ 1829 году, появилась новая поэма Пушкина «Полтава», въ которой рѣзко выразилось усиліе поэта оторваться отъ прежней дороги и твердою ногою стать на новый путь самобытнаго творчества. Очень вѣрно замѣчено Бѣлинскимъ, что, благо-

даря этимъ усиліямъ, поэту не удалось достигнуть желаемаго: изъ поэмы вышло что-то огромное, великое, но въ то же время нестройное, странное, неполное. Почти всякое мѣсто, взятое въ «Полтавѣ» отдѣльно, превосходило по силѣ и полнотѣ поэтическаго выраженія все прежде написанное Пушкинымъ; поэма была богата народностію выраженія, но лишена единства мысли и плана, и потому слабая въ цѣломъ,— великое произведеніе по своимъ частностямъ.

Какъ недостатки «Полтавы», такъ и достоинства ея были одинаково непоняты тогдашними критиками и тогдашнею публикою. Одни хвалили ее съ восторгомъ, другіе бранили ее съ ожесточеніемъ. По мнѣнію многихъ, Пушкинъ въ «Полтавѣ» явился мужественнѣе и сильнѣе, съ болѣе глубокимъ знаніемъ сердца и обширнѣйшими замыслами, чѣмъ въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ; нѣкоторые обнаружили діаметрально противоположное мнѣніе. Одни полагали, что для поэмы выгоднѣе было бы характеры дѣйствующихъ лицъ измѣнить согласно идеалу, чѣмъ стѣснять себя историческою точностью, какъ сдѣлалъ Пушкинъ; другіе думали, что явленный Пушкинымъ опытъ соединенія исторіи съ поэзіей и есть именно тотъ родъ, который наиболѣе близокъ духу нашей народной поэзіи; третьи, напротивъ, замѣчали, что въ поэмѣ Пушкина всякое лицо имѣетъ свой характеръ, но только не такой, какъ намъ представляетъ исторія, и, слѣдовательно, историческія событія разногласятъ съ вымышленными характерами. Пушкинъ считалъ «Полтаву» самымъ зрѣлымъ изъ своихъ стихотворныхъ произведеній, замѣчая, что въ ней почти все оригинально и что Жуковскій, Гнѣдичъ, Дельвигъ и кн. Вяземскій предпочитаютъ ее всему, что было создано имъ до сихъ поръ.

Критическія статьи и рецензіи о «Полтавѣ» явились въ «Вѣстникѣ Европы» 1828, №№ 20 и 21 (ст. Надеждина: «Литературныя опасенія за будущій годъ») и 1829, №№ 8 и 9; въ «Сѣверной Пчелѣ» 1829 № 39; въ «Сынѣ Отечества» №№ 15 и 17; въ «Московскомъ Телеграфѣ» 1829, № 7 и 10 (большая статья Кс. Полевого); въ «Атенеѣ», № 4 и 6 (статья М. А. Максимовича о «Полтавѣ» въ историческомъ отношеніи); въ «Галатеѣ» 1829, № 16 и 17 и въ «Сѣверныхъ

Цвѣтахъ» на 1830 г. («Обозрѣніе россійской словесности» Ор. Сомова, стр. 50—58). Замѣчанія самого Пушкина въ V т., стр. 132—134. Надеждинъ въ своей статьѣ, между прочимъ, посмѣялся надъ замѣчаніемъ «Сына Отечества», гдѣ въ похвалу Пушкина сказано, что онъ началъ писать въ ранней юности,—и напомнилъ эпиграмму «почтеннѣйшаго дядюшки» В. Л. Пушкина, «въ коей Аполлонъ вершитъ судъ свой надъ однимъ 15-ти-лѣтнимъ поэтомъ». Пушкинъ отвѣчалъ на эту выходку эпиграммой: «Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ». По этому же поводу В. Л. Пушкинъ написалъ свое посланіе: «Къ А. С. Пушкину», напечатанное въ «Московскомъ Телеграфѣ» 1829, № 6.

Всѣ критики, писавшіе большія статьи о «Полтавѣ», прежде, чѣмъ приступить къ разбору этой поэмы, такъ или иначе старались, во-первыхъ, опредѣлить значеніе предшествовавшихъ поэмъ, а затѣмъ старались пояснить вліяніе Байрона на Пушкина, ибо Байронъ для критиковъ сдѣлался, наконецъ, общимъ мѣстомъ, о которомъ говорилось вкривь и вкось при каждомъ произведеніи Пушкина, начиная съ «Кавказскаго Плѣнника» и кончая послѣдними главами «Онѣгина» и «Борисомъ Годуновымъ», появившимися въ свѣтъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ. Критикъ «Московскаго Телеграфа», напримѣръ, сказавъ, что на первой поэмѣ отразилось вліяніе Аріоста, котораго нашъ поэтъ передѣлалъ на русскіе нравы, и что «путеводителемъ его въ мелкихъ стихотвореніяхъ явился А. Шенье», замѣчаетъ, что всѣ поэмы Пушкина съ «Кавказскаго Плѣнника» и до «Онѣгина» были слѣдствіемъ Байрона, который явился послѣднимъ «отголоскомъ философіи восемнадцатаго вѣка, истребившей своею страшною ироніей всѣ вѣрованія въ добро, неизмѣнно цвѣтущее въ мірѣ». Байронъ, по мнѣнію критика, видѣлъ только одну сторону предметовъ, одно злое черное направленіе человѣчества, вышедшее изъ границъ, какъ скоро благотворное дѣйствіе религіи перестало смягчать его. «Пѣвецъ неумолимой иронiи, разочаровывающій міръ» (которую якобы Пушкинъ изобразилъ въ своемъ «Демонѣ»), Байронъ положилъ печать своего вліянія и на «Кавказскаго Плѣнника», и на «Бахчисарайскій Фонтанъ», и на «Цыганъ», и на «Разбойниковъ», и на «Онѣгина», ибо всѣ эти произведенія «основаны на несоразмѣрности средствъ съ дѣйствіями, обра-

зующей иронію», ибо во всѣхъ этихъ поэмахъ нѣтъ ни одного лица, которое не падало бы подъ бременемъ встрѣчающихся ему золъ или не было «ничтожно и достойно своихъ бѣдствій». Далѣе Пушкинъ подпалъ недолгому вліянію Гёте и плодотворному вліянію Шекспира, въ которомъ угадалъ основные элементы исторической трагедіи, открывъ ихъ и въ русскомъ мірѣ. Такимъ образомъ, критикъ въ предшествовавшей поэтической дѣятельности Пушкина видитъ «повтореніе всей русской литературы». Воспитанный иностранцами, поэтъ переходилъ отъ одного направленія къ другому, пока, наконецъ, не нашелъ «тайну своей поэзіи въ духѣ своего отечества—въ мірѣ русскомъ». Начало новаго направленія, истиннаго пути, критикъ видитъ въ «Полтавѣ», которая поэтому выше всѣхъ предшествовавшихъ произведеній. Въ «Полтавѣ» Пушкинъ сдѣлалъ великій шагъ впередъ, котораго не хотятъ видѣть. Какъ критикъ развиваетъ и доказываетъ свое положеніе — мы сейчасъ увидимъ, разобравъ предварительно мнѣнія остальныхъ критиковъ о поэтической дѣятельности Пушкина до «Полтавы».

Критикъ «Сына Отечества», распространившись въ началѣ статьи о классическихъ поэмахъ, которыя являлись «родомъ стихотворной исторіи» и которыя, наконецъ, утомили своими описаніями безконечныхъ битвъ, сумасбродной любви, олицетворенныхъ страстей, своимъ волшебствомъ, являвшимся всегда, когда автору нужно было выпутаться изъ какого нибудь хитро сплетеннаго обстоятельства, — весьма оригинально и самоувѣренно утверждаетъ, что явившійся геній—Байронъ—создалъ новый родъ поэзіи, оставивъ старую манеру разсказывать ab ovo и начавъ разсказывать съ средины происшествія или съ конца, не заботясь вовсе о спаяніи частей. Байронъ породилъ толпу подражателей, поэмы которыхъ отъ единообразія въ формахъ и пріемахъ похожи одна на другую «какъ запасъ фраковъ или жилетовъ одного покроя». Одна изъ отличительныхъ чертъ сочиненій Байрона, по мнѣнію критика, есть разнообразіе. Пушкинъ послѣдователь Байрона, а не подражатель. Онъ первый на Руси ввелъ

байроновскій родъ и заставилъ полюбить его. Пушкина, несмотря на то, что онъ слѣдовалъ Байрону, нельзя сравнивать съ послѣднимъ. Герои Байрона дышатъ не воздухомъ, а пламенемъ, и душа, какъ адамантъ, несгораема среди пожара страстей; желѣзное сердце неприкосновенно ударамъ рока; любовь байроновская—или изступленіе, или развратъ; дружба его—роковая клятва самоотверженія, или союзъ разсчета; наслажденіе—истребленіе, гибель, опасности, или совершенное бездѣйствіе! Словомъ, у Байрона во всемъ крайности, которыя или «приводятъ душу въ ужасъ, или трогаютъ ее до глубины, или возбуждаютъ неизъяснимую холодность къ человѣчеству. У Пушкина же, наоборотъ, вовсе нѣтъ «сильныхъ, мрачныхъ, пламенныхъ, неукротимыхъ характеровъ». Если Байронъ вездѣ глубокомысленъ, то Пушкинъ, наоборотъ, во всемъ слишкомъ легокъ, даже въ предметахъ величайшей важности; онъ только прикасается къ предмету, а не углубляется въ него. Поэмы Пушкина суть великолѣпныя панорамы, «природа въ отдаленіяхъ»; въ этихъ видахъ много прекраснаго, но — «все показывается что-то неявственное». Таковы были оригинальныя мнѣнія критика.

Не менѣе оригинально было также мнѣніе Надеждина, который называлъ и «Кавказскаго Плѣнника», и «Бахчисарайскій Фонтанъ, и «Цыганъ», и «Братьевъ Разбойниковъ», и даже «Полтаву»—«пародіями», а самого Пушкина—«геніемъ на каррикатуры». Характеристической чертой «направленія поэта» критикъ считалъ «привычку зубоскалить»: вѣроломныя гримасы всегда, по его мнѣнію, прорываются украдкой у Пушкина во всѣхъ произведеніяхъ сквозь личину поддѣльной сановитости. Изъ подобнаго опредѣленія характера Пушкинскаго творчества вытекало, конечно, что Пушкинъ съ Байрономъ ничего общаго не имѣетъ, кромѣ развѣ внѣшней формы изложенія, которая никогда и нигдѣ не можетъ составить главнаго. Байронъ былъ геній, всегда вѣрный самому себѣ: и тогда, когда пытался «святотатски обнажить дѣвственныя таинства неба и земли», и тогда,

когда унижался «до постыднаго явленія площаднаго памфлетиста». Всѣ произведенія его проникнуты «мрачнымъ всененавидѣніемъ»; вездѣ тѣ же безотрадныя картины «сиротствующаго бытія, коего летаргическое усыпленіе взрывается буйными порывами бунтующей жизни». Если поэмы Пушкина пародіи, наполненныя зубоскальствомъ, то поэмы Байрона «запустѣвшія кладбища, на которыхъ плотоядные коршуны отбиваютъ съ остервенѣніемъ у шипящихъ змѣй полуистлѣвшіе черепы». Если Пушкинъ «не переросъ скудной мѣры человѣчества, душа его слишкомъ дружна съ земной жизнію», то, наоборотъ, для Байрона «міръ есть адъ». Поэма Байрона «пышетъ этой могильною сыростью, отъ которой кровь стынетъ въ жилахъ», герои Байрона какіе-то «дьяволы», поэмы же Пушкина—пародіи, а герои его всего-на-всего бѣсенята, даже въ самыхъ мрачнѣйшихъ произведеніяхъ его фантазіи, каковы: «Братья Разбойники» и «Цыганы». Если Пушкину случается негодовать на міръ, то это бываетъ и просто «съ сердцовъ», а не изъ ненависти. Лучшимъ доказательствомъ сказаннаго служитъ для критика новая поэма Пушкина, ибо «Мазепа» Байрона «разстилаетъ гигантскую тѣнь», а Мазепа Пушкина «есть ничто иное, какъ лицемѣрный, бездушный старичишка»!

У критика «Московскаго Телеграфа» были, повидимому, самыя благія намѣренія — доказать, что Пушкинъ въ «Полтавѣ» впервые явился самобытнымъ творцомъ, что «Полтава» первое истинно русское произведеніе. Но доказательства критика были настолько слабы, что въ его словахъ скорѣй замѣтно предчувствіе дѣла, «чѣмъ настоящее пониманіе его,—поэтому статья Кс. Полевого — только введеніе въ разборъ «Полтавы», а не самый разборъ: критикъ сталъ на очень вѣрную точку зрѣнія, — но доказать ее Полевому не удалось. Критикъ утверждаетъ, что нашъ вѣкъ требуетъ самобытности и что Пушкинъ поэтому явился выразителемъ своего времени, создавъ поэму, въ которой господствуетъ совершенно Шекспировское спокойствіе и живая игра страстей дѣйствующихъ лицъ и поэзію которой соста-

вляетъ «невидимая сила духа русскаго», оживляющая каждое положеніе, каждую рѣчь дѣйствующихъ лицъ. Критикъ говорилъ, что до появленія Полтавы событія изъ русской исторіи въ нашей поэзіи изображались «совершенно романтическимъ образомъ», то есть затемненныя восклицаніями, увеличеніями, небывалымъ геройствомъ, поддѣльными характерами, что Пушкинъ строго слѣдовалъ въ изображеніи характеровъ исторіи, развивъ безъ натяжекъ и «возведя къ идеалу» самое простое происшествіе. Въ новизнѣ красотъ новой поэмы критикъ совершенно справедливо видитъ и причину ея неуспѣха: русскіе читатели не были еще достаточно подготовлены къ пониманію своеобразныхъ красотъ «Полтавы», ибо съ поэмой у нихъ болѣе связывалось понятіе о страсти и живости сердца, да притомъ страсти романтической съ байроническимъ оттѣнкомъ. Глубоко вѣрно замѣчаніе Полевого, что успѣхъ «Полтавы» показалъ бы или малое измѣненіе въ поэзіи Пушкина, или высокое совершенство его читателей, чего, кажется, нельзя было и ожидать. Но что же въ сущности слѣдуетъ изъ разбора Полевого?

Всего-на-всего одна мысль, что Пушкинъ въ «Полтавѣ» явился впервые самобытнымъ творцомъ. Важно, конечно, и это замѣчаніе, ибо никто изъ писавшихъ о «Полтавѣ не замѣтилъ важной перемѣны въ настроеніи Пушкинского творчества; другіе критики, восхищаясь красотами поэмы, упрекали поэта въ искаженіи исторіи, находя въ этомъ причину неуспѣха, или просто глумились надъ поэмой, извиняя ее во всякихъ психологическихъ невѣроятностяхъ, въ неестественности, въ грубости выраженій и пр. Такова была критика «Сына Отечества» и «Вѣстника Европы». Критикъ «Сына Отечества», вѣрно замѣтилъ, что «общая занимательность гибнетъ въ подробностяхъ» и что разныя эпохи и дѣйствія, представленныя въ отрывкахъ, развлекаютъ вниманіе: они не сплочены такъ, чтобы составить одно цѣлое,—пускается якобы въ обличеніе Пушкина въ историческихъ искаженіяхъ.

По мнѣнію критика, Пушкинъ исказилъ почти всѣхъ историческихъ лицъ: 1) Кочубей не изъ любви къ отечеству пишетъ доносъ на Мазепу, а изъ мщенія за похищеніе своей дочери; Кочубей представленъ въ самомъ черномъ свѣтѣ, злобнымъ, мстительнымъ, вовсе чуждымъ дѣлъ отечественныхъ, претерпѣвающимъ пытку, чтобы не открыть сокровищъ, а между тѣмъ сознающимся въ небывалыхъ винахъ изъ одного страха. Все это несогласно съ исторіею. Обвиненія критика совершенно огульныя, ибо онъ нигдѣ не показываетъ—какимъ же должно являться то или другое изъ охуждаемыхъ имъ лицъ согласно съ исторической правдой. 2) Жена Кочубея представлена злобною и мстительною фуріею, а не нѣжной матерью. Здѣсь критикъ клевещетъ на Пушкина. 3) Въ поэмѣ не объяснено — отчего Искра «бросился въ пропасть доносовъ», конечно, только «не изъ любви къ отечеству и не изъ вѣрности престолу». 4) Мазепа жестоко обруганъ въ поэмѣ и изображенъ не честолюбцемъ, не хитрецомъ, не злодѣемъ, а «гнуснымъ» старикомъ и «злымъ дуракомъ», что тоже не согласно съ исторіей. 5) Марія, дочь Кочубея, «непостижимое существо». Отчего она, наивно спрашиваетъ критикъ, такъ сильно влюбилась въ сѣдого старца, презрѣла всѣхъ юношей, бѣжала изъ родительскаго дома и нѣжится съ дряхлымъ, больнымъ гетманомъ, какъ съ Адонисомъ? Критикъ никакъ не можетъ вѣрить, чтобы Марія влюбилась въ гнусного старика; по его мнѣнію, здѣсь скорѣе не любовь, а тщеславіе. 6) Въ изображеніи Карла «піитическая вольность» перешла окончательно черезъ край. Неужели можно говорить про Карла XII, что онъ мальчикъ бойкій и отважный, воинственный бродяга? «Помилуйте, Александръ Сергѣевичъ»! патетически восклицаетъ критикъ: «вѣдь самъ Петръ признавалъ планъ кампаніи Карла XII мудрымъ, вѣдь самъ авторъ въ предисловіи къ поэмѣ называетъ его умнѣе Наполеона, — можно ли послѣ этого называть его бойкимъ мальчикомъ, воинственнымъ бродягой? Если Мазепа считалъ его такимъ, зачѣмъ же соединилъ свою судьбу, судьбу своего

отечества съ прихотями безразсуднаго?» 7) Характера Петра Великаго нѣтъ въ поэмѣ, но есть прекрасный портретъ его. Скажемъ въ скобкахъ, что въ намѣреніе Пушкина совсѣмъ и не входило создавать характеръ Петра Великаго; слѣдовательно, отсутствіе этого характера нельзя ставить и въ вину поэту. Критикъ замѣчалъ, кромѣ того, что описаніе Полтавскаго боя невѣрно и что поэту, вѣроятно, никогда не приходилось быть зрителемъ сраженія; картина боя наполнена такими невѣроятностями, которыя «заглушаютъ всю прелесть поэзіи»: если кавалерія своя и непріятельская рубятся между собою, то ядра не могутъ между ними прыгать и разить, потому что въ толпу непріятеля, смѣшаннаго съ своими, стрѣлять не станутъ; ядра могутъ шипѣть въ крови, когда онѣ раскалены, но раскаленными ядрами въ полевыхъ сраженіяхъ не стрѣляютъ; точно также и скрежета въ битвахъ до сихъ поръ не слыхивали и пр. Въ конечныхъ своихъ выводахъ критикъ ставитъ «Полтаву» ниже «Цыганъ» и «Бахчисарайскаго Фонтана», основываясь главнымъ образомъ на томъ, что хотя всякое лицо въ поэмѣ имѣетъ свой характеръ, но все-таки не такой, какъ представляетъ намъ исторія, и слѣдовательно «историческія событія разногласятъ съ вымышленными характерами»; пружины, по мнѣнію критика, слишкомъ слабы для смѣлаго дѣйствія, поэтому мы видимъ огромную машину въ бездѣйствіи; исторія побѣждаетъ вымыселъ, и потому потеряна занимательность этого вымысла.

Максимовичъ написалъ въ «Атенеѣ» весьма дѣльныя возраженія на разборъ «Сына Отечества», обвинявшаго Пушкина въ искаженіи исторической правды. Онъ доказалъ, что характеры дѣйствующихъ лицъ въ поэмѣ Пушкина совершенно таковы, какими представляетъ ихъ исторія. Напрасно критикъ «Сына Отечества» пытается представить Мазепу патріотомъ: всѣ дѣйствія, наоборотъ, нисколько не показываютъ самоотверженной любви къ Малороссіи, а являютъ въ немъ хитраго, предпріимчиваго честолюбца и корыстника. Пушкинъ отлично понялъ это въ стихахъ:

«Кто снидетъ въ глубину морскую» и т. д.

до стиха:

«Что нѣтъ отчизны для него».

Портретъ Мазепы принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ поэмы; почти каждый стихъ можно подтвердить соотвѣтственными событіями. Мазепа, облагодѣтельствованный Самойловичемъ, написалъ на него доносъ изъ угоды Голицыну, у котораго Мазепа купилъ себѣ гетманство: когда же Голицынъ попалъ въ немилость, Мазепа не преминулъ донести о взяткахъ, которыя бралъ Голицынъ. Малороссія не любила Мазепу, онъ грабилъ ее и никогда не соблюдалъ ея выгодъ.—Вражда Кочубея къ Мазепѣ возникла еще болѣе чѣмъ за десять лѣтъ до заговора Мазепы, до похищенія Маріи-Матрены, и поэтому жажда мести въ Кочубеѣ была главнымъ побужденіемъ къ доносу. Слѣдовательно, Пушкинъ также правъ, представивъ въ Кочубеѣ оскорбленнаго отца, а не патріота. Любовь Маріи къ Мазепѣ есть также историческій фактъ, который можно пояснить самымъ характеромъ стараго гетмана, хотя, конечно, это явленіе необыкновенное. Образованный, краснорѣчивый, вкрадчивый и опытный въ дѣлахъ любви, Мазепа могъ привлечь сердце юной пламенной украинки, — могъ своими ласками привлечь къ себѣ, пробудить въ Маріи честолюбіе. Изъ писемъ Мазепы ясно видно, что Маріи не представлялось иной доли, кромѣ наложнической, и не было никакой надежды быть гетманшей. Слѣдовательно, одна только любовь могла заставить ее пренебречь всѣмъ, покинуть домъ отцовскій и отдаться Мазепѣ.

Максимовичъ защищаетъ также лицо Карла въ изображеніи Пушкина, совершенно основательно замѣчая, что Мазепа, а не самъ авторъ называетъ Карла «мальчикомъ бойкимъ» и пр. и притомъ въ такой моментъ, когда Карлъ это вполнѣ заслуживалъ. Въ самомъ дѣлѣ, наканунѣ рокового сраженія онъ поѣхалъ съ двумя своими гвардейцами на рекогносцировску нашего лагеря и былъ здѣсь раненъ, наскакавъ на нѣсколькихъ казаковъ. Такой поступокъ нельзя,

конечно, назвать иначе какъ хвастовствомъ или удальствомъ. Слова Мазепы покажутся еще болѣе естественными, если вспомнить, что онъ говоритъ ихъ Орлику въ злобѣ на свою неудачу, слагая всю вину ея на Карла, который въ свою очередь также обманулся, слишкомъ положась на помощь, которую обѣщалъ ему Мазепа и, сверхъ чаянія своего, не могъ доставить.

Какъ любопытный образецъ той удивительной критической слѣпоты, которая зачастую бываетъ въ отзывахъ современниковъ, можно представить статью о «Полтавѣ», принадлежащую перу Надеждина. На нашъ взглядъ это самая неудачная вещь критика. Если граціозная шутка Пушкина—«Графъ Нулинъ»—не могла найти пощады у строгаго судьи, то разборъ ея, во всякомъ случаѣ, былъ написанъ чрезвычайно живо и до сихъ поръ вызываетъ улыбку, если не остроуміемъ, то ловкой пародіей содержанія и стиховъ пьесы. Разборъ же, «Полтавы», который взволновалъ Пушкина, возражавшаго въ «Денницѣ» 1831 г. на многія обвиненія критика, являетъ собой поразительный образчикъ глубочайшаго безвкусія, площадного остроумія, безшабашнаго глумленія на ряду съ полнѣйшей бездоказательностью сужденій. Дѣйствіе этой критической статьи происходитъ въ косморамѣ, гдѣ мужичекъ показываетъ народу самые лучшіе фонтаны бахчисарайскіе, а фигуру критической мудрости представляетъ отставной корректоръ университетской типографіи, Пахомъ Силычъ Правдинъ. Разговаривающія лица *я* (самъ авторъ статьи), Флюгеровскій и незнакомецъ (Правдинъ), разсужденія котораго Надеждинъ считаетъ «голосомъ истины». Вотъ каковы сужденія этого «голоса истины». По его мнѣнію, «Полтава» есть настоящая Полтава для Пушкина, ибо здѣсь назначено было ему испытать судьбу Карла XII. Сѣверный Александръ, проигравъ полтавское сраженіе, пустился въ ребяческіе фарсы; Карлъ XII литературнаго міра послѣ «Полтавы» ударился въ язвительные стишонки и ругательства; народность «Полтавы» напоминаетъ народность Ивана Выжигина; поэмѣ совершенно невѣрно дано величественное имя

«Полтавы», ибо въ «этомъ поэтическомъ зданьицѣ» сама Полтава занимаетъ непримѣтный уголокъ; описаніе полтавскаго сраженія, вставленное въ третью пѣснь, «столь маловажно для цѣлаго ея состава, что при совершенномъ уничтоженіи онаго потеряла бы только толщина книжки (это, единственное замѣчаніе, имѣющее хотя микроскопическое зерно правды); лучше бы было назвать поэму Мазепой; вообще можно сказать только, по мнѣнію Правдина-незнакомца, что Пушкинъ «надорвался», ибо зарубилъ дерево не по себѣ, взялъ дѣло не по силамъ.

Доказательства этой истины, самъ голосъ ея приводитъ слѣдующія. Во-первыхъ, Мазепа напоминаетъ прекрасную статую, вылѣпленную изъ глины: такъ неудачно изображенъ «этотъ бездушный лицемѣрный старикашка, лишенный всякой литературной вѣрности, котораго и сравнивать нельзя съ Мазепой Байрона, съ этимъ «олицетвореннымъ идеаломъ бурной независимости, посмѣвающагося всѣмъ ударамъ и кознямъ враждебной жизни». Во-вторыхъ, Матрена Кочубей такъ же искажена въ характерѣ, какъ и въ имени. Ея любовь къ Мазепѣ, такъ же какъ и «раскаленная» любовь Мазепы къ Маріи и невозможность, и фарсъ, слѣдовательно, совершенно неестественна. Сумасшествіе Маріи возбуждаетъ сожалѣніе не объ ней, а о... поэтѣ, «визгъ ея непристоенъ: этакъ говорятъ только объ обваренныхъ собакахъ». Въ-третьихъ, что такое Кочубей?.. Не самообрекшаяся жертва вѣрности къ престолу и любви къ отечеству, а злобный, мстительный старикъ, затѣявшій доканать вѣроломнаго кума во что бы то ни стало и не умѣвшій скрасить послѣднихъ минутъ своихъ ни благородною твердостью невинности, ни всепрощающимъ смиреніемъ любви христіанской! Что такое Карлъ XII?.. Извольте слушать, цитуются стихи: «Онъ мальчикъ бойкій и отважный»—да «сломить ему свои рога!»—Что такое самъ Петръ Великій, Петръ?..

Онъ далъ бы грады родовые
И жизни лучшіе часы,
Чтобъ снова, какъ во дни былые,
Держать Мазепу за усы!

А!.. каковы портреты!.. Подумаешь, что дѣло идетъ о Фарлафѣ и Рогдаѣ!.. Подобные гротески... возбуждаютъ сожалѣніе!!!.. Въ-четвертыхъ, весь «поэтическій машинизмъ сей поэмы» объясняется только пострадавшими усами Мазепы. «Ай да усы! это былъ бы кладъ для покойнаго выворачивателя Энеиды на изнанку», прибавляетъ Пахомъ Силычъ; казнь Кочубея написана съ хладнокровнымъ самоуслажденіемъ, Карлъ неприлично, по-бурлацки, кричитъ надъ ухомъ гетмана: «..Ого! Пора! Вставай, Мазепа! Разсвѣтаетъ». Въ отношеніи къ наружной отдѣлкѣ, «Полтава» стоитъ ниже всѣхъ прежнихъ произведеній Пушкина: въ ней такое множество прозаическихъ и вялыхъ стиховъ, что не вѣрится: Пушкинъ ли писалъ ихъ? Напр.: какова покажется вамъ эта апофегма, коею Мазепа приправляетъ поэтическій монологъ:

Въ одну телѣгу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.

Льзя-ли вульгарнѣе выразиться о блаженномъ состояніи супружеской жизни?..» Критикъ не знаетъ, напр., что подумать «о подобныхъ эмфатическихъ фразахъ»:

Ты проклянешь и день, и часъ,
Когда ты дочь крестилъ у насъ,
И пиръ, на коемъ часто чашу
Тебѣ я полну наливалъ;
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршунъ, заклевалъ!

Что-то ужъ—не то слишкомъ малярно, не то слишкомъ морально!» и пр., и пр.

Такова была аргументація Надеждина, если только подобный критическій вздоръ можетъ быть названъ аргументаціей. Эта статья можетъ считаться въ своемъ родѣ chef-d'oeuvr'омъ; такихъ статей мы не видали со времени появленія «Руслана», когда столь же ожесточенно нападали на Пушкина Бутырскіе Классики; разница только въ томъ, что статьи Бутырскаго Жителя были бодрѣе, отважнѣе, рѣшительнѣе, побѣдоноснѣе; статьи же Надеждина походятъ на отчаянные вопли дряхлаго старца, котораго напирающія молодыя силы толкаютъ въ могилу; онѣ написаны словно въ какой-то судорожной агоніи.

ГЛАВА IX.

Значеніе «Евгенія Онѣгина» въ русской литературѣ.—Два лагеря критиковъ «Онѣгина».—Друзья поэта сошлись съ противниками «Онѣгина».—Библіографическій указатель статей объ «Онѣгинѣ».—Статья Полевого о первой главѣ «Онѣгина» и полемика его съ «Сыномъ Отечества» и «Вѣстникомъ Европы». — Рецензія о второй главѣ «Москов. Телеграфа», «Сѣверной Пчелы» и «Москов. Вѣстника» (замѣтка Веневитинова).—Отзывы о послѣдующихъ главахъ «Дамскаго Журнала», «Москов. Вѣстника», «Москов. Телеграфа», Атенея», «Сѣверн. Пчелы», «Сына Отечества» и др. журналовъ. — Охлажденіе критики къ послѣднимъ главамъ «Онѣгина».—Нападки «Сѣверн. Пчелы» и отвѣтъ Пушкина. — Статья Надеждина о седьмой главѣ «Онѣгина».

«Евгеній Онѣгинъ» — самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, ибо въ немъ отразилась со всею полнотою личность поэта, его чувства, понятія, идеалы—былъ первымъ національно-художественнымъ, истинно-русскимъ, въ высшей степени оригинальнымъ произведеніемъ. Вмѣстѣ съ современнымъ ему геніальнымъ твореніемъ Грибоѣдова—«Горе отъ Ума»,—стихотворный романъ Пушкина положилъ прочное основаніе новой русской поэзіи, новой русской литературѣ; оба они разошлись по лицу Россіи въ безчисленныхъ примѣненіяхъ къ ежедневнымъ случаямъ, сдѣлавшись родникомъ пословицъ и нравственныхъ сентенцій,—оба они были первыми образцами поэтическаго изображенія русской дѣйствительности,—они были школою, изъ которой вышли и Лермонтовъ, и Гоголь. Изъ всѣхъ произведеній Пушкина, «Евгеній Онѣгинъ» наиболѣе понятенъ иностранцамъ, которыхъ поражаютъ прелесть его развязки,

теплота его чувства и, особенно, мастерство и грація рисунка. Для русскихъ же онъ является драгоцѣннымъ достояніемъ литературы и какъ художественное произведеніе, и какъ картина нашихъ нравовъ, и какъ задушевная исповѣдь великаго поэта.

Велики заслуги Пушкина, что онъ вывелъ изъ моды и чудовищъ порока, и героевъ добродѣтели, рисуя вмѣсто нихъ просто людей, но еще выше та заслуга, что романъ явился актомъ сознанія для русскаго общества, ибо въ «Онѣгинѣ» Пушкинъ впервые поэтически воспроизвелъ главныхъ представителей тогдашней интеллигенціи на фонѣ бытовой дѣйствительности и русской природы. Въ этомъ огромное историческое и общественное значеніе «Онѣгина», поэтому-то его можно назвать энциклопедіей русской жизни и отсюда легко объяснить какъ восторженный пріемъ, оказанный ему публикой, такъ и огромное вліяніе на современную ему и послѣдующую русскую литературу. Онѣгинъ писался въ продолженіе девяти слишкомъ лѣтъ,—и потому самъ поэтъ росъ вмѣстѣ съ нимъ и каждая новая глава поэмы была интереснѣе и зрѣлѣе. Пушкинъ сберегъ въ «Онѣгинѣ» добрую часть своей собственной мысли, своего чувства и даже жизни,—поэтому долго еще послѣ окончанія романа Пушкина влекло къ нему противъ воли. Поэту какъ будто недоставало своего постояннаго труда, съ которымъ онъ сжился въ продолженіе столькихъ лѣтъ. Онъ жалѣлъ о романѣ и скучалъ по немъ, побѣдивъ не безъ усилій тайную склонность къ любимому труду.

Журналисты при появленіи въ 1825 году первой главы «Онѣгина» раздѣлились на два лагеря: одни утверждали за романомъ значеніе произведенія національнаго, другіе относили всю первую главу къ чистому подражанію. Друзья поэта въ оцѣнкѣ сошлись съ его противниками, находя содержаніе романа едва достойнымъ поэтическаго дарованія. Первая глава казалась друзьямъ поэта ошибкой геніальнаго человѣка, увлеченнаго чтеніемъ Байрона и мастерски подражавшаго его Донъ-Жуану. Пушкинъ, удивленный и огор-

ченный, что друзья не замѣтили въ «Онѣгинѣ» поворота на встрѣчу русской жизни, остановившись только на внѣшней формѣ, принялся съ жаромъ толковать имъ, что между «Онѣгинымъ» и «Донъ-Жуаномъ» нѣтъ ничего общаго, что первая глава есть не болѣе какъ вступленіе, которымъ онъ остался доволенъ, что слѣдуетъ ожидать слѣдующихъ главъ. Друзья же продолжали упрекать «Онѣгина» даже въ пошлости и въ прозаизмѣ содержанія. Они упорно держались мнѣнія, что новый романъ ниже и «Кавказскаго Плѣнника», и «Бахчисарайскаго Фонтана», и готовы были, какъ сами утверждали, отстаивать свое мнѣніе хоть до свѣтопреставленія. Съ недовѣрчивостью смотрѣли они на шутливый тонъ романа и на разлитую въ немъ веселость, въ которой не примѣчали ни малѣйшей сатиры. По этому поводу писались длинныя письма, въ которыхъ Пушкинъ защищался съ жаромъ. «Бестужевъ пишетъ мнѣ много объ «Онѣгинѣ». Скажи ему, что онъ не правъ», такъ писалъ въ 1825 году Пушкинъ къ К. Ѳ. Рылѣеву [1]). «Ужели хотятъ изгнать,—продолжаетъ поэтъ,—все легкое и веселое изъ области поэзіи? Слѣдственно должно будетъ уничтожить и Orlando furioso, и Гудибраза, и Pucelle, и Веръ-Вера, и Рейнеке-Фукса, и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова, и пр., и пр. Это немного строго. Картина свѣтской жизни также немного входитъ въ область поэзіи». — Почитателей Пушкина затрудняло отсутствіе всякой торжественности въ романѣ или вдохновенія, какъ говорили они. Въ немъ они видѣли одну побѣду искусства и споръ перешелъ къ вопросу: что выше—вдохновеніе или искусство? [2]).

Такимъ образомъ, Пушкинъ, поддерживаемый друзьями раньше во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, о которыхъ они писали критическія статьи, изъ-за которыхъ вели подчасъ горячую полемику, при созданіи «Онѣгина» очутился совсѣмъ одинокимъ въ близкомъ кругу друзей, которые приняли пер-

---

[1]) Т. VII, стр. 106, № 44.

[2]) Анненковъ, Матеріалы, стр. 120.

вый русскій реальный романъ за простую поддѣлку подъ иностранный образецъ. Такова была сила привычки къ исковерканнымъ французскимъ характерамъ, прикрывавшимся русскими именами, настолько еще была живуча ложная манера изображенія русской дѣйствительности. Пушкину предстояло, развивъ вообще эстетическій вкусъ общества, воспитать также интересъ къ реальному изображенію русской жизни и пробудить чувство народности и самосознанія въ оторванномъ отъ народа русскомъ обществѣ. Онъ исполнилъ это провидѣнціальное назначеніе, какъ истинный поэтическій мессія.

Первая глава «Онѣгина» была напечатана съ слѣдующимъ предисловіемъ, представляющимъ какъ бы сжатый критическій отзывъ о ней самого поэта и предчувствіе журнальныхъ отзывовъ о ней: «...Первая глава представляетъ нѣчто цѣлое. Она въ себѣ заключаетъ описаніе свѣтской жизни петербургскаго молодого человѣка въ концѣ 1819 года и напоминаетъ Беппо, шуточное произведеніе мрачнаго Байрона. — Дальновидные критики замѣтятъ, конечно, недостатокъ плана. Всякій вправѣ судить о планѣ цѣлаго романа, прочитавъ первую главу онаго. Станутъ осуждать и антипоэтическій характеръ главнаго лица, сбивающагося на Кавказскаго Плѣнника, также нѣкоторыя строфы, написанныя въ утомительномъ родѣ новѣйшихъ элегій, «въ коихъ чувство уныніе поглотило всѣ прочія». Но да будетъ намъ позволено обратить вниманіе читателей на достоинства, рѣдкія въ сатирическомъ писателѣ: отсутствіе оскорбительной личности и наблюденіе строгой благопристойности въ шуточномъ описаніи нравовъ». Послѣ этого предисловія былъ напечатанъ «Разговоръ Книгопродавца съ поэтомъ».

Критическія статьи и рецензіи по поводу первой главы явились въ «Московскомъ Телеграфѣ» 1825 г., № 5; «Сынѣ Отечества», № 8 (разборъ предыдущей статьи, написанной Д. В. Веневитиновымъ, см. его Сочин., изд. 1862 г., стр. 198), «Московск. Телеграфѣ» № 15, особ. прибавленіе (отвѣтъ Полевого Веневитинову); въ «Сынѣ Отеч.» ч. 104, приб. № 1 (Отвѣтъ Веневитинова Полевому); «Вѣстн. Европы» № 7 (нѣчто о спорѣ по поводу Онѣгина); «Моск. Телегр.», ч. 6, особ. прибавл. № 23 (замѣчанія на «Вѣстникъ Европы»). Кромѣ того въ «Благонамѣренномъ» № 29, «Дамскомъ Журналѣ» № 9, «Сѣверн. Пчелѣ» № 23.—Рецензіи о второй главѣ см. въ «Сѣверн. Пчелѣ» № 132 и замѣтку Веневитинова въ «Моск. Вѣстн.» 1828 г., № 4 (Соч., 225). О третьей главѣ появились рецензіи въ «Моск. Телеграфѣ» 1827 г., № 10. «Дамск. Журналѣ» № 21; «Сынѣ Отеч.» № 19 и «Сѣверн. Пчелѣ» № 124. Четвертая и пятая главы вышли вмѣстѣ; о нихъ рецензіи: «Атеней» 1824 г., №4, «Спб. Зритель», №1 (Б. Федорова), «Сѣверн. Пчела», № 15, «Сынъ Отеч.» № 7. См. замѣтки Пушкина въ V томѣ,

стр. 126.—О шестой главѣ рецензіи: въ «Сынѣ Отечества» № 7; «Моск. Телеграфѣ» 1828 г. № 5, «Сѣверн. Пчелѣ» № 40. Замѣтка Пушкина въ V т., стр. 128.—Седьмая глава вызвала рецензіи: «Вѣстн. Евр.» 1830 г. № 7. (Ст. Надеждина въ защиту Пушкина отъ нелѣпыхъ нападеній со стороны его льстецовъ); «Галатея» № 15; «Дамск. Журн.» № 20); «Литерат. Газета» № 17; «Моск. Телегр.» ч. XXXII, стр. 238 «Русск. Инвалидъ» № 79; «Сѣверн. Пчела» №№ 35 и 39. Замѣтка Пушкина тамъ же.—Восьмая глава вышла въ 1832 г. Рецензіи: «Дамск. Журн.» №№ 10 и 11; «Литер. прибавл.» къ «Русск. Инвалиду» № 22; «Моск. Телегр.» № 1; «Телескопъ» № 9; «Рус. Инвал.» № 24; «Сѣвер. Пч.» № 30. Въ цѣломъ видѣ романъ напечатанъ въ Спб. въ 1833 году. Рецензіи на это изданіе въ «Моск. Телегр.», ч. I, стр. 237 и «Литер. приб.» къ «Русскому Инвалиду» № 34. О третьемъ изданіи, вышедшемъ 1837 г. въ самый день смерти поэта, съ посвященіемъ Плетневу въ началѣ книжки,—небольшая библіографическая замѣтка въ «Литер. Прибавл.» къ «Русск. Инвал.» № 35.

Если первыя главы «Онѣгина» вызывали похвалы генію поэта, мастерству отдѣльныхъ картинъ, созданію тѣхъ или другихъ характеровъ, причемъ свои восклицанія критики обыкновенно оправдывали выписками чуть ли не по цѣлымъ пѣснямъ, то съ четвертой и пятой пѣсни начали появляться непріязненныя статьи, но еще скромныя и робкія, нападающія больше на филологическіе недостатки романа; при появленіи же седьмой и восьмой пѣсни, многіе изъ прежнихъ восторженныхъ хвалителей начали совершенно развязно утверждать, что въ «Онѣгинѣ» нѣтъ никакой идеи, что это просто собраніе отдѣльныхъ замѣтокъ и мыслей о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ, вставленныхъ въ одну раму, что романъ не болѣе какъ рядъ картинъ, а «Сѣверная Пчела», напр., при появленіи седьмой главы торжественно объявила совершенное паденіе таланта творца «Руслана», говоря, что Пушкинъ отжилъ, находя новую главу не болѣе какъ пустословіемъ, предметы описаній низкими, стихи—прозаическими и непонятно модными и пр. Многіе изъ журнальныхъ критиковъ находили, что въ «Онѣгинѣ» нѣтъ никакого содержанія, ибо романъ ничѣмъ не кончается, ибо въ концѣ нѣтъ ни свадьбы, ни смерти отъ чахотки или кинжала, ни похоронъ. Нѣкоторые объявляли, что въ романѣ совсѣмъ нѣтъ никакихъ характеровъ, нѣтъ даже дѣйствія, что только «легко-

мысленная любовь Татьяны» нѣсколько оживляетъ его и что оттого всѣ главы «сбиваются на описанія». Почти всѣ хвалили Татьяну и порицали Онѣгина; почти всѣ говорили, что онъ изображенъ неясно, называли его то подражаніемъ Донъ-Жуану, то Чайльдъ-Гарольду, вызовъ Ленскаго считали несообразностью; одни восхищались сномъ Татьяны, другіе утверждали, что такого систематически-уродливаго сна видѣть невозможно и пр., и пр. Словомъ, начиная съ четвертой и пятой пѣсни критика объ «Онѣгинѣ» превратилась въ пеструю смѣсь толковъ, которые заставляютъ убѣдиться въ томъ, что ни одно произведеніе Пушкина не было оцѣнено при своемъ появленіи такъ близоруко, такъ слабо и въ концѣ концовъ такъ пристрастно-несправедливо.

Появленіе перваго русскаго бытоваго романа застигло всю критику врасплохъ. Она не нашлась ничего сказать дѣльнаго ни о характерѣ дѣйствующихъ лицъ, отдѣлываясь лишь общими фразами, не могла объяснить ни общаго современнаго значенія романа, ни значенія художественнаго и общественнаго. Всѣ толки, похвальные и порицательные, вертятся около вопросовъ эстетическихъ. Но замѣчательно, что и съ художественной точки зрѣнія современная критика сказала слишкомъ мало, ибо для сужденій съ этой точка зрѣнія у нея не было общихъ художественно-философскихъ критеріевъ. Все основывалось на личномъ вкусѣ критиковъ, и большая или меньшая дѣльность сужденій зависѣла только отъ степени природной даровитости критика, природнаго чутья, такъ или иначе развитого, хотя и совершенно безсистемно. — Такова, напр., единственная сносная статья о первой главѣ «Онѣгина», написанная Полевымъ. Въ ней, какъ и во всемъ, что писалъ Полевой, болѣе предчувствія истины, болѣе вѣрныхъ намековъ на истинную оцѣнку, чѣмъ настоящаго критическаго анализа, котораго вообще не было въ дѣтской критикѣ того времени. Мы передадимъ сжато содержаніе этой статьи въ тѣхъ видахъ, чтобъ было понятно дальнѣйшее изложеніе возгорѣвшейся изъ-за нея полемики.

Для того, чтобы предупредить вопросы привязчивыхъ ари-

старховъ, требующихъ непремѣнно подведенія того или другого произведенія подъ извѣстный параграфъ піитики, Полевой опредѣляетъ новое твореніе Пушкина романомъ въ стихахъ, въ которомъ поэтому дозволяется раздѣленіе на главы и который писался на основаніи правилъ самаго творческаго воображенія. Таковы же поэмы Гёте и Байрона, Фаустъ, Донъ-Жуанъ и Беппо, которому Пушкинъ, если угодно, подражалъ въ формѣ. Предоставляя «холодному разсудку пріискивать на досугѣ», почему романъ, написанный не по извѣстнымъ правиламъ, хорошъ, Полевой удерживаетъ за собой право наслаждаться торжествомъ ума человѣческаго. Точнѣе опредѣляя родъ, къ которому можетъ быть отнесенъ «Онѣгинъ», Полевой говоритъ, что «поэму можно назвать литературнымъ «capriccio», перенося это понятіе въ литературу изъ музыки. Таковы Донъ-Жуанъ и Беппо Байрона, таковъ и Онѣгинъ Пушкина. Поэма Пушкина, по мнѣнію Полевого, не имѣетъ сносныхъ русскихъ предшественницъ, ибо «шуточныя поэмы нашихъ стихотворцевъ сбивались въ плоскости, шутки ихъ оскорбляли благопристойность, улыбка походила на хохотъ тѣхъ героевъ, которыхъ они описывали, какъ-то: трактирщиковъ, карточныхъ игроковъ или пьяницъ»! Байронъ далъ новый образецъ шутливой поэмы, а Пушкинъ первый пересадилъ ее на русскую почву. Въ этихъ поэмахъ Байронъ среди самыхъ шутливыхъ описаній рѣзкимъ стансомъ обнаруживаетъ сердце человѣка; веселость въ нихъ сливается съ унылостью, улыбка съ насмѣшкою. Прелесть поэмы Пушкина Полевой находилъ въ томъ, что поэтъ «не кривляется, надувая эпическую трубу, не пародируетъ эпопей», а, выбравъ себѣ героя «изъ высшаго званія общества», только рисуетъ съ неподражаемымъ искусствомъ «различныя положенія и отношенія» его къ окружающимъ предметамъ, переходя изъ забавнаго въ унылое, изъ веселаго въ грустное, изъ сатиры въ разсказъ сердца. Онѣгина критикъ понималъ очень просто, говоря, что герой Пушкина «шалунъ съ умомъ, вѣтренникъ съ сердцемъ—онъ знакомъ намъ, мы любимъ его». Полевой называлъ произведеніе Пушкина націо-

нальнымъ, потому что поэтъ описалъ въ немъ современные нравы и потому что въ немъ «мы видимъ свое, слышимъ свои родныя поговорки, смотримъ на свои причуды, которыхъ всѣ мы не чужды были нѣкогда». Находя, что содержаніе первой главы «Онѣгина»—рядъ картинъ чудной красоты, разнообразныхъ, всегда прелестныхъ, живыхъ и что герой романа есть только связь описаній, критикъ защищаетъ поэму отъ нападокъ въ подражательности, ибо сходство Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ весьма отдаленно и характеръ героя, его положенія и картины—все принадлежитъ Пушкину, нося явную печать подлинности, а не передѣлки.

Критикъ «Сына Отечества», полемизировавшій съ Полевымъ, подозрѣвая его въ искательствѣ передъ Пушкинымъ и этимъ объясняя его похвальный отзывъ (замѣтимъ, что этотъ совсѣмъ не критическій пріемъ процвѣталъ во всей силѣ въ изданіяхъ Греча и Булгарина), расходился съ противникомъ по всѣмъ пунктамъ. Опуская мелкія придирки къ выраженіямъ, скажемъ о возраженіи по существу. Возражая Полевому и искажая его мысли (напр., Полевой и не думалъ сравнивать Пушкина съ Байрономъ), критикъ говоритъ, что два эти поэта несравнимыя величины, ибо «всѣ произведенія Байрона носятъ отпечатокъ одной глубокой мысли — мысли о человѣкѣ, въ отношеніи къ окружающей природѣ, въ борьбѣ съ самимъ собою, съ предразсудками, врѣзавшимися въ его сердце, въ противорѣчіи съ своими чувствами». Критикъ относилъ всю первую главу къ чистому подражанію и притомъ съ оговоркой, которая вообще ставила неизмѣримое пространство между способомъ выражать свои мысли у оригинала и у подражателя его. «Цѣль Байрона, говоритъ критикъ съ ироніей, не разсказъ, характеръ героевъ его—не связь описаній, онъ описываетъ предметы не для предметовъ самихъ, не для того, чтобы представить рядъ картинъ, но съ намѣреніемъ выразить впечатлѣнія ихъ на лицо, выставленное имъ на сцену. Мысль истинно поэтическая, творческая». Слѣдовательно, у Пушкина такой творческой мысли не находится; его «Разговоръ» заключаетъ

болѣе «истиннаго піитизма», чѣмъ «Онѣгинъ», въ которомъ только и есть, что искусныя описанія, остроумно-игривые стихи, да очаровательная красота выраженій. Въ «Онѣгинѣ» совсѣмъ нѣтъ той хваленой національности, о которой говоритъ Полевой: «приписывать Пушкину лишнее,—значитъ отнимать у него то, что истинно ему принадлежитъ. Въ «Русланѣ и Людмилѣ» онъ доказалъ намъ, что можетъ быть поэтомъ національнымъ». Въ «Онѣгинѣ» же, «кромѣ именъ петербургскихъ улицъ и ресторацій» ничего народнаго проницательный критикъ «Сына Отечества» не нашелъ. «И во Франціи, и въ Англіи,—замѣчаетъ тонкій знатокъ народности,—пробки хлопаютъ въ потолокъ, охотники ѣздятъ въ театры и на балы», — развѣ можно на основаніи «хлопающихъ пробокъ» называть произведеніе національнымъ?

Свою главную мысль о народности первой главы «Онѣгина» Полевой съумѣлъ хорошо защитить, отвѣчая на всѣ остальныя возраженія какъ-то уклончиво и сбивчиво и отразивъ только замѣчанія дѣйствительно клеветническія, въ родѣ подозрѣній въ искательствѣ у Пушкина или въ сравненіи Пушкина съ Байрономъ. Критикъ «Сына Отечества» явился вполнѣ типическимъ представителемъ той массы мелкихъ критиковъ, самобытныхъ мыслителей, которые народность смѣшивали съ простонародностью, считая непремѣнными аттрибутами первой зипунъ, лапти, сивуху и кислую капусту. Подобные мыслители называли народнымъ произведеніемъ «Руслана» потому, что въ немъ поэтъ воспроизвелъ кое-что изъ русскихъ народныхъ сказокъ; еще скорѣе они назовутъ народнымъ произведеніемъ всякую пьесу, въ которой дѣйствующія лица мужики и бабы, бородатые купцы и мѣщане, пересыпающіе свой незатѣйливый разговоръ русскими пословицами и поговорками; но никогда, конечно, такіе критики не могли назвать народнымъ «Онѣгина», потому что дѣйствующія лица взяты изъ образованнаго класса. Они не могли понять, что тотъ только писатель можетъ быть названъ народнымъ, который при изображеніи и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій «разгадываетъ тайну на-

родной психеи». Съ этой точки зрѣнія и возражалъ Полевой критику «Сына Отечества», хотя, опять-таки повторимъ, у него выражалось предчувствіе истины, а не выработанные взгляды. Онъ вѣрно замѣчаетъ, что его противникъ полагаетъ «народность русскую въ русскихъ черевикахъ, лаптяхъ и бородахъ» и что онъ тогда назвалъ бы «Онѣгина» народнымъ, когда на сценѣ явился бы русскій мужикъ съ русскими поговорками, побасенками и пр.; онъ также справедливо говоритъ, что «народность бываетъ не въ одномъ низшемъ классѣ». Выводовъ же отсюда сдѣлать никакихъ не можетъ,—не можетъ отвѣтить противнику—какое произведеніе должно назваться истинно народнымъ? Это удалось сдѣлать только послѣдующимъ поколѣніямъ въ лицѣ талантливыхъ представителей славянофильства и въ лицѣ Бѣлинскаго почти чрезъ двадцать лѣтъ послѣ спора о народности, возникшаго по поводу первой главы «Онѣгина».

Мы не будемъ разбирать дальнѣйшей полемики по поводу первой статьи Полеваго и отвѣта на нее «Сына Отечества». Г. И. Р.—инъ, приславшій письмо къ редактору «Вѣстника Европы»[1]) подъ заглавіемъ: «нѣчто о спорѣ по поводу «Онѣгина» предметомъ своихъ разсужденій имѣетъ дѣйствительно «нѣчто» постороннее, какъ-то: вопросъ о романтической поэзіи, навѣрно понятый Полевымъ, опредѣленіе Байроновской поэзіи и воззрѣній на него Полеваго, защиту «Модной жены» отъ названія сказкой и пр., лишь вскользь при этомъ высказывая свое сомнѣніе, чтобы «картина дурнаго воспитанія Онѣгина вѣрно изображала русскій характеръ и слѣдовательно имѣла народность». Не будемъ также разбирать и отвѣта на это письмо, помѣщеннаго въ «Московскомъ Телеграфѣ», ибо если этотъ отвѣтъ къ объясненію «Онѣгина» не прибавляетъ ни одной новой черты, то столь же мало интересенъ онъ и для характеристики какъ для общихъ воззрѣній Полеваго, такъ и для характера полемики. Минуя эти статьи, мы переходимъ къ изложенію

[1]) 1825 г., ч. 144, № 17.

критическихъ мнѣній о послѣдующихъ пѣсняхъ и о всемъ романѣ вообще.

Горячо поспоривъ за первую главу «Онѣгина» съ «Сыномъ Отечества» и «Вѣстникомъ Европы», Полевой, какъ будто считая оцѣнку новаго романа совершенно покончeнной, при выходѣ каждой новой главы ограничивается только пересказомъ содержанія, огромными цитатами, изрѣдка сопровождая ихъ легкими критическими замѣчаніями или лаконическими насмѣшками по адресу противниковъ поэта. Только въ 1833 году, при выходѣ послѣдней, восьмой, главы, Полевой опять написалъ защитительную статью объ «Онѣгинѣ», подводя въ ней итоги всему роману. Но эта статья, какъ мы увидимъ ниже, желая быть хвалебной, вышла совершенно отрицательной и обнаружила критическую несостоятельность писавшаго ее. Видимо, что Полевому было не подъ силу оцѣнить значеніе всего романа; онъ даже забылъ то, что говорилъ раньше, привѣтствуя въ первой главѣ «Онѣгина» народное произведеніе; теперь онъ считаетъ «Онѣгина» какимъ-то пестрымъ калейдоскопомъ быстро смѣняющихся картинъ, въ которыхъ нѣтъ никакой общей мысли. Если Полевой перемѣнилъ роль литературнаго вождя на скромную и сѣрую должность рядового библіографа, — на смѣну его появлялись критики, то «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества», то «Московскаго Вѣстника», «Атенея» и «Спб. Зрителя», то наконецъ позднѣе «Вѣстника Европы» и «Телескопа» въ лицѣ Надеждина.

Вторая глава вызвала только двѣ рецензіи, не считая библіографическаго отзыва «Московскаго Телеграфа». «Сѣверная Пчела», устами Ѳ. Булгарина, говорила, что до сихъ поръ неочертанный характеръ «молодаго повѣсы», скрытый въ первой главѣ въ блестящихъ подробностяхъ, какъ «актеръ богатыми декораціями», во второй главѣ, все еще не законченной, рисуется яснѣе, ибо, по мнѣнію Булгарина, «Онѣгинъ принадлежитъ къ числу людей, какихъ встрѣчаемъ дюжинами на всѣхъ большихъ улицахъ и во всѣхъ французскихъ ресторацiяхъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ

критикъ чистосердечно признается, что его мучило любопытство, кто таковъ будетъ Онѣгинъ, и что онъ, Булгаринъ, долго теряясь въ догадкахъ, наконецъ остановился на Чайльдъ-Гарольдѣ Байрона, съ которымъ Онѣгинъ имѣетъ до сихъ поръ поразительное сходство. Кто такой Чайльдъ-Гарольдъ, каковъ онъ? Чайльдъ-Гарольдъ, отвѣчаетъ критикъ, «молодой повѣса», который, наскучивъ развратомъ, удалился изъ отечества и странствуетъ, нося съ собой грусть, пресыщеніе и ненависть къ людямъ. Чѣмъ же Онѣгинъ похожъ на Гарольда? Тѣмъ, отвѣчаетъ критикъ, что, такъ же промотавъ имѣніе «самымъ неприличнымъ образомъ, возненавидѣлъ людей безъ всякой причины и удалился въ деревню: что будетъ далѣе,—увидимъ». Но при появленіи послѣдующихъ главъ критикъ повидимому образумился, не повелъ своего сравненія далѣе, вѣроятно понявъ, что Чайльдъ-Гарольдовъ не встрѣтишь дюжинами «на всѣхъ большихъ улицахъ и во всѣхъ французскихъ ресторацiяхъ». Натянутость сближенія была слишкомъ очевидна, чтобы быть продолженной и развитой въ подробностяхъ при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи обоихъ характеровъ.

Это было замѣчено молодымъ талантливымъ поэтомъ Д. В. Веневитиновымъ, который въ своей коротенькой лаконической замѣткѣ, помѣщенной въ «Московскомъ Вѣстникѣ» только въ 1828 году, въ общихъ чертахъ набросалъ портретъ Онѣгина, всецѣло принадлежащаго, по мнѣнію молодого критика, Пушкину. Этотъ портретъ, заключая много вѣрно подмѣченныхъ чертъ, въ сущности одностороненъ и сильно страдаетъ психологической необоснованностью. Веневитиновъ говоритъ, что «Онѣгинъ уже испытанъ жизнію, но опытъ поселилъ въ немъ не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду, а скуку, наружное безстрастіе, свойственное русской холодности (мы не говоримъ русской лѣни). Для такого характера все рѣшаютъ обстоятельства. Если они пробудятъ въ Онѣгинѣ сильныя чувства, мы не удивимся; онъ способенъ быть минутнымъ энтузіастомъ и повиноваться порывамъ души. Если жизнь его будетъ безъ

приключеній, онъ проживетъ спокойно, разсуждая умно, а дѣйствуя лѣниво». Такимъ образомъ, по толкованію Веневитинова, Онѣгинъ выходилъ какимъ-то совершенно безхарактернымъ, соннымъ, холоднымъ и вялымъ флегматикомъ. Конечно, это только десятая доля психологической правды, которую замѣтилъ критикъ; но важна и такая характеристика, потому что въ большинствѣ отзывовъ не было никакой или бывали на подобіе Булгаринскихъ. Пониманіе характера Онѣгина давалось критикомъ, такъ сказать, по частямъ, а большинству и совсѣмъ не давалось. Даже Бѣлинскій—и тотъ не можетъ похвастать образцово-вѣрнымъ разборомъ: если современная критика односторонне порицала Онѣгина, то Бѣлинскій такъ же односторонне хвалилъ его, закрывая глаза на всѣ его недостатки и оправдывая Онѣгина во всѣхъ поступкахъ.

Третья глава вызвала коротенькія хвалебныя рецензіи, въ которыхъ говорилось, что она, «конечно, уступитъ двумъ предшествовавшимъ въ богатствѣ и разнообразіи картинъ, но за то болѣе нравится сердцу и придаетъ занимательность цѣлому», что стихи въ письмѣ Татьяны и въ ночномъ ея разговорѣ съ нянею «жгутъ страницы» [1]), что характеръ Онѣгина развитъ лучше, что Татьяна «такъ мила, такъ чиста, съ такою дѣтскою невинностью сама падаетъ въ его сѣти (т. е. Онѣгина), что онъ не можетъ избѣгнуть вовсе отъ нѣкорыхъ впечатлѣній, хотя и таитъ ихъ» [2]), что Татьяна, дѣвушка, одаренная необыкновенною, сильною душою, дѣвушка, у которой всю исторію составляетъ любовь» [3]). «Дамскій Журналъ», спеціально посвященный прославленію «піитической половины рода человѣческаго», которая занимается единственно «грамматикою поэзіи и чувства», — попенявшій Пушкину въ рецензіи о первой главѣ, что онъ несправедливо нападаетъ на женщинъ, въ

[1]) «Сѣверная Пчела»; 1827 г., № 124.
[2]) «Сынъ Отечества», 1827 г., ч. 115, № 19.
[3]) «Московскій Телеграфъ», 1827 г., ч. 17, № 19.

отзывѣ о третьей главѣ удивляется—откуда Пушкинъ могъ пріобрѣсть «такое опытное познаніе сердца человѣческаго»? Въ своемъ удивленіи кн. Шаликовъ не знаетъ предѣловъ восторгу, поминутно восклицая: «Вотъ тайна поэта и поэзіи! Такова живопись эпитетовъ!.. Какая точность!.. Нѣтъ! Поэтъ не разсказываетъ: онъ видѣлъ свой идеалъ и указываетъ его другимъ (рѣчь идетъ о Татьянѣ), которые смотрятъ на него и забываютъ о поэтѣ!.. Счастливое забвеніе! Оно ручается за память потомства!» и пр. и пр. Отчего же кн. Шаликовъ только восторженно восклицаетъ? При разборѣ первой главы онъ наивно отстраняетъ отъ себя трудное дѣло критической оцѣнки подъ тѣмъ благовиднымъ предлогомъ, что «всѣ уже судятъ и рядятъ объ Евгеніи Онѣгинѣ; и слѣдовательно ничего уже не остается сказать журналисту, котораго, впрочемъ, мнѣніе не законъ», при разборѣ же третьей главы онъ не менѣе глубокомысленно заявляетъ, что «не о стихахъ Пушкина говорить должно; даже не о мысляхъ, которыя собственно принадлежатъ прозѣ; но о томъ, что существенно составляетъ поэзію, и чему нельзя довольно надивиться въ поэтѣ». Послѣ такихъ откровенныхъ признаній, конечно, нельзя и спрашивать съ недальновиднаго критика: кому мало дано, съ того мало и спросится.

Закончимъ разборъ рецензіи о третьей главѣ отзывомъ Обозрѣвателя русской словесности за 1827 годъ [1]), который замѣчаетъ, что въ третьей главѣ Онѣгина «свободный и мужающій «поэтъ совершенно отклоняетъ отъ себя постороннее вліяніе», что въ этой главѣ поэтъ подарилъ насъ характеромъ Татьяны собственнаго созданія, которая превосходитъ по отчетливости обрисовки и Черкешенку, и Марію, и Зарему, ибо поэтъ, видя всѣ эти женскіе образы «въ какомъ-то туманѣ», на Татьяну смотрѣлъ «съ открытыми вѣждами», замѣчая въ ней каждое чувство въ постепенномъ его развитіи, каждое движеніе. Объ Онѣгинѣ не

[1]) «Московскій Вѣстникъ» 1828 г., ч. VII, № 1.

сказано ни слова. Онѣгина тотъ же журналъ разбираетъ въ статьѣ подъ заглавіемъ: «Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина», о которой мы уже имѣли случай говорить, излагая отношенія критики къ «Цыганамъ».

Критикъ «Московскаго Вѣстника» о первыхъ главахъ «Онѣгина» вполнѣ раздѣляетъ мнѣніе Булгарина, хотя нужно сознаться, что онъ понимаетъ эти характеры гораздо глубже. Онъ говоритъ, что въ нихъ «образъ» изложенія Донъ-Жуана и Беппо, а характеръ героя однороденъ съ Чайльдъ-Гарольдомъ. При пересадѣ Чайльдъ-Гарольда на русскую почву онъ въ лицѣ Онѣгина, по мнѣнію критика, одни качества сохранилъ, а другія утратилъ. Чайльдъ-Гарольдъ существо необыкновенное, высокое; преизбытокъ внутреннихъ силъ дѣлаетъ его холоднымъ къ окружающему міру,—безсмертная мысль, живущая въ его сердцѣ, поглощаетъ все бытіе его, отравляетъ всѣ наслажденія. Страданія, мечты, наслажденія Чайльдъ-Гарольда непонятны для другихъ: только «высокія горы да голые утесы говорятъ ему отвѣтныя тайны, ему одному слышныя». Онѣгинъ же существо совершенно пустое, ничтожное и обыкновенное. Онъ презираетъ человѣчество отъ того, что не умѣетъ уважать его; онъ равнодушенъ ко всему окружающему потому, что неспособность любить сдѣлала его холоднымъ; молодость свою онъ также провелъ въ вихрѣ забавъ и разсѣяніи, но не «въ кипѣніи страстной, ненасытной души», а на паркетѣ, такъ же пусто и холодно, какъ всякій модный франтъ; Онѣгинъ бросилъ свѣтъ и людей потому, что вездѣ ему было равно скучно. Въ такомъ характерѣ нѣтъ никакой поэзіи, и честь поэту, что онъ представилъ не настоящаго разочарованнаго Чайльдъ-Гарольда, ибо настоящему у насъ дѣлать нечего.

Съ послѣднимъ мнѣніемъ критика можно вполнѣ согласиться: дѣйствительно, Гарольдамъ у насъ дѣлать совершенно нечего, да и самъ Онѣгинъ не представляетъ ничего однороднаго съ нимъ. Это очень хорошо показано критикомъ, и остается только удивляться, подъ вліяніемъ какого наитія критикъ сталъ утверждать односторонность двухъ

характеровъ, которая при дальнѣйшемъ разборѣ исчезаетъ безъ слѣда. Булгаринъ былъ все-таки послѣдовательнѣе, называя того и другого «молодыми повѣсами». Шевыревъ же противорѣчитъ себѣ съ первыхъ шаговъ разбора, обнаруживая, такимъ образомъ, полную несостоятельность своего критическаго взгляда.

Съ общими похвальными отзывами, раздававшимися о четвертой и пятой главѣ изъ «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества», изъ «Московскаго Телеграфа» и «Московскаго Вѣстника», совершенно разошелся «Атеней», а «С.-Петербургскій Зритель», повидимому, невольно, своими филологическими придирками, напоминающими блаженное время Бутырскихъ Классиковъ, сошелся съ нимъ, во многихъ другихъ отношеніяхъ хваля Пушкина и одѣвая ему вѣнецъ безсмертія. Критики трехъ помянутыхъ журналовъ и одной газеты расточали похвалы сну Татьяны, который находили однимъ изъ удивительныхъ созданій игриваго воображенія поэта, ибо въ этомъ снѣ, говорили они, «нѣтъ ни капли излишества, не переведена ни одна черта за предѣлы вкуса и поэтически возможнаго; хвалили необыкновенную быстроту и живость разсказа въ этихъ главахъ; пересказывали содержаніе, дѣлали огромныя цитаты и объявляли Онѣгина «феноменомъ въ исторіи русскаго языка и стихосложенія». Критикъ «Сына Отечества» написалъ даже большую критическую статью, въ которой разсматриваетъ четвертую, пятую и шестую главы и берется оцѣнить ихъ вмѣстѣ съ предшествовавшими.

Статья написана въ защиту отъ упрековъ «свѣтскихъ изустныхъ критиковъ», предупредившихъ критиковъ журнальныхъ и «съ обычнымъ своимъ легкомысліемъ» отрицавшихъ за «Онѣгинымъ» качества романа, ибо въ немъ мало происшествій, дѣйствіе подвигается впередъ медленно, завязки почти не видно, авторъ дѣлаетъ безпрестанныя отступленія и проч. «Сынъ Отечества» [1]) въ этой статьѣ является совершенно

[1]) «Сынъ Отеч.» 1828 г., ч. 118, № 7.

перемѣнившимъ роль порицателя, которую онъ игралъ въ полемикѣ съ Полевымъ по поводу первой главы, на роль безусловнаго защитника Пушкина. Чтобы достойно отпарировать неосновательные упреки «свѣтскихъ изустныхъ критиковъ», критикъ «Сына Отечества» становится въ началѣ статьи на теоретическую почву, стараясь объяснить—что такое романъ. Романъ, по его толкованію, есть «теорія жизни человѣческой», и такъ какъ жизнь внѣшняя не столь богата и разнообразна, какъ жизнь внутренняя, ибо мы живемъ болѣе жизнью созерцательной, то романъ, будучи вѣрной и полной картиной жизни, долженъ подчиняться тѣмъ же условіямъ. Если въ повѣсти описывается какое нибудь происшествіе, если въ ней должно быть болѣе движенія, полноты и живости разсказа,—если герой повѣсти есть для насъ «пріятный гость, отъ котораго мы спѣшимъ пользоваться всѣми удовольствіями бесѣды»,—то романъ изображаетъ всю или нѣсколько лѣтъ жизни человѣка, въ романѣ должны быть обрисованы и развиты характеры дѣйствующихъ лицъ, съ героями романа «стараемся надолго познакомиться, чтобы знать, чего должны требовать отъ него, чѣмъ можемъ въ немъ пользоваться и чего остерегаться». Поэтому нѣтъ ничего несноснѣе романовъ безхарактерныхъ. Хотя подобная теорія сильно напоминаетъ доморощенныя лубочныя картины и всю разницу между повѣстью и романомъ находитъ только въ размѣрахъ, хотя она и страдаетъ совершенной отвлеченностью и даже неопредѣленностью, называя романъ какой-то «теоріей жизни», тѣмъ не менѣе мы считали нужнымъ остановиться на этихъ разсужденіяхъ, ибо они такъ или иначе характеризуютъ взгляды журнала на беллетристическія произведенія.

Въ «Онѣгинѣ» критикъ находитъ подтвержденіе своей теоріи романа. Самый герой, «разсѣянный молодой человѣкъ, но не безъ правилъ и характера», живетъ сначала въ столицѣ, затѣмъ ѣдетъ въ деревню, сближается съ Ленскимъ, знакомится съ семействомъ Ларинныхъ, съ «милою, прекрасною Ольгою» и непривлекательною Татьяною, которая, однако, привлекаетъ насъ «своею мечтательностью, своимъ

умомъ, настроеннымъ по сердцу и воображенію и своею вѣрою въ существенность идеаловъ». Критикъ восхищается первыми тремя главами романа такъ же, какъ и послѣдующими, ибо въ нихъ главные характеры являются богато обставленными, то отдѣланными заботливо, то набросанными слегка картинами или каррикатурами, ибо въ нихъ поэтъ поперемѣнно играетъ «то умомъ, то чувствомъ, то воображеніемъ», поперемѣнно веселъ и задумчивъ, легкомысленъ и глубокъ, ѣдокъ и добродушенъ, ибо поэтъ, не давая «дремать ни одной изъ душевныхъ нашихъ способностей» и не занимая каждую изъ нихъ надолго, «ни одной не утомляетъ». Намѣренія Пушкина при созданіи этого романа критикъ объясняетъ желаніемъ въ легкихъ очеркахъ «изобразить свѣтъ (принимая сіе слово въ смыслѣ общества человѣческаго), оживляя картину красками, свойственными мѣсту и времени», такъ что самый романъ съ его дѣйствующими лицами есть только «рама для картины обширнѣйшей».

На основаніи пятой и шестой главы, критикъ дополняетъ характеръ Онѣгина, говоря, что Пушкинъ «глубоко и здраво» обдумалъ его, показавъ въ созданіи своего героя «тонкое познаніе человѣческаго сердца». Такія замѣчанія критика вызваны сценою дуэли. Конечно, они вѣрны, но дѣло въ томъ, что критикъ не приводитъ ихъ въ связь съ объясненіемъ цѣлаго характера Онѣгина; будучи отрывочны, эти замѣчанія имѣютъ мало цѣны, притомъ причины дуэли критикъ объясняетъ какъ-то двойственно: съ одной стороны, называя, при разборѣ пятой главы, Онѣгина своенравнымъ, мстительнымъ изъ самолюбія, онъ, повидимому, склоненъ въ этихъ чертахъ характера искать причины дуэли; съ другой стороны, при разборѣ шестой главы, критикъ объясняетъ дуэль «ложнымъ стыдомъ»,— безсиліемъ—«сложить съ себя оковы мнѣній и приличій свѣтскихъ». Эти черты, конечно, могутъ соединиться въ одномъ лицѣ, такъ что равнодѣйствующая ихъ могла явиться причиной вызова. Но вѣдь критикъ объ этомъ не говоритъ, выставляя сначала одну причину, а затѣмъ совершенно другую. Находя, что всѣ подробности дуэли описаны превосходно и что «онѣ

какъ бы списаны съ натуры», что характеръ Ленскаго «хорошо выдержанъ до самаго конца» и что, наконецъ, портретъ Зарѣцкаго является въ сценѣ дуэли законченнымъ «нѣсколькими счастливыми чертами», критикъ заканчиваетъ свою статью насмѣшками по адресу «Атенея» и «С.-Петербургскаго Зрителя», удивляясь ихъ безпрестаннымъ привязкамъ къ словамъ, которыя имъ не нравятся, къ риѳмамъ, которыя не ласкаютъ ихъ разборчиваго вкуса, и къ выраженіямъ, которыя непонятны для нихъ. Переходимъ и мы къ любопытнымъ упражненіямъ двухъ только что упомянутыхъ журналовъ.

Пушкинъ говорилъ, что критика «Атенея» удивила его хорошимъ тономъ, хорошимъ слогомъ и странностью привязокъ къ самымъ обыкновеннымъ «риторическимъ фигурамъ и тропамъ». Поэтъ отвѣчалъ только критику на его филологическія замѣчанія, совѣтуя не пренебрегать изученіемъ старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п., ибо изученіе ихъ «необходимо для совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка». Критикъ «Атенея», конечно, думалъ о народной поэзіи такъ же, какъ Бутырскій Классикъ, считая ее цѣнною археологіею въ родѣ старинныхъ безобразныхъ монетъ. Къ сожалѣнію, Пушкинъ не отвѣчалъ придирчивому критику на его обвиненія романа въ отсутствіи характеровъ, слѣдовательно, и дѣйствія. Между тѣмъ критикъ старается обосновать свой приговоръ на почвѣ теоріи. Хотя теоретическіе взгляды критика слабы и ограниченно-узки, тѣмъ не менѣе они имѣютъ свою историческую цѣнность. Мы уже имѣли случай говорить о взглядахъ на романъ «Сына Отечества», теперь скажемъ о критическихъ воззрѣніяхъ «Атенея». Фактъ, что критики стали считать необходимымъ высказывать общія эстетическія положенія, чтобы не быть голословными и чтобы, опираясь на нихъ, оцѣнивать произведеніе, многознаменателенъ. До сихъ поръ мы этого не встрѣчали: мы видѣли исключительно личныя отношенія критика къ искусству, основанныя на личномъ вкусѣ. Теперь же начинаютъ появляться различныя эстетическія теоріи при оцѣнкѣ художественнаго

произведенія. Конечно, эти теоріи или худо переведены съ иностраннаго (въ большинствѣ случаевъ съ нѣмецкаго), или поражаютъ грубостью самодѣльной работы; но самый фактъ ихъ появленія очень важенъ, ибо онъ знаменовалъ собой общее повышеніе критическаго уровня, — исканіе общихъ началъ, стремленіе къ серьезной критической оцѣнкѣ. Съ этихъ поръ можно считать окончательно похороненнымъ то счастливое время, когда критики благоговѣйно подводили «піитическое твореніе подъ тотъ или другой параграфъ піитики». Этотъ фактъ отмѣчаетъ и критикъ «Атенея», не отступающій отъ общаго теченія времени. Критикъ въ каждомъ произведеніи искусства различаетъ вымыселъ, т. е. «зиждительную способность человѣка», и исполненіе, т. е. тонкость искусства стихотворства. «Сужденія о первомъ, говоритъ онъ, должны основываться на признанныхъ законахъ ума; оцѣнка второго—на принятыхъ правилахъ и видимыхъ свойствахъ языка». Что такое «признанные законы ума» — критикъ не можетъ объяснить; онъ не говоритъ также, что̀ должно разумѣть подъ «видимыми свойствами языка», но дѣлаетъ еще нѣсколько замѣчаній о томъ, отъ чего зависитъ дѣйствіе въ поэмѣ. Дѣйствіе въ поэмѣ должно быть̀ результатомъ того отношенія, въ какомъ поставляются дѣйствующія лица «склонностями своими, страстями и выгодами». Все творчество поэта, по мнѣнію критика, заключается лишь «въ умѣніи сблизить или привести въ соприкосновеніе страсти, которыя, взаимно дѣйствуя другъ на друга, образовали бы завязку и, по естественному ходу, отъ силы или превозможенія той или другой, доводили бы дѣйствія къ развязкѣ». Слѣдовательно, говоритъ критикъ, «чѣмъ страсти разнороднѣе, чѣмъ долѣе удерживаютъ онѣ свою самостоятельность при дѣйствіи на нихъ силъ противоположныхъ, — тѣмъ дѣйствіе продолжительнѣе, живѣе и занимательнѣе».

Очень естественно, что критикъ, разбирая «Онѣгина», не могъ найти въ немъ подтвержденія своей теоріи. Въ «Онѣгинѣ» нѣтъ ни хитрой интриги, которая бы запутывала и растягивала романъ до безконечности, нѣтъ ни сильныхъ

страстей, ни чудовищъ порока и героевъ добродѣтели, нѣтъ, наконецъ, вымысловъ, понимаемыхъ критикомъ, повидимому, какъ всякихъ фантастическихъ хитросплетеній, а есть реальные характеры людей обыкновенныхъ, отъ столкновенія которыхъ разыгрывается обыкновенная житейская исторія, происходящая на фонѣ обыкновенной русской жизни. Все это было выше пониманія оригинально-философствующаго критика «Атенея» и онъ вполнѣ послѣдовательно раскритиковалъ «Онѣгина». Реформаторъ поэтическаго творчества на Руси, Пушкинъ былъ и реформаторомъ языка, сближая его съ языкомъ народнымъ. Критикъ не признавалъ народной поэзіи и слѣдовательно ему казалось страннымъ употребленіе народныхъ оборотовъ рѣчи. Мы позволимъ себѣ привести цѣликомъ оригинальное сужденіе критика о характерахъ «Онѣгина». Критикъ спрашиваетъ: «какъ созданы характеры въ «Онѣгинѣ»? и отвѣчаетъ на это такимъ образомъ: «Евгеній — избалованный, вѣтренный, который

Въ красавицъ болѣ не влюблялся,
А волочился какъ нибудь,

читаетъ предлинное наставленіе Татьянѣ, въ которомъ и тѣни нѣтъ языка разговорнаго. Катонъ съ одною сестрою, онъ въ то же время Ольгѣ, невѣстѣ своего пріятеля

...Наклонясь шепчетъ нѣжно
Какой-то пошлый мадригалъ
И руку жметъ.

Тихій, мечтательный Ленскій за то, что другъ его провальсировалъ лишній разъ съ его невѣстой,

Проказы женскія кляня,
Выходитъ, требуетъ коня
И скачетъ. Пистолетовъ пара,
Двѣ пули—больше ничего—
Какъ разъ рѣшатъ судьбу его.

Безстрашная Ольга, помолвленная за Ленскаго, послѣ того, какъ

Владиміръ сладостной неволѣ
Предался полною душей.
Онъ вѣчно съ ней. Въ ея покоѣ
Они сидятъ въ потемкахъ двое.

Наканунѣ почти свадьбы, при первой ласкѣ Онѣгина, забываетъ жениха...

...Чуть лишь изъ пеленокъ
Кокетка, вѣтренный ребенокъ.

Печальная Татьяна, разъ, и то мелькомъ, видѣвши молодого мужчину, пишетъ ему, спустя полгода, самое жалкое письмо, увѣряя, что Онѣгинъ посланъ ей Богомъ! — Естественно ли это?»

Найдя, такимъ образомъ, что «Онѣгинъ» въ отношеніи характеровъ никуда не годится, ибо въ немъ есть только «говорливость», а не творчество, что весь романъ—простое описаніе то особы Онѣгина, то утомительныхъ подробностей деревенской жизни, то занятій Ленскаго и пр. и пр., критикъ, въ сознаніи своей рѣшительной побѣды, столь же остроумно начинаетъ критиковать слогъ Пушкина, растягивая свой разборъ на цѣлыхъ восемь страницъ «Атенея». Образчики подобной стилистической критики мы уже видѣли, разбирая критику «Руслана» и «Кавказскаго Плѣнника», и поэтому ограничимся только выборкой нѣсколькихъ перловъ тонкаго познанія критикомъ русскаго языка.

Критику, напр., не нравятся выраженія «бездушныя страданія» ибо въ нихъ нѣтъ кромѣ звучности никакого значенія,—«младой и свѣжій поцѣлуй», ибо здѣсь «качество не соображено съ предметомъ»,—«гусей крикливыхъ каравановъ», ибо это можно сказать только «о тѣхъ гусяхъ, которыхъ привозятъ въ Москву замороженныхъ», такъ какъ «караваномъ называется обозъ, составленный изъ разныхъ повозокъ, принадлежащихъ разнымъ хозяевамъ» и пр. Критикъ обидѣлся не на шутку, что Пушкинъ свѣтскихъ дѣвицъ называетъ «дѣвчонками», а деревенскую дѣвушку называетъ «дѣвою», удивлялся тому, какъ можетъ каминъ дышать («...И теплотой каминъ чуть дышетъ»). Смѣется надъ выраженіями хлопъ, молвь и топъ, замѣчая, что, слѣдовательно, можно говорить и слякъ вмѣсто слякоть, и ропъ вмѣсто ропотъ, и грохъ вмѣсто грохотъ. Полагаемъ, что приведенныхъ примѣровъ будетъ вполнѣ достаточно для обри-

совки и познаній критика въ русскомъ языкѣ и его филологическаго остроумія и, наконецъ, его глубокомысленныхъ поясненій. Критика Пушкинскаго текста вполнѣ гармонируетъ съ общими критическими взглядами строгаго аристарха. Это послѣдніе отголоски оригинальной стилистической критики, процвѣтавшей въ 20-хъ годахъ и ранѣе; поэтому-то мы не могли не остановиться на подобномъ уже вымиравшемъ явленіи, чтобы показать, какъ были вообще сильны и живучи преданія Мерзляковской и даже Сумароковской эпохи въ нашей критикѣ.

Ради забавности, мы скажемъ нѣсколько словъ о статьѣ «Спб. Зрителя», которая, бросая немногія замѣчанія о характерахъ дѣйствующихъ лицъ и вообще о недостаткахъ романа, останавливается, главнымъ образомъ, на критикѣ текста, которая столь же остроумна, какъ и критика «Атенея». Вообще «Онѣгинъ» «Спб. Зрителю» казался утомительнымъ: въ немъ нѣтъ связи и плана, поэтъ пишетъ обо всемъ, что приходитъ на мысль; характеры тоже не хвалитъ: очерки мыслей и чувствъ Онѣгина сбивчивы, всѣ черты свѣтскаго человѣка въ немъ слиться не могли. Въ характерѣ Ленскаго есть явныя несообразности, ибо «скромный человѣкъ изъза бездѣлки стрѣляться не пойдетъ» и пр. Съ другой стороны, критикъ гордится Пушкинымъ, называя его Рафаэлемъ и наивно считая «Руслана» лучшей изъ Пушкинскихъ поэмъ, ибо всѣ остальныя напоминаютъ, по его мнѣнію, недоконченныя картины. Критикъ совѣтуетъ Пушкину благоразумно возвратиться къ поэмамъ въ родѣ «Руслана» и оправдать такимъ образомъ надежды, которыя возлагаетъ на поэта «Спб. Зритель», «ожидая отъ него своего Тасса, своего Шекспира, но Шекспира XIX столѣтія». Но, къ сожалѣнію, Пушкинъ не внялъ совѣтамъ доброжелательнаго критика, лишь посмѣявшись надъ филологическими замѣчаніями близорукаго цѣнителя, который въ «Русланѣ» видѣлъ произведеніе, достойное Шекспира, а въ Шекспировскихъ созданіяхъ подобія «Руслана».

Чѣмъ ближе подходило къ концу созданіе «Онѣгина»,

тѣмъ все болѣе и болѣе охладѣвала къ этому роману современная журнальная критика. Она какъ будто разочаровалась въ романѣ, находя его и безсвязнымъ, и безхарактернымъ, и безъ всякой общей мысли; она отыскивала въ романѣ недостатки дѣйствія и содержанія, которымъ, говорила эта критика, не богаты всѣ вообще произведенія г-на Пушкина; она объявила полное паденіе таланта Пушкина, упрекала его даже въ заимствованіяхъ у Грибоѣдова, хотя и сравнивала Пушкина съ сѣвернымъ сіяніемъ среди общаго мрака русской литературы; она, наконецъ, заявляла, что еще съ Полтавы «осѣлась» слава Пушкина и съ тѣхъ поръ не можетъ уже подняться. Даже стихи «Онѣгина» казались ей прозою, которая лишь заострена риѳмою, даже въ языкѣ находили неудачное соединеніе словъ простонародныхъ съ славянскими, частое употребленіе неточныхъ выраженій, неправильныхъ метафоръ и пр. Таковы были отзывы о послѣднихъ главахъ «Сѣверной Пчелы», «Московскаго Телеграфа» и «Галатеи». Только «Литературная Газета» Дельвига и «Литерат. Приб. къ Рус. Инв.» позволили себѣ усумниться въ справедливости подобныхъ нападокъ, объясняя причину ихъ появленія обманутымъ ожиданіемъ найти въ новомъ романѣ «la chronique scandaleuse современной эпохи». Критикъ «Прибавленія», наоборотъ, находитъ весь романъ произведеніемъ замѣчательнымъ, вполнѣ «индивидуальнымъ» и по характеру дѣйствующихъ лицъ, и по общему фону русской жизни, на которомъ нарисованы эти фигуры. Критикъ довольно вѣрно понимаетъ, какъ онъ говоритъ, типъ Онѣгина. Этого слова еще никто изъ писавшихъ объ «Онѣгинѣ» не употреблялъ; критикъ же «Прибавленія» утверждаетъ даже, что это типъ созданный, можетъ быть, изъ множества разныхъ характеровъ, которые поэту случалось встрѣчать и которые «въ его воображеніи очертились въ одинъ идеалъ». Смѣшивая еще понятіе «типъ» и «идеалъ», критикъ замѣчаетъ далѣе, что Онѣгинъ «есть идеалъ холоднаго эгоиста, исключительно самолюбца, жаднаго до всякой свѣтской славы, хотя по наружности и равнодушнаго къ ней». По справедливому мнѣнію

критика, весьма характерно отношеніе Онѣгина къ Татьянѣ, любовь которой онъ отвергъ въ глуши сельскаго уединенія и любви которой, когда увидѣлъ ее блестящей княгиней, самъ искалъ какъ блага, для того, чтобы паденіе жертвы его надѣлало шуму въ городѣ.

Если «Московскій Телеграфъ» и «Галатея» по убѣжденію порицали послѣднія главы Онѣгина, если, какъ мы сейчасъ увидимъ, Надеждинъ сначала въ «Вѣстникѣ Европы», а затѣмъ въ своемъ «Телескопѣ» тоже вполнѣ искренно называлъ какъ восторги новымъ романомъ, такъ и охлажденіе къ нему несправедливыми, — то въ порицательномъ отзывѣ «Сѣверн. Пчелы» о седьмой главѣ (восьмая глава опять была встрѣчена банально-похвальными восклицаніями) нужно видѣть исключительно личную, некрасивую выходку, одну изъ тѣхъ многочисленныхъ личныхъ выходокъ, которыми Ѳ. Б. Булгаринъ стяжалъ себѣ такую темную и даже грязную репутацію. Дѣло въ томъ, что въ № 14 «Литер. Газеты» былъ помѣщенъ разборъ романа Булгарина «Дмитрій Самозванецъ», написанный барономъ Дельвигомъ въ ироническомъ тонѣ. Булгаринъ былъ названъ въ этой рецензіи польскимъ писателемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ было выражено желаніе, чтобы явилась повѣсть о тѣхъ временахъ, сочиненная писателемъ русскимъ. Статья была напечатана безъ имени автора, и раздосадованный Булгаринъ, предполагая, что она принадлежитъ Пушкину, сталъ помѣщать въ «Сѣв. Пчелѣ» статьи, направленныя противъ Пушкина какъ писателя и человѣка. Самою рѣзкою изъ этихъ статей былъ «Анекдотъ», заимствованный, будтобы, «изъ англійскаго журнала», появившійся въ «Сѣверн. Пчелѣ» 1830 г., № 30. Здѣсь Булгаринъ выставляетъ себя подъ видомъ французскаго писателя нѣмца Гофмана[1]), а Пушкина подъ видомъ природнаго француза, и который, долго морочивъ публику передразниваніемъ Байрона и Шиллера

[1]) См. примѣч. П. О. Морозова къ статьѣ Пушкина: «О Запискахъ Видока», т. V, стр. 92.

(хотя не понималъ ихъ въ подлинникѣ), наконецъ, упалъ въ общемъ мнѣніи, отъ стиховъ хватился за критику и разбранилъ новое сочиненіе Гофмана самымъ безстыднымъ образомъ. Въ отвѣтъ на эту критику Гофманъ, будто-бы, напечаталъ къ одному почтенному французскому литератору письмо слѣдующаго содержанія: «Предъ вами предстаютъ на судъ, во-первыхъ, природный французъ, слѣдующій усерднѣе Бахусу и Плутусу, нежели музамъ, который въ своихъ сочиненіяхъ не обнаруживалъ ни одной высокой мысли, ни одного чувства, ни одной полезной истины, у котораго сердце холодное, нѣмое существо, какъ устрица, а голова родъ побрякушки, набитой гремучими риѳмами, гдѣ не зародилась ни одна идея; который... бросаетъ риѳмами во все священное, чванится предъ чернью вольнодумствомъ, а тишкомъ ползаетъ у ногъ сильныхъ, чтобы позволили ему нарядиться въ шитый кафтанъ... Во-вторыхъ, иноземецъ, который во всю жизнь не измѣнилъ ни правиламъ своимъ, ни характеру, былъ и есть вѣренъ долгу и чести, любилъ свое отечество» и проч.

Въ отвѣтъ на эту статью Пушкинъ и напечаталъ свою статью о Видокѣ, который былъ начальникомъ парижской тайной полиціи и выпустилъ въ 1829 г. въ Парижѣ свои записки. Статья Пушкина попала въ цѣль: увѣренность въ томъ, что сказанное Пушкинымъ о Видокѣ относится къ Булгарину, была такъ сильна въ тогдашнемъ обществѣ, что цензура стала запрещать статьи о Видокѣ. Таковы были полемическіе пріемы знаменитаго по своимъ темнымъ поступкамъ «Видока Фиглярина» (Ѳ. Булгарина), въ которомъ текла «истинныхъ сарматовъ кровь». Съ этихъ поръ враждебныя отношенія Булгарина къ Пушкину все болѣе и болѣе обострялись и наконецъ знаменитый Фигляринъ становится въ ряды озлобленныхъ враговъ Пушкина. Вотъ каковы были причины безусловнаго порицанія седьмой главы, о которой нѣсколько позднѣе своихъ пасквильныхъ выходокъ «Сѣверная Пчела» писала: «Ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣнія! Совершенное паденіе, chûte

complète! Въ описаніи московской жизни и общества поэтъ взялъ обильную дань изъ «Горя отъ ума» и — просимъ не погнѣваться — изъ другой извѣстной книги... На страницѣ 13 мы съ величайшимъ наслажденіемъ находимъ двѣ пропущенныя строфы, а вмѣсто ихъ—двѣ прекрасныя римскія цифры VIII и IX. Какъ это мило, какъ это пестритъ поэму и заставляетъ читателя мечтать, догадываться о небываломъ! Это производитъ полный драматическій эффектъ, и мы благодаримъ за сіе поэта!» и т. д.—Вслѣдъ за разборомъ «Бориса Годунова» мы скажемъ нѣсколько подробнѣе какъ о той роли, которую въ тридцатыхъ годахъ игралъ знаменитый тріумвиратъ Сенковскаго, Греча и Булгарина, такъ и объ отношеніяхъ этого тріумвирата къ Пушкину и его произведеніямъ.

Надеждинъ, называя талантъ Пушкина неподдѣльнымъ сокровищемъ, «съ котораго цѣна никогда спасть не можетъ», вмѣстѣ съ тѣмъ цѣнилъ его не особенно высоко, говоря, что послѣ «Руслана» въ одномъ только «Онѣгинѣ» онъ на своемъ мѣстѣ. «Руслана» критикъ кудряво и темно называлъ «арабесками физическими», а «Онѣгина»—«арабесками міра нравственнаго». Слѣдовательно, критикъ не находилъ въ реальнобытовомъ романѣ никакого содержанія, потому что Пушкинъ, по его мнѣнію, и не можетъ быть никѣмъ, кромѣ Аріоста, еслибы притомъ нашъ поэтъ заключилъ въ предѣлы благоразумія «свое необузданно-шаловливое воображеніе, теперь помыкающее природою, какъ игрушкою, и уродующее безжалостно ея стереотипныя пропорціи». Но развиться Пушкину до Аріоста помѣшали «пышные возгласы, называвшіе поэта великимъ геніемъ, неподражаемымъ поэтомъ, представителемъ современнаго человѣчества, русскимъ Байрономъ» и проч. Между тѣмъ, Пушкинъ былъ, есть и будетъ способенъ только на созданіе чудныхъ гротесковъ; его поэзія «пустая, но блестящая игрушка», въ которой нечего искать мыслей или чувствованій.

И «Онѣгинъ» тоже «прелестная игрушка», производящая эффектное впечатлѣніе, требуемое отъ подобныхъ «поэтиче-

скихъ бездѣлокъ». Пушкина нельзя и порицать за занятіе подобными пустяками, ничуть не умножающими его таланта: гдѣ жизнь «окисаетъ и плѣснѣетъ, тамъ поэзія имѣетъ полное право морщиться и гримасничать». «Въ мыльныхъ пузырькахъ», пускаемыхъ, по затѣйливому выраженію критика, игривымъ воображеніемъ поэта, нельзя видѣть «роскошныхъ огней высокой поэтической фантасмагоріи». Если вся современная поэтическая мысль скудна и бѣдна содержаніемъ, то и Пушкинская поэзія является характерной представительницей своей эпохи. Доказательство на лицо въ «Онѣгинѣ» котораго не слѣдовало ни хвалить такъ велерѣчиво, ни порицать такъ ожесточенно. Послѣднія главы ничѣмъ не хуже первыхъ. Въ послѣднихъ главахъ критикъ находитъ продолженіе той же «пародіи на жизнь», вѣтренной, легкомысленной, но вмѣстѣ съ тѣмъ затѣйливой и остроумной, которой онъ «отъ души» любовался въ первыхъ главахъ. Здѣсь та же прихотливая рѣзвость вольнаго воображенія, порхающаго легкокрылымъ мотылькомъ по узорчатому, но безплодному полю свѣтской бездушной жизни; та же яркая пестрота красокъ и цвѣтовъ, мелькающихъ «подвижной калейдоскопической мозаикой»; то же бѣглое, но цѣпкое остроуміе, вездѣ оставляющее слѣды «легкаго юмористическаго угрызенія», та же чистота и гладкость стиха, всюду льющагося «тонкой хрустальной струей». Словомъ всѣ характерныя черты Пушкинской музы въ «Онѣгинѣ» на лицо; зачѣмъ же теперь толпа журнальныхъ критиковъ вымѣщаетъ прежнее чрезмѣрное ослѣпленіе несправедливой холодностью и злобными нападками? «Онѣгинъ» и не назначался быть романомъ; только пристрастное недоброжелательство старалось отыскать въ немъ черты высшаго эстетическаго значенія и приписывать Пушкину въ его пародіи на жизнь «исполинскій замыселъ». На «Онѣгина» слѣдовало смотрѣть глазами Надеждина и видѣть въ немъ только «блестящую игрушку», и тогда бы не было ни восторженныхъ возгласовъ, ни враждебныхъ порицаній.

Но, къ счастію, не всѣ критики были такъ близоруки,

какъ Надеждинъ, не всѣ считали Пушкина только «геніемъ на каррикатуры»,—нѣкоторые чувствовали дѣйствительно въ новомъ романѣ наступленіе какого-то новаго «русскаго» періода литературы, видѣли характеры, бытовыя картины и проч. Если они равнодушно встрѣтили послѣднія главы, то въ этомъ виноватъ былъ не поэтъ, а тѣ же прежніе его панегиристы, твердившіе азбуку эстетической критики и поэтому разбиравшіе по складамъ геніальное твореніе, или находившіеся въ томъ юношескомъ періодѣ неопредѣленныхъ порываній къ истинѣ, общественному благу и прочимъ прекраснымъ абстрактнымъ идеямъ, когда могутъ тѣшить только эти смутно сознаваемыя идеи и стремленія и когда реальная и трезвая дѣйствительность считается пошлой прозой. Слѣпой панегирикъ и пылкое прекраснодушіе были очень зыбкой почвой, стоя на которой критики не могли ни на что прочно опираться: не имѣя выработанныхъ критическихъ убѣжденій, подобные цѣнители не могли и возразить подобному противнику, какимъ былъ Надеждинъ. Они даже почти соглашались съ нимъ, забывая свои прежнія мнѣнія, какъ соглашается со всякимъ человѣкъ съ шаткими взглядами,—соглашались потому, что сами не могли доказать огромнаго художественнаго и общественнаго значенія романа, а только смутно предчувствовали его. Поэтому-то и происходила такая непослѣдовательность мнѣній, такая пестрая смѣсь кривотолковъ, такія противорѣчія въ оцѣнкѣ и запутанность въ общихъ эстетико-критическихъ воззрѣніяхъ. Критикѣ нужно было еще внимательно вглядѣться въ геніальныя творенія великаго поэта, серьезнѣе продумать ихъ, воспитать изученіемъ ихъ свой вкусъ, пріобрѣсти критическія основы, поучившись эстетикѣ у Гегеля, и затѣмъ уже въ лицѣ Бѣлинскаго приступить почти къ вѣрной художественной оцѣнкѣ «Онѣгина», предоставляя только будущимъ поколѣніямъ растолковать историко-литературное и общественное значеніе перваго бытового романа. Современная же критика была очень далека даже отъ обрисованнаго нами односторонняго критическаго идеала. Поэтому-то, повторяемъ, ни одно произведеніе Пушкина не было оцѣ-

нено современными критиками такъ близоруко, такъ односторонне и такъ поверхностно, какъ «Онѣгинъ»: для вѣрнаго и тонкаго истолкованія онъ требовалъ слишкомъ высокаго критическаго уровня развитія, котораго не оказывалось въ наличной критикѣ.

ГЛАВА X.

Значеніе для Пушкина изученія Шекспира. — Мнѣнія Пушкина о Шекспирѣ. — Какъ понималъ Пушкинъ задачу своей «Комедіи о Царѣ Борисѣ»?—Императоръ Николай I—цензоръ «Бориса Годунова».—Библіографическій указатель статей о «Борисѣ Годуновѣ».—Странная участь «Бориса Годунова» при выходѣ въ свѣтъ.—Полевой—запѣвало хора противниковъ «Бориса».—Статья Надеждина въ «Телескопѣ».—Лучшій разборъ драмы.—Разборы Кирѣевскаго, Полевого, Плаксина съ отвѣтомъ Ѳ. Камашева въ «Сынѣ Отечества».— «Борисъ Годуновъ», какъ первая истинно-народная трагедія, былъ совершенно не понятъ ни современной, ни послѣдующей критикой.

Изученіе Шекспира, смѣнившее въ Михайловскую эпоху жизни поэта старое поклоненіе Байрону, было для Пушкина огромнымъ шагомъ въ поэтическомъ развитіи. Міровой британскій драматургъ ускорилъ сближеніе Пушкина съ русскимъ народнымъ духомъ, съ народной исторіей, съ пріемами народнаго творчества и мышленія. Фантазія и мысль поэта подъ вліяніемъ Шекспира восприняли въ себя національные элементы. Шекспиръ научилъ Пушкина объективному психическому анализу, объективно-историческому способу пониманія и представленія эпохи, людей и событій. Пушкинъ до того полно усвоилъ себѣ главную черту британскаго генія — созерцаніе жизненныхъ явленій съ точки зрѣнія философско-гуманной справедливости, что она начала окрашивать всѣ сужденія поэта о явленіяхъ не только прошлаго, но и настоящаго времени. Проницательность и вѣрность психическаго анализа характеровъ въ Шекспировскихъ трагедіяхъ

основывались именно на этомъ качествѣ его творчества. Пушкинъ, воспринявъ это качество, изощрилъ также и тонкость своего психическаго анализа.

Шекспиръ черпалъ полной рукой изъ міра народныхъ легендъ и сказаній, онъ заимствовалъ изъ историческихъ преданій европейскаго и англійскаго міра не только сюжеты для своихъ драмъ, но и многія подробности при осуществленіи ихъ. Громадное количество практической народной мудрости, житейскихъ замѣтокъ и характеристикъ, накопленное его страной, вошли въ ихъ составъ въ художественной обработкѣ, которая притомъ угадывала философско-историческое значеніе народной поэзіи. Такой міръ неисчерпаемаго богатства поэзіи и изобрѣтательности былъ цѣлымъ откровеніемъ для Пушкина. Онъ бросился на собираніе русскихъ пѣсенъ, пословицъ, на изученіе русской исторіи и, задумавъ осуществить все навѣянное и указанное Шекспиромъ, въ теченіе одного 1825 года написалъ «Комедію о Царѣ Борисѣ», съ которой начинается совершенно новый періодъ его развитія, періодъ самобытно-народнаго творчества, дотолѣ невиданнаго на Руси.

Въ одномъ изъ французскихъ писемъ къ Н. Н. Раевскому, 1825 г. [1]), оставшемся неотправленнымъ и частію повтореннымъ въ письмѣ 1829 г. къ тому же лицу [2]), Пушкинъ восторженно восклицаетъ: «Quel homme ce Shakespeare! Je n'en reviens pas! Comme Byron le tragique est mesquin devant lui! Ce Byron qui n'a jamais conçu qu'un seul caractère, ce Byron donc a partagé entre ses personnages tel et tel trait de son caractère... Lisez Shakespeare: il ne craint jamais de compromettre son personnage, il ce fait parler avec tout l'abandon de la vie, car il est sûr en temps et lieu de lui faire trouver le langage de son caractère». Далѣе Пушкинъ сообщаетъ, что пишетъ трагедію, въ которой творческими силами являются у него попеременно то размышленіе, то вдохновеніе, и подъ конецъ восклицаетъ: «Je sens que mon âme, s'est tout

[1]) Т. VII, стр. 157—158.
[2]) Т. VII, стр. 208—210.

à fait dèvellopée, je puis créer». «Борисъ Годуновъ» составлялъ зерно, изъ котораго выросли почти всѣ историческія и большая часть литературныхъ убѣжденій Пушкина. Поэтъ съ волненіемъ отдавалъ его въ свѣтъ, съ волненіемъ знакомилъ друзей съ своей трагедіей и холодный пріемъ, оказанный «Борису» публикой и журналами, глубоко огорчилъ автора. Предчувствуя это, онъ писалъ неизвѣстному лицу, что съ отвращеніемъ рѣшается выдать въ свѣтъ своего «Бориса»; онъ говоритъ, что неудача «Бориса Годунова» будетъ ему чувствительна, ибо поэтъ, какъ Монтань, могъ сказать о своемъ произведеніи: «c'est une oeuvre de bonne foi».

Вокругъ своей трагедіи поэтъ собралъ мысли о драматическомъ искусствѣ, рожденныя чтеніемъ и собственными размышленіями,—по поводу ея онъ писалъ письма къ разнымъ лицамъ, стараясь выяснить какъ свои взгляды вообще на драму, на ея исторію и развитіе, такъ и пояснить задачи, цѣли и творческіе пріемы своего созданія.

Задачу своей трагедіи Пушкинъ объясняетъ «изображеніемъ эпохъ и лицъ историческихъ, не гоняясь за сценическими эффектами, романическими вспышками и пр.»; необходимыми условіями всякой трагедіи онъ полагалъ правдоподобіе характеровъ и положеній, «истину разговора». Эти условія казались для него настоящими законами трагедіи. Съ этой точки зрѣнія онъ осуждалъ Байрона-трагика и Мольера, сходствующихъ въ манерѣ творчества, ибо они заботятся особенно только о томъ, чтобы лицо ни на минуту не утеряло идеи и характера, которые призвано выражать. Въ неоконченной статьѣ о драмѣ преслѣдуется развитіе той же основной мысли о невозможности полной истины на театрѣ, замѣненной и древними трагиками, и новыми подражателями ихъ, и романтическими писателями только условной правдоподобностью. Пушкинъ предпочелъ Шекспира всѣмъ образцамъ на основаніи обдуманнаго намѣренія и увѣренности, что «нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не свѣтскій обычай трагедіи Расина». Онъ

мечталъ о преобразованіи нашей сцены и потому такъ боялся за неуспѣхъ своего «Бориса»: «всякій неудачный опытъ, по словамъ Пушкина, можетъ замедлить преобразованіе нашей сцены». Пушкинъ собирался возвратиться къ Шуйскому, который представляетъ въ исторіи «странное смѣшеніе дерзости, изворотливости и силы характера», и къ Маринѣ, которая «изъ хорошенькихъ женщинъ была самая странная», имѣя въ свою жизнь одну страсть — честолюбіе, и которая «возмущала» поэта «какъ страсть». Поэтъ намѣревался написать хронику изъ жизни Шуйскаго, Лже-Димитрія и нѣсколько сценъ изъ междуцарствія, что составило бы полную картину избранной имъ эпохи. Но, къ сожалѣнію, этихъ замысловъ ему не удалось привести въ исполненіе и русская литература лишилась, такимъ образомъ, своихъ историческихъ хроникъ и ряда національныхъ трагедій, которыя бы поставили русское драматическое искусство на истинно Шекспировскую высоту развитія и совершенства.

13-го іюля 1825 года Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому: «Предо мною моя трагедія. Не могу вытерпѣть, чтобы не выписать ея заглавіе. Комедія о настоящей бѣдѣ Московскому Государству, о царѣ Борисѣ и Гришкѣ Отрепьевѣ. Писалъ рабъ Божій Александръ сынъ Сергѣевъ Пушкинъ, въ лѣто 7333, на городищѣ Вороничѣ.—Каково?» Затѣмъ въ сентябрѣ онъ сообщалъ тому же Вяземскому: «Трагедія моя кончена; я перечелъ ее вслухъ одинъ, и билъ въ ладоши, и кричалъ: ай да Пушкинъ, ай да! Юродивый мой малый презабавный; Марина тебѣ понравится, ибо она полька и собою преизрядна... Прочіе также очень милы, кромѣ капитана Маржерета, который все сквернословитъ; цензура его не пропуститъ. Жуковскій говоритъ, что царь меня проститъ за трагедію. Наврядъ, мой милый, хоть она и въ хорошемъ духѣ написана, да никакъ не могъ упрятать всѣхъ моихъ ушей подъ колпакъ юродиваго: торчатъ!» [1]) Пушкинъ свою трагедію читалъ то-

[1]) Т. VII, письма 121 и 146.

варищамъ лицеистамъ и сосѣду своему по деревнѣ А. Н. Вульфу, въ концѣ 1826 года прочелъ ее у Веневитинова и Соболевскаго, гдѣ слушателями были между прочими Баратынскій, Мицкевичъ, Хомяковъ, Кирѣевскій, Погодинъ, Шевыревъ и др. Разсказываютъ, что Мицкевичъ, выслушавъ трагедію, воскликнулъ: «Tu Shakespeare eris, si fata sinant». За это чтеніе 26 ноября Пушкинъ получилъ выговоръ отъ тогдашняго начальника III Отдѣленія Собственной Е. И. В. Канцеляріи, предложившаго немедленно прислать «Годунова» [1]); а затѣмъ гр. Бенкендорфъ извѣстилъ Пушкина, что государь прочиталъ драму съ большимъ удовольствіемъ, отмѣтивъ лишь нѣкоторыя мѣста, требующія очищенія, и что цѣль была бы болѣе выполнена, еслибъ комедія была передѣлана въ историческій романъ, на подобіе романовъ В. Скотта. На это Пушкинъ отозвался, что пьеса его дѣйствительно болѣе сбивается на историческій романъ, но что онъ не въ силахъ уже передѣлать имъ однажды написанное.

Въ 1829 году Пушкинъ вновь представилъ «Годунова» съ поправками по сдѣланнымъ въ 1826 г. замѣчаніямъ, но пьеса опять была возвращена для перемѣны еще нѣкоторыхъ «тривіальныхъ мѣстъ» и замѣны «нѣкоторыхъ словъ и выраженій, слишкомъ простонародныхъ или нарушающихъ скромность», причемъ нѣкоторыя мѣста вовсе были опущены и потребовалось уничтоженіе названія «комедія», хотя III Отдѣленіе находило въ этомъ подражаніе «древнимъ писателямъ» и вообще заключало, что въ пьесѣ нѣтъ ничего цѣлаго: «это отдѣльныя сцены или, лучше сказать, отрывки изъ X и XI т. Исторіи Государства Россійскаго, сочиненія Карамзина, передѣланные въ разговоры: характеры, происшествія, мнѣніе все основано на сочиненіи Карамзина; все оттуда позаимствовано. Автору комедіи принадлежитъ только разсказъ, расположеніе дѣйствія на сцены. Почти каждая сцена составлена изъ событій, упомянутыхъ

[1]) Прим. къ Бор. Годунову, т. III, стр. 79.

въ исторіи, исключая сцены самозванца въ корчмѣ, сцены юродиваго и свиданія самозванца съ Мариною». Наконецъ 22 октября 1830 г., высочайше разрѣшено было печатаніе, но подъ собственною отвѣтственностью поэта [1]). Печатный экземпляръ драмы, вышедшій 1-го января 1831 года съ помѣткою: «съ дозволенія правительства», былъ представленъ государю, объ отзывѣ котораго Бенкендорфъ увѣдомилъ автора письмомъ отъ 9-го января 1831 г.—Бенкендорфъ не рѣшился отправить это письмо, не представивши его предварительно государю, который и сдѣлалъ въ немъ нѣсколько поправокъ. Такъ, въ письмѣ было сказано: «Его Величество Государь Императоръ, прочитавъ сочиненіе ваше «Борисъ Годунова», изволилъ отозваться, что чтеніе сего изящнаго піитическаго творенія доставило ему великое удовольствіе». Государь поправилъ это мѣсто слѣдующимъ образомъ: «Е. В. Государь Императоръ поручить мнѣ изволилъ увѣдомить васъ, что сочиненіе ваше «Борисъ Годуновъ» изволилъ читать съ особымъ удовольствіемъ».

Въ «Литературной Газетѣ» 1831 г., № 1, находимъ извѣстіе, что въ первое же утро по выходѣ книги было раскуплено, по показаніямъ книгопродавцевъ, до 400 экземпляровъ ея. «Это доказываетъ, прибавляетъ газета, что непривѣтливые журналисты напрасно винятъ нашу публику въ равнодушіи къ истинно хорошему въ нашей литературѣ и вообще ко всему отечественному». Въ той же «Литературной Газетѣ» 1831 г., № 1, 2 и 3, былъ напечатанъ и разборъ трагедіи Пушкина. Другія критическія статьи и рецензіи явились въ «Сынѣ Отечества» 1830 г., №№ 24—28 (ч. 142 и 143; ст. В. Плаксина), «Московскомъ Телеграфѣ» №, 2 «Спб. Вѣстникѣ», № 2 (ст. Яковлева), «Сынѣ Отечества», № 40 и 41 (ст. Ф. Камашева), «Сѣверной Пчелѣ» №№ 133 и 167, «Сѣверномъ Меркуріѣ», № 1, «Телескопѣ», № 4 и «Эхо» № 2 (ст. Ф.-д.-Дика). Кромѣ того разбору трагедіи посвящена особая брошюра подъ заглавіемъ: «О Борисѣ Годуновѣ Пушкина. Разговоръ» (см. 1831 г., 16 стр. 8°); о ней см. «Гирлянду» 1831, № 24—25; «Дамскій Журналъ», №№ 16 и 19 (ст. С. Н. Глинка); «Сѣверный Меркурій», № 28; «Листокъ», № 45. Сцена Пимена съ Григоріемъ, напечатанная отдѣльно въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1827,

[1]) См. статью акад. М. И. Сухомлинова: «Императоръ Николай Павловичъ — критикъ и цензоръ сочиненій Пушкина». «Историч. Вѣстн.» 1884, январь, т. XV, стр. 55—87, также «Русск. Стар». 1874, № 8, статьи М. М. Попова.

№ 1, разобрана В. В. Веневитиновымъ, въ статьѣ: «Analyse d'une scène detachée de la tragédie de M-r Pouschkine» (Полн. собр. соч. Веневитинова, изд. 1862, стр. 191). См. также «Европеецъ» 1832, ч. I, стр. 102—123 и 259—278.

«Бориса Годунова» постигла при его появленіи дѣйствительно странная участь. Въ то время, когда онъ не былъ извѣстенъ публикѣ вполнѣ, когда изъ этой драмы былъ напечатанъ только одинъ отрывокъ («Келья въ Чудовомъ Монастырѣ»), онъ произвелъ величайшее волненіе въ литературномъ мірѣ. Люди, выдававшіе себя за романтиковъ, кричали, что эта трагедія затмитъ славу Шекспира и Шиллера; такъ называемые «Классики» въ таинственномъ молчаніи двусмысленно улыбались и пожимали плечами; люди умѣренные, не принадлежавшіе ни къ той, ни къ другой партіи, ждали вообще отъ этого созданія многаго для русской литературы. Наконецъ, «Борисъ Годуновъ» появился; нужно было ожидать шума, толковъ и споровъ. Но ни перваго, ни послѣдняго не было; были разнорѣчивые толки, по большей части порицательные, подчасъ даже непристойно бранчивые. «Сѣверный Меркурій» спѣшилъ извѣстить своихъ читателей [1]) о слѣдующемъ странномъ происшествіи. По разсказу этого журнала, нѣкто, въ большомъ обществѣ, прочитавъ новую трагедію, покачалъ головою, всплеснулъ руками, и пропѣлъ слѣдующій куплетъ: «И Пушкинъ сталъ намъ скученъ, и Пушкинъ надоѣлъ, и стихъ его не звученъ, и геній охладѣлъ. Бориса Годунова онъ выпустилъ въ народъ: «убогая обнова, увы! на новый годъ»! Послѣ чего всѣ грянули хоромъ: «Убогая обнова, увы! на новый годъ». Къ мнѣнію подобныхъ стиховъ могли присоединиться многіе изъ критиковъ, писавшихъ о «Борисѣ Годуновѣ». Вообще же должно сказать, что критики не замѣтили, въ чемъ состоятъ главныя красоты и недостатки, въ чемъ состоитъ содержаніе новой трагедіи; никто совершенно не понялъ народнаго созданія Пушкина.

[1]) 1831, № 1, стр. 8.

Нѣкоторые изъ критиковъ говорили, что въ драмѣ нѣтъ единства, нѣтъ поэтической гармоніи, ибо главное лицо заслонено лицемъ второстепеннымъ — Отрепьевымъ, говорили, что это китайскія тѣни, что если ихъ представить на театрѣ, то у «кулисныхъ мастеровъ» заболятъ руки; замѣчали, что «сущность творенія запоздалая и близорукая». Другіе утверждали, что главное лицо не Борисъ, а Самозванецъ, «жаль только, что характеръ его не довольно развитъ и что не весь интересъ сосредоточивается на немъ, ибо гдѣ нѣтъ единства интереса, тамъ нѣтъ и стройности». Третьи замѣчали, что интересъ не долженъ сосредоточиваться ни на Борисѣ, ни на Самозванцѣ, — трагедія Пушкина есть трагедія историческая, слѣдовательно, не страсть, не характеръ, не лицо должны быть главнымъ ея предметомъ, но цѣлое время, вѣкъ: Пушкинъ это и сдѣлалъ: онъ представилъ въ трагедіи своей вѣрный очеркъ вѣка, сохранилъ всѣ его краски, всѣ особенности его цвѣта. Жаль только, что эта картина начертана поверхностно и неполно, ибо въ ней забыто многое характеристичное и развито много лишняго, напр., характеръ Марины и т. п. Еслибы Пушкинъ понялъ глубже время Бориса, онъ бы представилъ его полнѣе и ощутительнѣе и пр.

Немногочисленные поклонники поэта находили Годунова «необыкновеннымъ твореніемъ», на которомъ лежитъ печать, подобная «Микель-Анджеловой печати» на безсмертномъ куполѣ знаменитаго римскаго храма; панегиристы восклицали, что только «воображеніе геніевъ творитъ такимъ образомъ», находили главные характеры вполнѣ выдержанными, восхищались Борисомъ, говоря, что онъ не только вполнѣ выдержанъ, но и «какъ будто помощію увеличительнаго стекла придвинутъ къ намъ». Наоборотъ, многочисленные противники называли «Бориса Годунова» «паралитической фантазіей», совершенно ребяческой «школьной шалостью», неудачно слѣпленной мозаикой, собраніемъ нѣсколькихъ холодныхъ историческихъ сценъ, веденныхъ опрометчиво, безъ дара творчества, безъ искусства пользоваться драматическими положеніями. И всѣ хоромъ,

запѣвалой котораго былъ Полевой, твердили о подражаніи Карамзину, у котораго въ изложеніи событій въ Россіи съ 1533 до 1612 года «при самомъ легкомъ взглядѣ критики» обнаруживается «риторика, фразы, сущая пустота и несообразность». Въ этомъ особенно Полевой и видѣлъ главные недостатки драмы, которая, будучи неудовлетворительна въ историческомъ отношеніи, не восполнила этого недостатка «ничѣмъ фантастическимъ». Конечно, Н. А. Полевой не угадалъ значенія хроники, упрекая Пушкина за то, что онъ, рабски слѣдуя разсказу Карамзина, лишилъ яко бы себя возможности дать новый смыслъ событіямъ и новое толкованіе характеровъ того времени. Пушкинъ искалъ совсѣмъ не разрѣшенія историческихъ загадокъ, которыя и теперь еще остаются загадками, а думалъ только о воспроизведеніи духа польской и русской національности, въ ихъ пониманіи жизни и въ ихъ историческихъ роляхъ, что̀ и успѣлъ сдѣлать вполнѣ. Каждая изъ національностей выражается у него типами, обнаруживающими народный складъ мыслей, культуру, бытъ и характеръ своего отечества. О поэтической атмосферѣ, которая окружаетъ ихъ, и говорить нечего.

Лучшимъ современнымъ разборомъ считаютъ разборъ Надеждина, помѣщенный въ «Телескопѣ» 1831 г., который, говорятъ, произвелъ нѣкоторое впечатлѣніе тѣмъ, что прежній хулитель обратился, съ нѣкоторыми оговорками, въ поклонника Пушкина, между тѣмъ какъ всегдашніе поклонники поэта мало-по-малу отходили отъ него и скрывались [1]). Такое мнѣніе, на нашъ взглядъ, не совсѣмъ справедливо, ибо лучшимъ, чѣмъ разборъ Надеждина, болѣе остроумнымъ и оригинальнымъ нужно считать разборъ, хотя и неоконченный, сдѣланный Кирѣевскимъ въ № 1 своего «Европейца» за 1832 годъ. Если Надеждинъ, нѣкогда совѣтовавшій Пушкину сжечь Годунова, теперь новое твореніе поэта взялъ подъ свое покровительство, то это было сдѣлано не безъ желанія, какъ объясняетъ самъ критикъ, «плавать противъ

[1]) Анненковъ, Матеріалы, стр. 227.

воды, идти наперекоръ общему голосу и вызывать на бой общее мнѣніе». Какъ бы то ни было, мы разберемъ сначала статьи Полевого, Надеждина и Кирѣевскаго, а затѣмъ скажемъ о всѣхъ остальныхъ статьяхъ, крупныхъ и мелкихъ, во главѣ которыхъ должны быть поставлены статьи «Сына Отечества». Мы упомянемъ также о разговорѣ, «помѣщика, проѣзжающаго изъ Москвы черезъ уѣздный городокъ, съ вольнопрактикующимъ въ ономъ учителемъ Россійской Словесности». Этотъ разговоръ напоминаетъ фабрикацію того же автора, который сочинилъ знаменитые стихи о паденіи таланта Пушкина,—и по глубинѣ мысли, и по мѣткости остроумія, и по тонкости эстетическаго вкуса, и по смѣлости удивительно-проницательнаго сужденія!

Критическая статья Надеждина написана опять въ формѣ діалога — «бесѣды старыхъ знакомцевъ» — Тлѣнскаго и Надоумки (въ разговорѣ «Я»). Тлѣнскому «Борисъ Годуновъ» совсѣмъ не нравится, ибо это «ни комедія, ни трагедія, ни чортъ знаетъ что!», ибо въ этой «связкѣ разговоровъ» нѣтъ никакой цѣлости, «Борисъ умираетъ, а эти историческія сцены все еще тянутся и морятъ терпѣніе». Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мнѣнію Тлѣнскаго, въ Борисѣ нѣтъ ни одного оригинальнаго созданія, а слѣдовательно нѣтъ и поэзіи, ибо поэзія есть творчество. Главныя лица —Борисъ и Шуйскій, которые такъ нравятся многимъ и, между прочимъ, самому Надоумкѣ, суть только переложенія въ стихи «пѣвучей прозы Исторіи Государства Россійскаго». Надоумко такимъ образомъ возражаетъ своему собесѣднику, который въ данномъ случаѣ является представителемъ цѣлаго ряда подобныхъ же противниковъ новой трагедіи. По мнѣнію Надеждина, «Борисъ Годуновъ» есть рядъ историческихъ сценъ, эпизодъ изъ исторіи въ лицахъ. Сюжетъ драмы составляетъ не самъ Борисъ въ своей «біографической недѣлимости», а царствованіе Бориса—«эпоха, имъ наполняемая, міръ имъ созданный и съ нимъ разрушившійся»,—однимъ словомъ, «историческое бытіе Бориса Годунова». Оно не оканчивалось его смертію: тѣнь Бориса еще возсѣдала въ краткіе дни

царствованія и жизни Ѳеодора. Борисъ совершенно умеръ лишь въ своемъ сынѣ. Тогда не стало Годунова, тогда началась для Москвы новая эпоха.

Небывалое еще достоинство Пушкинскихъ сценъ заключается въ томъ, что поэтъ облекъ «всею прелестью романтической фантасмагоріи» «колоссальный призракъ нашихъ среднихъ временъ». Надеждинъ отказывается утверждать, что Пушкинъ угадалъ «истинную тайну души Борисовой». Можетъ быть, точка зрѣнія поэта и не вѣрна, это для искусства не важно, ибо образъ Годунова, какъ человѣка, у котораго «отшельническая пустынь виновной совѣсти» борется съ призраками, всюду ее преслѣдующими, — выдержанъ поэтомъ очень хорошо. Критику не нравится первая сцена, гдѣ Борисъ является съ патріархомъ и боярами, ибо въ ней лицо его не имѣетъ никакой выразительности, — второй же монологъ, послѣ тайнаго свиданія съ кудесниками, обнаруживаетъ характеръ Бориса во всей наготѣ его. Молчаніе его въ думѣ при разсказѣ патріарха о чудодѣйственной силѣ святыхъ остатковъ Димитрія, — разсказѣ, блистающемъ всею прелестью простосердечія, убійственнаго для виновной совѣсти, стоитъ, по мнѣнію критика, «молчанія Аяксова въ поляхъ Елисейскихъ». Смерть царя представлена довольно слабо; его прощальная бесѣда съ сыномъ составляетъ уже слишкомъ длинную и черезчуръ «наставительную предику»: душа въ послѣднія минуты угасающей жизни не бываетъ столь говорлива — она болѣе чувствуетъ. Гораздо драгоцѣннѣе была бы сцена, еслибы поэтъ съумѣлъ представить намъ «суровую душу Бориса въ сіи торжественныя мгновенія полнаго изліянія». Вообще о Борисѣ должно сказать, что подъ Карамзинскимъ угломъ зрѣнія никогда еще не являлся онъ въ столь вѣрномъ и яркомъ очеркѣ; поэтъ умѣетъ удивительно искусно мелкими чертами «освѣщать цѣлыя ущелія души его». Мастерски очерченъ ~~Басмановъ~~. Безстыдная угодливость царедворца выливается во всѣхъ его рѣчахъ и поступкахъ. Ему ничего не стоитъ отпереться отъ своихъ словъ предъ прямодушнымъ Воротынскимъ, выманить тайну о Самозванцѣ у

Пушкина и передать ее Борису, съ удивительной ловкостью въ искусствѣ цареугодничества отклонить добродушное предложеніе патріарха о перенесеніи мощей Дмитрія. Самъ патріархъ поставленъ такъ же недурно: въ разговорѣ съ игуменомъ онъ является во всей простотѣ добраго старца, а при совѣщаніи, на царской думѣ, возвышается до «богомольной святительской торжественности».

Находя слабою сцену въ кормчѣ, критикъ сцену съ юродивымъ называетъ выразительною, ибо нельзя было «лучше и вѣрнѣе съ исторіей» довести до недоступнаго слуха грознаго Царя грозную вѣсть, что преступленіе не есть тайна для безмолвствующаго народа; эта сцена необходима для того, чтобы заставить Бориса «испить до дна чашу мести». Существенный недостатокъ Бориса, по едва ли справедливому мнѣнію критика, состоитъ въ томъ, что въ немъ интересъ раздвоенъ весьма неудачно: главное лицо—Годуновъ—пожертвовано совершенно другому, долженствующему играть подчиненную роль, — Самозванцу, который представляетъ богатѣйшее сокровище для искусства. Съ этимъ лицомъ поэту, избравшему героемъ Бориса, нужно было поступать очень бережно, ибо всѣ образы, какъ бы они ни были колоссальны и величественны, исчезаютъ «въ фантастическомъ заревѣ, разливаемомъ Самозванцемъ, подобно исполинамъ горъ, исчезающихъ для глазъ въ пурпурѣ неба, обагреннаго сѣвернымъ сіяніемъ». — По несчастію, у Пушкина Самозванецъ стоитъ на первомъ планѣ, такъ что Борисъ за нимъ исчезаетъ и вниманіе поэтому «отрывается отъ своего законнаго средоточія». Это сильно повредило эффекту всей пьесы, по мнѣнію критика. Едва ли подобное мнѣніе вѣрно. Мы видимъ въ немъ только недостатокъ проницательности самаго Надеждина, какъ и въ дальнѣйшихъ его разсужденіяхъ по поводу противорѣчій въ характерѣ Самозванца.

Основная мысль драмы, по мнѣнію Надеждина, есть изображеніе эпохи, созданной Борисомъ. Слѣдовательно, по логическому развитію этой мысли и Самозванецъ, принадлежащій этой эпохѣ, долженъ былъ необходимо войти въ изо-

браженіи ея по стольку, по скольку онъ принималъ въ ней участіе. Какой же недостатокъ въ томъ, что Пушкинъ, понявъ эпоху Годунова, удѣлилъ въ своей драмѣ должное мѣсто и Самозванцу? Какъ намъ кажется, здѣсь критикъ не съумѣлъ воспользоваться вѣрнымъ пониманіемъ задачи Пушкинской драмы и своротилъ съ дороги истины, противорѣча себѣ и упустивъ изъ виду свою точку зрѣнія. Точно такъ же оцѣнка Самозванца въ созданіи Пушкина является у критика сбивчивой, если припомнить его собственныя слова, что лицо Лже-Димитрія «такъ создано дивною силою, управляющею судьбами человѣческими, что въ немъ исторія пересиливаетъ поэзію».

Разбирая сцену въ кельѣ Чудова монастыря, критикъ оцѣниваетъ ее поразительно странно, чтобъ не сказать болѣе. Онъ въ Пименѣ видитъ «наслѣдника идей Гердеровыхъ»; въ этомъ монахѣ-лѣтописцѣ, въ которомъ Пушкинъ собралъ плѣнявшіе его черты нашихъ лѣтописей — «умилительной кротости, младенческаго и вмѣстѣ мудраго простодушія набожнаго усердія къ власти царя, данной Богомъ, совершеннаго отсутствія суетности». Странно, конечно, что ничего подобнаго Надеждинъ въ немъ не замѣтилъ, какъ не менѣе странно и мнѣніе о Самозванцѣ. Здѣсь критику совершенно измѣнило психологическое чутье. Онъ говоритъ: характеръ Самозванца представляетъ много невѣрнаго (съ чѣмъ? съ исторіей или съ замысломъ поэта?) и противорѣчиваго (съ чѣмъ? «съ самимъ собою»—отвѣчаетъ критикъ). Между тѣмъ, самъ же критикъ мѣтко замѣчаетъ, что въ первой сценѣ онъ является «пламеннымъ энтузіастомъ, дерзкимъ мечтателемъ». Критикъ весьма наивно удивляется, что эти черты скрываются подъ печатью «дѣтской простоты, нарѣзанной иноческимъ послушаніемъ». Но въ этомъ вѣдь все и дѣло. «Дѣтская простота» — качество пріобрѣтенное, выработанное послушаніемъ, а не коренящееся въ самой природѣ Григорія. Чего же тутъ страннаго, противорѣчиваго?

Точно такъ же не слѣдовало критику удивляться, что Самозванецъ въ корчмѣ является уже «отчаяннымъ разбой-

никомъ», а у князя Вишневецкаго—витійствуетъ «пышными фразами о высокомъ значеніи поэзіи». Нѣтъ ничего «чуднаго» ни въ томъ «романтическомъ донкихотствѣ, въ силу котораго хитрый самозванецъ, почти слѣпившій уже для себя корону, открываетъ своей Дульцинеѣ тайну, на которой, какъ на волоскѣ, держится все бытіе его», ни въ томъ «упорствѣ, съ которымъ онъ поддерживаетъ свое безумное признаніе, для того, чтобы вымолить миртовую вѣтку у женщины, признающейся съ торжественнымъ безстыдствомъ, что она любила въ немъ только имя, имъ похищенное». Всѣ эти странности—на взглядъ критика—превосходно вытекаютъ изъ замысла Пушкина, что самозванецъ былъ «пламеннымъ энтузіастомъ» и «дерзкимъ мечтателемъ, человѣкомъ увлекающимся, подчасъ подчиняющимся обстоятельствамъ, но умѣющимъ достигать намѣченной цѣли, ловкимъ и хитрымъ». Повторяемъ, только недостатокъ психологическаго чутья продиктовалъ критику подобную оцѣнку характера Самозванца. Вѣрно оцѣнена критикомъ самобытно созданная Пушкинымъ личность Курбскаго; Надеждинъ сознается, что не можетъ «безъ умиленія повторять этого трогательнаго изліянія, въ коемъ такъ свѣтло отражается душа чистая, полная святою дѣтскою любовію къ родинѣ». Такимъ образомъ, вотъ по какимъ соображеніямъ мы позволимъ себѣ не согласиться съ мнѣніемъ Анненкова о томъ, что статья Надеждина явилась лучшей оцѣнкой Годунова. На нашъ взглядъ, какъ мы сейчасъ еще докажемъ разборомъ другихъ статей, она только на половину почти вѣрна. Всѣ же сужденія критика о Самозванцѣ, Пименѣ и Маринѣ представляютъ сплошное недоразумѣніе, происшедшее частію отъ недостатка психологическаго чутья въ критикѣ, частію отъ недостатка вкуса и невнимательнаго отношенія къ Пушкину и къ своимъ же, въ основѣ вѣрнымъ мнѣніямъ, но не получившимъ правильнаго логическаго развитія.

При оригинальномъ взглядѣ Кирѣевскаго на «Бориса Годунова» всѣ будто бы недостатки Пушкинской драмы совершенно стушевываются; мнѣніе Кирѣевскаго дополняетъ

мнѣніе Надеждина и объясняетъ то, что казалось критику умаляющимъ эффектъ пьесы. Критикъ «Европейца», по собственному сознанію, рѣшается посмотрѣть на предметъ «глазами непредубѣжденными», не заботясь о томъ, что должно быть «средоточіемъ трагедіи.» По остроумному мнѣнію Кирѣевскаго, и Борисъ, и Самозванецъ, и Россія, и Польша, и народъ, и царедворцы, и монашеская келья, и царская дума,—всѣ лица и всѣ сцены трагедіи развиты только въ одномъ отношеніи: въ отношеніи къ послѣдствіямъ цареубійства. Тѣнь умерщвленнаго Димитрія царствуетъ въ трагедіи отъ начала до конца, управляетъ ходомъ всѣхъ событій, служитъ «связью всѣмъ лицамъ и сценамъ, разставляетъ въ одну перспективу всѣ отдѣльныя группы и различнымъ краскамъ даетъ одинъ общій тонъ, одинъ кровавый оттѣнокъ». Доказать это, по справедливому мнѣнію критика, значило бы переписать всю трагедію. Оригинальный замыселъ при созданіи Бориса и повелъ къ разнорѣчивымъ толкамъ и оцѣнкамъ. Бо́льшая часть трагедій, и особенно новѣйшихъ, имѣетъ своимъ предметомъ «дѣло совершающееся или долженствующее совершиться». Трагедія же Пушкина развиваетъ послѣдствія дѣла уже совершившагося и преступленіе Бориса является не какъ дѣйствіе, но какъ сила, какъ мысль, которая обнаруживается мало-по-малу то въ шопотѣ царедворца, то въ тихихъ воспоминаніяхъ отшельника, то въ одинокихъ мечтахъ Григорія, то, наконецъ, въ ниспроверженіи неправедно царствовавшаго дома. Это постепенное возрастаніе коренной мысли, по мѣткому мнѣнію Кирѣевскаго, въ разнородныхъ событіяхъ, связанныхъ между собою однимъ источникомъ, даетъ ей характеръ сильно трагическій и, такимъ образомъ, позволяетъ ей заступить мѣсто господствующаго лица, или страсти, или поступка. Защищая такой способъ созданія драмы Пушкина, критикъ говоритъ, что хотя «такое трагическое воплощеніе мысли болѣе свойственно древнимъ, чѣмъ новѣйшимъ литературамъ, однако въ новѣйшихъ трагедіяхъ можно найти подобное, напр., въ «Мессинской Невѣстѣ», въ «Фаустѣ», въ «Манфредѣ». Въ этомъ именно и

коренится причина того, что трагедія не была понята большинствомъ публики; въ пьесѣ не было страсти, какъ главной пружины. Въ этомъ же причина неблагосклоннаго отношенія критики къ новой драмѣ. Критики по совѣсти не могли быть довольны созданіемъ Пушкина, въ которомъ убіеніе Димитрія съ его государственными послѣдствіями составляетъ «главную нить и главный узелъ». Поэтому, ища средоточія трагедіи то въ Борисѣ, то въ Самозванцѣ или въ жизни народа и т. п., они должны были находить въ пьесѣ и нестройность, и неполноту, и мелкость, и незрѣлость, ибо при такомъ отношеніи къ художнику, чѣмъ болѣе гармоніи въ твореніи послѣдняго, тѣмъ оно кажется «разногласнѣе» для критиковъ, какъ «вѣрно разсчитанная перспектива для избравшаго ложный фокусъ». Критикъ, мѣтко угадывая вкусы современной публики и современной критики, замѣчаетъ, что еслибы вмѣсто «фактическихъ послѣдствій цареубійства» Пушкинъ развилъ болѣе его «психологическое вліяніе «на Бориса, какъ Шекспиръ въ Макбетѣ; еслибы вмѣсто «русскаго монаха, который въ темной кельѣ произноситъ надъ Годуновымъ приговоръ судьбы и потомства», поэтъ представилъ намъ «Шекспировскихъ вѣдьмъ или Мюльнерову волшебницу-цыганку, или пророческій сонъ—pendant l'horreur une profonde nuit»,—тогда, конечно, Пушкинъ былъ бы скорѣе понятъ и принятъ съ большимъ восторгомъ. Такимъ образомъ, заслуга критической статьи Кирѣевскаго та, что онъ вѣрно указалъ, полнѣе, чѣмъ Надеждинъ цѣль драмы Пушкина. Пониманіе Надеждина болѣе внѣшнее, такъ сказать: онъ не раскрылъ содержанія понятія — «Борисова эпоха» и потому самъ запутался въ своихъ же собственныхъ противорѣчіяхъ основной мысли; Кирѣевскій же раскрылъ все содержаніе этого понятія, постигнувъ ее и точно опредѣливъ основную задачу созданія Пушкина. Повторяемъ, въ этомъ отношеніи его критика и многоцѣнна, хотя она совсѣмъ не возражаетъ противникамъ по пунктамъ, не разсматриваетъ вѣрны ли характеры исторіи, каковы они въ художественномъ отношеніи и пр. Повидимому, все это для критика были вопросы

второстепенные. Недостатокъ фактическаго доказательства нѣсколько умаляетъ цѣнность его глубоко проницательной характеристики первой русской народной драмы.

Статья Полевого [1]) и статья г. Плаксина съ отвѣтной на нее статьею Ф. Камашева [2]) страдаютъ общимъ недостаткомъ тенденціознаго отношенія къ драмѣ. Полевой весь свой длинный, но неоконченный разборъ построилъ на своей ненависти къ Карамзину. Такъ, онъ говоритъ, что, «прочитавъ посвященіе, знаемъ напередъ, что мы увидимъ Карамзинскаго Годунова: этимъ словомъ рѣшена участь драмы Пушкина; ему не пособятъ уже ни его великое дарованіе, ни сила языка, какою онъ обладаетъ». Исторія, по мнѣнію Полевого, не смѣетъ назвать Бориса цареубійцею, онъ же говоритъ, что Карамзинъ «безчеловѣчно ошибся», въ основныхъ началахъ цѣлаго столѣтія, что у него вмѣсто характеровъ являются «какіе-то призраки». Пушкинъ же, къ несчастію, заимствовалъ у Карамзина его основную идею: она поставила поэта въ нерѣшительность, ибо онъ не смѣетъ назвать своего произведенія драмой, не дѣлитъ на акты, а въ двадцати двухъ сплошныхъ явленіяхъ описываетъ событія съ февраля 1598 по іюнь 1605 года. Существенные недостатки драмы происходятъ, съ одной стороны, отъ бѣдности идеи, которая не позволила поэту развить ни характеровъ, ни подробностей, когда драма только и живетъ ими, а съ другой стороны отъ несправедливости понятій объ исторической или, вообще, романтической драмѣ, которая, по мнѣнію Пушкина, повидимому, отличается отъ классической только «безсвязной пестротой явленій и прыжками отъ одного предмета къ другому». Между тѣмъ, романтическая драма имѣетъ свои строгія правила и свой порядокъ дѣйствія, который можетъ быть строже классическаго. Если Пушкинскій Борисъ неудовлетворителенъ «въ отношеніи драматическаго изящества», то равно не-

---

[1]) «Москов. Телеграфъ» 1833 г., ч. 49.
[2]) «Сынъ Отечества» 1830 и 1831 гг., томы 142, 143 и 145.

удовлетворителенъ онъ и въ историческомъ отношеніи: поэтъ, уклоняясь отъ исторіи, не замѣнилъ своего уклоненія ничѣмъ «фантазическимъ». Въ Борисѣ нѣтъ единства ни въ дѣйствіи, ни въ развитіи частей, ни въ проявленіи характеровъ; нѣтъ жизни въ подробностяхъ, все совершается за глазами зрителей, едва дѣйствіе хочетъ развернуться, какъ все опять исчезаетъ,—и мы не знаемъ ни дѣйствія, ни лицъ, пока не придутъ вновь и не разскажутъ намъ, что сдѣлалось, пока они скрывались за кулисами.

Выборъ предмета драмы есть доказательство проницательности генія Пушкина. Жизнь Годунова, характеръ, странная судьба его самого и его семейства заключаютъ въ себѣ много поэтическаго, увлекательнаго и поразительнаго. Притомъ неточность и нерѣшительность исторіи въ повѣствованіи о немъ — цѣлое сокровище смѣлаго и сильнаго дарованія. Фантазія поэта, по мнѣнію Полевого, никогда не создастъ ничего подобнаго судьбѣ Бориса Годунова. Такимъ образомъ, цѣль и выборъ прекрасны. Исполненіе же весьма неудовлетворительно, по мнѣнію критика. Особенно неудачны Борисъ Годуновъ и Самозванецъ, хотя послѣдній все-таки лучше. «Борисъ — лицо намъ незнакомое,— говоритъ критикъ,— съ робкою совѣстью, съ унылою грустью, съ терзаніемъ души является вдругъ, мимоходомъ, на минуту принять вѣнецъ, и пять лѣтъ послѣ того пролетѣло безъ дѣйствія! Другая сцена: Борисъ груститъ, какъ неопытный юноша, какъ будто въ двадцать лѣтъ правленія при Ѳеодорѣ и лично онъ не зналъ ни вѣнца, ни бояръ, ни народа. Онъ приходитъ потомъ еще разъ полюбоваться на дѣтей; что-то разыгрывается въ немъ, но едва успѣлъ ему Шуйскій напомнить о царевичѣ, Борисъ бѣжитъ со сцены. Въ думѣ своей, лишь только патріархъ напомнилъ о смерти царевича, Борисъ потѣетъ и тотчасъ удаляется. Наконецъ, въ послѣдней сценѣ — только что Борисъ разговорился о своихъ великихъ намѣреніяхъ, какъ спѣшитъ за кулисы, и оттуда выносятъ его проговорить 65 стиховъ піитическаго завѣщанія сыну. Таковъ ли долженъ быть страшный преступникъ, въ которомъ заклю-

чается сущность цѣлой драмы?» спрашиваетъ Полевой, ограничиваясь однимъ вопросомъ; потому что самъ, вѣроятно, не могъ отвѣтить да и не отвѣтилъ въ своей статьѣ. Вопросъ этотъ совершенно невѣрный, ибо Борисъ не составляетъ «сущности драмы». Комическая же характеристика Бориса, сдѣланная Полевымъ, говоритъ только объ его тенденціозномъ отношеніи къ драмѣ Пушкина и объ его непониманіи задачи этого созданія.

Самозванецъ сносенъ, но тоже, какъ и Годуновъ, не вѣренъ исторической правдѣ. Эта «историческая правда» играетъ у Полевого роль главнаго обвинителя Пушкина, но такого обвинителя, котораго боится показать самъ Полевой публикѣ. Критикъ передаетъ, не разсуждая, ея приговоры, ни словомъ не обмолвясь о томъ, какова же эта строгая, неумолимая «историческая правда»? Каковы же будутъ характеры, изображенныя согласно съ ней? Общія заключенія Полевого о «Борисѣ Годуновѣ» таковы. Твореніе Пушкина есть «великое явленіе нашей словесности, какъ шагъ къ настоящей романтической драмѣ»; вмѣстѣ съ тѣмъ «Бориса» «должно почесть окончательнымъ твореніемъ Пушкина до нынѣшняго времени (это писано въ 1833 году), ибо въ немъ соединены всѣ достоинства и недостатки поэта, вся сущность его поэзіи. Слѣдовательно, Пушкинъ, какъ русскій литераторъ, является въ своей драмѣ съ новымъ блескомъ, но, какъ «европейскій писатель», какъ современный драматикъ XIX вѣка, онъ далеко не достигъ совершенства, коего могъ бы достигнуть.

Критикъ «Сына Отечества», называя Пушкина первымъ народнымъ поэтомъ послѣ Крылова, «окончательнымъ образователемъ внѣшней стороны нашей поэзіи», превзошедшимъ въ сладкозвучіи стиховъ даже Батюшкова, съ другой стороны упрекаетъ поэта за бѣдность содержанія въ его поэмахъ, за недостатокъ въ нихъ единства, идеи, цѣлости, поэтической истины, часто незамѣтной изъ-за прелести формы. Неудачно содержаніе выбрано и въ «Борисѣ», который не можетъ считаться драмой, ибо не имѣетъ ни цѣло-

сти, ни другихъ качествъ, необходимыхъ, по теоріи критика, для драматическаго произведенія. Теорія критика такова. На вопросъ: что можетъ составить драму? онъ самъ себѣ отвѣчаетъ: «живыя дѣянія, рождаемыя и сопровождающіяся сильными, постоянными чувствованіями или чувствованія, являющіяся въ живыхъ дѣяніяхъ, питаемыхъ мечтами, устрояемыхъ сильнымъ разумомъ къ возвышенію нравственнаго бытія человѣка». Послѣ такого туманно-возвышеннаго опредѣленія, критикъ вдругъ умозаключаетъ: «итакъ, драма, какъ изящное произведеніе, требуетъ извѣстной идеи и сообразнаго оной выраженія; она нуждается въ стройности цѣлаго, въ доблести чувствованій и помысловъ и въ пріятности формъ»; представляя дѣянія нравственно-духовныхъ существъ, драма не терпитъ характеровъ обыкновенныхъ, ибо она есть высшее развитіе изящной поэзіи, которая должна выражать «въ звучной, согласно-текущей рѣчи міръ идеальный». Для драмы необходима занимательность дѣйствія и четыре единства: времени, мѣста, дѣйствія и характеровъ. Драма можетъ обнимать столько времени, сколько по естественному ходу дѣлъ, чувствованій и идей какъ силы, движущей героевъ, послѣдніе могутъ сохранять свой характеръ. Драматическій поэтъ, представляя въ изящныхъ видахъ свободно-дѣятельную сторону человѣка, отдаленнѣйшею цѣлью имѣетъ нравственность. Поэтому дѣйствіе драмы должно быть назидательно, притомъ какъ общій ходъ ея, такъ и частные поступки лицъ, ихъ мысли и чувствованія, изображая собственные ихъ характеры, должны выражать и характеръ того народа и духъ того времени, къ которымъ принадлежитъ дѣйствіе. Языкъ, также удовлетворяя этимъ требованіямъ, долженъ быть чистъ, благороденъ, звученъ и выразителенъ.

Прилагая свою теорію къ «Борису Годунову», критикъ не находитъ въ немъ ни «подвиговъ доблестныхъ», ни «сильныхъ, возвышенныхъ чувствованій», ибо кромѣ двухъ-трехъ мѣстъ все остальное «милые, живые, вѣрные списки съ обыкновенной природы». Дѣйствіе драмы не имѣетъ ни

единства, ни полноты, ибо сначала «дѣйствующая сила содержанія» въ «Борисѣ», а затѣмъ все принимаетъ другой видъ: дѣйствіе проистекаетъ изъ Самозванца, такъ что Бориса уже нѣтъ, а драма все еще продолжается. Множество мастерскихъ картинъ не имѣютъ здѣсь никакой цѣли и ни мало не способствуютъ ходу цѣлаго. Дѣйствіе оттого теряетъ единство, что поэтъ взялъ разнохарактерное время. По своей разнохарактерности оно не можетъ входить въ одну драму, заключаясь хотя бы «всего въ пяти часахъ». Дѣйствующія лица въ началѣ драмы являются съ такими «побужденіями и желаніями, которыхъ онѣ послѣ бѣгутъ, не терпятъ». Такова, по мнѣнію критика, загадочная личность Григорія. Борисъ совсѣмъ не имѣетъ характера; онъ дѣйствуетъ несравненно менѣе, чѣмъ въ исторіи, хотя отъ поэзіи можно всегда ожидать болѣе. Въ драмѣ нѣтъ ни одного рѣшительнаго движенія воли его, кромѣ возвышенія Басманова. Второстепенныя лица совершенно не дѣйствуютъ, ни одно изъ нихъ не имѣетъ собственнаго желанія или идеи, такъ сказать, привязывающей его къ общему дѣйствію. Недостатокъ связи въ ходѣ цѣлаго заставляетъ безпрестанно «переселяться съ мѣста на мѣсто безъ всякой нужды». Это кочеванье происходитъ оттого, что поэтъ выбираетъ мѣста, совсѣмъ неспособныя развивать дѣйствіе, а иногда и прямо противорѣчащія дѣйствію. Бориса нѣтъ, но драма еще не кончена: еще остаются три сцены, которыя не имѣютъ никакихъ красотъ, сколько нибудь искупающихъ излишество. Такимъ образомъ, Пушкинъ въ «Борисѣ» «не упалъ», какъ нѣкоторые утверждаютъ, а сдѣлалъ «только одинъ шагъ, и сталъ на двухъ неравныхъ высотахъ неравной твердости, неравнаго объема». «Борисомъ» поэтъ доказалъ, что многое можетъ сдѣлать и ничего не сдѣлалъ. Это произошло оттого, что, избравъ для своей драмы «несоразмѣрный, разнохарактерный періодъ», поэтъ принужденъ былъ изображать несвязныя сцены, которыя слить въ одно цѣлое безсильно было даже вдохновеніе.

Нужно ли говорить о другой статьѣ «Сына Отечества»,

которая, повторяя нѣкоторые взгляды своего предшественника, прибавляетъ кое-что бездоказательно-абсурдное и отъ себя? Нужно ли говорить о странномъ мнѣніи критика, что Пушкинъ долженъ былъ бы продолжать свою драму до тѣхъ поръ, пока не выяснилась бы судьба оставленнаго народа, «безмолвствующаго въ ужасѣ за свою судьбу», — о странномъ мнѣніи, что развитіе событій въ «Годуновѣ» «вяло и неясно», что лицо Марины Мнишекъ «неестественное, фантастически-уродливое; что не раскрыта истинная поэзія событія» и пр., и пр. Мы не будемъ говорить о мелкихъ рецензіяхъ и статейкахъ, ибо онѣ не имѣютъ никакого литературнаго значенія. Приведенныя нами выше мнѣнія, кажется, достаточно характеризуютъ пріемъ, оказанный критикой первой русской народной трагедіи. Никто не посмотрѣлъ на «Бориса Годунова» съ этой точки зрѣнія; народности драмы не поняли; упрекнули поэта за несвоевременное написаніе драмы, непонятной для большинства (упивавшагося романами Полевого, Марлинскаго, Загоскина и др., восторгавшагося драмами того же Кукольника); сдѣлали кое-какую, приблизительно эстетическую вѣрную оцѣнку, отъ которой, какъ мы ниже увидимъ, недалеко ушелъ и Бѣлинскій, утверждая, напримѣръ, что съ Пушкинской точки зрѣнія одни сцены хороши, а съ его точки зрѣнія тѣ же сцены слабы, что Борисъ — мелодраматическій злодѣй и забывая при этомъ Шекспировскаго Макбета, который тоже, совершивъ преступленіе, изнемогаетъ, падаетъ духомъ и мучится совѣстью и проч.

Неоцѣненный при жизни поэта «Борисъ Годуновъ» не былъ вѣрно истолкованъ и по смерти Пушкина. Намъ кажется, что эту великую драму могъ бы по достоинству оцѣнить Ап. Григорьевъ, такъ вѣрно понявшій народныя начала Пушкинской поэзіи вообще. Но, къ сожалѣнію, даровитый и чуткій критикъ этого не сдѣлалъ. «Борисъ Годуновъ» до сихъ поръ еще ожидаетъ нелицепріятнаго разбора, оставаясь въ нашей драматической литературѣ единственнымъ колоссальнымъ образцомъ истинно-народной исторической трагедіи.

Опасенія Пушкина оправдались: его драма въ русской литературѣ стоитъ совсѣмъ одиноко, имѣя лишь немногихъ позднѣйшихъ послѣдователей, не могшихъ создать ничего подобнаго по глубинѣ художественнаго творчества и проникновеннаго пониманія русской народной жизни въ эпоху Бориса Годунова. На современную драматургію «Борисъ» не оказалъ почти никакого вліянія: на сценѣ царили Кукольникъ, Полевой и т. п.

ГЛАВА XI.

Охлажденія критики и публики къ Пушкину послѣ выхода въ свѣтъ «Бориса Годунова».—Въ чемъ кроются истинныя причины такого несправедливаго охлажденія.—Мнѣнія по этому поводу нѣкоторыхъ тенденціозныхъ изслѣдователей.—Причины охлажденія критики кроются въ отсутствіи наличныхъ критическихъ силъ, способныхъ подняться до уровня Пушкинскаго творчества послѣдняго періода. — Характеристики Шевырева, издателей «Сѣверной Пчелы» и барона Брамбеуса (Сенковскаго). — Характеристика литературной дѣятельности Бѣлинскаго. — Три періода, характеръ и значеніе каждаго изъ этихъ періодовъ. — Разборъ главныхъ статей каждаго изъ періодовъ. — Общія заключенія о значеніи критико-просвѣтительной дѣятельности Бѣлинскаго для исторіи русской цивилизаціи вообще и для русской литературы въ частности.

«Борисъ Годуновъ» былъ послѣднимъ произведеніемъ Пушкина, вызвавшимъ оживленные журнальные толки. Съ этого времени вплоть до самой смерти поэта, встрѣченной въ журнальномъ мірѣ почти всеобщимъ молчаніемъ, часть журналистики молчала, занятая совсѣмъ другими вопросами; часть не понимала смысла великой дѣятельности геніальнаго поэта, вступившаго въ совершенно новый періодъ просвѣтленнаго, гармонично-уравновѣшеннаго, примиреннаго съ дѣйствительностью творчества; опять раздавались банальныя похвалы, — опять повторялись общія истрепанныя рецензентскія фразы; нѣкоторые поэта считали умершимъ или, можетъ быть, обмершимъ на время и оплакивали горькую, невозвратную потерю. Говорили, что царство Пушкина продолжалось десять лѣтъ, а теперь кончилось, ибо, судя по третьей части его стихотвореній, по «мертворожденнымъ»

сказкамъ, Анджело, по повѣстямъ Бѣлкина, которыя были названы Полевымъ «сказочками», а Бѣлинскимъ «побасенками», звуки гармонической лиры поэта замерли (или умерли?). Сначала было не хотѣли вѣрить, что талантъ Пушкина угасъ, но, напр., въ 1835 году, при появленіи въ свѣтъ четвертой части стихотвореній, съ этимъ уже мирились, говоря, что о новыхъ произведеніяхъ поэта сказать ничего утѣшительнаго нельзя. Въ элегическомъ тонѣ критика заявляла, что Пушкинъ, если судить по сказкамъ и Анджело, никогда болѣе не воскреснетъ, и остается только оплакивать горькую невозвратную потерю.

Четвертая часть стихотвореній тоже свидѣтельствуетъ о закатѣ таланта, хотя и таланта Пушкина. Въ этомъ закатѣ есть кое-какой блескъ, но блескъ слабый, блѣдный, жидкій. Геніальныя драматическія сцены въ родѣ: «Моцартъ и Сальери» и «Скупой Рыцарь» едва снискивали у критики нѣсколько благосклонныхъ замѣчаній, повидимому, совершенно не заслуживая обстоятельной оцѣнки. Бѣлинскій, напр., разбирая первый томъ Пушкинскаго «Современника», говорилъ: «Скупой Рыцарь», отрывокъ изъ Ченстоновой трагикомедіи, «переведенъ хорошо, хотя, какъ отрывокъ, и ничего не представляетъ для сужденія о себѣ» [1]). Стихотворенія, печатавшіеся въ «Современникѣ» и «Капитанская Дочка» прошли почти при гробовомъ молчаніи журнальной критики, которая въ какомъ-то слѣпомъ упорствѣ твердила о паденіи таланта творца «Бориса Годунова», «Онѣгина» и пр. созданій перваго и второго періода поэтической дѣятельности поэта. Замѣчательно, что среди упорствующихъ, какъ мы уже говорили, былъ и Бѣлинскій, только что начавшій свое критическое поприще.

Въ чемъ же искать причинъ такого до поразительности страннаго явленія? Виноватъ ли въ этомъ охлажденіи критики самъ поэтъ или виновата критика? Можетъ быть, Пушкинъ былъ причиной такого отношенія: онъ на русскую

[1]) Т. II, стр. 267.

жизнь самъ смотрѣлъ, какъ увѣряютъ нѣкоторые позднѣйшіе изслѣдователи, глазами равнодушнаго поэта-созерцателя, онъ удалился отъ современности въ исторію и принялся за изображеніе совершенно чуждаго русскимъ быта и лицъ. Въ своихъ «аристократическихъ» воззрѣніяхъ Пушкинъ сталъ вполнѣ подходить, увѣряютъ тѣ же изслѣдователи, къ «реакціонно-благонамѣреннымъ» сторонникамъ правительственнаго обскурантизма. Вотъ почему общество и критика охладѣли къ поэту и заговорили о паденіи таланта. Пушкинъ къ этому времени, продолжаютъ тенденціозные изслѣдователи, уже совершилъ свое поэтическое поприще: онъ «положилъ послѣдній камень въ формальномъ образованіи нашей литературы, установилъ въ ней права и требованія художественной поэзіи, уничтожилъ всѣ старыя и узкія понятія и предразсудки, создалъ поэтическій языкъ, свободный отъ реторики и натянутости; поэзія была поставлена въ понятіяхъ общества на подобающее ей мѣсто и получила свой настоящій смыслъ» [1]).

Въ тридцатыхъ годахъ Пушкинъ сталъ проповѣдникомъ принципа «искусство для искусства», на общественные вопросы смотрѣлъ «съ карамзинской точки зрѣнія», имѣлъ мнимо-высокое понятіе о своемъ «пророческомъ посланничествѣ» и, такимъ, образомъ преувеличивалъ «свое мнимое превиллегированное положеніе», считая себя провозвѣстникомъ высокихъ истинъ и относясь равнодушно или даже враждебно къ живѣйшимъ интересамъ общества. Но справедливы ли подобные изслѣдователи, обвиняющіе поэта «въ мелочной погонѣ за аристократизмомъ», въ «стихотворныхъ комплиментахъ» властямъ предержащимъ и въ полнѣйшемъ равнодушіи къ обществу? На этотъ вопросъ при немного-безпристрастномъ отношеніи къ дѣлу никакъ нельзя отвѣтить утвердительно. Стоитъ только взглянуть на состояніе тогдашней пустоцвѣтной журналистики и критики, чтобы понять всю тенденціозность подобныхъ обвиненій: молчаніе критики и рав-

[1]) Пыпинъ, Характеристики литер. мнѣній, стр. 50.

нодушіе общества не есть еще признакъ того, что поэтъ враждебно относился къ современности, что произведенія его того заслуживали, что прежній либеральный вождь сталъ обскурантомъ. Только преднамѣренная несправедливость можетъ такъ разсуждать и такъ умозаключать. Факты, наоборотъ, покажутъ, что сама критика почти тотчасъ послѣ трагически-безвременной смерти великаго поэта смѣялась надъ своими удивительными промахами. Для этого нужно только сравнить мнѣнія Бѣлинскаго о «Скупомъ Рыцарѣ» въ 1836 г. и 1837 г.[1]) Сейчасъ мы покажемъ, что критика 30-хъ годовъ по своему критическому безсилію не могла понять геніально-художественныхъ твореній Пушкина, когда онъ сталъ «заклинателемъ всѣхъ стихій».

Что же представляла изъ себя журналистика тридцатыхъ годовъ, кто являлся въ ней руководителемъ общественнаго мнѣнія, если таковое только было,—были ли дѣйствительно талантливыя критическія силы, которыя бы могли стоять въ уровень съ поэтомъ? Едва ли. Въ тридцатыхъ годахъ являются новые журналы, между которыми особенное значеніе пріобрѣтаютъ: «Библіотека для Чтенія», основанная въ 1834 году, издававшаяся Смирдинымъ подъ редакторствомъ Сенковскаго, и «Отечественныя Записки», основанныя всего въ 1839 году, слѣдовательно уже по смерти Пушкина. При жизни его въ тридцатыхъ годахъ, кромѣ того, появились Надеждинскій «Телескопъ» съ «Молвой» (1831 г.) просуществовавшіе всего четыре года и выдвинувшіе новаго критика—Бѣлинскаго, да «Московскій Наблюдатель», въ которомъ дѣйствовалъ въ качествѣ критика Шевыревъ до 38 года. Положимъ, что общія воззрѣнія этого критика были основательны: онъ требовалъ отъ критики національности, воспитанной національною наукой и основанной на глубокомъ изученіи исторіи словесности; тогда бы и сама литература, по его мнѣнію, достигла бы высокихъ національныхъ созданій и не ограничивалась отрывочными и мелкими про-

[1]) См. II томъ, стр. 267 и 333.

изведеніями. Пушкинъ относился съ полнымъ уваженіемъ къ «истинному критическому таланту» Шевырева [1]). Но въ своихъ разборахъ онъ поражалъ крайней оригинальностью мнѣній и полнымъ отсутствіемъ вкуса. Критическія статьи его не уступали стихамъ. Если своими октавами [2]) Шевыревъ думалъ еще при Пушкинѣ произвести реформу въ русской поэзіи, октавами достойными «Телемахиды», то и критическія статьи имѣли малую цѣнность, ибо въ нихъ критикъ превозносилъ трескучую поэзію Бенедиктова, вычурныя повѣсти Павлова, находилъ кое-что поправить у Гоголя, а Лермонтова упрекалъ въ подражаніи Бенедиктову. Отъ такого судьи, конечно, нельзя было ждать вѣрной оцѣнки, нельзя было ждать и отъ другихъ наличныхъ критическихъ силъ: этого не могъ сдѣлать даже Бѣлинскій, не говоря уже о Булгариныхъ и Сенковскихъ, хотя послѣдній игралъ главенствующую роль въ журналистикѣ тридцатыхъ годовъ.

«Сѣверная Пчела» продолжала быть «исправной ежедневной афишей», по мѣткому выраженію Гоголя въ его статьѣ: «О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 годахъ» [3]). Эта газета не имѣла никакого опредѣленнаго литературнаго тона. Она была какой-то «корзиной», въ которую всякій сбрасывалъ все, что ему хотѣлось. Разборы книгъ,

---

[1]) V, стр. 341.

[2]) Позволимъ себѣ привести, — конечно не цѣликомъ, ибо это весьма затруднительно для читателя,—одну изъ тѣхъ замѣчательныхъ Шевыревскихъ октавъ, которыми ученый критикъ перевелъ «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса. Переводчикъ такимъ образомъ описываетъ сражающагося Танкреда:

Потомъ кружитъ отселѣ и оттолѣ,
И вновь кружитъ оттолѣ и отселѣ,
И всякій разъ вскѣпая болѣ и болѣ,
Разитъ врага тяжелѣ и тяжелѣ и пр.

См. соч. Бѣлинскаго, т. II, стр. 107. Въ третьемъ стихѣ должно быть произведено сліяніе гласныхъ (болѣ + и = боль' и) на манеръ языковъ классическихъ или итальянскаго. Конечно, подобныя нововведенія свидѣтельствовали только о самомъ прискорбномъ непониманіи языка, а весь вообще дебелый и дубовый переводъ о дикомъ вкусѣ самозваннаго поэта.

[3]) Соч., II, стр. 267—289, изданіе второе, 1867 г.

всегда благосклонные, писались пріятелями или самими авторами. По словамъ Пушкина [1]), Николай Ивановичъ Гречъ и Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ являли собой «утѣшительный примѣръ согласія, основаннаго на взаимномъ уваженіи, сходствѣ душъ и занятій гражданскихъ и литературныхъ», хотя это согласіе подчасъ и прерывалось такими возгласами Греча о своемъ другѣ Булгаринѣ: «этотъ пачкунъ и мерзавецъ ссоритъ меня со всѣми порядочными людьми, маратъ меня своимъ товариществомъ; но что дѣлать? онъ человѣкъ дѣловой и расторопный!» [2]) Въ «Сѣверной Пчелѣ» пробовали «остроту пера» разные незнакомцы, рецензіи которыхъ, по своей безцвѣтности, удивительно походили другъ на друга. Но любопытнѣе всего тѣ восхваленія, которыя Гречъ воздавалъ Булгарину, а Булгаринъ Гречу. Такъ Пушкинъ говоритъ: «Ѳаддей Венедиктовичъ скромно призналъ себя ученикомъ Николая Ивановича; Николай Ивановичъ поспѣшно провозгласилъ Ѳаддея Венедиктовича ловкимъ своимъ товарищемъ; Ѳаддей Венедиктовичъ посвятилъ Николаю Ивановичу своего «Дмитрія Самозванца»; Николай Ивановичъ посвятилъ Ѳаддею Венедиктовичу свою «Поѣздку въ Германію», Ѳаддей Венедиктовичъ написалъ для «Грамматики» Николая Ивановича хвалебное предисловіе, Николай Ивановичъ въ «Сѣверной Пчелѣ» (издаваемой гг. Гречемъ и Булгаринымъ) напечаталъ хвалебное объявленіе объ «Иванѣ Выжигинѣ». Конечно, не отъ автора «Выжигина» нужно было ждать критической оцѣнки «Скупого Рыцаря» или «Капитанской дочки», также какъ и не отъ рецензентовъ, писавшихъ въ «Пчелѣ» съ равнымъ успѣхомъ и о новыхъ книгахъ, и о новыхъ табачныхъ фабрикахъ, открывшихся въ столицѣ, о помадѣ и пр.

Въ «Сѣверной Пчелѣ» раньше было высказано множество противоположныхъ одно другому мнѣній, но въ боль-

---

[1]) Т. V, стр. 171 и слѣд.: «Торжество дружбы, или оправданный Алек. Анѳ. Орловъ».

[2]) См. Греча: «Записки о моей жизни». Спб. 1886 г., стр. 457.

шинствѣ случаевъ шаблонно-похвальныхъ. Вообще мнѣнія этой газеты объ изящной литературѣ того времени, какъ русской, такъ и иностранной, поражаютъ своимъ безвкусіемъ. «Сѣверная Пчела» Соколовскихъ, Якубовичей, Тимофеевыхъ ставила чуть не въ уровень съ Пушкинымъ, строго осуждая всю дѣятельность Гоголя за то, что онъ сознательно унижаетъ Россію, выводя на свѣтъ одну житейскую грязь и чиновничьи злоупотребленія. Отношенія «Пчелы» къ Пушкину подъ конецъ его жизни имѣютъ особый интересъ, потому что здѣсь замѣшивалась журнальная конкурренція съ «Современникомъ». Извѣстіе объ изданіи Пушкинымъ этого журнала (который и затѣвался въ отпоръ литературнымъ монополистамъ) было встрѣчено «Пчелою» хладнокровно, она даже вступилась за «Современникъ» послѣ рьяныхъ нападокъ на него «Библіотеки для Чтенія» [1]); но вскорѣ умѣренность была забыта и «Пчела» стала съ умысломъ пошатывать литературную знаменитость Пушкина. Немного времени спустя, по поводу изданія «Полтавы» на малороссійскомъ языкѣ, «Сѣверная Пчела» [2]) обратилась къ Пушкину съ слѣдующею элегическою рѣчью: «Но отчего же муза поэта умолкла? Ужели поэтическія дарованія старѣютъ такъ рано?.. Видно, что такъ, потому что поэтъ сдѣлался журналистомъ. Печальная перемѣна! Поэтъ промѣнялъ золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста, князь мысли сталъ рабомъ толпы, орелъ спустился съ облаковъ. И для чего же онъ промѣнялъ свою блестящую завидную судьбу на долю труженика? Для того, чтобы имѣть удовольствіе высказать нѣсколько горькихъ упрековъ своимъ врагамъ, т. е. людямъ, которые были несогласны съ нимъ въ литературныхъ мнѣніяхъ, которые требовали отъ его дремлющаго таланта новыхъ, совершеннѣйшихъ созданій, угрожая въ противномъ случаѣ свести съ престола (detrôner) его значительность?..» — Не-

[1]) «Сѣвер. Пчела». 1836 г., № 86.
[2]) 1831 г., № 162.

сравненно болѣе расположенія, чѣмъ Пушкину, оказывала «Сѣверная Пчела» барону Брамбеусу и его журналу. Въ произведеніяхъ Брамбеуса «Пчела» усматривала необыкновенный умъ и талантъ, и предсказывала ему такое высокое мѣсто въ литературѣ, что до него не достигнутъ ни московскія, ни петербургскія критическія стрѣлы. Дружескія отношенія «Пчелы» къ «Библіотекѣ для Чтенія» никогда не нарушались, и споры, иногда возникавшіе между ними, не пріобрѣтали характера важной и продолжительной размолвки. По мнѣнію этой газеты, «Библіотека»—лучшій современный журналъ, какихъ никогда еще не было на Руси. «Что «Библіотека для Чтенія» между журналами, то «Сѣверн. Пчела» между газетами»,—такъ классически-нагло похвалялась знаменитая «Ежедневная афишка».

Не могъ оцѣнить Пушкина и знаменитый Сенковскій—Брамбеусъ. Не нападая на Пушкина и прямо не говоря критическаго вздора, печатая даже въ своемъ журналѣ его произведенія до основанія въ 1836 году Пушкинскаго «Современника», тѣмъ не менѣе Брамбеусъ косвенно, своимъ молчаніемъ, доказывалъ свое критическое безсиліе, хотя въ другихъ случаяхъ и былъ замѣчательнымъ для своего времени журналистомъ.—Баронъ Брамбеусъ имѣлъ почти всѣ качества, нужныя для того, чтобы играть важную и плодотворную роль въ литературѣ, особенно въ журналистикѣ. Одна изъ главныхъ задачъ журналиста есть распространеніе среди своихъ читателей положительныхъ знаній, ознакомленіе публики съ фактами науки. Брамбеусъ обладалъ обширной начитанностью по всѣмъ отраслямъ знанія, а по многимъ и основательными познаніями. Во многихъ случаяхъ, положимъ, его знанія оказывались почерпнутыми изъ устарѣлыхъ или плохихъ источниковъ, особенно по философіи, эстетикѣ, политической экономіи, нѣкоторымъ отдѣламъ всеобщей исторіи, наконецъ, по индо-европейской филологіи. Но естественныя науки онъ любилъ и зналъ основательно; а что касается Востока, онъ былъ въ свое время однимъ изъ лучшихъ оріенталистовъ въ Европѣ. Однако, не смотря на свой умъ и та-

лантъ, Сенковскій былъ любопытнымъ образчикомъ литературнаго пустоцвѣта. Брамбеусъ былъ одаренъ способностью писать очень легко и популярно и завиднымъ искусствомъ излагать свои мысли о самыхъ щекотливыхъ предметахъ съ достаточной ясностью. Тонкости греческихъ діалектовъ излагались такъ популярно, такъ мѣтко охватывалась авторомъ сущность и подробность вопроса, что читатель охотно пробѣгалъ подобную чрезвычайно спеціальную статью. Ученость, проницательный умъ, остроуміе, умѣнье вѣрно понять обстоятельства, подчинить ихъ себѣ, пріобрѣсть огромныя средства для дѣйствія на публику, трудолюбіе, сознаніе собственнаго достоинства, — все въ высокой степени соединилось въ этомъ писателѣ.

Но, къ сожалѣнію, лиллипутскія забавы соблазнили Брамбеуса; остроумничанье онъ избралъ своею спеціальностью, стараясь ни однаго слова не сказать безъ прикрасъ остроумія; на остроумничанье онъ растратилъ всѣ свои силы, забывъ о всякой другой аренѣ. Не смотря на сильный и оригинальный умъ, въ Сенковскомъ замѣчалось полное отсутствіе эстетическаго вкуса, полное отсутствіе критическихъ началъ, всякое отсутствіе какого бы то ни было міровоззрѣнія. Кого онъ хвалилъ? Посредственнаго стихотворца Тимофеева, котораго ставилъ соперникомъ Пушкину, третьестепеннаго писателя Масальскаго, называя его остроумнымъ и талантливымъ, Фанъ-Дима, Бернета, Очкина, Зотова, — написалъ, наконецъ, изумившую всѣхъ хвалебную статью Кукольнику за его «Торквато Тассо», въ которой напыщенно-ходульнаго драматурга возводилъ прямо въ геніи и т. д. и т. д. Увѣренность и счастливыя обстоятельства, въ которыя онъ умѣлъ себя поставить, такъ что, наконецъ, сдѣлался полнымъ распорядителемъ единственнаго сильнаго журнала, внушили ему мысль, что онъ можетъ вертѣть этою литературою и этою публикою, какъ ему вздумается. Онъ думалъ, что такъ какъ наша исторія еще мало разработана, наша литература еще мало развита, съ иностранными литературами мы еще мало знакомы, литературныя мнѣнія еще

шатки въ большинствѣ публики, то онъ можетъ сдѣлаться первымъ нашимъ беллетристомъ, можетъ передѣлать всю нашу исторію блестящими гипотезами, можетъ, наконецъ, увѣрить публику во всемъ, что ему вздумается.

Сенковскій началъ писать повѣсти, передѣлывая и переводя Бальзака, Жюля Жанена, Марріэта, Вольтера, Лессажа, Фильдинга, Рабле и др. Онъ рѣшился доказывать, что языкъ Нестеровой лѣтописи—польскій, что литовцы коренные русскіе славяне, что «славянинъ» значитъ «человѣкъ», а «славяне» — «человѣки», что китайскій языкъ отличается отъ еврейскаго только интонаціей, что «Иліада» и «Одиссея» писаны на бѣлорусскомъ нарѣчіи, что Киръ и его персы говорили нарѣчіемъ, близкимъ къ бѣлорусскому, такъ что персепольскую клинопись скорѣе всего можно прочитать на бѣлорусскомъ нарѣчіи, и т. д. и т. д. Остроуміе критическихъ статей и рецензій Сенковскаго очень однообразно и вложено въ нихъ всегда чисто механическимъ способомъ. Все искусство Брамбеуса, обыкновенно, состояло въ томъ, чтобы ловить неправильныя фразы въ разбираемой книгѣ и потомъ повторять ихъ нѣсколько разъ; если заглавіе книги не совсѣмъ удачно, то посмѣяться и надъ заглавіемъ; если можно, то прибрать какія нибудь подобнозвучныя и подобозначныя слова заглавію или фамиліи автора и, повторяя ихъ нѣсколько разъ, перемѣшивать, напр.: «Московскій Наблюдатель» называть то «Московск. Надзирателемъ», то «Московск. Надирателемъ», то «Московск. Соглядатаемъ» и пр. Разбирая книжку, на которой авторъ, какой нибудь Протопоповъ, выставилъ свою фамилію такъ: Пр. т. п. п. въ,—разъ двадцать повторить: «говоритъ г. П. п. п. п. п. ъ», «говоритъ г. П. р. р. р. р. ъ», «говоритъ г. П. п. п. п. р. р. р. р. ъ» и т. д. Авторъ статей «о гоголевскомъ періодѣ русской литературы» мѣтко замѣчаетъ, что по этому незамысловатому рецепту остроумія разборъ «Мертвыхъ душъ» могъ бы быть написанъ Брамбеусомъ слѣдующимъ образомъ. Выписавъ заглавіе книги «Похожденія Чичикова, или Мертвыя души», критикъ прямо началъ бы: «Прохлажденія Чхи! чхи! кова—

не думайте читатель, что я чихнулъ,—я только произношу заглавіе новой поэмы г. Гоголя, который пишетъ такъ, что его можетъ понять только одинъ Гегель... Я отдохнулъ и продолжаю: Чхи... это грузинецъ: у грузинцевъ ни одна фамилія не обходится безъ чхи! чхи!.. Итакъ, «Прегражденія Чичикова, или Мертвыя Туши»... Не знаю о тушинцахъ ли, сосѣдяхъ грузинъ, говоритъ авторъ, или о Тушинскомъ ворѣ, или о бурой коровѣ, или о своихъ любимыхъ животныхъ, которыхъ такъ часто описываетъ съ достойнымъ искусствомъ», и т. д. и т. д.

Повѣсти Брамбеуса, его критическія статьи и рецензіи постоянно были писаны въ манерѣ Жюля-Жанена, этого литературнаго паяца, который тѣшилъ публику, безнаказанно давая щелчки тому и другому, пускалъ въ оборотъ и дѣльную мысль, и умышленный софизмъ изъ одного желанія попаясничать, потѣшиться. Журнальная проза, фельетонъ составляли стихію Жаненова таланта. Слогъ Жанена былъ удивительно растянутъ, вычуренъ, приторенъ, лишенъ всякой жизни и естественности. Одинъ фельетонъ Жаненъ писалъ, заключая каждую фразу восклицательнымъ знакомъ; другой, ставя послѣ каждыхъ двухъ-трехъ словъ нѣсколько точекъ; третій—начиная каждую фразу словами: «oh, que j'aime»; четвертый — словомъ hélas!» и т. д. Но повсюду онъ оставался вѣренъ двумъ правиламъ: говорить какъ можно меньше о дѣлѣ и какъ можно больше о пустякахъ, растягивая фразы до безконечности наборомъ десяти, пятнадцати синонимовъ, наборомъ безконечнаго ряда прилагательныхъ или глаголовъ. Эти Жюль-Жаненовскія претензіи на оригинальничанье и остроумничанье перенялъ Сенковскій.

У Жюль-Жанена часто замѣтенъ эстетическій вкусъ,—правда, слишкомъ утонченный, изысканный, но все-таки тонкій. У Сенковскаго при отсутствіи этого качества замѣтно болѣе учености; но не смотря на это, очень часто бываетъ трудно понять, чего хотятъ его рецензіи, ибо кромѣ замысловатыхъ фразъ и шуточекъ въ нихъ рѣшительно не на чемъ остановиться. Въ этомъ случаѣ самъ Сенковскій походилъ на

одно изъ дѣйствующихъ лицъ своей фантазіи: «Большой выходъ у Сатаны»,— «великаго чорта словесности» Точкостава, который, явившись къ Сатанѣ съ докладомъ, такъ, напр., объяснялъ причину своего долгаго отсутствія:

«Здоровъ ли ты, чортъ, Точкоставъ? сказалъ ему Сатана. — !..!!.. Слуга покорнѣйшій...!!!..?..!..!!!! вашей адской мрачности!!!!!..!..!..— Давно мы съ тобой не видались.—У вы!..!!!..??..?!..!!!!!!..! я страдалъ...!!!.. я жестоко страдалъ!!!!...!..!..!..? Мрачная влажность проникла въ стѣны души моей; гробовая сырость ея вторгнулась, какъ измѣна, въ мозгъ, и мое воображеніе, вися неподвижно въ семъ тяжеломъ, мокромъ, холодномъ туманѣ болѣзненности, мерцало только свѣтомъ слабымъ, блѣднымъ, дрожащимъ, неровно-мелькающимъ, похожимъ на ужасную улыбку рока, поразившаго остротою свою добычу,— оно мерцало свѣтомъ лампады, внесенной рукою гонимаго въ убійственный воздухъ ужаса и смрада, заваленной гніющими трупами и хохочущими остовами... Что это значитъ? воскликнулъ изумленный сатана.—Это значитъ??..!!!...?..!!!!!..!.. Это значитъ, что у меня былъ насморкъ, отвѣчалъ Точкоставъ».

Сенковскій, какъ самъ Сатана въ его повѣсти, упразднивъ классицизмъ и романтизмъ, какъ сущую безсмыслицу, осмѣявъ здравый смыслъ, искусство и философію тоже какъ вздоръ, явился въ русской литературѣ основателемъ «новой школы словесности», которую Сатана повелѣлъ основать въ своемъ аду,— «шарбалаамбарабурической» [1]).

Въ статьяхъ Сенковскаго не было ни одной серьезной мысли, ибо самъ критикъ не имѣлъ ихъ; его скептицизмъ, поверхностный и малоосновательный, распространялся на всѣ предметы, на всѣ теоріи и убѣжденія; все сливалось передъ нимъ въ одинъ пестрый хаосъ, гдѣ тонуло рядомъ съ туманной нѣмецкой философіей, которой порядкомъ доставалось отъ Сенковскаго, всѣ практическія попытки преобразованій, рядомъ съ Гоголемъ—Кузмичевы и Орловы. Вообще, хотя Сенковскій въ теченіе 25 лѣтъ дѣйствовалъ какъ журналистъ, онъ не оставилъ послѣ себя почти никакихъ слѣдовъ, будучи диллетантомъ въ русской наукѣ и въ русской литературѣ. Редакторъ «Библіотеки для Чтенія» и журнали-

[1]) См. соч. Сенковскаго, т. I; стр. 417—419, изд. 1858 г. Спб.

сты «Сѣверной Пчелы» были самыми ярыми проповѣдниками застоя во всѣхъ отраслямъ общественной жизни; они шли дружно по одной и той же дорогѣ, сражаясь на пути и съ цѣлою Европою, и съ домашними зачатками противоположныхъ мыслей. Когда явились Гоголь, критика Бѣлинскаго, «натуральная школа» — «Пчела» и «Библіотека» всячески нападали на это новое движеніе. Смѣхотворство и шутовство Сенковскаго становилось рядомъ съ полицейскими доносами «Сѣверной Пчелы». Безспорный талантъ Сенковскаго не нашелъ себѣ болѣе полезной и благородной роли, и мы вполнѣ понимаемъ ту сосредоточенную злобу, которую питалъ къ нему Бѣлинскій во все время своего журнальнаго подвижничества. Отъ сильнаго ума, конечно, можно было больше требовать, чѣмъ отъ Ѳаддея Булгарина, и недюжинный умъ, ложно направленный, былъ вреднѣе самой вредной бездарности. Мы сказали, что диллетантская дѣятельность Сенковскаго не оставила почти никакого слѣда въ русскомъ общественномъ литературномъ развитіи, — но мы не сказали — «совсѣмъ». Отъ дѣятельности Сенковскаго нельзя отнять одной важной заслуги. Эта заслуга есть форма изложенія, доставлявшая читателей даже самой спеціальной статьѣ Брамбеуса; благодаря манерѣ редактированія «Библіотеки», всѣ отдѣлы стали доступны для публики, а это условіе, конечно, должно было содѣйствовать сближенію журналистики съ обществомъ; читатели перестали мало-по-малу считать «ученость» какимъ-то пугаломъ и невольно втягивались въ такіе вопросы, которые прежде считались мудреными и недоступными.

Ни одинъ изъ тогдашнихъ журналовъ не былъ такъ распространенъ, какъ «Библіотека для Чтенія»: въ то время едвали хотя одинъ журналъ расходился въ тысячѣ экземпляровъ, а «Библіотека для Чтенія» въ первые годы расходилась въ количествѣ отъ четырехъ до пяти тысячъ экземпляровъ. Бар. Брамбеусъ былъ главой въ этомъ журналѣ, онъ единовластно управлялъ его мнѣніями; всѣ критическія и библіографическія статьи приписывались ему, и справед-

ливо, потому что онъ передѣлывалъ и тѣ немногія, которыя были писаны не имъ. Онъ самъ говорилъ о своихъ заслугахъ русской литературѣ и до большинства публики не достигалъ ничей другой голосъ. Всѣ лучшіе русскіе литераторы были привлечены Смирдинымъ къ участію въ журналѣ. Такимъ образомъ, редактору оставалось только воспользоваться обстоятельствами. Кругъ читателей былъ уже распространенъ Пушкинымъ и его сподвижниками. «Библіотека для Чтенія» была обязана своимъ успѣхомъ участію Пушкина, почти всѣхъ литературныхъ знаменитостей того времени и положенію своего издателя Смирдина въ книжной торговлѣ, а не редактору. Дѣйствія редактора, напротивъ, были причиною паденія журнала. Не смотря на то, что Сенковскій 25 лѣтъ подвизался въ роли журналиста (1833—1858 гг.), пользуясь, повидимому, симпатіями публики, которая постоянно смѣялась его остроумію и нерѣдко дивилась его учености, — Сенковскій въ день смерти былъ оставленъ и забытъ тою же публикою. Смерть Сенковскаго была принята всѣми вяло и равнодушно. Разгадка такого страннаго явленія заключается въ томъ, что Сенковскій, повторяемъ, былъ диллетантомъ въ русской наукѣ и въ русской литературѣ. Сенковскій вышучивалъ романтизмъ и классицизмъ, а впослѣдствіи и реализмъ, не давая взамѣнъ ничего иного; Сенковскій насмѣхался и надъ философіей, и надъ политикой, и надъ наукой, и надъ литературой. Онъ не работалъ ни для науки, ни для литературы, какъ человѣкъ по призванію, жертвуя собой любимому дѣлу, а чрезъ него работая и для всего общества. Сенковскій, какъ диллетантъ, хватался за все съ единственной цѣлью — чтобы имъ любовались и восхищались, чтобы такъ или иначе занять общественное любопытство и обратить на себя общественное вниманіе. Онъ готовъ былъ пожертвовать и своими убѣжденіями, и своими лучшими вѣрованіями (если таковыя у него имѣлись, что, однако, подлежитъ сомнѣнію), лишь бы постоянно потѣшать невѣжественное большинство, угождая его нетребовательнымъ вкусамъ. Что значили для такого человѣка истины науки,

успѣхи и развитіе литературы? Онъ старался журналистикой достигнуть лишь личнаго благополучія, комфорта и роскоши, оставаясь для общества совершенно чуждымъ. Личная выгода была главнѣйшимъ стимуломъ его дѣятельности. Поэтому между обществомъ и Сенковскимъ не было никакой нравственной связи. Да и можетъ ли быть нравственная связь между клоуномъ, паяцемъ и его зрителями, хохочущими надъ уморительными кунштуками находчиваго лицедѣя? Сенковскій же и былъ такимъ литературнымъ клоуномъ и паяцемъ, который взялъ своего рода привиллегію на остроумничанье. Внутренняя безжизненность чувствуется въ самыхъ веселыхъ шуткахъ барона Брамбеуса. Вотъ почему общество такъ скоро, такъ, повидимому, безжалостно забыло Сенковскаго. Его забытая дѣятельность доказываетъ, что русская литература, какъ она ни молода, имѣетъ свою внутреннюю жизнь, свой организмъ, который выбрасываетъ изъ себя все мертвое и безполезное для своихъ соковъ.

Мы говорили уже, что даже Бѣлинскій въ тридцатыхъ годахъ былъ весьма далекъ отъ истиннаго пониманія Пушкина; эпизодично мы привели нѣсколько отдѣльныхъ мнѣній Бѣлинскаго, характеризуя вообще отношенія критики къ послѣднимъ произведеніямъ Пушкина, появившимся при концѣ его кратковременной жизни. Но тотъ же самый Бѣлинскій въ сороковыхъ годахъ явился лучшимъ эстетическимъ истолкователемъ Пушкина: къ эстетической оцѣнкѣ поэта, сдѣланной Бѣлинскимъ болѣе сорока лѣтъ назадъ, мало прибавлено даже теперь. Такая странная противорѣчивость взглядовъ коренится въ томъ, что критическіе взгляды великаго русскаго критика выработывались постепенно, проходя послѣдовательно три стадіи развитія. Это уже доказано всѣми изслѣдователями дѣятельности Бѣлинскаго. Только въ послѣднемъ періодѣ Бѣлинскому удалось, наконецъ, ставъ на эстетико-историческую точку зрѣнія, болѣе или менѣе оцѣ-

нить значеніе Пушкинской творческой дѣятельности, не избѣжавъ все-таки промаховъ, недомолвокъ и противорѣчій, о которыхъ мы скажемъ ниже, посвятивъ разбору статей Бѣлинскаго о Пушкинѣ, составляющихъ почти цѣлый восьмой томъ, отдѣльную главу. Такимъ образомъ, только пройдя чрезъ тяжелый искусъ внутренняго развитія, переживъ эпоху романтическихъ увлеченій и эпоху гегельянства, критикѣ Бѣлинскаго удалось сказать впервые о Пушкинѣ правдивое критическое слово.

Читая и разсматривая статьи Бѣлинскаго, нужно всегда имѣть въ виду періоды въ его дѣятельности, чтобы не приходить въ недоумѣніе отъ непримиримо-противорѣчивыхъ отзывовъ объ одномъ и томъ же писателѣ. Нужно всегда имѣть въ виду, что Бѣлинскій въ разные годы своей дѣятельности судилъ о литературныхъ произведеніяхъ на основаніи тѣхъ односторонніхъ идей, которыя въ данную минуту владѣли его горячей головой. Иногда даже встрѣчались противорѣчивые взгляды въ одномъ и томъ же періодѣ дѣятельности, когда въ головѣ Бѣлинскаго одновременно боролись разныя идеи. Поэтому, чтобы понять Бѣлинскаго, нужно изучить его во всѣхъ трехъ періодахъ и цѣнить во всей цѣлости его произведеній; чтобы узнать настоящее отношеніе критики Бѣлинскаго къ какому нибудь писателю, нужно сличить разновременные отзывы о немъ. При такомъ способѣ изученія оцѣнка того или другого писателя окажется почти всегда вѣрной.— Можно привести много примѣровъ противорѣчивости отзывовъ Бѣлинскаго. Такъ, напримѣръ, въ первомъ періодѣ критикъ благоговѣетъ предъ романтизмомъ Шиллера, ненавидитъ великаго поэта во второмъ и преклоняется предъ «трибуномъ человѣчества» въ третьемъ періодѣ. Къ Гёте Бѣлинскій равнодушно относится въ первомъ періодѣ; благоговѣетъ предъ его объективностью во второмъ періодѣ и охладѣваетъ къ нему въ третьемъ періодѣ за его индифферентизмъ и олимпійское величіе. Въ отношеніяхъ къ Пушкину сказывается инстинктивная, безсознательная любовь въ статьяхъ перваго періода,— причемъ Бѣлинскій горюетъ объ утратѣ прежняго Пушкина, т. е.

Пушкина временъ созданія «Кавказскаго Плѣнника», первыхъ главъ «Онѣгина» и проч., ибо слишкомъ сжился съ юношескою дѣятельностью Пушкина, чтобы сразу перейти вмѣстѣ съ поэтомъ въ иныя высшія сферы творчества. Во второмъ періодѣ критикъ благоговѣетъ передъ Пушкинымъ, какъ художникомъ; въ третьемъ же охладѣваетъ, осуждая поэта за недостатокъ гражданственности, хотя въ то же самое время указываетъ на гуманность стихотвореній поэта и признаетъ ихъ высокое нравственное достоинство на ряду съ великимъ воспитательнымъ значеніемъ Пушкинской поэзіи вообще. Съ инстинктивнымъ сочувствіемъ отнесся Бѣлинскій къ Грибоѣдову въ своихъ первыхъ статьяхъ; во второмъ періодѣ онъ написалъ статью, въ которой отрицалъ художественное значеніе «Горя отъ ума», называя его сатирой, и считалъ Чацкаго лицомъ комическимъ; въ третьемъ періодѣ Бѣлинскій признаетъ общественное значеніе комедіи, отзываясь о ней съ любовью и уваженіемъ.

Но всѣ эти противорѣчія и непослѣдовательности выкупаются однимъ вѣчно-цѣннымъ качествомъ, необходимымъ для критика,—качествомъ, никогда не покидавшимъ Бѣлинскаго, ибо онъ былъ богато надѣленъ имъ отъ природы. Это качество—великое эстетическое чувство, составляющее главнѣйшую способность всякаго литературнаго критика. Поэтому-то Бѣлинскій всегда прозрѣвалъ истину, хотя въ большинствѣ случаевъ не всю сразу, а только одну ея сторону, которая соотвѣтствовала теоріи или идеямъ этой минуты. Живое эстетическое чувство очень часто протестовало противъ этихъ идей и теорій, вступало съ ними въ борьбу и побѣждало ихъ. Съ отвлеченными идеями вступало въ борьбу у Бѣлинскаго и зачастую побѣждало ихъ сильное національное чувство, инстинктивная, могучая любовь къ родной землѣ. Бѣлинскій въ душѣ оставался всегда русскимъ человѣкомъ, горячо любящимъ свою землю, не смотря на свое западничество. Бѣлинскій всегда говорилъ, что въ нашемъ народномъ характерѣ заключаются великіе задатки, онъ вѣрилъ въ наше величайшее назначеніе въ исторіи че-

ловѣчества. Богато одаренная и мощная натура Бѣлинскаго, страстно отдаваясь овладѣвавшимъ ею теоріямъ, пережила и помогла пережить русскому обществу тѣ западно-европейскія начала, которымъ нужно было войти въ нашу исторію вслѣдствіе реформы Петра, чтобы стать элементомъ долженствовавшей сложиться новой жизни. Страсть была основнымъ началомъ дѣятельности Бѣлинскаго, увлекая его то въ романтизмъ, то въ гегельянство, то въ отвлеченно-историческое созерцаніе жизни. Въ переживаніи западно-европейскихъ началъ состояло великое назначеніе этой великой русской души. Съ другой стороны, такъ какъ главная сила Бѣлинскаго состояла въ живомъ пониманіи искусства, то другой его заслугой является созданіе русской критики и вмѣстѣ съ тѣмъ эстетической исторіи литературы.

Литературная дѣятельность Бѣлинскаго началась въ 1834 году статьей «Литературныя мечтанія», которая совершенно заслуженно произвела большое впечатлѣніе и на читателей, и на литературные кружки. Съ этихъ поръ начинается переломъ въ русской критикѣ, ибо здѣсь она впервые являлась какъ сознательно и горячо прочувствованная система мнѣній, смыслъ которыхъ не ограничивался одной областью эстетическихъ явленій, простираясь далеко за ихъ предѣлы въ пониманіи жизни цѣлаго общества въ его историческомъ развитіи. Это былъ съ огненнымъ увлеченіемъ написанный, живой, а иногда и блестящій обзоръ исторической судьбы русской литературы отъ Кантемира до новѣйшаго времени. Примѣры художественнаго пониманія и серьезныхъ критико-философскихъ воззрѣній были и до Бѣлинскаго; но до Бѣлинскаго не было такой цѣльности взгляда, силы убѣжденія, искренности чувства. Дальнѣйшими работами Бѣлинскій обратилъ на себя еще большее вниманіе и вскорѣ пріобрѣлъ самыя искреннія симпатіи у людей, умѣвшихъ дорожить успѣхами литературы,—особенно же въ новомъ литературномъ поколѣніи. Успѣхъ, конечно, шелъ рядомъ съ враждой, которая потомъ разрослась до настоящей ненависти. Противъ Бѣлинскаго затаилъ злобу журнальный

тріумвиратъ, составленный изъ Греча, Булгарина и Сенковскаго, почувствовавшій въ новомъ критикѣ непримиримаго врага; на Бѣлинскаго косились университетскіе писатели — Погодинъ и Шевыревъ, литературныя притязанія котораго такъ безпощадно впослѣдствіи изобличалъ проницательный литературный судья; задѣтыя Бѣлинскимъ авторскія самолюбія тоже враждебно возстали противъ него,— наконецъ, не совсѣмъ дружелюбно критикъ былъ принятъ и кружкомъ Пушкина, хотя этотъ кружокъ имѣлъ много общаго со взглядами Бѣлинскаго и въ эстетическихъ понятіяхъ, и въ отношеніяхъ ко многимъ явленіямъ старой и новой литературы, и въ восторженномъ поклоненіи предъ поэзіей Пушкина.

Не такъ относился къ Бѣлинскому самъ Пушкинъ, ибо его литературные взгляды всегда были шире, смѣлѣе и оригинальнѣе. Если тогдашнія литературныя знаменитости смотрѣли на Бѣлинскаго съ высоты своего величія, отзываясь о немъ, какъ о нагломъ, недоучившемся студентѣ, который дерзко осмѣлился посягать на литературные авторитеты и признанныя славы,—то одинъ Пушкинъ втайнѣ сознавалъ, что этотъ недоучившійся студентъ займетъ нѣкогда почетное мѣсто въ исторіи русской литературы. Свое вниманіе къ Бѣлинскому Пушкинъ высказалъ тѣмъ, что послалъ ему черезъ М. С. Щепкина, какъ разсказываетъ Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ, первыя книжки «Современника», а по запрещеніи «Телескопа» въ 1836 году имѣлъ намѣреніе пригласить Бѣлинскаго для сотрудничества въ своемъ журналѣ. Въ перепискѣ самого Пушкина съ его московскимъ пріятелемъ Нащокинымъ объ этой посылкѣ «Современника» упоминается нѣсколько иначе. Въ маѣ 1836 года Пушкинъ поручаетъ ему доставить экземпляръ своего журнала Бѣлинскому «тихонько отъ Наблюдателей» (т. е. отъ сотрудниковъ журнала «Московскій Наблюдатель»), прибавляя при этомъ: «вели сказать ему, что очень жалѣю, что съ нимъ не успѣлъ увидѣться». Что интересъ Пушкина къ Бѣлинскому былъ довольно серьезный, это можно видѣть

изъ той же переписки съ Нащокинымъ [1]). Лично Пушкинъ съ Бѣлинскимъ никогда не встрѣчались. Впослѣдствіи времени Ап. Григорьевъ, Тургеневъ, Гончаровъ посвятили сочувственныя характеристики «безстрашному бойцу за правду». Особенно цѣнна въ литературно-критическомъ отношеніи характеристика Бѣлинскаго, сдѣланная Ап. Григорьевымъ. Если Пушкинъ былъ представителемъ русскаго творчества, то Бѣлинскій, по мнѣнію критика, былъ представителемъ сознанія нашего общества во все время своей литературной дѣятельности. Изъ всѣхъ критиковъ одному Бѣлинскому былъ данъ такой высокій удѣлъ, кромѣ Лессинга. Онъ горячо и беззавѣтно сочувствовалъ всему благородному, прекрасному и высокому. Онъ ни разу не усумнился отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненіе взглядовъ, что только тотъ не измѣняетъ ихъ, кто не дорожитъ правдой. Разъ принявъ извѣстную мысль, Бѣлинскій, по свойству своей страстной натуры и логически-послѣдовательнаго ума, развивалъ эту мысль до ея послѣднихъ результатовъ, защищая ее всѣми силами своей пылкой, впечатлительной души. Онъ оставлялъ ложную точку зрѣнія только тогда, когда противъ нея собирались цѣлыя массы аргументовъ. Излюбленная идея, обыкновенно, владѣла имъ безраздѣльно, проникая въ его жизненныя отношенія и нерѣдко мучительно властвуя надъ нимъ. По справедливому замѣчанію А. Н. Пыпина [2]), движущей силой всей дѣятельности Бѣлинскаго была потребность доискаться нравственной истины, общественной справедливости и опредѣленія человѣческаго достоинства. Глубокое чувство нравственной правды и человѣческаго достоинства было господствующимъ идеаломъ Бѣлинскаго, хотя подробности и мѣнялись. То подъ вліяніемъ нѣмецкаго полу-романтическаго идеализма всѣ помышленія Бѣ-

---

[1]) См. «Девятнадцатый Вѣкъ» Бартенева, I, 404.

[2]) «Вѣстн. Европы» 1875 г., т. III, іюнь, стр. 567 и слѣд. «В. Г. Бѣлинскій. Опытъ біографіи».

линскаго направлялись къ воспитанію въ себѣ и другихъ абсолютнаго человѣка, съ развитіемъ всѣхъ высшихъ требованій человѣческой личности, при полномъ равнодушіи къ общественнымъ вопросамъ; то, увлекшись гегельянствомъ, Бѣлинскій впалъ въ сильное поклоненіе факту, въ признаніе полной разумности дѣйствительности и въ проповѣдь теоріи «искусства для искусства»; то, наконецъ, со всѣмъ энтузіазмомъ своей натуры Бѣлинскій увлекается идеей общества, примѣняя вмѣстѣ съ тѣмъ къ искусству (т. е. къ литературѣ) историко-публицистическую точку зрѣнія. Въ своихъ историко-общественныхъ воззрѣніяхъ онъ доходитъ тоже до крайнихъ предѣловъ, какъ и въ раньше изжитыхъ взглядахъ. Еслибы Бѣлинскій прожилъ долѣе, онъ, вѣроятно, пережилъ бы еще переворотъ, который открылъ бы для критики еще новыя, болѣе плодотворныя начала. На это указываютъ его воззрѣнія на историческое значеніе русскаго народа и его невольная, безсознательная вѣрность принципамъ эстетической критики. Историческое и публицистическое направленіе не совсѣмъ мирно уживались въ критикѣ. Противорѣчіе и тайная борьба ихъ особенно видны въ разборѣ Пушкина и въ отношеніяхъ къ романтизму. Эта борьба — второе свидѣтельство въ пользу того мнѣнія, что Бѣлинскій не успокоился бы и на этомъ періодѣ. Перемѣна взглядовъ сопровождалась тяжелымъ нравственнымъ состояніемъ, безпокойствомъ, порывами отчаянія и апатіи. По мѣткому выраженію самого Бѣлинскаго, онъ «мѣнялъ копѣйку на рубль», потому что въ новой точкѣ зрѣнія онъ стоялъ всегда выше прежняго взгляда, какъ предшествующей ступени. Добытыя убѣжденія Бѣлинскій переживалъ всѣмъ своимъ существомъ, считалъ нравственною обязанностью вносить ихъ въ личную жизнь и примѣнять ихъ къ фактамъ литературнымъ; онъ принималъ и исповѣдывалъ эти взгляды какъ религію, — и въ этомъ была его великая сила, въ этомъ скрывалась причина его огромнаго вліянія и на читателей, и на писателей, въ этомъ, наконецъ, нужно искать объясненія громаднаго значенія, которое имѣетъ дѣятельность Бѣлинскаго въ исторіи нашего

литературнаго и общественнаго развитія. Недаромъ онъ говорилъ самъ о себѣ: «жизнію моею, цѣною слезъ, воплей души, усвоилъ я себѣ эти мысли, и они вошли глубоко въ мое существо»... Дѣйствительно истина представлялась Бѣлинскому всегда въ живомъ образѣ, опредѣленномъ воззрѣніи, нравственномъ правилѣ; въ его мышленіе всегда вторгалось горячее, иной разъ необузданное чувство. Поэтому, если противъ принятаго взгляда возставало противорѣчіе, вооруженное сильными аргументами, — начиналась тягостная борьба, ибо приходилось отказываться отъ кровныхъ убѣжденій, — и Бѣлинскій успокоивался только тогда, когда борьба противорѣчій разрѣшалась паденіемъ одной системы и торжествомъ другой.

Мы уже высказывали мысль, что Бѣлинскій на первыхъ порахъ своей дѣятельности былъ сознательнымъ органомъ идей Надеждина. Идеи послѣдняго несомнѣнно развивались Бѣлинскимъ въ первую половину перваго періода его критической дѣятельности, который продолжался съ 1834 по 1838 годъ. Статьи этого періода помѣщались въ «Телескопѣ», «Молвѣ» и въ «Московскомъ Наблюдателѣ». Собственно для перваго періода характерны статьи «Телескопа» и «Молвы»; статьи «Московскаго Наблюдателя» являютъ взгляды Бѣлинскаго въ состояніи переходномъ отъ перваго періода ко второму, когда критикъ сдѣлался дѣятельнымъ пропагаторомъ идей Гегелевой философіи. При появленіи «Литературныхъ мечтаній» первое впечатлѣніе многихъ товарищей Бѣлинскаго было таково, что эта статья написана самимъ Надеждинымъ: такъ было много въ ней мыслей, высказанныхъ раньше издателемъ «Телескопа» и профессоромъ теоріи изящныхъ искусствъ. Сходство было замѣтно и въ теоретическомъ пониманіи искусства, и во взглядѣ на русскую литературу. Съ другой стороны на первыхъ порахъ несомнѣнна также связь мнѣній Бѣлинскаго съ мнѣніями кружка Станкевича, съ которымъ впослѣдствіи знаменитый критикъ былъ въ тридцатыхъ годахъ въ дружескихъ отношеніяхъ. Кружокъ Станкевича былъ занятъ исключительно рѣшеніемъ

вопросовъ философскихъ, подъ впечатлѣніемъ идей Шеллингова пантеизма. Явленія природы объяснялись тѣми же законами, какимъ подчиняется человѣческій духъ въ своемъ развитіи. Два міра, такимъ образомъ, являлись единымъ сосудомъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума. Человѣкъ становился центромъ природы, ея судьею и объяснителемъ; природа воскресала въ человѣкѣ для новаго разумнаго и одухотвореннаго существованія. Нравственныя обязанности составляли вѣнецъ всѣхъ стремленій; право дѣйствительнаго, разумнаго существованія завоевывалось при посредствѣ высвобожденія въ человѣкѣ божественной части міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго. Такова была исходная точка умозрительныхъ занятій какъ всего кружка Станкевича, такъ и исторія философскихъ исканій Бѣлинскаго. Бѣлинскій весь былъ поглощенъ тогда стремленіемъ «утвердить на мысли и разумѣ всѣ самыя тонкія эстетическія ощущенія человѣка». Интересы литературные стояли въ кружкѣ на первомъ планѣ. Поэтическое наслажденіе сливалось съ философскими истолкованіями художественныхъ произведеній. Шекспиръ, Гете, Шиллеръ, Гофманъ, были постоянно на языкѣ у восторженныхъ почитателей искусства. Бѣлинскій въ это время былъ сильнымъ романтикомъ и продолжалъ имъ быть до увлеченія гегельянствомъ. Это было время абстрактныхъ увлеченій. Бѣлинскій былъ горячимъ поклонникомъ Шиллера, увлекаясь субъективной нравственностью, идеями долга, абстрактнымъ героизмомъ, прекраснодушной войной съ дѣйствительностью. Тогдашнія воззрѣнія Бѣлинскаго были почти исключительно нравственными: задачей личнаго развитія онъ ставилъ нравственное совершенство, истолкованіе котораго искалъ въ философіи и въ искусствѣ,—явленія жизни общественной разсматривались съ той же моральной точки зрѣнія, которая заставляла возмущаться только нарушеніемъ нравственныхъ требованій въ отдѣльныхъ личностяхъ, нарушеніемъ закона и человѣколюбія въ отдѣльныхъ учрежденіяхъ и т. п. Это было время моральнаго либерализма, который не могъ удержаться при встрѣчѣ съ новыми понятіями крайне

консервативнаго характера. Во второй періодъ Бѣлинскій отрекается отъ той «опеки надъ родомъ человѣческимъ», отъ того «идеальнаго резонерства», какой внушалъ ему Шиллеръ. Отвергая во имя «разумной дѣйствительности», — принципа, извлеченнаго изъ гегелевой философіи,—свои прежнія увлеченія, Бѣлинскій обрушивается на того же Шиллера, поэзія котораго казалась теперь тенденціозной за ея несогласіе съ законами объективнаго творчества. Бѣлинскій говорилъ, что германскій поэтъ-идеалистъ сдѣлался его личнымъ врагомъ и что ему стоило большихъ трудовъ обуздывать къ нему ненависть, держась въ предѣлахъ возможнаго приличія. Въ письмѣ къ Станкевичу [1]) Бѣлинскій такъ объясняетъ причины своей ненависти къ Шиллеру:

«Его «Разбойники» и «Коварство и Любовь», вкупѣ съ «Фіеско»—этимъ произведеніемъ нѣмецкаго Гюго, наложили на меня дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ, во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухѣ. Его «Донъ-Карлосъ» — эта блѣдная фантасмагорія образовъ безъ лицъ и риторическихъ олицетвореній, эта апотеоза абстрактной любви къ человѣчеству безъ всякаго содержанія — бросила меня въ абстрактный героизмъ, внѣ котораго я все презиралъ, все ненавидѣлъ (и еслибы ты зналъ, какъ дико и болѣзненно!) и въ которомъ я очень хорошо, не смотря на свой неестественный и напряженный восторгъ, сознавалъ себя—нулемъ... «Орлеанская Дѣва» ринула меня въ тотъ же абстрактный героизмъ, въ то же пустое, безличное, субстанціальное безъ всякаго индивидуальнаго опредѣленія—общее... Вотъ почему я возненавидѣлъ Шиллера: чаша переполнилась — духъ рвался на свободу изъ душной тѣсноты» и пр.

Такимъ образомъ, въ первую половину перваго періода, въ статьяхъ «Телескопа» и «Молвы», т. е. до 1837 года, Бѣлинскій страстно увлекался жизнью, мыслью и искусствомъ. Свои статьи перваго періода онъ писалъ съ такой заразительной искренностью увлеченія, съ такимъ живымъ огнемъ, что онѣ, не смотря на неустойчивость общихъ воззрѣній, пробуждаютъ въ читателѣ благородную любовь къ

---

[1]) См. «Вѣстникъ Европы» 1874 г., т. III, іюнь, стр. 591. «В. Г. Бѣлинскій» А. Н. Пыпина.

искусству и мышленію. Опредѣленнаго міровоззрѣнія, опредѣленныхъ философскихъ воззрѣній у Бѣлинскаго въ это время еще не было: онъ проповѣдуетъ то Шеллинга, то Гегеля, то славянофильскія идеи. Можно сказать, что въ эту эпоху въ немъ жила не мысль, а любовь къ мысли. Любимыми поэтами его въ эту эпоху были Грибоѣдовъ, Байронъ, В. Гюго и особенно, какъ мы уже говорили, Шиллеръ. Эти поэты увлекали, конечно, Бѣлинскаго потому, что были субъективны, потому что въ ихъ отношеніяхъ къ жизни было много лиризма. Много эстетическаго чувства высказано въ оцѣнкѣ Пушкина, Гоголя, Шекспира, которыхъ Бѣлинскій ставилъ очень высоко. Но вмѣстѣ съ тѣмъ первый періодъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, заключалъ много слабыхъ сторонъ.

Въ общихъ воззрѣніяхъ, высказанныхъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», мы находимъ подтвержденіе мысли, что Бѣлинскій на первыхъ порахъ былъ съ одной стороны органомъ идей Надеждина, а съ другой высказывалъ взгляды кружка Станкевича. Въ самомъ дѣлѣ, раскроемъ страницу 23-ю перваго тома сочиненій Бѣлинскаго и обратимъ вниманіе на то мѣсто, гдѣ онъ исповѣдуется въ своихъ взглядахъ, служащихъ ему руководящей нитью въ его обозрѣніи. Такъ, онъ говоритъ:

«Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единаго, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать... какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечные, а кровь—чистый эоиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, то есть безпрестанно творитъ, чтобы разрушать и разрушаетъ, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышетъ, и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ человѣка, и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщится къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной, зиждущей любви! Итакъ

она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись человѣкъ, но не забывай, что... твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего *я* въ чувствѣ любви... Отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное *я*, дыши для счастья другихъ, жертвуя всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего *я*, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!.. Если же, при твоемъ рожденіи, природа возложила на твое чело печать генія, дала тебѣ вѣщія уста пророка и сладкій голосъ поэта... сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго, изобличай порокъ и невѣжество, терпи гоненіе злыхъ, ѣшь хлѣбъ смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, родного тебѣ неба... Вотъ нравственная жизнь вѣчной идеи. Проявленіе ея — борьба между добромъ и зломъ, любовію и эгоизмомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной... Какое же назначеніе и какая цѣль искусства?.. Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Посему поэтъ болѣе, нежели кто либо другой, долженъ изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; болѣе нежели кто-либо другой долженъ быть чистъ и дѣвственъ душою, ибо въ ея святилище можно входить только съ ногами обнаженными, съ руками омовенными, съ умомъ мужа и сердцемъ младенца; ибо только сіи наслѣдятъ царствіе небесное, ибо только въ гармоніи ума и чувства заключается высочайшее совершенство человѣка!.. Чѣмъ выше геній поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни... Поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя. Доколѣ поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, дотолѣ онъ нравственъ, дотолѣ онъ и поэтъ... Все искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы поставить читателя на такую точку зрѣнія, съ которой была бы ему видна вся природа въ сокращеніи, въ миніатюрѣ, какъ земной шаръ на ландкартѣ, чтобы дать ему почувствовать вѣяніе, дыханіе этой жизни, которая одушевляетъ вселенную, сообщить его душѣ этотъ огонь, который согрѣваетъ ее. Наслажденіе же изящнымъ должно состоять въ минутномъ забвеніи нашего *я*, въ живомъ сочувствіи съ общею жизнію природы»...

Мы позволили себѣ сдѣлать такую длинную выписку изъ первой статьи Бѣлинскаго въ тѣхъ видахъ, что эта выписка лучше всякихъ пересказовъ своими словами съ вводными комментаріями характеризуетъ воззрѣнія критика до 1836 года. Въ дальнѣйшихъ статьяхъ и рецензіяхъ этого

времени мы встрѣчаемъ только развитіе и дополненіе выше цитованныхъ взглядовъ. Притомъ въ сдѣланной выдержкѣ столько лиризма, возвышеннаго паѳоса и краснваго туманнаго идеализма, что при пересказѣ всѣ эти качества поблекнутъ.—Всякій замѣтитъ, что Бѣлинскій въ воззрѣніяхъ на природу и на искусство повторяетъ Надеждина, а «нравственную жизнь идеи» истолковываетъ въ духѣ кружка Станкевича. Шелленгистъ и моралистъ сливаются въ воззрѣніяхъ перваго періода дѣятельности Бѣлинскаго въ одно цѣлое. Но съ другой стороны, если читатель припомнитъ седьмую главу нашего изслѣдованія, въ которой мы характеризовали между прочимъ и взгляды Надеждина на искусство въ послѣдній періодъ его дѣятельности, то всякій согласится, что въ требованіяхъ отъ искусства, которыя предъявлялъ Надеждинъ, было болѣе полноты и опредѣленности, чѣмъ въ требованіяхъ Бѣлинскаго. Надеждинъ говорилъ о народности, какъ объ естественномъ выводѣ изъ того, что искусство возсоздаетъ жизнь; онъ говорилъ очень опредѣленно о типичности въ искусствѣ; онъ указывалъ на тѣсную связь литературы съ общественной жизнью, и малымъ развитіемъ послѣдней объяснялъ пустоту и трескотню нашей молодой литературы. Ничего подобнаго мы не находимъ у Бѣлинскаго, который смотритъ на искусство исключительно съ точки зрѣнія морализирующаго идеалиста. Въ этомъ мы видимъ слабую сторону перваго періода. Бѣлинскій не понималъ, будучи романтикомъ и западникомъ, русскихъ народныхъ началъ вообще и въ частности народности Пушкина. Онъ говорилъ даже, сожалѣя, что Пушкину «недоставало только нѣмецко-художественнаго воспитанія»; онъ говорилъ даже, что Пушкинъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время; онъ смотрѣлъ на великаго поэта только какъ на «баловня природы», похищающаго у нея плѣнительные образы и формы, какъ на чародѣя, который исторгалъ и смѣхъ и слезы, игралъ по волѣ чувствами публики. Бѣлинскій говорилъ, что литература должна быть непремѣнно «символомъ внутренней жизни народа», не объ-

ясняя этого широкаго, туманно-неопредѣленнаго понятія и вооружаясь противъ пониманія литературы, какъ отраженія жизни общества. Бѣлинскій отрицалъ историческую критику, которую ставилъ ни во что по сравненію съ критикой философской; онъ, наконецъ, ненавидѣлъ французскую словесность и жизнь, говоря, что «французы вмѣсто искусства показали намъ что-то въ родѣ башмачнаго ремесла, а вмѣсто философіи что-то въ родѣ игры въ бирюльки»[1]).

Второй періодъ дѣятельности можетъ быть названъ философскимъ. Онъ подготовлялся постепенно. Въ нѣкоторыхъ статьяхъ перваго періода можно встрѣтить уже мысли гегелевой философіи. Въ письмахъ гегельянство обнаруживается сильнѣе. По письмамъ можно прослѣдить яснѣе полное торжество идей гегелевой философіи. Бѣлинскій начинаетъ проповѣдывать примиреніе въ жизни и искусствѣ, доходя до признанія всякаго общественнаго протеста преступленіемъ и насиліемъ. Бѣлинскій мирится съ крѣпостнымъ правомъ и признаетъ даже его необходимость для Россіи потому, что она еще «дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказать за шалости»[2]). Съ презрѣніемъ отзывается теперь Бѣлинскій о французскихъ энциклопедистахъ XVIII столѣтія, о критикахъ, не признающихъ теоріи «искусства для искусства», о писателяхъ, стремившихся къ общественному обновленію. Съ особеннымъ ожесточеніемъ и негодованіемъ Бѣлинскій отзывается о Жоржъ-Зандѣ. Искусство казалось ему теперь высшимъ міромъ, отдѣльнымъ и замкнутымъ въ самомъ себѣ, занимающимся только вѣчными истинами. Истинными художниками Бѣлинскій считаетъ теперь только тѣхъ, кто творитъ безсознательно. Таковыми оказывались Гомеръ, Шекспиръ, Пушкинъ и Гете. Отвергая всякую субъектив-

---

[1]) Т. I, стр. 289.

[2]) А. П. Пыпинъ: «Бѣлинскій, его жизнь и переписка», I, стр. 180.

ность и тенденціозность въ истинной поэзіи, Бѣлинскій находилъ теперь, что «слесарша Пошлепкина, какъ художественное созданіе... выше Теклы, этого десятаго, послѣдняго, улучшеннаго, просмотрѣннаго и исправленнаго изданія одной и той же женщины Шиллера. А Орлеанка... пузырь бараній — не больше!..»

Но гегельянство все-таки не могло пересилить эстетическаго чувства, которое часто побѣждало теоретическія воззрѣнія. Такъ, Бѣлинскій, не соглашаясь съ Гегелемъ, утверждаетъ, что Мольеръ не художникъ [1]); Бѣлинскій не отказывается также отъ Лермонтова [2]), хотя его поэзія протеста не могла быть объяснена съ точки зрѣнія гегельянства,— не могла быть подведена подъ примиряющій взглядъ. Положительное выраженіе эстетическаго чутья сказалось въ оцѣнкѣ Пушкина, котораго Бѣлинскій ставилъ выше Шиллера и Гете, потому что Пушкинъ не написалъ бы второй части «Фауста»; Бѣлинскій приравнивалъ Пушкина по объективности творчества къ Шекспиру. То же чутье сказалось въ мѣткомъ анализѣ любви Татьяны къ Онѣгину [3]). Но не смотря на такіе проблески непосредственнаго чутья, Бѣлинскій увлекался только художественностью. Онъ проклиналъ теперь «нравственную» точку зрѣнія, т. е. ту, гдѣ нравственный смыслъ произведенія казался его главнымъ содержаніемъ и заслонялъ форму, въ которой Бѣлинскій видѣлъ теперь самую поэзію. «Слово дѣйствительность, говоритъ Бѣлинскій, сдѣлалось для меня равнозначительно слову Богъ». Борьба отвлеченныхъ идей гегелевой философіи съ эстетическимъ чувствомъ и чувствомъ народности являла назидательное зрѣлище искренной и страстной натуры, которая удивительно послѣдовательно проводила эти идеи, доводя ихъ въ діалектическомъ развитіи до крайности и такимъ образомъ изживая ихъ. Этотъ періодъ имѣетъ весьма важное значеніе; онъ былъ и для Бѣлинскаго, и для его читателей превосходной

[1]) Пыпинъ, I, 233.
[2]) Ibidem, 273.
[3]) Ibidem, 187.

школой философскаго мышленія, которое иногда даже помимо результатовъ важно, какъ самый процессъ.

Время полнаго господства гегелевыхъ идей продолжалось съ 1839 по 1841 годъ. Статьи, относящіяся къ этому времени, печатались въ «Отечественныхъ Запискахъ». Три основныхъ положенія гегелевой философіи развивались и комментировались въ этотъ періодъ Бѣлинскимъ. 1) Что̀ разумно, то и дѣйствительно, — что̀ дѣйствительно, то и разумно; 2) идея, стремясь къ самосознанію, воплощается въ мірѣ, восходя постепенно отъ низшихъ организмовъ и явленій до человѣка и 3) развитіе идеи совершается путемъ отрицанія или противоположностей. Въ этомъ развитіи три момента: сначала одна сторона мысли развивается до крайности, потомъ противоположная тоже до крайности, и, наконецъ, онѣ примиряются въ общей гармоніи. Сначала въ Бѣлинскомъ преобладала первая мысль: что̀ разумно — то дѣйствительно и что̀ дѣйствительно — то разумно. Ошибочность ея привела къ примиренію со всякой дѣйствительностью, какова бы она ни была, къ осужденію всякаго протеста противъ вопіющей несправедливости, насилія и гнета, — она привела къ полному пренебреженію поэзіи субъективной. Эта идея красной нитью проходитъ черезъ статьи: «Очерки Бородинскаго сраженія», «Менцель, критикъ Гете» и «Горе отъ ума». Объ этихъ статьяхъ Бѣлинскій впослѣдствіи не могъ слышать равнодушно.

Во второй половинѣ этого періода развиваются двѣ другія идеи, ошибочность которыхъ выразилась особенно ярко въ анализѣ характера Печорина и въ совершенномъ оправданіи его поступковъ. Много странностей и даже просто нелѣпостей наговорилъ Бѣлинскій по милости Гегеля и о «Горѣ отъ ума». Критикъ находилъ, что въ этой комедіи нѣтъ идеи, а потому нѣтъ и цѣлаго. Художественное созданіе, по тогдашнимъ воззрѣніямъ Бѣлинскаго, должно имѣть цѣль въ самомъ себѣ, а «Горе отъ ума» имѣетъ цѣль внѣшнюю — осмѣять современное общество въ злой сатирѣ; комедія избрана для этого лишь средствомъ. Чацкій, по мнѣнію Бѣ-

линскаго, просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое; онъ образъ безъ лица, призракъ, фантомъ, что-то небывалое и неестественное. Такія дикія мнѣнія основывались на не менѣе дикихъ положеніяхъ, что «общество всегда правѣе и выше частнаго человѣка, и частная индивидуальность только до той степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество»[1]). Бѣлинскій сожалѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что взоръ Грибоѣдова не прояснился и не возвысился до спокойнаго и объективнаго созерцанія жизни, въ которой все необходимо и все разумно. Тогда, говорилъ Бѣлинскій, поэтъ явился бы художникомъ и завѣщалъ бы потомству «не лирическіе порывы своей субъективности, а стройныя созданія, объективныя воспроизведенія явленій жизни». Точно также не понималъ Бѣлинскій и народной поэзіи, которую онъ осудилъ весьма сурово за то, что не видѣлъ въ ней трехъ моментовъ развитія.

Цѣнная въ историческомъ отношеніи сторона философіи Гегеля выразилась у Бѣлинскаго въ разсужденіяхъ объ искусствѣ. Критикъ признавалъ самобытность искусства и важное значеніе въ немъ объективности; къ такимъ выводамъ онъ пришелъ отъ мысли, что идея воплощается въ мірѣ въ соотвѣтствующихъ ей формахъ. Весьма характерны разсужденія о періодахъ развитія европейскаго искусства, соотвѣтствующихъ моментамъ развитія идеи и человѣка. Какъ бы доказательствомъ справедливости отвлеченныхъ разсужденій служитъ превосходный разборъ «Ревизора». Несомнѣнно слабой стороной этого философскаго періода является непониманіе субъективной поэзіи. Но рѣдкое эстетическое чутье и здѣсь спасало критика. Въ концѣ второго періода Бѣлинскій уже начинаетъ выходить изъ-подъ вліянія гегелевой философіи. Всѣ старые вопросы, занимавшіе его мысль, являются совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ. Идеализмъ Бѣлинскаго, покидая область полуфантастическихъ мечтаній о полнотѣ

[1]) Т. III, стр. 430 и слѣд.

абсолютной жизни, находилъ серьезныя задачи въ дѣйствительномъ мірѣ, въ русскомъ обществѣ. Еще въ самый разгаръ гегельянства эстетическое чувство Бѣлинскаго продиктовало ему сочувствіе къ Лермонтовской поэзіи рефлексіи и протеста; сочувствіе къ ней привело критика къ признанію, что въ дѣйствительности не все безусловно хорошо. При ближайшемъ же знакомствѣ эта «разумная» дѣйствительность ужаснула Бѣлинскаго и онъ весь свой запасъ нравственныхъ стремленій къ высокому, пламенной любви къ правдѣ обратилъ теперь на скорбь объ этой дѣйствительности, на борьбу съ ея зломъ, на защиту достоинства человѣческой личности, безпощадно попираемой этой дѣйствительностью. Бѣлинскій скорбитъ теперь о своемъ бывшемъ «гнусномъ» примиреніи съ дѣйствительностью. «Боже мой, восклицаетъ онъ, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія!» Онъ раскаивается въ томъ, что въ «гадкой» статьѣ о Менцелѣ назвалъ Мицкевича крикуномъ, поэтомъ риѳмованныхъ памфлетовъ; ему тяжело вспоминать, какъ онъ съ пренебреженіемъ съ художественной точки зрѣнія трактовалъ «Горе отъ ума», не догадываясь, что это благороднѣйшее, гуманнѣйшее произведеніе, первый энергическій протестъ противъ «гнусной расейской дѣйствительности», противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства и пр., и пр. Онъ находитъ теперь разумной и христіанской идею либерализма. Теперь съ равнымъ безпристрастіемъ относится къ французамъ и нѣмцамъ, находя, что если у французовъ много крикуновъ и фразеровъ, то у нѣмцевъ много «гофратовъ, филистеровъ, колбасниковъ и другихъ гадовъ». Бѣлинскій увидѣлъ, что субъективное личное отношеніе поэта къ дѣйствительности имѣетъ полное право участвовать въ художественной дѣятельности; что поэзія не должна быть непремѣнно безпристрастна и объективна, но что присутствіе общественной мысли можетъ придать ей особую нравственную цѣну. Пробнымъ камнемъ

эстетическихъ теорій опять становится Шиллеръ, котораго Бѣлинскій называетъ теперь «Тиберіемъ Гракхомъ нашего вѣка». Онъ съ рѣзкимъ негодованіемъ возстаетъ противъ господствующаго взгляда на женщину и поклоняется Жоржъ-Занду, называя ее «вдохновенной пророчицей, энергическимъ адвокатомъ правъ женщины». Бѣлинскій говоритъ теперь, что Гегель изъ явленій жизни сдѣлалъ «тѣни, сцѣпившіяся костяными руками и пляшущія на воздухѣ, надъ кладбищемъ». Толки Гегеля о нравственности онъ находитъ сущимъ вздоромъ, называетъ Гегеля «философскимъ колпакомъ» и проситъ его дать объясненія съ точки зрѣнія его гармоничнаго развитія, объясненія гибели всѣхъ жертвъ условій жизни и исторіи, всѣхъ жертвъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи и пр. Лучшимъ государствомъ Бѣлинскій считаетъ теперь Сѣверо-Американскіе Штаты, а потомъ Англію и Францію. Онъ говоритъ, что «соціальность» стала его девизомъ, что онъ не можетъ успокоиться, пока страдаетъ личность, пока толпа валяется въ грязи, пока онъ не можетъ дѣлиться высокими идеями съ братьями по человѣчеству, но чужими по своему невѣжеству.

«Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ!.. Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извощика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи... И это жизнь: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идіотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропивать ихъ въ кабакѣ—и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла!.. И это общество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности!.. И послѣ этого имѣетъ ли право человѣкъ забываться въ искусствѣ, въ знаніи! Я ожесточенъ противъ всѣхъ субстанціальныхъ началъ, связывающихъ, въ качествѣ вѣрованія, волю человѣка!»..

Это былъ исходный пунктъ, изъ котораго развивались частности взгляда Бѣлинскаго на формы общественности. Итакъ, къ концу 1840 года Бѣлинскій окончательно отрѣшился отъ идеалистическихъ воззрѣній предъидущаго періода. Философская отвлеченность уступила мѣсто живому

взгляду на жизнь и искусство; дѣятельность Бѣлинскаго получаетъ общественное значеніе.

Третій періодъ дѣятельности, который можно назвать историко-общественнымъ, продолжался съ 1842 до 1848 года, года смерти Бѣлинскаго. Статьи этой эпохи печатались въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современникѣ». Съ исторической точки зрѣнія Бѣлинскій оцѣниваетъ новгородскія былины, Пушкина, Гоголя, Грибоѣдова, съ которымъ вполнѣ примиряется; съ исторической точки зрѣнія критикъ признаетъ нашу старую литературу заслуживающею вниманія— Жуковскаго, Карамзина, Фонвизина и даже Сумарокова; онъ признаетъ историческое значеніе идей и направленій, не имѣющихъ абсолютной вѣрности, каковы напр., романтизмъ и сантиментализмъ; историческая же точка зрѣнія привела Бѣлинскаго къ признанію у насъ исторіи литературы. Такимъ образомъ, начавъ свою литературную дѣятельность съ отрицанія у насъ литературы и съ признанія только нѣсколькихъ писателей, Бѣлинскій, освободившись отъ идеалистическихъ воззрѣній, пришелъ къ утвержденію ея. Историческая точка зрѣнія имѣла и имѣетъ большую цѣнность, но вмѣстѣ съ тѣмъ, доведенная до крайности, она привела критика къ признанію всего относительнымъ. Несомнѣнно, что изученіе словесности должно быть историческимъ, несомнѣнно, что это направленіе спасало Бѣлинскаго отъ прямолинейной безпощадности сужденій и приговоровъ надъ личностями и идеями, которая была въ первомъ и во второмъ періодахъ; но съ другой стороны несомнѣнно также, какъ мы сказали, что ложная сторона историческаго направленія приводила критика къ признанію всего относительнымъ, временнымъ и условнымъ. Такимъ образомъ, историческая точка зрѣнія заставляла разсматривать все какъ переходный моментъ къ новымъ явленіямъ; все относительно, нѣтъ ничего безусловнаго, поэтому нѣтъ и ничего положительно прекраснаго. Все новое становится выше стараго, потому что отражаетъ высшій моментъ развитія; національность съ этой точки зрѣнія являлась тоже какъ нѣчто

условное, отрицалась и возможность осуществленія идеала, тоже какъ безусловно истиннаго и прекраснаго. Вотъ почему Пушкинъ признавался устарѣлымъ, вотъ почему Лермонтовъ и Гоголь ставились выше его, пока бы въ свою очередь тоже не устарѣли; историческая точка зрѣнія приводила подчасъ Бѣлинскаго къ забавному возвеличенію ничтожныхъ явленій въ родѣ «Парижскихъ Тайнъ» Евгенія Сю.

Въ третій періодъ Бѣлинскій является кромѣ того публицистомъ, который съ вдохновенной страстностью пытается разрѣшить рядъ общественныхъ вопросовъ нашей жизни. Онъ пришелъ къ признанію за литературой значенія полезной гражданской дѣятельности, отрекшись отъ взгляда на поэзію, какъ на что-то отдаленное отъ жизни. Общество и его благо стали для Бѣлинскаго критеріумомъ для сужденія о литературныхъ явленіяхъ жизни, хотя въ своемъ публицистическомъ увлеченіи Бѣлинскій иногда впадалъ въ узкій утилитаризмъ, несправедливо, напр., относясь къ личности Гоголя и къ его болѣзненной книгѣ, къ романтизму и къ личности Ленскаго, къ Пушкину за якобы отсутствіе въ немъ отзывчивости на общественные вопросы (Бѣлинскій вообще не понялъ цѣлой половины дѣятельности Пушкина, такъ же какъ не понялъ и положительной стороны славянофильства), тѣмъ не менѣе его заслуга передъ русскимъ обществомъ въ этомъ отношеніи огромна. По поводу разсужденія о романтизмѣ «Цыганъ», «Евгенія Онѣгина», «Бориса Годунова», «Мертвыхъ Душъ» и «Переписки Гоголя», «Стихотвореній Кольцова», «Парижскихъ тайнъ» и др. сочиненій Бѣлинскій говоритъ о бракѣ и любви, объ отношеніяхъ родителей и дѣтей, о русской семьѣ вообще, о воспитаніи и народномъ образованіи, объ отношеніи общественной дѣятельности къ личной жизни, объ отношеніи слова къ дѣлу, о древней Руси и ея особенностяхъ, о народномъ и общечеловѣческомъ, о родовыхъ предразсудкахъ, о пролетаріатѣ и буржуазіи, о крѣпостномъ правѣ и положеніи русскаго крестьянина, о судѣ и администраціи и вообще о состояніи русскаго общества.

ГЛАВА XII.

Критическія статьи современной Пушкину критики объ его стихотвореніяхъ, повѣстяхъ, романахъ, драмахъ, исторіи. — Библіографическій указатель этихъ статей. — Статьи «Сѣверной Пчелы», «Телескопа», «Сына Отечества», «Московскаго Телеграфа» и др. журналовъ.—Замѣтное охлажденіе критики къ творчеству Пушкина.—Непониманіе критикой «Повѣстей Бѣлкина».—Гоголь и Фарнгагенъ-фонъ-Энзе о значеніи Пушкина, какъ поэта русскаго, народнаго и мірового.—Статьи о посмертныхъ произведеніяхъ Пушкина, написанныя Раичемъ, Шевыревымъ и др.

Чтобы покончить съ современной Пушкину критикой и перейти къ разбору отношеній къ нему позднѣйшей критики, мы считаемъ нужнымъ въ короткихъ словахъ сказать про отношенія современной критики къ его стихотвореніямъ, повѣстямъ, драмамъ и исторіи. Всѣ рецензіи и критическія статьи, написанныя по этому поводу, окончательно убѣдятъ насъ въ томъ спорномъ для многихъ изслѣдователей фактѣ, что Пушкина критика тридцатыхъ годовъ не могла понять, оцѣнить и истолковать по своему безсилію. Мы уже имѣли доказательства въ «Евгеніи Онѣгинѣ» того грустнаго факта, что какъ въ цѣломъ, такъ и въ частностяхъ онъ не былъ оцѣненъ при жизни поэта; критика не могла проанализировать ни одного характера, не могла сказать ничего объ общественномъ значеніи этихъ характеровъ, не понимала общаго значенія всего романа. Подробно разобравъ отношенія современной критики ко всѣмъ его поэмамъ, начиная съ «Руслана», мы, конечно, могли убѣдиться въ ея постепенномъ ростѣ, хотя очень тупомъ, медленномъ и даже уродли-

вомъ. Критика «Руслана» и критика хотя бы даже «Цыганъ» отдѣлены уже нѣкоторымъ разстояніемъ: почти исчезли прежніе пріемы критики исключительно стилистической, хотя все еще остается единственнымъ мѣриломъ сужденія личный вкусъ. Разбирая «Онѣгина», нѣкоторые рецензенты начинаютъ уже поговаривать объ эстетическихъ теоріяхъ романа; разбирая «Бориса Годунова», они отказываются признать его драмой тоже въ силу эстетическихъ теорій, вѣрныхъ или фальшивыхъ—это другой вопросъ. Въ этомъ нельзя не признать нѣкотораго прогресса. Но вмѣстѣ съ тѣмъ положительно невозможно утверждать, что въ тридцатыхъ годахъ критика охладѣла къ Пушкину будто бы потому, что произведенія поэта этого заслуживали. Разсуждать такъ — значитъ закрывать глаза на вопіющіе факты, значитъ — относиться къ дѣлу съ предвзятою мыслію, значитъ — совершенно не понимать цѣлой половины дѣятельности Пушкина,— дѣятельности въ періодъ полнаго разцвѣта его могучаго таланта,—значитъ, наконецъ, не понимать Пушкина-Бѣлкина и великаго нравственнаго процесса, который породилъ это лицо и вмѣстѣ съ тѣмъ исходныя точки всей нашей позднѣйшей литературы.

О стихотвореніяхъ Пушкина рецензіи начали появляться съ 1826 года. Такъ, о первой части рецензіи появились въ «Москов. Телеграфѣ» 1826 г., ч. 7, № 1, въ «Дамск. Журн.» 1826, ч. 13, № 2 и въ «Сѣвер. Пчелѣ» 1826, № 3. О второй части въ «Сѣверной Пчелѣ» 1829, № 77 и 79, въ «Московскомъ Телеграфѣ» 1829, ч. 27, № 11 и часть 28, № 13. О третьей части: «Литературн. Прибавл. къ Русскому Инвалиду» 1832, № 33, «Дамскій Журналъ» 1832, ч. 38, № 19, «Русскій Инвалидъ» 1832, № 86, «Сѣверная Пчела» 1832, № 81, «Телескопъ», 1832, ч. 9, № 9, «Московскій Телеграфъ» 1833, ч. 49 и «Сынъ Отечества» 1833, ч. 33, № 6 (характеристика Пушкина на основаніи мелкихъ стихотвореній). О четвертой части— въ «Библіотекѣ для Чтенія» 1835, т. 12, отд. 6, стр. 17 — 19 и въ «Молвѣ» (при «Телескопѣ») 1836, ч. 31, № 3.—О повѣстяхъ: «Сѣверная Пчела» 1831, № 255, «Гирлянда» 1831, ч. 2, № 28 — 29, «Литературныя Приб. къ Русскому Инвалиду» 1831, № 93, «Московскій Телеграфъ» 1831, ч. 42, стр. 254—256, «Сѣверный Меркурій» 1831, № 37, стр. 151. По поводу втораго изданія повѣстей появились рецензіи въ «Сѣверной Пчелѣ» 1834. №№ 192 и 295 и въ «Молвѣ» 1835, № 7, стр. 100 — 108 (разборъ Бѣлинскаго, который лучшею изъ

повѣстей считалъ «Выстрѣлъ»). Вообще «Повѣсти Бѣлкина» были встрѣчены критикой довольно благосклонно. Въ нихъ хвалили легкій слогъ и умѣнье волновать читателя и заставлять его то задумываться, то смѣяться. — Исторія Пугачевскаго бунта вызвала рецензіи: въ «Русскомъ Инвалидѣ» 1835, № 104, въ «Сынѣ Отечества» 1835, ч. 169, въ «Библ. для Чтенія» 1835, тт. 8 и 10, въ «Сѣверн. Пчелѣ» 1835, № 38 (разборъ Барона Розена) и въ «Молвѣ» 1835, т. 9, № 19, стр. 316—317 (рецензія В. Бѣлинскаго). О «Моцартѣ и Сальери» есть рецензія въ «Сѣверн. Пчелѣ» 1832, № 28, а въ «Литер. прибавл. къ Русскому Инвалиду» 1838, № 18, стр. 142 — 143, есть указаніе, что эта пьеса была поставлена на сцену, но не имѣла успѣха.

Здѣсь же кстати мы приведемъ библіографію по поводу перваго собранія сочиненій А. С. Пушкина, начавшаго выходить въ 1838 г. и оконченнаго въ 1841 году. Критическія статьи послѣ смерти Пушкина, обыкновенно группируются около «собранія сочиненій». Такъ было въ концѣ тридцатыхъ и въ первой половинѣ сороковыхъ годовъ, когда появились пространные разборы Бѣлинскаго (11 статей) и г. Мартынова въ «Маякѣ» (6 статей), такъ было и въ пятидесятыхъ годахъ, когда въ 1855 году появилось первое достойное имени Пушкина изданіе Анненкова. Чтобы не прерывать библіографическими вставками послѣдующее изложеніе, мы поименуемъ всѣ статьи посмертной Пушкину критики, появившіяся по поводу перваго собранія его сочиненій, т. е. до смерти Бѣлинскаго, ибо послѣ 1848 года всю послѣдующую критику и ея библіографію мы думаемъ изложить въ послѣднихъ главахъ нашего изслѣдованія. Въ 1838 году рецензіи по поводу первыхъ томовъ посмертнаго изданія появились: въ «Библ. для Чтенія» т. 27, отд. 6, стр. 23—25, въ «Московск. Наблюдателѣ», ч. 16, стр. 465—475, въ «Сынѣ Отечества», т. 6, стр. 110 — 111 и въ «Сѣверн. Пчелѣ», № 1; въ 1839 г.—въ «Галатеѣ», ч. 2, № 17, стр. 653—655, въ «Сынѣ Отечества», т. 7, помѣщена замѣчательная статья Фарнгагенъ-фонъ-Энзе изъ Берлинскихъ «Jahrbücher für Wissenschaftliche Kritik». На этой статьѣ мы въ свое время остановимся, какъ на знаменитомъ отзывѣ иностранца о Пушкинѣ; въ «Галатеѣ», въ 3-й и 4-й част. напечатанъ полный разборъ поэмъ и лирическихъ стихотвореній Пушкина; въ 1840 году большая критическая статья о третьей и четвертой части напечатана въ «Библ. для Чтенія», т. 39, стр. 1 — 60; въ 1841 году рецензіи и статьи появились: въ «Библ. для Чтенія», т. 49, отд. 6, стр. 1—10. О 9—11 томахъ собранія сочиненій, въ «Москвитянинѣ», ч. 5, № 9, стр. 236 — 270 (статья С. Шевырева о томахъ 9, 10 и 11), въ «Отечеств. Запискахъ» т. 17, № 8, стр. 33—41, въ «Русск. Инвалидѣ» №№ 202 и 203 и въ «Приложеніяхъ къ Русскому Инвалиду», № 3, стр. 13, въ «Спб. Вѣдомостяхъ» № 259, стр. 1155 — 1156 и № 260, стр. 1158—1160. Въ 1842 году въ «Русскомъ Вѣстникѣ» т. 5, отд. 3, стр. 38—44 появилась статья Н. Полевого и кромѣ того въ «Отечественныхъ Запискахъ», т. 20, № 1, стр. 1—52, напечатана статья Бѣлинскаго: «Русская Литература въ 1841 году». Здѣсь, при историческомъ обозрѣніи всей русской литературы съ Кантемира, говорится о Пушкинѣ и его школѣ (см. Сочин. т. VI, стр. 1—104;

о Пушкинѣ и его школѣ, стр. 59—70). Въ 1843 году въ «Маякѣ» напечатано шесть удивительныхъ статей г. А. Мартынова съ предисловіемъ въ видѣ письма къ издателю и съ отвѣтомъ на него издателя С. Бурачка: см. «Маякъ», т. 7, стр. 22—38,—т. 9, стр. 1—32 и 127—158, т. 10, стр. 1—33 и 106—138 и т. 11, стр. 85—145, въ томъ же году Бѣлинскій началъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» свои извѣстныя статьи, составляющія почти цѣлый восьмой томъ его сочиненій, — «О сочиненіяхъ Александра Пушкина», онѣ тянулись въ продолженіе трехъ лѣтъ, закончившись лишь въ 1846 г. См. «Отеч. Записки» 1843 г. т. 28, № 6, стр. 19—42 и т. 30, № 9, стр. 1—60; 1844 г.: т. 32, № 2, стр. 43—82, т. 33, № 3, стр. 1—20, т. 34, № 5, стр. 1 — 23, т. 37, № 12, стр. 46 — 72; 1845 г., т. 39, № 4, стр. 23 — 29, т. 43, № 11, стр. 1 — 22; 1846 г., т. 48, № 10, стр. 41—68.— Этимъ исчерпывается все количество статей, написанныхъ о Пушкинѣ до 1846 года. Далѣе слѣдуетъ перерывъ въ девять лѣтъ, и только съ 1855 года начинаютъ снова появляться статьи о нашемъ поэтѣ. О нихъ мы скажемъ ниже.

Почти никакого значенія не имѣютъ всѣ рецензіи, написанныя о стихотвореніяхъ Пушкина. Критики обыкновенно отстраняли отъ себя всякія сужденія о нихъ, замѣчая, «что они краснорѣчиво говорятъ сами за себя». Вся критика ограничивалась обыкновенно двумя-тремя замѣчаніями, которыя, вѣроятно, съумѣлъ бы сдѣлать всякій любитель литературы,— замѣчаніями о многосторонности таланта Пушкина, ибо въ его сборникахъ помѣщались дѣйствительно самыя разнообразныя стихотворенія. Музу его называли «своенравной красавицей, которая любитъ наряжаться, но всегда умѣетъ одѣться къ лицу», говорили, напримѣръ, что поэтъ превосходно уподобляетъ Кавказъ молодому звѣрю, что прекрасно изобразилъ мечты поэта-путника во время вьюги въ своихъ «Бѣсахъ»; «Дамскій Журналъ» совѣтовалъ дамамъ поменьше тратить денегъ въ магазинахъ и совѣтовалъ купить скорѣй стихи Пушкина, который оживилъ «угасающую жизнь народно-поэтическихъ преданій отечественнаго и иностраннаго происхожденія чтобы продлить ихъ существованіе еще на нѣсколько столѣтій».

Въ «Сѣверной Пчелѣ» 1832 года появилась хвалебная статейка барона Розена, восторгавшаяся народными сказками Пушкина и служившая какъ бы отголоскомъ восторженныхъ толковъ, возбужденныхъ «Салтаномъ» въ кружкѣ друзей

Пушкина, видѣвшихъ въ этой сказкѣ зародышъ новаго періода въ литературѣ и привѣтствовавшихъ поэта въ лицѣ Гнѣдича посланіемъ: «Пушкинъ—Протей гибкимъ твоимъ языкомъ и волшебствомъ твоихъ нѣснопѣній! Уши закрой отъ похвалъ и сравненій добрыхъ друзей! Пой, какъ поешь ты, родной соловей! Байрона геній иль Гете, Шекспира — геній ихъ неба, ихъ нравовъ, ихъ странъ; Ты же, постигнувшій таинства русскаго духа и міра, ты — нашъ Баянъ! Небомъ роднымъ вдохновенный, ты на Руси нашъ пѣвецъ несравненный!» Такъ высоко цѣнился первый опытъ Пушкина въ народной поэзіи. Баронъ Розенъ возводитъ Пушкина на степень міровыхъ геніевъ, выше Шекспира и Гете, говоритъ, что жизнь нашего поэта была и есть «громкое, безпрерывное торжество», что собраніе его стихотвореній можно сравнить «съ возвышеннымъ племенемъ, каждый членъ коего проявляетъ собою идею оригинальную и особенной красоты, одушевляющею творца». Баронъ Розенъ затрудняется чему отдать предпочтеніе въ третьей части: каждое стихотвореніе онъ привѣтствуетъ, какъ милую знакомку, которой мы уже платили дань удивленія, но съ коей встрѣчаться рады, принимая ея свѣжую прелесть». Изъ новыхъ стихотвореній особеннаго вниманія, по его мнѣнію, заслуживаетъ «Сказка о Царѣ Салтанѣ», въ которой «геній сатиры, омывшись, какъ лебедь, въ Касталійскомъ ключѣ Пушкинской поэзіи, носится мимо насъ легкимъ мелодическимъ полетомъ». Критикъ говоритъ, что «отдѣленная отъ сора и нечистоты и сохранившая только свое золото, русская сказка у Пушкина золотозвучными стихами извивается по чудесной области народо-романтическаго» и проч., и проч.

Надеждинъ въ своемъ «Телескопѣ» признавался въ своихъ обманутыхъ надеждахъ на новый періодъ художественной жизни поэта, отъ котораго послѣ «Бориса Годунова» критикъ чаялъ много, но, увы! «съ жаромъ ухватившись за собраніе новыхъ стихотвореній», не нашелъ въ нихъ «пріятнаго очарованія своимъ мечтаніямъ». Онъ хотѣлъ по мел-

кимъ стихотвореніямъ изучить «внутреннюю исторію поэта», ибо «въ мелкихъ стихотвореніяхъ, вырывающихся небрежно изъ души въ минуты поэтическаго наитія, трепещетъ свободная, безъискусная, неподдѣльная жизнь минуты,—минуты ихъ породившей». Къ сожалѣнію, критику не удалось по стихотвореніямъ третьей части исполнить свое намѣреніе, ибо въ этой части талантъ Пушкина является не «одряхлѣвшимъ и истощеннымъ въ силахъ, а ослабѣвшимъ, потерявшимъ живость и энергію, выдохшимся». Воображеніе Пушкина потеряло много «благовонной свѣжести», по мнѣнію критика, «какъ будто рѣзвыя крылья, носившія прежде вольную фантазію поэта, опали, какъ будто тайный враждебный геній затянулъ и осадилъ рьянаго коня его». Талантъ Пушкина пытается всячески «воспроизвести себя», онъ «ощупываетъ всѣ лады поэтическаго одушевленія, дабы найти тонъ для новаго періода своей художнической жизни: то подпираясь силой мысли, какъ въ «Пирѣ во время чумы», въ «Моцартѣ и Сальери», то согрѣваясь огнемъ патріотическаго энтузіазма какъ въ лирическомъ воззваніи къ «Клеветникамъ Россіи» или въ празднованіи «Бородинской годовщины». Далѣе критикъ весьма глубокомысленно замѣчаетъ, что, вѣроятно, по воспоминанію о своихъ прежнихъ успѣхахъ или по «закону кругообращенія человѣческой дѣятельности», поэтъ снова «ухватился за струну, прозвучавшую впервые его славу», снова обратился къ народной старинѣ. Но смыслъ и духъ народной поэзіи до сихъ поръ еще не разгаданы поэтомъ, который показалъ только «тѣснѣйшее знакомство съ наружными формами старинной русской народности». Его сказки есть не болѣе какъ «tour de force» могущественнаго, но безжизненнаго искусства. Словомъ, въ третьей части стихотвореній критикъ видитъ только рядъ неудачныхъ попытокъ таланта, разочарованнаго въ своихъ юношескихъ мечтахъ и не умѣющаго найти «опоры для своихъ зрѣлыхъ помысловъ и вдохновеній».

Статьи «Сына Отечества» и «Московскаго Телеграфа» какъ будто бы писаны однимъ человѣкомъ въ раз-

ное время и подъ вліяніемъ различныхъ настроеній. Если рецензія Надеждина страдаетъ бездоказательностью суроваго приговора, то двѣ помянутыхъ статьи великолѣпно разоблачаютъ критическое слабосиліе и близорукость, предвзятость взгляда и безсиліе стоять въ уровень съ переросшимъ ихъ поэтомъ. Если, конечно, позднѣйшіе изслѣдователи станутъ на такую же точку зрѣнія, то, дѣйствительно, окажется, что Пушкинъ въ тридцатыхъ годахъ обманулъ надежды современниковъ и что поэтому критика была совершенно права въ своемъ отношеніи къ нему. Статья «Сына Отечества» въ этомъ отношеніи весьма характерна. Критикъ, прежде чѣмъ приступить къ разбору стихотвореній Пушкина, вооружается опредѣленіями: 1) что такое современная поэзія, 2) кто можетъ считаться представителемъ ея и 3) можетъ ли Пушкинъ въ своей поэзіи, оцѣниваемой по мѣркѣ «Сына Отечества», назваться представителемъ современности и самобытнымъ поэтомъ, который сдѣлалъ для Россіи то же, что сдѣлали геніи-преобразователи въ Англіи, Германіи и Франціи. Критикъ признаетъ, что дарованіе Пушкина столь же велико, какъ и его заслуги, но вмѣстѣ съ тѣмъ оговаривается, что и то, и другое, по его мнѣнію, болѣе велико относительно, чѣмъ положительно. Доказательства этого мнѣнія таковы. Основная идея поэзіи нашего вѣка есть «выраженіе презрѣнія къ человѣчеству вмѣстѣ съ состраданіемъ къ его жалкой участи. На первомъ планѣ картины помѣщается сильный, торжествующій порокъ и безпомощная, страждущая добродѣтель». Впечатлѣніе, производимое этой поэзіей, есть ужасъ и жалость; слѣдствіе ея есть уныніе и грусть. Представитель этой поэзіи есть Байронъ. Пушкинъ, по мнѣнію критика, есть слѣдствіе Байрона, идеи и чувства этой поэзіи потрясали его душу, но не сильно, невнятно и неявственно. Поэтому, наивно умозаключаетъ критикъ, Пушкинъ не исполнилъ возлагавшихся на него надеждъ, онъ отогналъ отъ себя современное вдохновеніе и, ища новыхъ путей, сбился самъ съ пути, указаннаго ему природой, на которомъ тщетно и печально ждалъ его покинутый геній. Слѣдова-

тельно, чтобы быть современнымъ, нужно непремѣнно писать въ духѣ Байрона; разъ Пушкинъ вступилъ на самобытный путь геніальнаго творчества — всѣ критики закричали о паденіи его таланта, объ уклоненіи отъ дороги, яко бы указанной ему самой «природой», объ обманутыхъ надеждахъ и пр. Подобная лживая аргументація ложится безъ провѣрки въ основу разсужденій позднѣйшихъ изслѣдователей,—что же сказать о добросовѣстности такихъ писателей, какъ нужно назвать ихъ способъ изслѣдованія? Чтобы пояснить, почему же Пушкинъ сбился съ истиннаго пути, критикъ дѣлаетъ догадку, что поэтъ недостаточно образованъ, онъ потому не удержался на высотѣ современности, подобно Байрону, Гёте, Шиллеру, что «умъ его не былъ упитанъ науками, а душа не созрѣла въ созерцаніи природы и человѣчества». Съ Пушкинымъ можно было еще мириться, когда онъ пѣлъ съ голоса Байрона, восхищая современниковъ, научая ихъ писать гладкіе стихи, давая имъ почувствовать сладость языка. Но онъ не увлекъ своего вѣка, не установилъ законовъ вкуса, не основалъ своей школы, какъ Байронъ или Гёте. Поэтому, Пушкинъ не больше какъ «гударь», хотя его риѳмы сладостнѣе Россиніевской музыки, а образы свѣтлѣе Грезовой головки. По мнѣнію критика, Пушкинъ является первенствующимъ только среди окружающихъ его «Тиртеевъ въ бумажныхъ латахъ, бряцающихъ на лирѣ съ деревянными струнами, украшенныхъ тафтяными лаврами изъ цвѣточнаго магазина». Немудрено, конечно, что и самъ Пушкинъ не могъ выдержать искушенія и пѣлъ на тотъ же ладъ, хотя и лучше прочихъ.

Въ конечныхъ своихъ выводахъ разобранная статья удивительно подходитъ, напримѣръ, къ глумливымъ статьямъ Писарева, который, такимъ образомъ, является вовсе не новаторомъ въ дѣлѣ порицанія Пушкина, имѣя за собой еще достойнаго предшественника, напримѣръ, въ «Маякѣ». Если критикъ «Сына Отечества» заключаетъ, что Пушкинъ вовсе не сильный и не оригинальный геній,—то же самое говорилъ и Писаревъ; если критикъ тридцатыхъ годовъ утверждалъ,

что Пушкинъ только и дѣлалъ, что писалъ гладкіе стихи,— то критикъ шестидесятыхъ годовъ говорилъ, что Пушкинъ исключительно «великій версификаторъ»; если первый называлъ Пушкина «гударемъ», ибо въ его поэзіи нѣтъ мысли, нѣтъ философскихъ и нравственныхъ истинъ, нѣтъ сильныхъ ощущеній, — то второй клеймилъ поэта именемъ «усерднѣйшаго адвоката разсѣяннаго бряцанія», который осмѣлился заговорить въ стихахъ «о пивной кружкѣ и о бобровомъ воротникѣ, между тѣмъ какъ его предшественники говорили только о фіалахъ и о хламидахъ». Не лучше критическая оцѣнка, сдѣланная Полевымъ: хотя этотъ критикъ и не называетъ Пушкина «гударемъ»,—тѣмъ не менѣе у него характеристика поэта какъ-то сбивчива и противорѣчива. Съ одной стороны выходитъ, что Пушкинъ то только и дѣлалъ, что подражалъ, а выводъ вдругъ получается совершенно неожиданный: Пушкинъ «представилъ собою свое время и свой народъ въ области поэзіи». Эта характеристика Пушкина составляетъ введеніе къ статьѣ о «Борисѣ Годуновѣ».

Вся статья, по мѣткому выраженію Бѣлинскаго [1]), есть «какой-то хаосъ крутящихся понятій, которыя сталкиваются другъ съ другомъ и дерутся, и сквозь нихъ промелькиваютъ какіе-то іероглифы». Здѣсь критикъ говоритъ, что Пушкинъ есть представитель XIX вѣка въ русской поэзіи, но именно русской, не болѣе, что онъ поэтъ, обладающій дарованіемъ обширнымъ, душою глубоко раздражительною, даромъ слова удивительнымъ, что онъ великій лирическій поэтъ, чѣмъ походитъ на Державина, что первая глава «Онѣгина» пестра, безъ тѣней, насмѣшлива, почти лишена поэзіи, вторая впадаетъ въ мелкую сатиру, въ шестой поэтъ впадаетъ въ прежній насмѣшливый тонъ, эпиграмму, и то же слѣдуетъ въ седьмой, но что поединокъ Ленскаго съ Онѣгинымъ выкупаетъ все; что руссизмъ «Руслана и Людмилы» была та несчастная, щеголеватая народность на Фло-

[1]) Томъ IV, стр. 27.

ріановскій манеръ, по которому Карамзинъ написалъ «Илью Муромца», «Наталью боярскую дочь» и «Марѳу Посадницу», Нарѣжный — «Славянскій вечеръ», Жуковскій обрусилъ «Ленору», «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» и сочинилъ свою «Марьину рощу»; что его «Кавказскій Плѣнникъ» блѣденъ и ничтоженъ; «Бахчисарайскій Фонтанъ» и «Цыгане» нерѣшительны, «Евгеній Онѣгинъ» легокъ; Полевой совѣтуетъ Пушкину выкинуть изъ «Собранія своихъ сочиненій»—«Дорожныя жалобы» и «Къ Вельможѣ», какъ пьесы недостойныя его. Всѣ произведенія, до «Бориса Годунова», исключая« Руслана», критикъ называетъ «литографическими эстампами съ прекраснѣйшихъ произведеній». «Андрея Шенье» и «Наполеона» Полевой считаетъ лучшими лирическими созданіями Пушкина и ставитъ ихъ несравненно выше якобы мнимыхъ «Подражаній древнимъ», «Подражаній Корану», и такихъ пьесъ, какъ «Предчувствіе», «Кавказъ», «Трудъ», «Узникъ», «Анчаръ» и даже «Бѣсы». Очевидно, что въ этихъ сужденіяхъ виденъ исключительно романтикъ. Пока Пушкинъ былъ только авторомъ «Руслана и Людмилы», пока еще написалъ только «Андрея Шенье», «Къ Овидію», «Къ морю», «Наполеона», Полевой восторгался поэтомъ, удивлялся ему, провозглашалъ его «сѣвернымъ Байрономъ», представителемъ современнаго человѣчества; когда же геній Пушкина сталъ мужать и, наконецъ, возмужалъ, критикъ поспѣшилъ взять свои приговоры назадъ. Повторяемъ, какъ же согласить мнѣнія критика о томъ, что Пушкинскія произведенія суть только копіи съ картинъ великихъ западныхъ художниковъ, съ мнѣніемъ, что онъ былъ выразителемъ русской жизни? Въ критикѣ Полевого, конечно, нельзя подозрѣвать пристрастія къ Пушкину: эта статья есть плодъ простодушнаго невѣдѣнія и бѣдности поэтическаго вкуса. Противорѣча себѣ, Полевой все-таки утверждаетъ, что Пушкинъ, наконецъ, выходитъ на путь самобытнаго творчества, и радуется этому, хотя и не понимаетъ, въ чемъ состоитъ эта самобытность, продолжая наивно увлекаться Байронически-романтическими стихотвореніями поэта, проходя молчаніемъ такіе перлы, какъ

«Анчаръ», «Мадонна», «Кавказъ», «Обвалъ», «Поэту» и др. Тѣмъ не менѣе важно и то, что Полевой предчувствовалъ новую эпоху Пушкинскаго творчества и избѣжалъ, такимъ образомъ, уродливыхъ приговоровъ критиковъ, подобныхъ критику «Сына Отечества».

Мы уже упомянули, что «Повѣсти Бѣлкина», вообще, были приняты довольно благосклонно. При первомъ ихъ изданіи «Сѣверная Пчела», напримѣръ, хвалила манеру разсказа, называя его быстрымъ, живымъ, пламеннымъ и плѣнительнымъ. При второмъ же изданіи, хваля опять милое, гладкое, плавное изложеніе, порицала повѣсти за то, что въ нихъ нѣтъ идеи, что послѣ прочтенія ничего не остается въ памяти кромѣ приключеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ наивный критикъ замѣчаетъ, что въ нихъ постоянно повторяется я,— «почти на каждой страницѣ — все Бѣлкинъ, да Бѣлкинъ, къ чему это? Читатель хочетъ повѣстей, а не Бѣлкина!» Критики (не исключая Бѣлинскаго) долго не понимали, что Пушкинъ самыми повѣстями хотѣлъ обрисовать типъ Бѣлкина, что для этого онъ ведетъ разсказъ не отъ своего лица, что въ повѣстяхъ нужно искать отраженія личности добродушнаго Ивана Петровича. Это растолковалъ только Ап. Григорьевъ. Изъ всѣхъ повѣстей критику «Сѣверной Пчелы» особенно нравилась «Пиковая дама», въ торой онъ находилъ Германа замѣчательнымъ по оригинальности характера, а Лизавету Ивановну — живымъ портретомъ компаньонокъ нашихъ старыхъ знатныхъ дамъ. Про изложеніе этой повѣсти замѣчалось, что едва ли найдется въ русской литературѣ такая другая, которая была бы написана «такъ легко, пріятно, правильно и отчетливо». — Наоборотъ, о всѣхъ остальныхъ, кромѣ «Станціоннаго смотрителя», которая удачно изобрѣтена и живо разсказана, — критикъ замѣчаетъ, что «Выстрѣлъ» слабъ изобрѣтеніемъ, характеровъ нѣтъ, ибо они не выражены, — «Метель» ужъ черезчуръ неправдоподобна, ибо никто не согласится жениться, не зная на комъ, ибо невѣста не могла не разглядѣть своего жениха, а священникъ не могъ такъ ошибиться, —

«Гробовщикъ»—не повѣсть, а только растянутый анекдотъ, что «Барышня-крестьянка» такъ же мало правдоподобна, какъ и «Метель», ибо все дѣйствіе основано на переодѣваніи, какъ во французскихъ водевиляхъ.

Критикъ «Литер. Приб. къ Рус. Инв.» выступилъ защитникомъ повѣстей и отъ нападокъ «Пчелы», и отъ упрековъ подражательности Вашингтону Ирвингу, сдѣланныхъ «Москов. Телеграфомъ». Онъ говоритъ, что напротивъ, въ «Выстрѣлѣ» весьма замѣчательный характеръ нѣкоего Сильвіо, что «Метель» заключаетъ въ себѣ «чудное сцѣпленіе обстоятельствъ въ судьбѣ одной дворянки», что въ «Гробовщикѣ» дано много воли фантазіи, что спившійся съ кругу «Станціонный смотритель» и милая рѣзвушка, дочь его Дуня, суть портреты, начертанные карандашомъ бойкимъ и опытнымъ, что, наконецъ, «Барышня-крестьянка» большая затѣйница. Онъ удивляется, что̀ могъ Полевой найти общаго между повѣстями Бѣлкина и повѣстями В. Ирвинга. Послѣдній—прекрасный разсказчикъ, любящій запутать происшествія, заинтересовать читателя странностью положеній дѣйствующихъ лицъ, охотно занимающійся мелочами, щеголяющій выраженіями, острящій изысканно. Ничего подобнаго нѣтъ у Бѣлкина: происшествія у него естественны и не запутаны, слогъ его ровенъ, чистъ и легокъ, шутки непринужденны и острота, ярко отличающая русскій умъ, выпадаетъ у него какъ бы нечаянно. Полевой-романтикъ и Бѣлинскій тоже въ то время романтикъ—оба не признали почти никакихъ достоинствъ за «Повѣстями Бѣлкина». Первый назвалъ ихъ «маленькими сказками», которыхъ бы никто не замѣтилъ, еслибы на нихъ не были выставлены буквы: «А. П.»; второй отказался назвать ихъ художественными созданіями, говоря, что это «просто сказки, побасенки», «прозаическія бредни, фламандской школы пестрый соръ»; первый утверждалъ, что «Выстрѣлъ», «Метель» и «Барышня-крестьянка»—«фарсы, затянутые въ корсетъ простоты безъ всякаго милосердія»,ибо въ нихъ нѣтъ ни поэтической, ни романической вѣроятности; второй замѣчалъ, что отъ нихъ «не закипитъ кровь

пылкаго юноши, не засверкаютъ очи его огнемъ восторга, не будутъ тревожить его сна,—нѣтъ, послѣ нихъ можно задать лихую высыпку». Полевому изъ всѣхъ повѣстей нравилась болѣе всего «Станціонный смотритель», въ которой онъ находилъ «нѣсколько мѣстъ, показывающихъ знаніе человѣческаго сердца»; забавнымъ, какъ шутка, тому же Полевому казался и «Гробовщикъ». Бѣлинскій же находилъ только одинъ «Выстрѣлъ» достойнымъ имени Пушкина, замѣчая при этомъ, что всѣ повѣсти читаются не безъ удовольствія, происходящаго «отъ прелестнаго слога, отъ искусства разсказывать». Полевой не находилъ даже изложенія занимательнымъ. По его мнѣнію, нельзя увлечь подобными разсказами читателя: въ нихъ нѣтъ никакихъ фигурныхъ украшеній ни въ подробностяхъ разсказа, ни въ слогѣ и никакого романтизма въ содержаніи (принимая здѣсь слово романтизмъ, какъ умоизвитіе).

«Исторія Пугачевскаго бунта» была встрѣчена рецензіями совершенно противоположнаго характера. Замѣчателенъ тотъ фактъ, что въ «Сынѣ Отечества» говорили, будто Пушкинъ «на новомъ для него историческомъ поприщѣ разрѣшился d'un enfant mort-née»,—«Сѣверная Пчела», напротивъ, помѣстила хвалебный отзывъ уже извѣстнаго намъ барона Розена, а «Русскій Инвалидъ» называлъ новое произведеніе Пушкина «блистательнымъ подвигомъ на историческомъ поприщѣ». Самый бунтъ признавался событіемъ важнымъ, описаннымъ увлекательно и вѣрно. Говорилось, что историки найдутъ въ предлагаемомъ сочиненіи обильные и драгоцѣнные матеріалы, а литераторы и любители изящнаго—сильную, вѣрную, отчетистую, яркими красками написанную картину достопамятной, хотя и несчастной годины. «Библіотека для Чтенія», находя «Исторію» только матеріалами въ формѣ статьи, съ другой стороны утверждала, что самое событіе—«бунтъ обольщенной и пьяной черни въ отдаленной провинціи, продолжавшійся нѣсколько мѣсяцевъ»—не имѣло никакого вліянія на общую судьбу государства и «поэтому» не можетъ быть предметомъ «настоящей исторіи», хотя,

къ несчастью, мы не въ правѣ вырвать эту печальную страницу. Вмѣстѣ съ тѣмъ критикъ считаетъ первый опытъ Пушкина вполнѣ удовлетворительнымъ, ибо нельзя было «ни совокупить большаго числа любопытныхъ фактовъ и анекдотовъ на полуторѣ сотнѣ страницъ, ни дать имъ точнѣйшей и вмѣстѣ занимательнѣйшей формы». Кромѣ того, изысканія автора «бросаютъ большой свѣтъ на личный характеръ и природныя способности разбойника Пугачева», который былъ только орудіемъ мятежной партіи «несогласныхъ», т. е. казаковъ, не хотѣвшихъ подчиниться преобразованіямъ въ устройствѣ ихъ войска.

Какъ мы уже сказали, «Сынъ Отечества» назвалъ Пугачевскій бунтъ мертворожденнымъ дитятей, которое совершенно походитъ на своего знаменитаго родителя. Критикъ не находилъ въ историческомъ трудѣ поэта «ни одного чувства, ни одной искры жизни», все въ немъ сухо и холодно. Критикъ удивлялся самоотверженію поэта и не хвалилъ его за «насиліе» надъ своей пламенной природой, всегда сильно чувствующей и пишущей огненнымъ перомъ. Положимъ, что «Исторія» представляетъ драгоцѣнный матеріалъ для будущаго историка. Но отчего же самому Пушкину не разсудилось освѣтить свои труды надлежащимъ свѣтомъ, отчего ему не угодно было покрыть свое твореніе «колоритомъ Пугачевщины и всѣхъ ужасовъ сего страшнаго періода времени?» На это отвѣтилъ критику, восхваляя, наоборотъ, Пушкина-историка, баронъ Розенъ, совершенно справедливо находившій, что странно требовать, чтобы исторія писалась «кистью Байрона», чтобы историкъ былъ въ исторіи поэтомъ. Пушкинъ, по мнѣнію Розена, удовлетворилъ въ своемъ трудѣ всѣмъ требованіямъ, которыя можно предъявлять историку. Пушкинъ представилъ полное изображеніе «печальнаго эпизода царствованія счастливаго и великаго». Въ его трудѣ критикъ находитъ «мудрую экономію и изящное устройство матеріала,—точное, истинно-художественное раздѣленіе свѣта и тѣни,—и, наконецъ, неподражаемую сжатость слога», въ которомъ нельзя найти даже лишняго эпитета. Пушкину

должно быть вмѣнено въ заслугу, что хорошо знаетъ границы «каждаго изящнаго искусства», съумѣвъ быть не-поэтомъ въ исторіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, замѣчаніе «Сына Отечества» о томъ, что въ исторіи Пушкина нѣтъ ни одной мысли и ни одного чувства, совершенно ошибочно, по справедливому мнѣнію Розена. Онъ обращаетъ вниманіе читателя на эпизодъ о Кармицкомъ и Харловой, предлагая вникнуть въ эту одну страницу и убѣдиться, сколько въ ней чувства, сколько электрическихъ искръ жизни, сколько трогательныхъ положеній и поразительныхъ картинъ. При удивительной простотѣ и сжатости, въ этомъ эпизодѣ также удивительно соблюденъ колоритъ Пугачевщины. Изъ одной этой страницы можно было бы, не прибавляя ничего существеннаго, написать цѣлую трагедію въ пяти дѣйствіяхъ. Двумя дѣльными замѣчаніями автору критикъ заканчиваетъ свой панегирикъ. Онъ говоритъ, что пока дѣло о Пугачевѣ, упоминаемое Пушкинымъ, не распечатано,—нельзя положительно утверждать, что Пугачевъ былъ только смѣлымъ орудіемъ яицкихъ казаковъ; затѣмъ, по мнѣнію Розена, авторъ довелъ «историческую строгость» до излишества; большую часть примѣчаній можно было бы помѣстить въ текстѣ, отчего книга безъ сомнѣнія выиграла бы. На этомъ мы покончимъ обозрѣніе отношеній современной Пушкину критики и перейдемъ къ критикѣ посмертной. Мы считаемъ излишнимъ дѣлать общую заключительную характеристику современной Пушкину критики: намъ кажется, что изъ общей экономіи труда достаточно тѣхъ заключеній, которыя были дѣлаемы раньше, и что общіе выводы настолько ясны изъ самаго изложенія (притомъ общія заключенія были уже дѣлаемы нами при самомъ изложеніи), что не является необходимости повторять два раза одно и то же.

Еще въ 1832 году Гоголь смѣло и патетически привѣтствовалъ въ лицѣ Пушкина «чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа», поэта вполнѣ націо-

нальнаго, въ которомъ «русская природа, русская душа, русскій языкъ, отразились въ такой же очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности стекла», поэта вполнѣ національнаго даже и тогда, когда онъ описываетъ совершенно сторонній міръ «глазами своей національной стихіи», а истинная національность и состоитъ въ самомъ духѣ народа. Это смѣлое признаніе Пушкина поэтомъ національнымъ было въ началѣ тридцатыхъ годовъ дѣломъ совершенно необыкновеннымъ среди тѣхъ сбивчивыхъ толковъ о національности поэта, которыя мы уже видѣли при разборѣ его произведеній. Масса журнальныхъ критиковъ была еще очень далека отъ такой глубины пониманія вопроса, лучшіе представители тогдашней критической мысли— Полевой и Надеждинъ тоже смутно сознавали это великое значеніе поэтической дѣятельности Пушкина, упрекая его то въ подражательности, то въ безнравственности, то вообще въ легкомыслiи. Мнѣніе Гоголя нашло свое развитіе только послѣ смерти Пушкина и — странно сказать — въ статьѣ современнаго нѣмецкаго критика Фарнгагенъ-фонъ-Энзе. Намъ кажется, что его статья не прошла безъ вліянія на нѣкоторые журнальные отзывы начала 40-хъ годовъ. Наши критики обрадовались смѣлому голосу иностранца, который своимъ тонкимъ эстетическимъ чутьемъ понялъ, что Пушкинъ «есть выраженіе всей полноты современной русской жизни и потому національненъ въ высшемъ смыслѣ этого слова», что Пушкинъ смѣло можетъ быть поставленъ на ряду съ величайшими представителями европейской поэзіи, — наши критики тоже на разные лады и въ «Библ. для Чтенія», и въ «Спб. Вѣдомостяхъ», и въ «Русскомъ Инвалидѣ» заговорили и о русской душѣ, и объ удивительномъ пониманіи русской жизни и русскаго народа, и, наконецъ, о томъ, что никто изъ русскихъ поэтовъ въ такой широкой рамѣ съ бо́льшею полнотою и истиною не выразилъ жизнь и судьбу человѣчества вообще и народа русскаго въ особенности. Нельзя также не замѣтить вліянія Фарнгагенафонъ-Энзе и на общія характеристики Пушкина, дѣлавшіяся

по поводу IX, X и XI том. посмертнаго изданія сочиненій. Объ этомъ мы скажемъ ниже. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ посмертной критикѣ поражаетъ еще одинъ странный фактъ. Нѣкоторыя статьи, еще до появленія критическаго разбора Бѣлинскаго, восторгаются Пушкинскимъ «Каменнымъ гостемъ», «Русалкой», «Капитанскою дочкой», «Арапомъ Петра Великаго», «Лѣтописью села Горохина» и др. посмертными произведеніями. Какъ на этотъ фактъ взглянутъ тенденціозные изслѣдователи? Неужто они опять станутъ утверждать, что Пушкинъ въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ устарѣлъ, ослабѣлъ, одряхлѣлъ, говорилъ только стихотворные комплименты, заискивая въ властяхъ, писалъ для этого шумно-патріотическія оды и вообще отсталъ отъ современности? Мы уже указывали на болѣе вѣрное и безпристрастное пониманіе подобнаго явленія, обрисовавъ критическое безвременье тридцатыхъ годовъ. Теперь же, повидимому, уже подросло и окрѣпло то юное литературное поколѣніе, которое съ восторгомъ привѣтствовало «Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго и которое воспитало свой эстетическій вкусъ на твореніяхъ великаго поэта.

Фарнгагенъ-фонъ-Энзе, считая Пушкина поэтомъ въ высшей степени національнымъ, замѣчаетъ, что его поэзія зиждется на твердой почвѣ, въ которую она пускаетъ корни, изъ которыхъ получаетъ пищу. Поэзія Пушкина самобытна даже тогда, когда она кажется подражательною, ибо онъ заимствуетъ только формы и избираетъ пути, существовавшіе до него, но жизнь, которую онъ создаетъ, совершéнно новая. Пушкинъ, сходясь съ Гёте, Байрономъ и Шекспиромъ въ томъ, что у него замѣтны тѣ же «противоположность и борьба поэзіи съ дѣйствительностью, та же скука и исполненная сомнѣнія радость, та же тоска объ утраченномъ или недостижимомъ счастіи, та же разочарованность», — вмѣстѣ съ тѣмъ противопоставляетъ этимъ качествамъ свѣжую веселость, которая освѣщаетъ его поэзію, подобно яркому солнечному лучу, и сохраняетъ даже въ отчаяніи утѣшеніе и надежду. Онъ столько приверженъ къ комизму и шуткѣ,

сколько къ трагическому и страстному. Его веселость составляетъ основное настроеніе, которому всѣ прочія настроенія служатъ тѣнями. Вездѣ у него быстрая краткость, свѣжія, сжатыя картины, яркія блестки ума, рѣзкіе обороты. Пушкину одинаково извѣстны и Югъ, и Сѣверъ, Европа и Азія, дикость и утонченность, древнее и современное; «отъ хладныхъ Финскихъ скалъ»—«до стѣнъ недвижнаго Китая», въ мірѣ сельскаго обычая и ежедневной модной жизни, въ чертогахъ и подъ палаткою цыганъ, — вездѣ Пушкинъ на своей почвѣ, вездѣ принимается его поэзія. Въ своихъ стихотвореніяхъ поэтъ удивительно разнообразенъ: здѣсь онъ является намъ «отъ упоеннаго диѳирамба, высокой оды и меланхоличной элегіи до простѣйшаго звука пѣсни, отъ дружескаго посланія до колкой эпиграммы». Столь разнообразно и содержаніе его стихотвореній. Нѣмецкій критикъ въ доказательство своихъ сужденій разсматриваетъ какъ образчики Пушкинскихъ стихотвореній: «Къ морю», «Андрей Шенье», «Талисманъ», «Мадонну», «Поэту», «Наполеонъ», «Клеветникамъ Россіи» и «Пиръ Петра Великаго»; про послѣднее стихотвореніе онъ говоритъ, что нигдѣ благороднѣйшая мысль не соединялась счастливѣе съ высокимъ даромъ музъ: этой одной пѣсни достаточно для доказательства того, что русская поэзія смѣло можетъ явиться со всякою другою «на высочайшей ступени». Столь же восторженны отзывы критика и объ «Евгиніи Онѣгинѣ» и о «Борисѣ Годуновѣ». Ничего, подобнаго Онѣгину, Фарнгагенъ не замѣчаетъ во всей европейской литературѣ. Онъ называетъ эту поэму «зеркаломъ русской жизни». Обрисовка дѣйствующихъ лицъ, ихъ поступковъ и «внутренняго существа» рѣдка и сильна; всѣ образы въ высочайшей степени наглядны, но особенно хорошъ характеръ Татьяны, собственное созданіе поэта; онъ «отмѣнно милъ и выдержанъ самымъ счастливымъ образомъ». Весьма остроумно замѣчаетъ критикъ, что Онѣгинъ и Ленскій могутъ быть, подобно братьямъ Фульту и Вальту у Жанъ-Поля Рихтера, приняты за разложеніе самого поэта, который изобразилъ двойственность своего внутренняго міра.

«Бориса Годунова» критикъ считаетъ трагедіею «въ высшемъ смыслѣ національною». Единство дѣйствія въ ней оказывается вездѣ, и соединяетъ всѣ части въ одно цѣлое. Расположеніе трагедіи по сценамъ и разговоръ — можно назвать мастерскими. Обрисовка характеровъ вѣрна и разнообразна; съ перваго появленія, съ первыхъ словъ лицъ черты ихъ прочно устанавливаются; власть, бояре, духовенство, народъ—всѣ являются въ своемъ истинномъ различіи. Такая многосторонность, такое умѣнье находить свойства каждаго отдѣльнаго лица — естественный признакъ драматическаго поэта. Все у него въ трагедіи сжато и остро, сильно и быстро; нѣтъ ничего излишняго или растянутаго. Еслибы Пушкинъ прожилъ долѣе, онъ вѣроятно бы написалъ цѣлый рядъ подобныхъ драмъ, ибо истинный драматическій талантъ по природѣ своей плодотворенъ.

Мы не будемъ говорить подробно ни о статьѣ «Галатеи», ни о статьяхъ «Московитянина», «Библіотеки для Чтенія», «Спб. Вѣдомостей» и «Русскаго Инвалида». Мы отмѣтимъ только то новое, то существенно важное и характерное въ этихъ статьяхъ, что̀ является оригинальнымъ и знаменательнымъ въ томъ или другомъ отношеніи. Такъ, напримѣръ, «Галатея» совершенно не соглашается съ мнѣніемъ лучшихъ критиковъ, что Пушкинъ есть великій поэтъ русскій и поэтъ всего человѣчества. Такъ могутъ думать только «записные панегиристы» поэта. Г. Раичъ полагаетъ, что хотя Пушкинъ и русскій поэтъ, но поэтъ «большого свѣта, или, что̀ все равно, поэтъ будуарный»; ибо онъ не возносился или очень рѣдко возносился къ небу, и почти не писалъ гимновъ. Поэзія же лирическая, по античному и допотопному мнѣнію Раича, есть, такъ сказать, «ѳиміамъ, возжигаемый или божеству, или богоподобнымъ людямъ, или боготворнымъ страстямъ», превращаясь иногда «въ уроки мудрости, облекаемые въ изящныя формы». Лирика должна «парить къ небу, а не пресмыкаться по землѣ, не погрязать въ чувственности». Пушкинъ же совсѣмъ почти не писалъ ни «гимновъ», ни торжественныхъ одъ, ни одъ философ-

скихъ или дидактическихъ. Развѣ послѣ этого онъ можетъ быть названъ поэтомъ. Развѣ можно, не писавъ также одъ героическихъ, считаться лирикомъ, вторымъ Державинымъ? Заслуги Пушкина только въ поэзіи повѣствовательной и частію драматической, въ поэзіи «легкой». (NB. Къ легкимъ стихотвореніямъ критикъ относитъ: «Къ морю», «Мадонну», «Монастырь на Казбекѣ», «Анчаръ» и др.). За исключеніемъ «Бориса Годунова», всѣ остальныя Пушкинскія драматическія сцены «имѣютъ достоинство, но достоинство болѣе относительное, нежели абсолютное», поэтому критикъ и «не подвергаетъ ихъ рецензіи». Допотопныя воззрѣнія критика, являющаго собой любопытный образчикъ критическаго атавизма и разыгравшаго роль возставшаго изъ гроба современника Хераскова, Сумарокова, Тредьяковскаго и пр., въ полномъ блескѣ сказываются въ его отзывѣ о «Полтавѣ». Такъ, по мнѣнію поклонника одъ и «шіимъ», «Полтава» если не самое слабое, то изъ самыхъ слабыхъ эпическихъ произведеній Пушкина и по созданію характеровъ, и по изложенію. Здѣсь Пушкинъ опять не послушался г. Раича и не справился у него, какъ нужно писать эпическія поэмы. Вѣдь «эпическая поэма есть поэтическое повѣствованіе о важномъ историческомъ событіи, имѣвшемъ вліяніе если не на человѣчество, то на значительную часть его — на государство». Цѣль поэмы — возбудить «удивленіе, благоговѣніе къ герою, избраннику Божію, который стремится къ предположенной благородной цѣли, напутствуемый Богомъ достигаетъ ея, преодолѣвши всѣ препятствія, противопоставляемыя ему враждебными силами». Кто герой «Полтавы»?—Мазепа. Есть ли въ немъ что либо подобное?—Нѣтъ. Мазепа—«лицо отвратительное», и притомъ характеръ его «не выдержанъ». Характеръ Маріи «въ нравственномъ отношеніи» не лучше характера Мазепы. Развѣ можетъ быть послѣ этого «Полтава» названа поэмой? Въ поэмѣ на первомъ планѣ должны стоять люди добродѣтельные и благородные, и только вторыя мѣста могутъ занимать «лица отвратительныя», чтобы возвысить «доблесть главнаго лица». Хотя характеръ Маріи и выдержанъ

отъ начала до конца, но вѣдь Марія не возбуждаетъ въ насъ никакого участія, — «это настоящая Танька, Ростокинская разбойница», которая мало того, что обезславила своего отца, мать, весь свой родъ,—бросившись въ объятія Мазепы, крестнаго отца своего, но для спасенія этого же своего соблазнителя готова пожертвовать головою своего отца. Если критику было «жалко и совѣстно» высчитывать всѣ недостатки третьей пѣсни «Полтавы», которая «такъ неудовлетворительна, такъ слаба, такъ далека отъ совершенства», то, какъ намъ кажется, не менѣе совѣстно читать о Пушкинѣ такіе отзывы допотопныхъ критиковъ. Считая критическія воззрѣнія Раича достойно обрисованными, мы переходимъ къ другимъ статьямъ, написаннымъ по поводу IX, X и XI томовъ посмертнаго собранія сочиненій Пушкина, въ которыхъ были помѣщены еще ненапечатанныя при жизни поэта творенія.

Въ этихъ статьяхъ, какъ мы сказали, поражаетъ восторженное поклоненіе такимъ произведеніямъ, какъ «Каменный гость», «Мѣдный всадникъ», «Галубъ» и др. Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя мѣста характеристики обнаруживаютъ несомнѣнно вліяніе Фарнгагена. Такъ, въ статьѣ «Спб. Вѣдомостей» говорится, что Пушкинъ «съ удивительной полнотой выразилъ въ своей поэзіи жизнь и судьбу человѣчества вообще и народа русскаго въ особенности», что онъ «изучилъ длинную гамму жизни», — «отъ спальни Мадридской пѣвицы до дымной, лучиною освѣщенной хаты мужика и убогой черкесской сакли», что «никто у насъ, не теряя своей самобытности, съ такою воспріимчивостію не умѣлъ усвоить въ своихъ твореніяхъ идеи исполиновъ въ европейской поэзіи», что, «облекая въ поэтическія формы жизнь во всемъ ея разнообразіи, Пушкинъ былъ не менѣе разнообразенъ и въ формѣ» и пр. На ряду съ такими, повидимому, заимствованными мыслями въ общей характеристикѣ поэта у критика «Спб. Вѣдомостей» есть кое-что и свое. Такъ, оригинально замѣчаніе критика, что Пушкинъ соединилъ въ себѣ одномъ начала поэзіи Державина, Кры-

лова, Жуковскаго — возвышенность перваго, истинно-русское сердце второго и такъ же какъ третій переигралъ пѣсни пѣвцовъ иноземныхъ. Оригинально также восхищеніе критика «Каменнымъ гостемъ», котораго самъ Шекспиръ не поколебался бы назвать своимъ, восхищеніе русской фантастической драмой «Русалкой», «Арапомъ Петра Великаго», въ которомъ удивительно соблюдена вѣрность въ описаніи нравовъ и историческихъ подробностей; «Дубровскимъ», въ которомъ въ истинномъ свѣтѣ изображенъ бытъ нашихъ помѣщиковъ — сѣдыхъ вельможъ Екатерининскаго вѣка, исторически-вѣрно набросанъ типъ русскаго барина XVIII ст.—Троекурова; «Лѣтописью села Горохина», представляющею вѣрную картину сельскаго быта,—«Египетскими ночами», въ которыхъ превосходно обрисованы физіономіи русскаго поэта и итальянскаго импровизатора, и другими произведеніями. Рецензентъ «Русскаго Инвалида», сходясь съ рецензентомъ «Спб. Вѣдомостей» въ похвалахъ всѣмъ перечисленнымъ произведеніямъ Пушкина, вмѣстѣ съ тѣмъ лучшей драмой считаетъ «Русалку», ибо ни въ одномъ изъ созданій поэта не выразилось «столько нѣжнаго чувства, понимавшаго всѣ страсти, всѣ положенія жизни въ разныхъ бытахъ ея», а лучшею повѣстью «Дубровскаго», о которомъ первый рецензентъ замѣтилъ, «что это смѣсь Франца и Карла Моора». По мнѣнію же рецензента «Русскаго Инвалида», съ этою повѣстью можно поставить рядомъ только «Капитанскую дочку». Если «Капитанская дочка» превосходитъ «Дубровскаго» «въ цѣломъ выдержанностью и строгимъ созданіемъ характеровъ, вообще окончательностью отдѣлки,— наконецъ, историческимъ интересомъ,—за то «Дубровскій» беретъ верхъ необыкновенной занимательностью отъ первой до послѣдней страницы, живостью и драматическимъ движеніемъ разсказа, бойкостью кисти и другими преимуществами въ частностяхъ. Мы проходимъ молчаніемъ статейку «Библіот. для Чтенія», которая почти буквально повторяетъ мнѣніе Фарнгагена о «Борисѣ Годуновѣ» и «Ев-

геніи Онѣгинѣ», не говоря ни слова вообще о произведеніяхъ Пушкина, появившихся послѣ его смерти.

«Москвитянинъ», въ лицѣ Шевырева, такъ же пытается сказать свое слово о характерѣ поэзіи Пушкина вообще и о произведеніяхъ трехъ послѣднихъ томовъ въ частности. Шевыревъ посвятилъ Пушкину пространную, многоглаголивую, широковѣщательную статью, занимающую сорокъ страницъ мелкой и убористой печати «Москвитянина». Статья эта, на нашъ взглядъ, кромѣ фразисто-кудрявыхъ похвалъ, тщетныхъ попытокъ сказать нѣчто новое о всѣхъ вообще произведеніяхъ Пушкина и охарактеризовать всю дѣятельность поэта, кромѣ патріотическихъ восклицаній, расплывчато-водянистыхъ разсужденій съ претензіей на образность и на оригинальность, — не представляетъ ничего примѣчательнаго, имѣющаго историко-литературную важность и интересъ. Вотъ нѣсколько образчиковъ его оцѣнки произведеній Пушкина для доказательства удивительнаго эстетическаго чутья Шевырева. Взглянувъ, напримѣръ, «мыслящимъ взоромъ внутрь» «Мѣднаго Всадника», критикъ такъ поясняетъ главную мысль, зерно и единство этого художественнаго созданія: «есть, говоритъ онъ, соотвѣтствіе между хаосомъ природы, который видите вы въ потопѣ столицы, и между хаосомъ ума, пораженнаго утратою». Какое такое «соотвѣтствіе» нашелъ критикъ и какимъ образомъ такая странная мысль могла лечь въ основу одного изъ величайшихъ твореній Пушкина — для читателя остается непроницаемой тайной. Вѣроятно, и самъ Шевыревъ не далъ поясненій потому, что не понималъ своихъ собственныхъ словъ. Основной идеей или, вѣрнѣе, зародышемъ идеи «Русалки» критикъ считаетъ «червя унынія», являющагося «плодомъ преступленія клятвы, которое (т. е. уныніе) такою разительною катастрофою открываетъ драму». Какъ назвать такое опредѣленіе, — если не трескучимъ наборомъ словъ, если не безплоднымъ потрясеніемъ воздуха, потокомъ высокопарныхъ, изысканныхъ выраженій? Развѣ можно изъ чтенія произведеній Пушкина почерпнуть такія

странныя мнѣнія, будто онъ поэтъ «чисто объективный», поэтъ эпоса и драмы, поэтъ «предметный, который весь увлеченъ міромъ внѣшнимъ и до самоотверженія способенъ переселяться въ его явленія». Не увлекся ли въ данномъ случаѣ самъ критикъ потокомъ своего краснорѣчія «до самоотверженія»? Отчего вліяніе Байрона было вредно для Пушкина, что значитъ «Онѣгинъ есть ходячій типъ западнаго вліянія на всѣхъ нашихъ свѣтскихъ людяхъ»? Гдѣ Шевыревъ нашелъ у Пушкина сатирическія повѣсти, называя его въ концѣ своего разбора повѣствовательныхъ произведеній поэта — «объективнымъ сатирикомъ, который уходитъ за свою сатиру и самъ своею мыслью воплощается въ бытіе, но такъ, что передъ вами раскрывается самое зерно его глубокаго значенія въ жизни». Эта фраза страдаетъ не только отсутствіемъ критическаго смысла, но и просто отсутствіемъ всякаго здраваго смысла. Такая фраза, какъ и многое изъ статей Шевырева, должна быть еще переведена на русскій языкъ, чтобы быть понятой. Вотъ, наконецъ, послѣдній образчикъ глубокаго пониманія «Дубровскаго», въ которомъ Шевыревъ нашелъ «глубоко-нравственную идею», заключающуюся въ томъ, что «всякое грабительство общественное, посмѣивающееся истинѣ, порождаетъ разбой личный, которымъ гражданинъ обиженный мститъ за неправды всего тѣла общественнаго». Въ статьѣ Шевырева есть, впрочемъ, и одно на половину дѣльное замѣчаніе на счетъ стиха Пушкина, который совмѣстилъ «пластическіе (?) элементы» поэзіи Державина съ музыкальностью Жуковскаго и Батюшкова. Вторая половина замѣчанія вѣрна, но гдѣ могъ найти критикъ «пластичность» у Державина, которую якобы заимствовалъ Пушкинъ,—это опять таки глубокая тайна. Если Пушкинъ и нашелъ у своихъ предшественниковъ пластическій стихъ, то это именно у Батюшкова. Какъ же Державинъ могъ попасть въ пластики? Мы позволимъ себѣ привести заключительныя слова статьи Шевырева, чтобы этой цитатой подкрѣпить справедливость

нашихъ сужденій объ общемъ характерѣ критическихъ упражненій ученаго критика. Шевыревъ находитъ, что отличительной чертой поэзіи Пушкина является «эскизованье, недостатокъ полнаго развитія въ отношеніи къ подробностямъ и къ цѣлому» и что поэтому «вся поэзія его, какъ и Россія, представляетъ чудный, богатый эскизъ недовершеннаго зданія»; далѣе критикъ проводитъ слѣдующую блестящую параллель между поэзіей Пушкина и состояніемъ русскаго народа. Кажется, что̀ можетъ быть общаго между такими разнородными предметами? Но проницательный критикъ нашелъ «поразительное сходство».

«Пушкинъ во всемъ томъ, что̀ отъ него осталось, и въ совокупномъ своемъ развитіи, — говоритъ Шевыревъ, увлеченный потокомъ своего краснорѣчія, — представляетъ намъ много поразительнаго сходства съ его народомъ и страною: такъ и должно быть, ибо геній въ словесности всегда бываетъ зеркаломъ жизни своего отечества. Тотъ же геніальный умъ, кипящій чудными, внезапными мыслями, но не имѣющій всѣхъ необходимыхъ условій образованія для того, чтобы ихъ исполнять. Тотъ же неудержный, стремительный духъ, то же порывистое, своенравное развитіе, тѣ же мгновенныя вдохновенія безъ твердаго духа и постоянства. Та же прелесть въ отдѣлкѣ наружныхъ формъ, какими блещутъ обѣ наши столицы, достойныя соперницы всѣхъ европейскихъ, и тотъ же недостатокъ внутренняго развитія. Въ отношеніи къ содержанію произведеній та же противорѣчащая смѣсь: міръ идеаловъ, міръ прекрасныхъ мыслей, сильныхъ зародышей, міръ великихъ надеждъ на грядущее,—и міръ еще праздной, тяжкой, грубой дѣйствительности, до которой не достигла мысль, свыше дѣющая. Въ отношеніи совокупности цѣлаго этихъ произведеній: тѣ же чудныя массы, готовыя колонны, или стоящія на мѣстѣ, или ждущія руки воздвигающей доконченные архитравы, выдѣланныя рѣзцомъ украшенія и при этомъ богатый запасъ готоваго дивнаго матеріала»...

Не говоря уже о томъ, что въ русскомъ народѣ кипитъ внезапными мыслями геніальный умъ и о всѣхъ прочихъ поразительныхъ качествахъ, открытыхъ въ русскомъ народѣ,— гдѣ же Шевыревъ «въ странѣ», т. е. въ Россіи, видѣлъ такое обиліе всякихъ «чудныхъ массъ», «архитравовъ», «готовыхъ колоннъ» и «богатый запасъ какого-то готоваго дивнаго матеріала». Гдѣ Шевыревъ нашелъ въ русской исторіи своенравное развитіе? Неужели наружная отдѣлка столицъ являетъ въ себѣ нѣчто характерное для русскаго народа? Недоста-

токъ какого внутренняго развитія нашелъ высокоумствующій критикъ въ нашихъ обѣихъ столицахъ и что общаго между этимъ недостаткомъ развитія и русскимъ народомъ? Не напыщенная ли пустозвонная риторика подобная тирада, въ которой, поэтому, нечего искать и смысла, какъ и во многихъ писаніяхъ этого «оригинальнаго» мыслителя?

ГЛАВА XIII.

Восьмой томъ сочиненій Бѣлинскаго, какъ главное произведеніе третьяго періода его дѣятельности.—Общая характеристика Пушкинскаго творчества.—Противорѣчіе Бѣлинскаго въ общей оцѣнкѣ Пушкина. — Разборъ лирическихъ стихотвореній.—Полемика съ Гоголемъ по вопросу о народности вообще и народности Пушкина въ частности.—Дѣленіе творческой дѣятельности Пушкина на три періода. — Разборъ произведеній, принадлежащихъ къ каждому изъ этихъ періодовъ. — Общее заключеніе Бѣлинскаго о Пушкинѣ и оцѣнкѣ этого заключенія.

Главное произведеніе третьяго періода дѣятельности Бѣлинскаго есть обширное критическое сочиненіе о Пушкинѣ. Оно занимаетъ собой почти весь VIII томъ сочиненій знаменитаго критика и состоитъ изъ ряда одиннадцати большихъ статей, печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» съ 1843 по 1846 годъ. Третій періодъ дѣятельности Бѣлинскаго—періодъ исторической и публицистической критики. Вмѣстѣ съ этимъ критикъ высоко ставитъ теперь субъективную поэзію, которую прежде, во второмъ періодѣ, ставилъ гораздо ниже объективной. Разбору сочиненій Пушкина критикъ предпосылаетъ историческій очеркъ всей нашей новой литературы. На литературу Бѣлинскій смотритъ съ исторической точки зрѣнія, въ произведеніяхъ нашей словесности видитъ историческую связь и признаетъ за произведеніями, не имѣющими абсолютнаго значенія, свой историческій смыслъ. Прежде Бѣлинскій мало сочувствовалъ исторической критикѣ, которую называлъ французскою, и отдавалъ

предпочтеніе критикѣ германской; теперь же онъ симпатизируетъ французской и вмѣстѣ самой Франціи. Французскому народу, по мнѣнію Бѣлинскаго, суждена всемірно-историческая роль, дающая нравственное вліяніе на другіе народы. Что касается до Германіи, то умственную жизнь ея составляетъ теорія, созерцаніе, мистицизмъ и фантазерство, а дѣйствительную жизнь — пошлости бюргерства, гофратства и филистерства.

«Писать о Пушкинѣ, — говоритъ Бѣлинскій, — значитъ писать о цѣлой русской литературѣ: ибо какъ прежніе писатели объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей» [1]). Четыре статьи Бѣлинскій посвящаетъ разбору предшествовавшей Пушкину литературѣ. Разборъ Пушкина начинается съ пятой статьи, напечатанной въ 1844 г. Здѣсь Бѣлинскій старается установить принципы своей критики, дѣлая вмѣстѣ съ тѣмъ общій историческій очеркъ русской критики. Бѣлинскій отказывается судить о поэзіи Пушкина и на основаніи только личнаго вкуса, ибо тогда критика будетъ отзываться произволомъ личнаго мнѣнія,—и на основаніи какой нибудь теоріи, ибо теорія гнетъ факты и не покажетъ поэта въ истинномъ свѣтѣ. Бѣлинскій отвергаетъ и нѣмецкую критику, которая при разсмотрѣніи произведеній искусства всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому вращается исключительно въ тѣсной сферѣ эстетики, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь не обращаетъ никакого вниманія. Жизнь выше искусства: искусство есть одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Поэтому, оцѣнивъ въ поэтѣ то, что онъ даетъ, уловивъ тайну его личности, нужно опредѣлить связь писателя съ обществомъ,вникнувъ въ духъ того времени, когда писатель явился и дѣйствовалъ. Чтобы уловить тайну личности поэта, нужно изслѣдовать его паѳосъ. Паѳосъ—это страсть, возжигаемая въ человѣкѣ идеею и всегда стремящаяся къ идеѣ,—слѣдова-

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 102.

тельно, страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Каждое поэтическое произведеніе должно быть плодомъ своего особаго паѳоса; весь міръ творчества поэта, вся полнота его поэтической дѣятельности тоже имѣетъ свой единый паѳосъ—общій. Первою задачею критика должна быть разгадка: въ чемъ состоитъ паѳосъ произведеній разбираемаго поэта. Установивъ, такимъ образомъ, принципы своей критики, Бѣлинскій переходитъ къ разбору Пушкина. Объяснивъ и опредѣливъ синтетически его паѳосъ, критикъ приступаетъ къ разсмотрѣнію съ исторической точки зрѣнія поэзіи Пушкина. Пушкинъ—художникъ по преимуществу; его поэтической натурѣ ничего не стоило «быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферѣ жизни быть какъ у себя въ домѣ»; жизнь и природа, гдѣ бы ни встрѣтилъ онъ ихъ, свободно ложились на полотно подъ его кистью. Это доказываютъ даже мелкія его пьесы наравнѣ съ поэмами и драматическими опытами. Для доказательства своей мысли критикъ дѣлаетъ блестящую общую характеристику Пушкина, въ которой обнаруживаетъ всю глубину и тонкость эстетическаго чувства, всю силу своего увлекательнаго краснорѣчія. Чтобы еще болѣе пояснить свою мысль, критикъ сопоставляетъ Пушкина съ другими великими поэтами—съ Гомеромъ, Шекспиромъ, Байрономъ, Гёте, Шиллеромъ. Это сопоставленіе еще сильнѣе заставляетъ критика убѣдиться въ томъ, что въ Пушкинѣ прежде всего виденъ художникъ, вооруженный всѣми чарами поэзіи, призванный для искусства какъ искусства, художникъ, исполненный любви и интереса ко всему эстетически прекрасному,—любящій все и потому терпимый ко всему. Отсюда, по мнѣнію Бѣлинскаго, всѣ достоинства и всѣ недостатки Пушкинской поэзіи.

Натура Пушкина была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не принадлежитъ исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринѣ. Въ сферѣ своего поэтическаго міросозерцанія онъ, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданиномъ вселенной; въ самой исторіи, такъ же какъ и въ природѣ, онъ видѣлъ только мо-

тивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ поэтическихъ концепцій. Пафосъ его поэзіи вышелъ изъ потребности нашей жизни и удовлетворилъ этой потребности. До Пушкина у насъ не было даже предчувствія того, что такое искусство, художество, которое составляетъ собою одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человѣческаго. До него поэзія у насъ была пересадкомъ, а не туземнымъ растеніемъ. Прежде чѣмъ сдѣлаться выраженіемъ жизни, поэзія должна быть поэзіей. Пушкинъ явился живымъ откровеніемъ ея тайны на Руси. Таково было мнѣніе Бѣлинскаго о Пушкинѣ съ исторической точки зрѣнія.

Нѣсколько далѣе Бѣлинскій противорѣчитъ себѣ. Возведя раньше Пушкина на недосягаемый пьедесталъ поэтическаго мессіи, критикъ, опредѣляя Пушкина съ общественной точки зрѣнія, находитъ, что исключительная художественность его была неправильна, осуждаетъ его за недостатокъ отзывчивости на общественные мотивы, ибо поэтическое созерцаніе міра безусловно признаетъ настоящее положеніе вещей необходимо разумнымъ. Въ такой поэзіи больше чувства, чѣмъ мысли; такая поэзія отличается изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью, — но въ этомъ-то и ея недостатки. Такая пора искусства, — по мнѣнію критика, увлеченнаго публицистической точкой зрѣнія, — уже миновала въ Европѣ; въ Россіи же не можетъ произвести ни одного великаго поэта. «Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія — говоритъ Бѣлинскій, — страстное, полное любви и вражды мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи». Неправда-ли, странная узкость и односторонность воззрѣнія, возможная въ страстныхъ, увлекающихся и нетерпимыхъ натурахъ, подобныхъ натурѣ Бѣлинскаго? Какъ будто Пушкинъ былъ виноватъ въ складѣ и характерѣ своего таланта, отъ которагоза висятъ творческіе пріемы возсозданія жизни? Какъ будто всѣ поэты должны походитъ на Байрона, Лермонтова и другихъ, имъ подобныхъ, чтобы имѣть права на современность, чтобы ихъ поэзія считалась истинной и жизненной, а не устарѣвшей и архаической? Такихъ

промаховъ мы встрѣтимъ не мало въ статьяхъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ.

Въ стихотвореніи «Чернь», по мнѣнію Бѣлинскаго, заключается поэтическое profession de foi Пушкина. Съ одной стороны, здѣсь Бѣлинскій оправдываетъ полный благородной гордости и энергическаго негодованія отвѣтъ поэта толпѣ, предлагавшей исправлять ее звуками лиры, ибо, говоритъ критикъ, «смѣшны и жалки тѣ глупцы, которые смотрятъ на поэзію, какъ на искусство втискивать въ размѣренныя строчки съ риѳмами разныя нравоучительныя мысли»; съ другой же стороны, если поэтъ будетъ пѣть про себя и для себя, презирая толпу, онъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. Личность Пушкина велика и благородна, но его взглядъ на художественное служеніе и недостатокъ европейскаго образованія (еще въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» Бѣлинскій горевалъ, что Пушкину не доставало нѣмецко-художественнаго воспитанія) были причиной постепеннаго охлажденія общества къ его произведеніямъ. Публика была не въ состояніи опредѣлить художественное совершенство его позднѣйшихъ твореній, но, съ другой стороны, она въ правѣ была искать въ этихъ созданіяхъ Пушкина разрѣшенія нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, чего въ нихъ, однако, не было.

Такимъ образомъ, въ общихъ приговорахъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ выходитъ явное противорѣчіе. Критикъ вѣрно подмѣтилъ художественность, какъ отличительную черту поэзіи Пушкина, но, объясняя эту художественность какъ индифферентизмъ къ вопросамъ общественной жизни, онъ впалъ въ несомнѣнную ошибку. Пушкинское спокойствіе, его спокойный взглядъ на жизнь Бѣлинскій принялъ за безучастное отношеніе къ жизни. Оттого Бѣлинскій не съумѣлъ подмѣтить и болѣзненности стихотворенія «Чернь». Раньше, разбирая стихотворенія Лермонтова[1]), онъ говорилъ совершенно справедливо, что въ произведеніяхъ поэзіи польза не

[1]) См. т. IV. стр. 252.

есть цѣль, а является какъ слѣдствіе. Тамъ Бѣлинскій договорилъ недосказанное въ болѣзненномъ стихотвореніи «Чернь». Теперь же утилитарно-публицистическое настроеніе поставило критика въ ложныя отношенія къ поэту, продиктовавши несправедливо-порицательные приговоры надъ якобы исключительно художественной поэзіей Пушкина.

Въ разборѣ лирическихъ стихотвореній Бѣлинскій прекрасно подмѣтилъ элементы Пушкинской поэзіи. Прежде всего онъ указываетъ на античное чувство красоты, сказавшееся въ тѣхъ мелкихъ стихотвореніяхъ, которыя критикъ называетъ «музыкой въ стихахъ и скульптурой въ поэзіи». Эти стихотворенія показали съ перваго раза въ Пушкинѣ поэта по преимуществу. Другой элементъ творчества Пушкина — дѣйствительность. Поэзія его чужда всего мечтательнаго; сомнѣніе, рефлексія не составляютъ паѳоса Пушкинской поэзіи; сомнѣніе есть случайное противорѣчіе паѳосу Пушкина, а не выраженіе его. Пушкинъ умѣлъ всюду видѣть красоту; его поэзія отличается гуманностью, доходящею до просвѣтлѣнія. Чувство, лежащее въ основаніи ея, «тихо и кротко», не смотря на свою глубокость, и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣчно. Пушкинъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, смотря на все съ любовью и благоговѣніемъ. Самая грусть поэта, не смотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свѣтла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цѣлитъ раны сердца. Вслѣдствіе этой гуманности Пушкинъ, какъ поэтъ, имѣетъ нравственно-воспитательное значеніе. На Руси нѣтъ болѣе нравственнаго поэта, какъ Пушкинъ, при такомъ громадномъ талантѣ. Въ этихъ разсужденіяхъ о гуманности и нравственно-воспитательномъ значеніи Пушкина видно опять нѣкоторое, хотя и косвенное, противорѣчіе съ обвиненіемъ поэта въ томъ, что онъ не отзывался на дѣйствительность.

По поводу стихотвореній Пушкина изъ народной жизни и народныхъ вѣрованій Бѣлинскій говоритъ о народности великаго поэта, находя, что она есть не болѣе, какъ «художественный тактъ», умѣнье переноситься въ чуждую

жизнь. По этому поводу Бѣлинскій полемизируетъ съ Гоголемъ, который утверждалъ, что Пушкинъ писалъ, какъ думаетъ и чувствуетъ русскій народъ. Критикъ какъ будто соглашался съ этимъ, но выражалъ свое желаніе знать — какъ же думаетъ и чувствуетъ русскій народъ? Свое сомнѣніе въ возможности опредѣлить — какъ думаетъ и чувствуетъ русскій народъ—Бѣлинскій могъ бы разрѣшить, прочитавъ свою же статью о «Русской литературѣ въ 1841 г.»[1]). Въ этой статьѣ Бѣлинскій говоритъ, что народными чертами слѣдуетъ считать—«грусть съ возможностью бодраго, мощнаго выхода изъ нея въ ощущеніе собственной силы; внѣшнее спокойствіе при внутренней движимости; отсутствіе одолѣвающей страстности».—Теперь же это отсутствіе «одолѣвающей страстности» критикъ готовъ сблизить съ индифферентизмомъ, съ холоднымъ отношеніемъ къ жизни. Въ этомъ сказалось одно изъ многочисленныхъ противорѣчій Бѣлинскаго.

Поэтическую дѣятельность Пушкина Бѣлинскій дѣлитъ на три періода. Къ первому періоду онъ относитъ «Руслана и Людмилу», «Кавказскаго Плѣнника» и «Бахчисарайскій Фонтанъ»; ко второму—«Цыганъ», «Полтаву», «Графа Нулина» и первыя шесть главъ «Онѣгина»; къ третьему періоду—«Бориса Годунова» и всѣ остальныя произведенія поэта. Въ разборѣ произведеній перваго періода Бѣлинскій стоитъ на точкѣ зрѣнія общественно-нравственныхъ идей, выказывая въ оцѣнкѣ поэмъ почти вѣрное эстетическое чувство. Въ главныхъ чертахъ критикъ оцѣниваетъ «Руслана» совершенно справедливо, хотя со многими частностями его разбора и нельзя согласиться. Это произведеніе дѣтское, навѣянное на Пушкина Аріостомъ, русскаго въ поэмѣ нѣтъ ничего, кромѣ имени и первыхъ 17 стиховъ; романтизма тоже нѣтъ, — онъ даже осмѣянъ въ забавной выходкѣ противъ «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ». Поэма столько же русская, сколько и нѣмецкая или китайская, Кирша Даниловъ

[1]) См. т. VI, стр. 1—104.

не виноватъ въ ней ни душою, ни тѣломъ, ибо въ самой худшей изъ собранныхъ имъ пѣсенъ больше русскаго духа, чѣмъ во всей поэмѣ Пушкина. Эта поэма — шалость сильнаго, но незрѣлаго еще таланта. Весь типъ ея шуточный. Поэтъ не принимаетъ никакого участія въ созданныхъ имъ образахъ. Оттого поэма, какъ самъ Пушкинъ замѣчалъ впослѣдствіи, холодна. Но въ ней прекрасные стихи, много граціи, игривости, остроумія. Вообще, «Русланъ и Людмила» имѣла для 20-хъ годовъ то же самое значеніе, какое «Душенька» Богдановича для 70-хъ годовъ XVIII столѣтія. Гораздо выше критикъ ставитъ «Кавказскаго плѣнника», въ которомъ находитъ вѣрное и поэтическое изображеніе кавказской природы и быта тамошнихъ жителей. Вся поэма проникнута теплымъ, живымъ чувствомъ. Въ созданіи же характеровъ сказалась незрѣлость таланта Пушкина. Самое положеніе, въ которое поэтъ поставилъ черкешенку и плѣнника, отзывается мелодраматизмомъ. По поводу характера плѣнника Бѣлинскій замѣчаетъ, что онъ сильно занималъ Пушкина и являлся въ его произведеніяхъ въ различныхъ образахъ. Самого плѣнника критикъ считаетъ выраженіемъ переходнаго состоянія поэта къ сознанію, изъ отрочества къ юношеству. Оттого плѣнникъ вышелъ пустоцвѣтомъ. «Бахчисарайскій фонтанъ» это «благоухающій цвѣтокъ», которымъ слѣдуетъ безотчетно и безпредѣльно любоваться. Идея поэмы — просвѣтлѣніе души человѣческою любовью къ женщинѣ, которая вспыхнула въ дикомъ татаринѣ, пресыщенномъ любовью гаремною. Марія, эта дѣва среднихъ вѣковъ, кроткая, скромная, дѣтски-благочестивая, внушила Гирею, деспоту-разбойнику, чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ дномъ татарскую натуру азіатскаго варвара. Мысль поэмы — перерожденіе, если не просвѣтлѣніе, дикой души черезъ чувство любви. Пушкинъ, по молодости, не могъ сладить съ такою глубокою мыслью и поэтому характеръ поэмы во многихъ мѣстахъ мелодраматическій.

«Цыганъ» Бѣлинскій разбираетъ съ соціальной, публицистической точки зрѣнія. Критикъ смотритъ на Алеко, какъ

на эгоиста, съ большимъ умомъ и сильными страстями, для себя не любящаго ни тѣхъ стѣснительныхъ формъ, которыми любитъ душить другихъ. Его побудили не страсти, а эгоизмъ. Его протестъ противъ порочнаго общества полонъ энергичнаго и благороднаго негодованія. Но, замѣчаетъ Бѣлинскій, конечно, гораздо легче негодовать и проклинать людей, чѣмъ самому поступить справедливо «въ собственномъ своемъ дѣлѣ». По поводу характера Алеко Бѣлинскій высказываетъ различнаго рода общественныя мысли, напримѣръ, объ отношеніи слова къ дѣлу. Здѣсь онъ говоритъ, что всякая идея важна только существенная практически, что примѣтъ нравственнаго и безнравственнаго человѣка нужно искать въ томъ, какъ человѣкъ поступаетъ, а не въ томъ, какъ онъ разсуждаетъ и пр. Кромѣ того, Бѣлинскій въ разборѣ «Цыганъ» представляетъ свои чрезвычайно интересныя соображенія о ревности. Эту страсть Бѣлинскій считаетъ свойственной или эгоистичнымъ по своей натурѣ, или нравственно-неразвитымъ людямъ. По мнѣнію критика, непростительное заблужденіе считать ревность необходимой принадлежностью любви.—Человѣкъ нравственно развитый любитъ спокойно, увѣренно, потому что уважаетъ предметъ своей любви. Если онъ замѣтитъ охлажденіе къ себѣ со стороны любимаго предмета,—онъ будетъ страдать, а не ревновать. Если отъ него скрываются,—онъ отвѣтитъ на это презрѣніемъ; если же ему прямо скажутъ, что его не любятъ, тогда муки подозрѣнія имѣютъ еще менѣе смысла. Шекспировскій Отелло представляетъ сильный интересъ, какъ картина того варварскаго времени, когда жилъ Шекспиръ и когда мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены. Ревность Алеко возбуждаетъ въ насъ смѣшанное съ ужасомъ отвращеніе. Животная мстительность Алеко вытекаетъ изъ животнаго эгоизма его. Считая любовь прихотью сердца, Бѣлинскій оправдываетъ измѣну Земфиры, впадая при этомъ въ противорѣчіе: побуждаемый своимъ нравственнымъ чувствомъ, онъ винитъ Алеко, дѣлая предположеніе объ его измѣнѣ любящему его человѣку, такъ что измѣна оказывается чѣмъ-то эгоистиче-

скимъ. Общественное направленіе въ критикѣ совпало съ сочувствіемъ къ непосредственному, народному. Осуждая Алеко, Бѣлинскій восторгается старымъ цыганомъ,—«однимъ изъ тѣхъ лицъ, созданіемъ которыхъ можетъ гордиться всякая литература». Пиша такъ, Бѣлинскій чувствуетъ, что попалъ въ противорѣчіе съ своей симпатіей прогрессу, къ западно-европейской цивилизаціи. Онъ пытается выйти изъ этого противорѣчія. Но остроумныя попытки его объяснить дѣло отзываются софизмомъ. Бѣлинскій старается доказать, что цыганъ вовсе не можетъ быть высшимъ идеаломъ человѣка, ибо этотъ идеалъ можетъ реализироваться только въ существѣ сознательно разумномъ, а не въ непосредственно разумномъ, не вышедшемъ изъ-подъ опеки у природы и обычая. Цыганъ способствуетъ, по мнѣнію критика, только къ преподанію намъ великаго урока, но не самъ собою, а черезъ Алеко, сына цивилизаціи. Цыганъ играетъ роль хора въ греческой трагедіи. Бѣлинскій приписываетъ Пушкину противорѣчіе во взглядѣ на Алеко. Онъ говоритъ, что поэтъ несправедливъ, сваливая всю вину на «роковыя страсти, живущія и подъ изодранными шатрами» и «на судьбу, отъ которой нигдѣ нѣтъ защиты». Пушкинъ, по словамъ критика, желая создать апоѳеозу Алеко, какъ поборника правъ человѣческаго достоинства, вмѣсто того изрекъ надъ нимъ судъ «неумолимо-трагическій» и «горько-ироническій». Въ чемъ же противорѣчіе въ созданіи Пушкина? Вѣдь поэтъ хотѣлъ представить огненную страсть въ соединеніи съ эгоизмомъ. А Бѣлинскій полагалъ, что представитель страстнаго начала не можетъ быть представителемъ эгоизма. Если здѣсь противорѣчіе, то скорѣе у Бѣлинскаго, чѣмъ у Пушкина.

Эстетическая оцѣнка «Полтавы» сдѣлана Бѣлинскимъ превосходно. Въ «Полтавѣ» критикъ совершенно справедливо находитъ народность въ выраженіи, великолѣпныя частности, но въ цѣломъ недостатокъ единства и даже присутствіе появляющагося по временамъ мелодраматизма. Главный недостатокъ поэмы Бѣлинскій объясняетъ желаніемъ Пушкина слѣдовать той ложной мысли, что историческая поэма должна

непремѣнно подражать Иліадѣ. Подъ идеалъ эпической поэмы, къ которому тщетно стремились подражатели Иліады, подходитъ только «Божественная комедія» Данте. Теперь только такое твореніе можетъ войти въ одну категорію съ поэмами Гомера, въ которомъ воспѣвается не знаменитое событіе въ духѣ народа. Поэтому, нѣмцы имѣютъ свою Иліаду не въ «Мессіадѣ» Клопштока, а въ «Фаустѣ» Гёте. Въ сравненіи Бѣлинскимъ «Полтавы» съ «Мазепой» Байрона сказывается крайнее западничество критика. Онъ совсѣмъ не разсмотрѣлъ характера Мазепы, нарисованнаго Пушкинымъ, и не замѣтилъ, что у Байрона характеръ гетмана совсѣмъ не обрисованъ. По увѣренію же Бѣлинскаго, Мазепа Байрона — лицо «колоссально-поэтическое», хотя исторически невѣрное. Главный недостатокъ Пушкина въ томъ, что онъ хотѣлъ быть вѣренъ исторіи. Герой поэмы, по мнѣнію критика, долженъ быть непремѣнно человѣкомъ возбуждающимъ въ насъ симпатію, или подавлять читателя «силой своей воли, грандіозностью своего мрачнаго духа». Столь же странно оцѣниваетъ Бѣлинскій Марію, ставя ее выше «препрославленной» Татьяны, этого «смѣшенія деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ». Пушкинъ, говоритъ критикъ, ничего не создалъ выше и лучше личности Маріи. Здѣсь конечно сказалось западничество Бѣлинскаго, ставящаго страстную Марію выше простой русской дѣвушки Татьяны. Но за одну частность поэмы критикъ ставитъ Пушкина наравнѣ съ Шекспиромъ. Онъ говоритъ, что если хорошо объяснена любовь Мазепы къ Маріи, то еще подробнѣе и глубже развита любовь Маріи къ Мазепѣ, и притомъ съ такимъ истинно Шекспировскимъ мастерствомъ, что пораженный удивленіемъ читатель невольно останавливается предъ такимъ изображеніемъ. — Разбирая третью пѣснь, Бѣлинскій превосходно характеризуетъ Петра, какимъ онъ тамъ является, и высказываетъ увлеченіе этою историческою личностью.—Чрезвычайно удачно оцѣниваетъ критикъ «Графа Нулина», называя его «галлереей превосходнѣйшихъ картинъ фламанд-

ской школы» и обнаруживая эстетическое пониманіе поэзіи, близкое къ пониманію русскихъ народныхъ началъ.

Далѣе слѣдуетъ разборъ главнаго произведенія Пушкина, романа «Евгеній Онѣгинъ». Здѣсь Бѣлинскій прекрасно объясняетъ значеніе этого романа въ эстетическомъ, общественно-историческомъ и біографическомъ смыслѣ. Онъ признаетъ романъ высоко-художественнымъ произведеніемъ, считая его заизображеніе русской жизни и выраженіе русскаго сознанія. Онъ называетъ «Онѣгина» «самымъ задушевнымъ» произведеніемъ Пушкина, въ которомъ съ удивительною полнотою отразилась личность поэта, его чувства, понятія, идеалы. «Онѣгина можно назвать энциклопедіей русской жизни: въ немъ поэтъ является не только живописцемъ, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія. Сравненіе съ Байрономъ можетъ быть дѣлаемо только относительно формы: Байронъ писалъ о Европѣ и для Европы,— Пушкинъ о Россіи и для Россіи. Но въ концѣ своего обширнаго разбора критикъ приходитъ къ осужденію романа за дворянскія тенденціи и за происшедшую отсюда устарѣлость. По мнѣнію Бѣлинскаго, хотя Пушкинъ и указываетъ пороки дворянскаго класса, но его принципы являются для поэта «вѣчной истиной». Для доказательства своей мысли критикъ предлагаетъ вспомнить описаніе семейства Ларинныхъ и особенно портретъ самого Ларина. Едва ли Бѣлинскій былъ правъ въ подобныхъ упрекахъ: намъ кажется, что онъ сочувствіе къ простымъ и добрымъ людямъ принялъ за пристрастіе къ дворянству и возвелъ на Пушкина совершенно несправедливое обвиненіе.

Съ большимъ сочувствіемъ рисуетъ Бѣлинскій героя романа. Но нельзя сказать, чтобы его характеристика была вполнѣ вѣрной и безпристрастной. Онъ защищаетъ Онѣгина, называя ошибочными тѣ мнѣнія, въ силу которыхъ въ немъ отрицаютъ душу и сердце и видятъ эгоиста по натурѣ. Многіе даже добродушно вѣрили, что и Пушкинъ хотѣлъ представить Онѣгина холоднымъ эгоистомъ. Это значитъ, по мнѣнію критика, ничего не видѣть, имѣя глаза. Свѣтская

жизнь только охолодила Онѣгина; дружеская связь его съ Ленскимъ говоритъ сама за себя. Онѣгинъ — добрый малый, но недюжинный человѣкъ; бездѣятельность и пошлость жизни душитъ его. Если вспомнить его воспитаніе, то нужно удивляться хорошимъ задаткамъ его натуры, которыхъ не убило такое воспитаніе. Онѣгинъ эгоистъ поневолѣ; онъ не могъ ничего сдѣлать среди «своихъ прекрасныхъ сосѣдей». Этому человѣку стоило было бросить два-три взгляда, чтобы узнать громадную разницу между Ольгой и Татьяной, между тѣмъ какъ Ленскій видѣлъ въ Ольгѣ идеальное и поэтическое созданіе. Такимъ образомъ, Бѣлинскій, вѣрно указавъ свѣтлую сторону характера Онѣгина, противоположной стороны совсѣмъ не видитъ. Праздность и бездѣятельность, тѣсно связанный съ праздною жизнью эгоизмъ Онѣгина Бѣлинскій объясняетъ съ общественной точки зрѣнія, ибо въ окружающей его сферѣ нечего было дѣлать. Съ этой же точки зрѣнія Бѣлинскій, если не оправдываетъ, то защищаетъ дуэль Онѣгина съ Ленскимъ, ибо тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ разсудковъ требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Конечно, подобныя оправданія не выдерживаютъ никакой критики и въ этомъ сказалось пристрастіе Бѣлинскаго къ Онѣгину, похожему на героевъ Байрона. Озлобленіе Онѣгина и его отношенія къ Татьянѣ критикъ также съ своей точки зрѣнія оправдываетъ и смотритъ притомъ на отношенія къ Татьянѣ глазами героя романа. Бѣлинскій пытается объяснить, что Татьяна не могла удовлетворить Онѣгина. Но отчего же Онѣгинъ увлекся ею потомъ, этого Бѣлинскій не объясняетъ. Въ его попыткахъ объяснить это дѣло замѣчается путаница. Онѣгинъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, когда посылалъ Татьянѣ страстное письмо, думалъ, что свѣтъ научилъ ее владѣть собою: «значеніе свѣтской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины». Притомъ же любовь безъ борьбы не имѣла въ глазахъ Онѣгина никакой прелести, а Татьяна не обѣщала ему легкой побѣды. И вотъ онъ бросается въ эту борьбу безъ надежды на побѣду, безъ разсчета, со всѣмъ безумствомъ искренней страсти. Гораздо

лучше объяснялъ Бѣлинскій то же самое въ одномъ изъ своихъ писемъ 1837 года [1]). Тамъ онъ находилъ, что Онѣгинъ «не пошлый, а опошлившійся человѣкъ и потому не узналъ своей родной души». Весьма, конечно, странно, что при своемъ чутьѣ Бѣлинскій не видѣлъ безмѣрнаго эгоизма Онѣгина. Пристрастіе къ Онѣгину вызвало несправедливое отношеніе къ Ленскому, которое можно объяснить враждой Бѣлинскаго къ романтизму, развившейся въ послѣдній періодъ дѣятельности критика. Ленскому онъ предрекаетъ самую пошлую будущность. Въ отношеніяхъ къ Татьянѣ замѣтна двойственность: Бѣлинскій увлекается ею подъ вліяніемъ эстетическаго, нравственнаго чувства,—онъ порицаетъ ее вслѣдствіе ненависти къ романтизму и непониманія народныхъ началъ. Приступая къ анализу характера Татьяны, критикъ разсуждаетъ о положеніи женщинъ у насъ на Руси. Обрисовавъ мѣткими чертами два типа дѣвушекъ—«невѣстъ» и «идеальныхъ дѣвъ», Бѣлинскій признается, что Татьяна составляетъ «геніальное и истинноколоссальное» исключеніе изъ подобнаго рода. Натура ея немногосложна, но глубока и сильна. Она создана какъ будто вся изъ цѣлаго куска, безъ всякихъ придѣлокъ и примѣсей. Она натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или «величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бѣдствіемъ, безъ всякой примирительной середины». Но вслѣдъ за такимъ сочувственнымъ отношеніемъ къ Татьянѣ мы видимъ у критика нѣчто совсѣмъ иное. Нѣсколько страницъ далѣе онъ вдругъ объявляетъ, что Татьяна не избѣгла горестной участи подпасть подъ разрядъ идеальныхъ дѣвъ и что только благодаря своей глубокой и страстной натурѣ, заслонявшей все смѣшное и пошлое, она возбуждаетъ не смѣхъ, а живое участіе. Соединеніе грубыхъ, простонародныхъ предразсудковъ со страстью къ французскимъ книгамъ и съ уваженіемъ къ твореніямъ Мартына Зедеки возможно только въ русской женщинѣ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждѣ любви; умъ ея спалъ, — и

[1]) См. Пыпина «Жизнь Бѣлинскаго», I, стр. 187.

только «тяжкое горе могло пробудить его для того, чтобы сдержать страсть и подчинить ее разсчету благоразумной морали». Въ ней страсть выразилась по-книжному; Татьяна не знала и не понимала настоящаго Онѣгина, ибо не знала и не понимала жизни. Созданіе страстное, глубокочувствующее, глубоко запертое внутри себя, она напоминаетъ египетскую статую, неподвижную, загадочную и связанную. Она была изъ тѣхъ существъ, у которыхъ фантазія имѣетъ большое вліяніе на сердце. Бѣлинскій скептически относился къ письму Татьяны, которое отзывается «чѣмъ-то романтическимъ». Позже, когда она посѣтила опустѣлый домъ Онѣгина, въ ней проснулся умъ, совершился актъ сознанія. Она поняла, что есть страданія и скорби, есть интересы кромѣ любви. Это откровеніе произвело на нее тяжелое и безотрадно-безплодное впечатлѣніе; оно убѣдило ее покориться дѣйствительности. Объясненіе Татьяны съ Онѣгинымъ очень характерно въ томъ отношеніи, что въ немъ выразилось все, что составляетъ сущность русской женщины. Критикъ дѣлаетъ не совсѣмъ удачно попытку объяснить это противорѣчіе. Онъ говоритъ, что если она исключеніе, то это по общимъ чертамъ своей натуры; а по формѣ ея характера, образовавшагося подъ вліяніемъ общества, она—типъ. Критикъ прекрасно говоритъ о вліяніи общества, но слова его все-таки не объясняютъ противорѣчія; если Татьяна названа исключеніемъ изъ «невѣстъ» и «идеальныхъ дѣвъ», то, конечно, по характеру: по натурѣ нѣтъ «невѣстъ» и «идеальныхъ дѣвъ». Бѣлинскій, очевидно, не понялъ спокойныхъ сторонъ въ характерѣ Татьяны, не давшихъ ей безразсудно отдаться страсти. Напрасно критикъ упрекаетъ Татьяну въ «сухости» сердца и подчиненіи свѣтской морали: Татьяна прекрасно поняла Онѣгина, не увлекаясь имъ, какъ увлекся Бѣлинскій, потому и не отвѣтила на его любовь и не пошла за нимъ. Вообще, какъ во всемъ романѣ, такъ и въ характерѣ Татьяны Бѣлинскій понялъ только одну сторону,—народной же онъ совсѣмъ не понялъ. Это ярко сказалось въ его непониманіи старика Ларина, котораго критикъ считаетъ

какимъ-то «полипомъ», принадлежащимъ въ одно и то же время къ двумъ царствамъ природы — растительному и животному.

Къ третьему періоду поэтической дѣятельности Пушкина Бѣлинскій относитъ прежде всего драму «Борисъ Годуновъ». Этотъ разборъ драмы нельзя назвать особенно удачнымъ. Бѣлинскій совсѣмъ не понялъ народнаго характера драмы, оцѣнивъ ее также довольно неудачно, какъ мы уже замѣчали, съ эстетической стороны. Бѣлинскій говоритъ, что Пушкинъ нигдѣ не достигалъ такой художественной высоты, какъ въ «Борисѣ Годуновѣ», и вмѣстѣ съ тѣмъ ни въ одномъ изъ его произведеній не было такихъ недостатковъ. Эта драма была для Пушкина настоящей «Ватерлооской битвой», гдѣ онъ развернулъ свой геній во всей широтѣ и глубинѣ, и все-таки потерпѣлъ пораженіе. Народный характеръ «Бориса Годунова» совершенно ускользнулъ отъ Бѣлинскаго. Бѣлинскій не вѣрилъ, что это драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ. Дѣйствующія лица очерчены слабо, они не дѣйствуютъ, не живутъ, а лишь говорятъ. Впрочемъ, Пушкинъ не виноватъ: сама древне-русская жизнь отличается отсутствіемъ драматизма. Въ ней преобладаетъ элементъ «эпическій или, скорѣе, квіетическій характеръ», тогда какъ въ западно-европейскихъ государствахъ преобладаетъ характеръ чисто драматическій. Въ древней Руси не было «признаковъ развитія личнаго»,— драма же не можетъ существовать безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей. Русская жизнь, по мнѣнію Бѣлинскаго, была такъ бѣдна, что Пушкинъ своей драмой исчерпалъ все содержаніе древне-русской жизни до Петра; написать новую драму изъ другихъ эпохъ и событій историческихъ значитъ съ другими именами и названіями повторять одну и ту же мысль и потому быть убійственно однообразнымъ. Но, относясь такъ отрицательно къ древней Руси, критикъ чувствуетъ въ то же время симпатію къ народу и къ особенностямъ русской исторической жизни. Онъ съ радостью и даже съ торжествомъ указываетъ, что у насъ до Годунова не было права; онъ говоритъ, что

народъ почти всегда «невѣжественный, грубый, ограниченный и слѣпой и, однакожъ, всегда непогрѣшительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту, не болѣе. Народъ всегда умѣетъ отличить человѣка, который любитъ его истинно». Итакъ, первый недостатокъ Пушкинской драмы, по словамъ Бѣлинскаго, произошелъ не по винѣ поэта. Другою ошибкою Бѣлинскій считаетъ увлеченіе Пушкина Карамзинымъ. Это недостатокъ, принадлежащій лично Пушкину. Недостатки «Исторіи Государства Россійскаго» видны для всѣхъ и, можетъ быть, болѣе, чѣмъ ея достоинства. Эти недостатки произошли «изъ его способа смотрѣть на вещи». Въ началѣ своемъ его исторія напоминаетъ поэмы въ родѣ тѣхъ, которыя писались высокопарною прозою и были въ большомъ ходу въ концѣ прошлаго вѣка. Потомъ, мало-по-малу входя въ духъ жизни древней Руси, Карамзинъ, можетъ быть незамѣтно для самого себя, увлекаясь своимъ трудомъ, увлекся и духомъ древней русской жизни. Съ Іоанна III Московское царство становится въ глазахъ Карамзина высшимъ идеаломъ государства,—вмѣсто исторіи до-петровской Россіи онъ пишетъ ея панегирикъ. Къ этому присоединился еще мелодраматическій взглядъ Карамзина на историческія лица. У Карамзина нѣтъ людей, а есть только или герои добродѣтели, или злодѣи. Изъ Бориса Карамзинъ сдѣлалъ мелодраматическаго злодѣя. По этому поводу Бѣлинскій высказываетъ свой собственный взглядъ на Годунова. Онъ развиваетъ ту мысль, что едва ли Борисъ совершилъ то преступленіе, въ которомъ его обвиняютъ «такъ неловко, нелѣпо, нагло». Годуновъ былъ слишкомъ хитеръ, чтобы убить Дмитрія. Если же народъ единогласно обвиняетъ его въ этомъ,—то изъ ненависти къ нему. Народъ ненавидѣлъ Годунова потому, что и съ его стороны не встрѣчалъ любви. Борисъ происходилъ не изъ царскаго рода и не былъ геніаленъ. Отъ царя, вступившаго на престолъ по праву, и не требовалось генія, но тотъ, кто не изъ царскаго рода,—долженъ быть геніальнымъ. Борисъ не былъ геніемъ — и въ

этомъ разгадка его трагической судьбы. Пушкинскій Борисъ—мелодраматическій злодѣй.

По поводу извѣстнаго монолога, въ которомъ Борисъ жалуется на нелюбовь къ себѣ народа и на угрызенія совѣсти, Бѣлинскій восклицаетъ, что историкъ сыгралъ съ поэтомъ плохую шутку, что эта сцена—жалкая мелодрама, ибо только при ограниченномъ взглядѣ на натуру человѣка можетъ прійти такая бѣдная мысль—заставить злодѣя читать самому себѣ мораль вмѣсто того, чтобы заставить его всѣми мѣрами оправдывать свое злодѣйство въ собственныхъ глазахъ, что, наконецъ, въ философскомъ отношеніи этотъ взглядъ на Годунова сильно напоминаетъ собою добродушный пафосъ Сумароковскаго «Дмитрія Самозванца». Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ ненависти народа къ Годунову кару за его преступленіе. Слабость и нерѣшительность мѣръ, принятыхъ Годуновымъ противъ самозванца, они приписываютъ смущенію виновной совѣсти. Это взгляды, по мнѣнію Бѣлинскаго, чисто мелодраматическіе и въ историческомъ, и въ поэтическомъ отношеніи. Въ концѣ разбора драмы, критикъ, спрашивая, кто же болѣе трагическое лицо?—Годуновъ цареубійца, или Годуновъ падшій за недостаткомъ геніальности,—отвѣчаетъ, что, конечно послѣдній. Трагическое лицо непремѣнно должно возбуждать въ насъ участіе; къ Борису же нельзя чувствовать участія, ибо онъ, какъ злодѣй, мелокъ и малодушенъ. Другое дѣло, еслибы онъ, «какъ человѣкъ замѣчательный, такъ сказать, увлеченный судьбою», взялъ роль не по себѣ; тогда онъ могъ бы возбуждать къ себѣ участіе. — Высказывая подобныя мысли, Бѣлинскій противорѣчилъ по временамъ самому себѣ. Онъ указываетъ на «превосходныя сцены», которыя можно признать такими, если стать на точку зрѣнія Пушкина. Такова сцена съ Шуйскимъ, гдѣ Борисъ, узнавъ отъ него о появленіи самозванца, обнаруживаетъ сильную тревогу,—такова же сцена съ юродивымъ на Кремлевской площади. Оказывается, что сцены превосходны, если стоять на точкѣ зрѣнія Пушкина, а съ точки зрѣнія Бѣлинскаго—слабы. Какъ же примирить подобную разноголосицу отзывовъ? Какъ

же такъ одна и та же сцена можетъ быть въ одно и то же время хороша и дурна? — Такое противорѣчіе Бѣлинскаго произошло вслѣдствіе непониманія народныхъ основъ характера Бориса. Къ тому же надо прибавить, что едвали бы критикъ назвалъ Бориса лицомъ мелодраматическимъ, еслибы онъ припомнилъ Шекспировскаго Макбета, который тоже, совершивъ преступленіе, изнемогаетъ, падаетъ духомъ и мучается совѣстью.—Достоинства драмы Пушкина состоятъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, во-первыхъ, въ томъ, что дѣйствующія лица чувствуютъ, думаютъ и говорятъ по-русски; во-вторыхъ въ ней есть много прекрасныхъ сценъ. Между прочимъ, Бѣлинскій указываетъ на заключительную сцену, гдѣ народъ, услышавъ отъ Масальскаго, о смерти дѣтей Годунова,—«въ ужасѣ молчитъ». Эту сцену Бѣлинскій находитъ достойною Шекспира: въ этомъ безмолвіи народа слышенъ страшный трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвою,—надъ тѣмъ, кто погубилъ родъ Годуновыхъ.

Въ послѣдней одиннадцатой статьѣ своего обширнаго сочиненія о Пушкинѣ Бѣлинскій разсматриваетъ всѣ остальныя его произведенія. Эта статья появилась въ 1846 году. Прежде всего онъ разбираетъ «Домикъ въ Коломнѣ», «Родословную моего героя» и «Сцену изъ Фауста». Въ разборѣ этихъ произведеній критикъ близокъ къ тому, чтобы подмѣтить народно-русскія черты въ Пушкинѣ; но этого все-таки не удалось ему сдѣлать и онъ кончаетъ осужденіемъ поэта. По словамъ Бѣлинскаго «Домикъ въ Коломнѣ», «Родословная моего героя» и «Графъ Нулинъ» представляютъ собою начало той натуральной школы, которая пошла отъ Пушкина и Гоголя. Замѣчаніе совершенно вѣрно. Но Бѣлинскій осуждаетъ Пушкина за то, что онъ будто бы высказалъ дворянскую спѣсь въ «Родословной моего героя». Критикъ не замѣтилъ, что здѣсь у Пушкина лишь протестъ противъ современнаго нравственнаго холопства, преклоненія передъ чинами и орденами во имя старины, какою бы она ни была; не замѣтилъ, что пушкинскій такъ называемый

аристократизмъ есть просто уваженіе заслугъ предковъ. По поводу «Сцены изъ Фауста» критикъ винитъ великаго поэта за недостатокъ скептицизма, рефлексіи. По ошибочному мнѣнію Бѣлинскаго, эта сцена не что иное, какъ развитіе стихотворенія «Демонъ», а «демонъ» Пушкина — изъ мелкихъ, ничтожнѣе Лермонтовскаго «Демона». — Пушкинское спокойствіе, которое не дало въ немъ развиться скептицизму, критикъ ставитъ ниже страстной, неустановившейся тревожности Лермонтовской поэзіи. Въ разборѣ мелкихъ драмъ — «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря», «Русалки» и «Каменнаго гостя» въ полной мѣрѣ проявилось эстетическое чувство Бѣлинскаго. Онъ находитъ, что эти драмы верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи: Пушкинъ въ нихъ равенъ Шекспиру. Критикъ превосходно анализируетъ эти драмы. Примѣры замѣчательнаго эстетическаго анализа можно найти въ разборѣ характера Донъ-Жуана и отношеній къ нему Пушкина. — Затѣмъ слѣдуетъ разборъ сказокъ и прозаическихъ повѣстей Пушкина, которыхъ критикъ совсѣмъ не понимаетъ. Сказки онъ считаетъ «плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности». Повѣсти онъ хвалитъ, но эта похвала положительно холодная. Бѣлинскій ставитъ ихъ ниже стихотвореній даже перваго періода дѣятельности, оговариваясь при этомъ, что онѣ все-таки принадлежатъ къ замѣчательнымъ произведеніямъ литературы. Исключеніе составляетъ «Арапъ Петра Великаго», потому что здѣсь поэтъ выводитъ Петра во всей народной простотѣ его пріемовъ и обычаевъ. Критикъ находитъ, что повѣсти Бѣлкина ниже повѣстей Карамзина. Хвалитъ Бѣлинскій и «Капитанскую дочку», но эти похвалы занимаютъ только полстраницы, и этимъ ограничивается разборъ повѣсти, — причемъ оказывается — «мелодраматическій характеръ Швабрина», «ничтожество героя повѣсти», и его «возлюбленной Марьи Ивановны». Къ «Дубровскому» критикъ относится довольно снисходительно, хотя самого героя Бѣлинскій называетъ лицомъ мелодраматическимъ. Но въ этой повѣсти онъ находитъ также и «дивныя вещи» — изображеніе помѣщичьяго быта и типъ

русской женщины, героини повѣсти, хотя и не сочувствуетъ этому типу. «Лѣтопись Села Горохина» критикъ считаетъ остроумной шуткой, находя вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней и серьезныя вещи, напримѣръ, указанія поэта на тяжелое положеніе крестьянъ. Про «Исторію Пугачевскаго бунта» и журнальныя статьи Бѣлинскій говоритъ немного. «Исторію» онъ хвалитъ, въ полемическихъ статьяхъ поэта онъ находитъ много остроумнаго, но и въ нихъ есть, по его мнѣнію, выраженіе предразсудковъ.

Общее заключеніе Бѣлинскаго о Пушкинѣ слишкомъ коротко и, не смотря на сочувственное отношеніе къ поэту, оно холодно. Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ-художникъ и ничѣмъ инымъ по своей натурѣ быть не могъ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. Поэтому онъ навсегда останется великимъ образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи критикъ относилъ способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности. По натурѣ Пушкинъ былъ любящимъ, симпатичнымъ существомъ, но въ немъ жили и генеалогическіе предразсудки. Все это отразилось въ произведеніяхъ поэта. Бѣлинскій предрекалъ Пушкину, что онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство.—Причина этой холодности критика къ великому поэту объясняется тѣмъ, что Бѣлинскій понялъ только одну сторону поэтической дѣятельности Пушкина; народной же стороны поэта онъ не оцѣнилъ и не могъ оцѣнить. Отсюда является у критика противорѣчіе: онъ оправдываетъ Пушкина съ исторической точки зрѣнія,—и осуждаетъ его съ точки зрѣнія общественной. Пушкинское спокойствіе Бѣлинскій принялъ за индиферентизмъ. — Критикъ вѣрно указалъ на художественное значеніе Пушкина и превосходно оцѣнилъ великаго поэта съ этой стороны. Затѣмъ особенно хорошъ разборъ лирическихъ стихотвореній поэта, такъ же какъ превосходна оцѣнка мелкихъ драмъ. Въ этомъ крупная историко-литера-

турная и общественная заслуга Бѣлинскаго.—Въ числѣ достоинствъ сочиненія Бѣлинскаго о Пушкинѣ заключается и поднятіе, по поводу произведеній поэта, многихъ вопросовъ нашей жизни, нашей русской дѣйствительности. Критикъ говорилъ о семьѣ, о семейныхъ отношеніяхъ, о любви, бракѣ, воспитаніи, о нашемъ бытѣ вообще и объ особенностяхъ нашей исторіи. Хотя и не всегда можно соглашаться съ публицистическими разсужденіями Бѣлинскаго, но нельзя не признать немаловажной заслуги Бѣлинскаго въ томъ, что онъ первый изъ нашихъ критиковъ поднялъ эти общественные вопросы и пытался такъ или иначе разрѣшить ихъ. Это самое обстоятельство указываетъ на общественное значеніе Пушкина, что и Бѣлинскій инстинктивно чувствовалъ. Развѣ отвлеченно-художественныя произведенія могли подать поводъ къ такимъ пространнымъ разъясненіямъ различныхъ общественныхъ вопросовъ? Не ясно ли, повторяемъ, что въ произведеніяхъ великаго поэта геніально-художественныя красоты соединялись съ постановкой глубокихъ жизненныхъ и общественныхъ вопросовъ, съ изображеніемъ современныхъ типовъ соціально-исторической важности?

ГЛАВА XIV.

Журналъ «Маякъ», какъ исключительное явленіе въ русской журналистикѣ сороковыхъ годовъ. — Нѣсколько словъ о сходствѣ и различіи направленія «Маяка» съ ученіемъ славянофиловъ. —Характеристика воззрѣній «Маяка» на современную литературу.—Статьи Мартынова въ этомъ журналѣ о Пушкинѣ. — Взглядъ Мартынова на искусство вообще и на поэзію въ частности. — Характеристика и разборъ дѣятельности Пушкина съ точки зрѣнія критика-аскета.— Общія заключенія. — Мартыновъ и позднѣе Писаревъ по разнымъ дорогамъ пришли къ однимъ выводамъ.

Для того чтобы покончить съ отношеніемъ къ Пушкину критики сороковыхъ годовъ, намъ остается еще разобрать удивительныя статьи Мартынова, которыя, по остроумному выраженію Ап. Григорьева, «принадлежатъ къ области одиннадцатой версты»[1]). Эти статьи напечатаны въ не менѣе удивительномъ журналѣ «Маякѣ», этомъ печальномъ рыцарѣ мракобѣсія, который оставилъ по себѣ не темную, а мрачную память фанатическаго обскуранта, яростнаго проповѣдника застоя, нравственнаго и умственнаго китаизма. «Маякъ» имѣлъ, конечно, кое-что общее съ славянофилами, а именно вражду къ западу и теологическія свойства философіи,—глава славянофиловъ, Кирѣевскій, считалъ даже возможнымъ серьезно говорить о «Маякѣ»,—но этимъ все сходство и ограничивается. Бѣлинскій, слѣдовательно, совершенно несправедливо приравнивалъ славянофиловъ къ «Маяку». Литературная критика была вообще слабой стороной

[1]) Т. I, стр. 596, «Оппозиція застоя».

славянофильства. Исключеніе составляетъ критика народной поэзіи, которую славянофилы понимали до тонкости. Славянофилы не вполнѣ оцѣнили народную сторону Пушкина. «Маякъ» совсѣмъ не понималъ Пушкина и ожесточенно глумился надъ нимъ, упрекая въ безнравственности, безвѣріи, идеализаціи разврата. Критика «Маяка» была какой-то дикой вакханаліей обскурантизма, безвкусія, фанатическаго доктринерства. Пониманія народной поэзіи, конечно, не было и въ поминѣ, ибо она считалась языческимъ лжемудрованіемъ. Славянофильство идеализировало древнюю Русь, особенно Московское царство, идеалы и принципы оно приняло за осуществившуюся дѣйствительность, оно недостаточно оцѣнило Западъ, не замѣтило важнаго значенія развитія тамъ личности, указывая только на темную сторону этого развитія, а вмѣстѣ съ этимъ не замѣтило слабости развитія личности у насъ на Руси. Но вмѣстѣ съ тѣмъ славянофильское ученіе дало русскому обществу почву для исторической жизни, — славянофилы поняли и оцѣнили особенность русскихъ или вообще славянскихъ духовныхъ началъ, — славянофилы высказали замѣчательную мысль о двухъ началахъ нашихъ: о землѣ и государствѣ, — они разъяснили наше политическое назначеніе, они принимали участіе въ разрѣшеніи крестьянскаго вопроса. Конечно, даже и тѣни чего либо подобнаго не было въ направленіи «Маяка», кромѣ двухъ общихъ точекъ соприкосновенія — общей вражды къ Западу и общаго теологическаго характера философіи.

Главная цѣль «Маяка» была, повидимому, въ высшей степени похвальная. «Маякъ» печаталъ на своей обложкѣ, что онъ «журналъ современнаго просвѣщенія, искусства и образованности въ духѣ народности русской». Но слова «просвѣщеніе» и «образованность», такъ же какъ и «искусство», онъ понималъ совершенно своеобразно. Своей цѣлью журналъ ставилъ оппозицію ложному просвѣщенію и безнравственности, будто бы господствующимъ въ обществѣ и литературѣ, — во имя истиннаго просвѣщенія и

нравственности, основанныхъ на христіанствѣ. Но, по справедливому замѣчанію Ап. Григорьева, эти высокія основы представляютъ собою «такую высокую, острую крутизну, на которой въ желаемомъ равновѣсіи могли держаться только глубочайшіе христіанскіе мудрецы первыхъ семи вѣковъ и весьма немногіе изъ современныхъ» (Хомяковъ, Кирѣевскій, отецъ Ѳеодоръ). «Маякъ» хотѣлъ противодѣйствовать ложному просвѣщенію и безнравственности, но его понятія о просвѣщеніи и нравственности были чисто субъективными, прикованныя къ мертвой буквѣ. «Маякъ» все болѣе и болѣе расходился съ живою жизнью, принявъ свое старческое несочувствіе къ явленіямъ жизни за проведеніе великихъ идей. «Маякъ» былъ чистымъ органомъ умиравшаго уже шишковизма и мистицизма. Онъ опирался на одну дѣйствительность застоя, и самъ сочинялъ новую по такому же образцу, ослѣпленно враждуя со всѣми живыми силами жизни, до того, что подъ конецъ все живое провозгласилъ погибельнымъ. «Маякъ» въ слѣпомъ усердіи защищалъ «сочиненную» имъ самимъ литературу и въ продолженіе четырехъ лѣтъ «сочинялъ» и романы, и комедіи, и стихотворенія. Все это сочиненное принадлежитъ несомнѣнно къ патологическимъ явленіямъ литературы. Своими «сочиненіями» застой окончательно подорвалъ себя.

«Маякъ» 1840 года находилъ, что вся современная литература доведена Пушкинымъ, Лермонтовымъ и др. до «разжиженнаго состоянія», ибо эти поэты уклонились отъ нашей «высокоторжественной» литературы восемнадцатаго вѣка, — находилъ, что наша поэзія въ полнѣйшемъ упадкѣ вслѣдствіе отрицанія «всякихъ правилъ и законовъ». «Героя нашего времени» журналъ считаетъ никуда не годнымъ, ибо въ немъ «идея ложная, направленіе кривое»; «Маякъ» говорилъ, что весь романъ—«эпиграмма, составленная изъ безпрерывныхъ софизмовъ, «такъ что философіи, религіозности, русской народности и слѣдовъ нѣтъ», что романъ похожъ на гробъ—«снаружи красивъ, блеститъ мишурой, а внутри гниль и смрадъ», что содержаніемъ романа служитъ «воровство,

грабежъ, пьянство, похищеніе и обольщеніе дѣвушки, два убійства, презрѣніе ко всему святому, одеревенѣлость, парадоксы, звѣрство духовное и тѣлесное», что, наконецъ, дѣйствующія лица, кромѣ Максима Максимыча, «при оптическомъ разнообразіи всѣ отлиты въ одну форму», всѣ они «казарменные прапорщики, не перебѣсившіеся», для которыхъ нуженъ «добрый пучекъ розогъ, и все бы рукой сняло», и пр., и пр.[1]). Не лучше отзывъ и о Пушкинѣ, который мы находимъ въ той же книжкѣ журнала на стр. 186. Обвинивши всю нашу литературу въ недостаткѣ философіи, религіозности, народности, уничтоживъ значеніе Жуковскаго, но сохранивъ еще уваженіе къ старымъ писателямъ и къ Карамзину, критикъ доходитъ до Пушкина и заявляетъ, что онъ «уронилъ русскую поэзію, по крайней мѣрѣ, десятилѣтія на четыре», оставивъ нѣсколько томовъ «чудныхъ поэтическихъ игрушекъ и ничего безсмертнаго». Пушкина просто «захвалили до полусмерти». Между тѣмъ у него совсѣмъ нѣтъ философіи, ибо онъ не зналъ ея,— у него нѣтъ истины, а только поэтическіе парадоксы и софизмы, нѣтъ религіозности, нѣтъ народности: онъ «сухъ, колючъ, блестящъ, могучъ», какъ версификаторъ, его поэзія— «безжизненный, красивый стихотворный трупъ». Пушкинъ былъ просто «пейзажистъ», увлекавшійся притомъ Байрономъ «по недостатку матеріаловъ умственнаго капитала для творчества». Ап. Григорьевъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что упреки, дѣлаемые «Маякомъ» Пушкину, поразительно схожи, до тождества самыхъ выраженій, съ упреками, дѣлаемыми въ наше время (это говорилось въ 1861 году) прогрессистами-теоретиками и обскурантами-теоретиками. Какъ «Маякъ» въ 1840 году, такъ и критики шестидесятыхъ годовъ приступали къ жизни съ готовыми мѣрками и приходили къ отрицанію самыхъ плодотворныхъ литературныхъ явленій, какъ, напримѣръ, Пушкинъ. Ниже мы покажемъ, что оцѣнка Пушкина Бѣлинскимъ въ послѣд-

[1]) «Маякъ» 1840 г., ч. IV, стр. 210 и слѣд.

ній періодъ его дѣятельности была зародышемъ послѣдующихъ отрицательныхъ отношеній къ поэту публицистической критики. Оставалось сдѣлать только одинъ шагъ, чтобы дойти до отрицанія всякаго общественнаго значенія великаго поэта, заподозрѣннаго уже Бѣлинскимъ,—чтобы признать Пушкина архивнымъ поэтомъ, мѣсто котораго «въ пыльномъ кабинетѣ антикварія, рядомъ съ заржавленными латами и изломанными аркебузами». Послѣдующія статьи о Пушкинѣ, написанныя Мартыновымъ, заключаются какъ бы въ зернѣ, въ приведенномъ отзывѣ «Маяка» 1840 года. Статьи Мартынова представляютъ собою развитіе главныхъ положеній цитованной статьи, сдѣланное на основаніи своеобразныхъ философско-нравственныхъ началъ, которыя являются критеріумомъ при разборѣ всѣхъ произведеній Пушкина.

Мартыновъ смотрѣлъ на поэзію вообще и на Пушкина въ частности почти съ абсолютно церковной точки зрѣнія. Даръ поэзіи, по его мнѣнію, дается людямъ отъ Бога для того, чтобы человѣкъ восхвалялъ Создателя. Самою первою обязанностью человѣка, а, слѣдовательно, и поэта, должна быть вѣра, ибо она открываетъ душу человѣка, очищаетъ его разумъ, направляетъ сердце къ добродѣтели и праведности, возноситъ мысли къ небесамъ до бесѣды съ Богомъ. Чѣмъ выше духъ человѣка возносится къ Богу, тѣмъ онъ становится способнѣе къ откровеніямъ, которыя собственно и нужно называть вдохновеніями. Такія откровенія сообщаются только немногимъ избраннымъ, кои живутъ чисто духовною жизнью въ истинной вѣрѣ въ Іисуса Христа и въ исполненіи заповѣдей. Вторая обязанность поэта послѣ вѣры—любовь къ добродѣтели и самая добродѣтель, ибо порочный поэтъ наноситъ иногда вредъ цѣлому народу, что и было, напримѣръ, съ Вольтеромъ. Истиннымъ поэтомъ можетъ быть только человѣкъ истинно добродѣтельный. Третьею обязанностью поэта является чувство истинно-изящнаго или истинно-прекраснаго. Истинно-прекраснымъ называется вовсе не то, что сообразно «съ духомъ времени», который означаетъ просто «новыя прихоти». Истинно-прекрасное должно

быть въ союзѣ съ святой вѣрой и добродѣтелью и вмѣстѣ съ ними непреодолимо стремиться ко всему истинно-высокому. Такой союзъ — единственно доступное средство, для того, чтобы поэзіи имѣть «неизъяснимую сладость», силу и красоту. Безсмертными образцами такой истинной поэзіи являются творенія Клопштока, Тасса и Мильтона, которыя рѣшительно не могутъ идти въ сравненіе съ твореніями язычествующихъ въ христіанствѣ Байрона и Гёте. У первыхъ вездѣ живые лучи вѣры, любовь къ Богу и ближнему, любовь къ добродѣтели и истинѣ; у Байрона же, напротивъ, вездѣ мракъ, «броженіе по стихіямъ міра», заблужденія и презрѣніе къ человѣчеству. Его прельщаетъ лукавство, гордость, ложь, обманъ, развратъ, противоборство святости церкви, истинѣ и добродѣтели.

Поэтъ, одушевленный тремя «совокупно дѣйствующими чувствами» вѣры, добродѣтели и красоты, стремительно и грозно ополчится противъ вольнодумства и невѣрія, будетъ разить нечестіе и порокъ, разгулъ и беззаконіе—и воспоетъ славу Всевышняго, святую вѣру, благочестіе, любовь къ Богу и ближнему, смиреніе, терпѣніе, милосердіе, кротость, воздержаніе и др. высокія добродѣтели. Поэтъ же язычествующій, растлѣнный, какъ ядовитый змѣй, скрывающійся между прелестными и благоухающими цвѣтами поэзіи, отравитъ людей ядомъ своихъ лукавыхъ помысловъ, черныхъ думъ, постыдныхъ страстей и пороковъ. Онъ создастъ поэзію «грязную, мрачную, земную, мірскую, бѣсовскую», словомъ, поэзію тьмы, ненавистницу всякой доблести, защитницу и покровительницу слабостей и преступленій. Всякое произведеніе такого поэта — порокъ ли онъ описываетъ или добродѣтель — будетъ слабо, мишурно, хотя бы съ вида было и прекрасно. Подобная «poésie du crime» укоренилась у нашихъ западныхъ учителей; иначе эту поэзію критикъ называетъ «лазаретною» или «уголовною», ибо въ ней описываются только «злодѣи, слезы, кровь, смерть, ужасныя преступленія, страданія и опять слезы». Западъ съ такъ называемаго «возрожденія наукъ» ослѣпился языческою философіею, нау-

ками и искусствами и рабски подражалъ древнимъ язычникамъ до XIX вѣка. Новая поэзія заимствовала у грековъ ихъ «грубую, невѣжественную миѳологію», которая свидѣтельствуетъ о крайнихъ заблужденіяхъ греческаго ума и о растлѣніи греческаго чувства, прикрывавшагося только «красивою эстетическою формою». Греческая миѳологія не имѣла понятія о высшемъ мірѣ Божественномъ и о мірѣ духовномъ; поэтому она не имѣла вѣрныхъ понятій и о мірѣ психологическомъ. Въ развитіи древнихъ религій повсюду проявляется «смерть духа, паденіе грѣховное и всецѣлое погруженіе души въ міръ призраковъ и суеты». Общій законъ религіозно-призрачной жизни язычниковъ состоитъ въ томъ, что свои «душевныя проявленія пороковъ, страстей и суеты» они представляютъ себѣ «объективно и созерцательно» въ призрачныхъ и мечтательныхъ образахъ, т. е. миѳахъ. Всѣ эти «хитрости», по мнѣнію Мартынова, несомнѣнно выдуманы «демонами или бѣсами». Сущность языческихъ произведеній состояла въ борьбѣ рока съ человѣкомъ, котораго, въ свою очередь, поддерживали или преслѣдовали существа миѳическія». Все это, вмѣстѣ взятое, и составляетъ такъ называемый «классицизмъ», господствовавшій до появленія романтизма. Романтики воспользовались только «формой христіанской повѣсти», которая выше классической, ибо въ ней являются Промыслъ Божій, свобода и законъ правды. Романтики, какъ будто отвергнувъ классицизмъ, на самомъ дѣлѣ только вывернули его наизнанку и начали разсматривать прежніе «миѳы какъ дѣйствительныя свойства, пороки и страсти»; существа же міра духовнаго они причли къ человѣку и смѣшали съ нимъ, но уже не какъ миѳы, а «какъ призраки и произведенія человѣческаго суевѣрія и воображенія»; кромѣ того, отъ языческой миѳологіи романтики удержали рокъ или судьбу и случай. Шекспиръ, Гёте, Вальтеръ-Скоттъ, Байронъ и тысячи ихъ подражателей отвергли Промыслъ Божій и приняли рокъ, узаконили Мефистофелей, Асмодеевъ, Бубантусовъ, колдуновъ, тѣни умершихъ, геніевъ, волшебницъ, вѣдьмъ, мертвецовъ и пр. Романтизмъ, замѣтивъ противорѣ-

чіе между жизнью и нравоученіемъ классицизма и не выяснивъ себѣ, что тутъ виновата «растлѣнная жизнь язычниковъ», а не нравоученіе, осмѣялъ нравоученіе. Единственная заслуга романтизма состоитъ въ томъ, что онъ отвергнулъ «омиѳленную жизнь язычника внѣ человѣка» и сталъ искать и изображать ее въ самомъ человѣкѣ. Но въ то же время, отвергнувъ нравоученіе, а съ нимъ и нравственныя, духовныя, божественныя отношенія человѣка къ міру духовъ, добрыхъ и злыхъ, и къ Богу, онъ сталъ изображать «растлѣнную человѣческую жизнь, самое себя услаждающую и самое себя наказывающую» безъ всякаго стыда и страха Божія.

Пушкинъ отсталъ даже отъ романтиковъ тѣмъ, что удержалъ въ своей поэзіи всю языческую миѳологію, всѣми уже брошенную на Западѣ. Онъ соединилъ въ себѣ классика Батюшкова и романтика Жуковскаго; отъ него пошло многочисленное поэтическое потомство, образовавшее литературную «тлю, моль и саранчу». Такимъ образомъ, Пушкинъ сдѣлалъ себя, поэта самобытнаго, «безвременнымъ подражателемъ и языческимъ, и романтическимъ формамъ, т. е. соединилъ себя въ эти двѣ, какъ уже видѣли, нелѣпости, взаимно противоположныя и враждебныя истинѣ и несоединимыя ни съ нею, ни между собою». Поэтому дарованіе Пушкина увяло не развернувшись, «съ одними листьями, кое-гдѣ съ пустоцвѣтомъ и вовсе безъ плодовъ»; поэтому ему не доставало «русской народности», поэтому онъ не дѣлалъ новаго шага «въ нераздѣльную область истины, правды и красоты», а лишь повторялъ «вычитанныя общія мѣста пустыхъ мыслей, нечистыхъ чувствъ и разгульныхъ страстей». Таковы оригинальныя мнѣнія Мартынова вообще о всей европейской поэзіи и роли Пушкина по отношенію къ «западнымъ учителямъ». Противъ подобныхъ разсужденій, конечно, нечего и возражать, ибо они съ одной стороны относятся «къ области одиннадцатой версты», а съ другой—основаны на аскетическо-церковной и моральной точкѣ зрѣнія. Ими можно только любоваться, какъ образчиками чудовищныхъ нелѣпо-

стей, какъ музейными диковинами и вообще относиться, какъ къ явленіямъ патологическимъ. Послѣдуемъ за критикомъ въ его разборѣ произведеній Пушкина, передавая этотъ разборъ только въ общихъ чертахъ, ибо какъ чтеніе статей Мартынова, такъ и подробное изложеніе ихъ столь же невыносимо, какъ пребываніе въ душномъ, смрадномъ и мрачномъ подземельѣ одинъ-на-одинъ съ буйнымъ психически-больнымъ, говорящимъ въ какомъ-то горячечномъ бреду съ кривляньемъ и шутовскими гримасами безумные, безконечные монологи. Критикъ называетъ всѣ прежніе отзывы о Пушкинѣ пристрастными и односторонними. Но что же даетъ самъ Мартыновъ? Онъ взялъ на себя роль проповѣдника и моралиста, который только и дѣлаетъ, что выговариваетъ Пушкину за безнравственность, безбожіе, идеализацію разврата и уголовныхъ преступленій и пр. Такъ, критикъ находитъ, что «Онѣгинъ» написанъ съ единственной цѣлью «подразнить и поколоть сатирой лица и сословія, пощекотать эпиграммой чувствительные нервы»; онъ говоритъ, что «непреодолимой страстью поэта было вездѣ отыскивать слабую и смѣшную сторону, возвышать низкое, не всегда беречь высокое» и такое же основаніе получили «Бахчисарайскіе фонтаны», «Графы Нулины», «Кавказскіе плѣнники», «Цыгане» и др. Онъ говоритъ, что въ «Онѣгинѣ» «русскаго духа и слухомъ не слыхано и видомъ не видано, и свой разборъ ограничиваетъ только замѣчаніями въ родѣ слѣдующихъ. Послѣ стиха «я знаю, ты мнѣ посланъ Богомъ» Мартыновъ наставительно замѣчаетъ, что «Воля Божія непреложно выполняется, посланный Богомъ вѣрно свершитъ дѣло посланія, Онѣгинъ же не женился на Татьянѣ, — значитъ не было на бракъ воли Божіей. Зачѣмъ же этотъ софизмъ?» Столь же любопытны комментаріи критика къ стихамъ: «И въ сердце дума заронилась: пора пришла; она влюбилась. Такъ въ землю падшее зерно весны огнемъ оживлено». Мартыновъ не соглашается съ этими стихами, Онъ говоритъ: «Совсѣмъ не такъ: зерно и землю, и силу прозябающую создалъ и учредилъ Богъ—тамъ все прекрасно.

Но пору влюбчивости, страстей и всѣхъ послѣдствій ихъ создаетъ человѣкъ падшій, каждый самъ для себя въ частности, подъ вліяніемъ духа зла и нечистоты, противъ воли Божіей. Татьяна съ малолѣтства воспитывалась въ языческихъ началахъ, христіанства въ ней и слѣдовъ нѣтъ, о силѣ благодатной она и понятія не имѣетъ. Тутъ законъ природы естественный, а тамъ — грѣховное нарушеніе законовъ природы благодатной». Не правда ли, сколько лицемѣрнаго ханжества, двуличнаго святошества, іезуитскаго благочестія въ этихъ комментаріяхъ, напоминающихъ смѣхотворныя и столь же глубокомысленныя комментаріи знаменитаго цензора сороковыхъ годовъ Красовскаго? Въ такомъ же духѣ продолжается безконечный разборъ «Онѣгина», послѣ котораго критикъ приходитъ къ выводамъ, что Пушкинъ вездѣ слабъ, гдѣ нужно зодчество, творчество, котораго поэту недостаетъ вслѣдствіе отсутствія «глубокаго, свѣтлаго знанія, непорочнаго, чистаго вкуса и силы правды». Единственное достоинство романа «внѣшне-красивыя описанія», хотя нѣсколько далѣе критикъ отрицаетъ въ Пушкинѣ даже это единственное, раньше признанное достоинство. Мартыновъ глубокомысленно замѣчаетъ, что поэтъ во всѣхъ своихъ описаніяхъ употребляетъ уловку: онъ «нижетъ на одну нитку предметы, имена существительныя, подлежащія, изъ коихъ слагается картина — и частію вовсе избѣгаетъ сказуемыхъ, или эти сказуемыя слишкомъ поверхностны». Пушкинъ въ своихъ описаніяхъ только пересчитываетъ «голыя имена существительныя, не мокая кисть свою въ краски». Поэтому критикъ называетъ пушкинскія описанія «реэстрами вещей въ стихахъ, или мыльными пузырями, всегда радужными снаружи и порожними внутри».

Критикъ вообще называетъ пушкинскую поэзію «лазаретной», ибо герои его поэмъ люди «развратные» и даже «негодяи», какъ Онѣгинъ. Въ «Кавказскомъ плѣнникѣ» во всей полнотѣ выражается «лазаретная» поэзія Пушкина. Герой повѣсти «человѣкъ развратный», ибо еслибы онъ имѣлъ хоть частицу «доброй нравственности», то поставилъ бы себѣ

въ непремѣнную обязанность подавить въ черкешенкѣ самый зародышъ возникавшей къ нему страсти. Вмѣсто того онъ, подобно хитрому вору, похищаетъ у этой дѣвушки единственное ея сокровище—невинность и внезапнымъ переходомъ «отъ выраженія любви къ холодности» доводитъ ее до самоубійства. Зарему въ «Бахчисарайскомъ фонтанѣ» критикъ называетъ «бѣшеной гіеной» и замѣчаетъ при этомъ, что въ повѣсти много «лазаретныхъ эффектовъ», ибо ничѣмъ другимъ Пушкинъ «не умѣлъ возбуждать». Въ «Братьяхъ разбойникахъ» чисто-уголовная поэзія, дань романтизму». Эта повѣсть «не достойна самаго послѣдняго стихотворенія», это «просто выписка изъ уголовнаго дѣла въ стихахъ, прикрашенная цвѣтами». Далѣе критикъ находитъ большое сходство между «Братьями разбойниками» и «Цыганами» съ тою только разницею, что въ первой повѣсти описываются разбойники, во второй воры; въ одной любовь къ брату, въ другой любовь преступника Алеко къ цыганкѣ Земфирѣ; тамъ рѣзня въ разсказѣ, за кулисами,—здѣсь она переходитъ въ самое дѣло, на сцену. О «Полтавѣ» критикъ говоритъ, что «по содержанію и по слогу она ни поэма, ни драма, ни повѣсть, а какой-то гладенькій и чистенькій выродокъ поэмы, повѣсти и драмы: ей недостаетъ творчества» и пр., и пр.

Общее заключеніе критика о значеніи, характерѣ, достоинствахъ и недостаткахъ поэзіи Пушкина столь же поразительно, какъ и весь разборъ отъ начала до конца. Критикъ не находитъ въ произведеніяхъ Пушкина ни хорошаго «построенія», ни глубокихъ идей или мыслей, ни настоящихъ чувствъ, ни дѣльнаго содержанія, ни, наконецъ, хорошаго описанія. «Построеніе» его поэмъ несвязно, небрежно и не обличаетъ творчества; какъ умный человѣкъ, Пушкинъ могъ,—говоритъ критикъ,—«складненько» разсказать «легонькое происшествіе», но и только. Пушкинъ вообще «строился на песочкѣ». Пушкинъ былъ плохой психологъ,—философъ и того менѣе: вся философія его выразилась въ нѣсколькихъ афоризмахъ и «романтическихъ софизмахъ». Взглядъ его на жизнь вообще ошибоченъ, ибо онъ довольствовался только тѣмъ, что̀ «всплывало

на верхъ ежедневности». Во всѣхъ произведеніяхъ поэта господствуетъ чувство насмѣшки, эпиграммы, презрѣнія къ людямъ и жизни. Между тѣмъ, по мнѣнію критика, если разобрать «логически, исторически, педагогически, психологически», какія чувства поэзія должна стараться влагать въ людей, то выйдетъ: всѣ мы существа безпредѣльно огорченныя — пусть же поэзія утѣшаетъ, укрощаетъ, усмиряетъ нашъ скорбный духъ, озлобленный, растерзанный, пусть радуетъ его, оживляетъ. Много ли такихъ чувствъ влагаетъ Пушкинъ? Всѣ мы существа грѣшныя — пусть же поэзія вливаетъ въ души наши умиленіе, сыновнее раскаяніе, пусть вызываетъ слезы истиннаго покаянія, смиренія, скорби о своихъ грѣхахъ и проступкахъ. Много ли такихъ чувствъ вливаетъ поэзія Пушкина? Человѣкъ призванъ къ соединенію съ Богомъ, къ богоподобію, къ братству съ людьми; средство къ этому—любовь чистая, божественная, возвышающая человѣка до небесъ. Много ли поэзія Пушкина возбуждаетъ такой любви? Если же поэзія «не влагаетъ» и «не возбуждаетъ въ насъ подобныхъ чувствъ, то можетъ, по всей справедливости, назваться «мишурной». Такова поэзія Пушкина, ибо въ ней только одна внѣшняя красота. Это произошло, по проницательному мнѣнію критика, оттого, что Пушкинъ жилъ въ самый разгаръ «западной разнузданной, мишурной эстетики», которая красоту признавала владыкою искусства. Содержаніе произведеній Пушкина «слабенькое, легонькое, пустенькое, поверхностное, кое-какъ сметано на живую нитку изъ расхожихъ ежедневностей и раздутыхъ, гиперболическихъ страстишекъ». Остаются описанія, единственная хорошая сторона его произведеній, — но и тѣ по бо́льшей части, какъ уже замѣчено критикомъ, теряютъ свою цѣну отъ небрежнаго набора подлежащихъ, нанизываемыхъ на одну нитку, безъ искусныхъ удовлетворительныхъ сказуемыхъ.

Итакъ, гдѣ же заслуги Пушкина? спрашиваетъ критикъ. «Истинной мудрости» въ сочиненіяхъ Пушкина нечего искать, а безъ истинной мудрости нѣтъ «истинной прочной

поэзіи». За что же Пушкина называютъ міровымъ поэтомъ? За что же Пушкину присвоиваютъ титулъ поэта народнаго? «Не потому ли,— съ ядовитой ироніей, играя словами, замѣчаетъ Мартыновъ, — нѣкоторые называютъ Пушкина поэтомъ міровымъ, чтъ онъ жилъ-былъ въ нашемъ мірѣ, и не потому ли присвоиваютъ ему наименованіе народнаго, что онъ родился и умеръ среди русскаго народа?» Конечно, не потому: иначе пришлось бы по такой логикѣ и самого Мартынова признать тоже «міровымъ» и «народнымъ» критикомъ, потому что онъ, живя въ мірѣ среди русскаго народа, писалъ «критическія» статьи. Доказавъ, такимъ образомъ, что Пушкинъ поэтъ вовсе не народный и не міровой, Мартыновъ обращается ко всей русской публикѣ и проситъ ее относиться къ поэту такъ же безпристрастно, какъ онъ, не преувеличивая мѣру его заслугъ. Критикъ съ пророческимъ паѳосомъ восклицаетъ: «Будьте же безпристрастны, и за одно механическое искусство, или, вѣрнѣе сказать, за одно дарованіе писать красивые стихи, не спѣшите возвышать Пушкина на степень великаго, мірового поэта. Онъ только искусный стихотворецъ, бо́льшею частію заблуждавшійся со своимъ дарованіемъ по слѣдамъ мишурной эстетики и пока ничего не произведшій великаго, безсмертнаго. Скоро, скоро умрутъ его безжизненныя мишурныя произведенія!..» Такъ вопіяли фанатическіе мракобѣсцы, стараясь принести великаго поэта въ жертву фанатической теоріи, доктринѣ мрака. Но жизнь могучѣе всякихъ доктринъ и теоріи. Тѣхъ, кто отрекается отъ ея вѣчныхъ законовъ развитія, кто отвергаетъ все живое, — тѣхъ она обрекаетъ на смерть и полное одиночество среди окружающаго міра. Это вскорѣ и случилось съ «Маякомъ».

ГЛАВА XV.

Послѣ смерти Бѣлинскаго критика приходитъ въ состояніе упадка.—Это произошло отъ образованія двухъ враждебныхъ критическихъ направленій—эстетическаго и публицистическаго.—Представители того и другого направленія.—Особое мѣсто, занимаемое Ап. Григорьевымъ.—Характеристика воззрѣній Чернышевскаго на искусство по диссертаціи: «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности».—Характеристика воззрѣній на искусство Писарева и Ап. Григорьева.—Библіографическій указатель статей о Пушкинѣ съ 1855 по 1880 годъ.

Всѣ позднѣйшія критическія школы, появившіяся послѣ смерти Бѣлинскаго, прямо исходили отъ него. Каждая изъ нихъ нашла въ немъ то, что развила односторонне и догматически. Второй періодъ дѣятельности Бѣлинскаго, выразившійся въ увлеченіи Гегелемъ и метафизикой, породилъ нашу эстетическую школу съ ея различными развѣтвленіями; къ ней принадлежатъ, между прочимъ, Дружининъ, Ахшарумовъ, Соловьевъ, Эдельсонъ. Дружининъ боролся противъ реалистическихъ стремленій литературы,—Соловьевъ еще въ большей степени былъ противникомъ реализма: онъ доказывалъ, что искусство должно быть художественнымъ воспроизведеніемъ жизни безъ всякихъ тенденцій, безъ всякой преднамѣренности, что цѣль его служить «чистой красотѣ». Другая школа, тоже примыкавшая къ этому періоду дѣятельности Бѣлинскаго, имѣла своими представителями и руководителями Кирѣевскаго, Аксакова и особенно Ап. Григорьева, который пытался примирить принципы Бѣлинскаго и славянофиловъ; это—славянофильская школа, настаивавшая на томъ,

чтобы искусство не отдѣлялось отъ національнаго элемента. Ап. Григорьевъ, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, былъ основателемъ такъ называемой «органической» школы критики, т. е. критики, разсматривавшей искусство, какъ органическій результатъ народной жизни. Къ этому взгляду впослѣдствіи примкнулъ и Н. Н. Страховъ. Собственно эстетическая критика скоро поблекла и, въ концѣ концовъ, совершенно стушевалась; даже такіе наполовину эстетики, какъ Ап. Григорьевъ и Страховъ, по необходимости и роковымъ образомъ перешли на путь публицистическій, потому что на этомъ пути критика встрѣчала живой матерьялъ.

Въ послѣдній періодъ своей жизни Бѣлинскій освободился отъ метафизики и бросился въ другую крайность, создавшую теорію искусства въ приложеніи къ жизни. Это направленіе породило критику публицистическую, которая въ шестидесятыхъ годахъ была наиболѣе вліятельной и живой школой, считая своими представителями людей такихъ выдающихся талантовъ и умовъ, какъ Добролюбовъ, Чернышевскій, Писаревъ. Наиболѣе же выдающимся представителемъ этого публицистическаго направленія нужно считать Добролюбова, который особенно настаивалъ на общественномъ значеніи литературныхъ произведеній. Писарева же скорѣй можно причислить къ ультра-реалистамъ, въ критикѣ совершенно отрицавшимъ самобытное значеніе искусства. Въ одной изъ своихъ статей Писаревъ ссылается на знаменитое изреченіе Пьера Леру: «Задача художника—открыть болѣзнь общества, задача критика — найти способъ къ исцѣленію». Публицистическая школа до нѣкоторой степени отвѣчала потребностямъ времени и, пожалуй, даже была знаменіемъ эпохи общаго напряженнаго оживленія, горячаго увлеченія злобою дня, когда коренныя реформы существенно измѣняли прежній складъ нашей жизни, когда и литература получила небывалый до того времени просторъ. Нельзя вмѣстѣ съ тѣмъ не замѣтить, что публицистическая критика слишкомъ преувеличивала значеніе злобы дня, впадая оттого, сама не замѣчая, въ крайности утилитаризма.

Воодушевленная однимъ лишь искусствомъ, при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, критика могла создать прекрасную, но мертвую, мраморную Галатею, которую можно оживить только дыханіемъ жизни. Этого «дыханія жизни» у эстетической критики не было. Не могла быть долговѣчной и плодотворной и критика публицистическая, которая за литературой признавала лишь практическое значеніе, не замѣчая, что именно практическаго значенія ни искусство, ни литература не могутъ имѣть, ибо литература и искусство есть только выраженіе жизни и никакого практическаго значенія не имѣютъ: вся исторія есть краснорѣчивое доказательство этого положенія. Изъ этого, конечно, далеко не слѣдуетъ, что поэзія и искусство могли и могутъ жить отрѣшенною отъ общества жизнью: художественное произведеніе тѣмъ цѣннѣе и выше, чѣмъ глубже, искреннѣе и правдивѣе обнаруживается въ немъ психическое состояніе даннаго общества и данной эпохи. Художникъ, живущій жизнью окружающаго его общества, неизбѣжно подчиненный вліянію окружающей сферы, вскормленный на одной и той же духовной пищѣ, какъ и всѣ окружающіе люди, воспитавшій въ себѣ тѣ же чувства и тѣ же стремленія, но надѣленный, кромѣ того, впечатлительностью, умѣньемъ осмысливать и воплощать свои впечатлѣнія,—всегда въ большей или меньшей степени будетъ играть роль истолкователя смутныхъ стремленій толпы, будетъ выяснять ей въ привлекательныхъ образахъ, въ яркихъ и сочныхъ краскахъ то, что̀ она сама не смѣла еще выяснить, но что̀ уже существуетъ въ ея сердцѣ, какъ новый грядущій элементъ жизни, богатый будущимъ развитіемъ. Художникъ обнаруживаетъ только то, что̀ уже возникло, но что̀ еще не обнаружилось въ массѣ. Это обнаруживаемое въ искусствѣ мы, обыкновенно, и называемъ идеаломъ. Этотъ идеалъ налагаетъ неизгладимую печать на всѣ художественныя произведенія даннаго времени, какъ бы ни были велики различія въ направленіяхъ, въ школахъ, въ міровоззрѣніи, въ индивидуальности художника. На ряду съ психическимъ состояніемъ общества даннаго времени искусство

въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ является вмѣстѣ съ тѣмъ съ элементами бытовыми и народными. Публицистическая критика была далека отъ подобныхъ взглядовъ, приписывая литературѣ только служебную пропагаторскую роль проповѣдницы извѣстныхъ идей. Этотъ взглядъ, прямолинейный и узкій, но опредѣленный и ясный, имѣлъ въ свое время бо̀льшій успѣхъ, чѣмъ взгляды Ап. Григорьева, хотя они основательнѣе, глубже, шире и плодотворнѣе. Взглядъ Добролюбова былъ доступенъ пониманію всякаго, онъ казнилъ апатію общества, его предразсудки, его сибаритство и являлся, такимъ образомъ, цѣлесообразнымъ въ эпоху реформъ. Теоретическія воззрѣнія на искусство публицистической школы прекрасно обрисовываются въ диссертаціи Чернышевскаго: «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Мы коснемся въ общихъ чертахъ этого сочиненія, которое сдѣлалось впослѣдствіи алкораномъ для публицистическаго направленія нашей критики. Въ этой диссертаціи, полной софизмовъ и произвольныхъ выводовъ, заключалась и критика Добролюбова съ ея взглядами на литературу, какъ на пропаганду извѣстныхъ идей, и критика Писарева, вполнѣ отрицавшая самобытное значеніе искусства. Каждый изъ этихъ критиковъ, принявъ въ основу взгляды автора диссертаціи, развилъ ихъ съ нѣкоторыми индивидуальными оттѣнками. Разобравъ въ общихъ чертахъ эту диссертацію, мы далѣе перейдемъ къ характеристикамъ Писарева и Ап. Григорьева, ибо и тотъ и другой имѣютъ близкое отношеніе къ предмету нашего изслѣдованія, какъ критики, разбиравшіе Пушкина.

Авторъ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» въ семнадцати тезисахъ своей диссертаціи резюмировалъ всю сущность своихъ «новаторскихъ» взглядовъ [1]). Онъ не соглашается съ тѣмъ опредѣленіемъ

---

[1]) «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Диссертація на степень магистра русской словесности Н. Чернышевскаго. Спб. 1855. Типографія Э. Праца. См. стр. 101—103.

«прекраснаго», которое утверждаетъ, что «прекрасное есть полное проявленіе идей въ индивидуальномъ явленіи»; оно слишкомъ широко, будучи опредѣленіемъ формальнаго стремленія всякой человѣческой дѣятельности. Авторъ предлагаетъ свое опредѣленіе, которое гласитъ, что «прекрасное есть жизнь»; прекраснымъ существомъ кажется человѣку то существо, въ которомъ онъ видитъ жизнь, какъ онъ ее понимаетъ; прекрасный предметъ — тотъ предметъ, который напоминаетъ ему жизнь. Это объективно-прекрасное или прекрасное по своей сущности, должно отличать отъ совершенства формы, которое состоитъ въ единствѣ идей съ формою, или въ томъ, что предметъ вполнѣ удовлетворяетъ своему назначенію. Возвышенное дѣйствуетъ на человѣка вовсе не тѣмъ, что пробуждаетъ идею абсолютнаго: оно никогда и не пробуждаетъ ея; возвышеннымъ кажется человѣку то, что̀ гораздо больше предметовъ или сильнѣе явленій, съ которыми сравнивается человѣкъ. Дѣйствительность, по мнѣнію автора, не только живѣе, но и совершеннѣе фантазіи. Образы фантазіи только блѣдная и почти всегда неудачная передѣлка дѣйствительности. Прекрасное въ объективной дѣйствительности вполнѣ прекрасно и совершенно удовлетворяетъ человѣка. Искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ дѣйствительности. Созданія искусства ниже прекраснаго въ дѣйствительности не только потому, что впечатлѣніе, производимое дѣйствительностью, живѣе впечатлѣнія, производимаго созданіемъ искусства: созданія искусства ниже прекраснаго въ дѣйствительности и съ эстетической точки зрѣнія область искусства не ограничивается областью прекраснаго въ эстетическомъ смыслѣ слова, прекраснаго по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: искусство воспроизводитъ все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни. Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляетъ характеристической черты искусства въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныхъ искусствъ); прекрасное есть единство идеи и образа или какъ полное осу-

ществленіе идеи есть цѣль стремленія искусства въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова или умѣнья», цѣль всякой практической дѣятельности человѣка. Потребность, рождающая искусство въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныя искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человѣка не удовлетворяли насъ,— а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство своими произведеніями только напоминаетъ намъ о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ мы не имѣли случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности. Воспроизведеніе жизни—общій характеристическій признакъ искусства, составляющій сущность его; часто произведенія искусства имѣютъ другое значеніе — объясненіе жизни: часто имѣютъ они и значеніе приговора о явленіяхъ жизни. Такова сущность диссертаціи Чернышевскаго.

Весьма легко замѣтить, что всѣ будто бы новые взгляды автора построены на забавной игрѣ словомъ «прекрасное»,— игрѣ, которая обнаруживаетъ въ авторѣ или полнѣйшее незнаніе предмета, или намѣренное искаженіе его. Въ философіи слово «прекрасное» обозначаетъ не «прекрасное» въ дѣйствительности, въ природѣ, а прекрасное въ искусствѣ, т. е. въ дѣйствительности, измѣненной умомъ и воображеніемъ человѣка. Слѣдовательно, въ такомъ «прекрасномъ» существуетъ по необходимости субъективный, личный элементъ, котораго, какъ это само собою разумѣется, нѣтъ и не можетъ быть въ дѣйствительности, въ природѣ. Такое «прекрасное» есть прекрасное, зрѣющее въ человѣческомъ сознаніи и являющееся результатомъ всей поэтической дѣятельности человѣка. Въ немъ, слѣдовательно, есть «идея», которой нѣтъ въ дѣйствительности, и орудіемъ выраженія этой «идеи» является искусство. Такимъ образомъ искусство резюмируетъ

дѣйствительность, но резюмируетъ лишь настолько, насколько эта дѣйствительность видоизмѣняется, отражаясь въ сознаніи; отсюда основной законъ философіи искусства: правда искусства не есть правда дѣйствительности. Ни Кантъ, ни Шеллингъ, ни Гегель, ни Шопенгауэръ, ни Фишеръ (на котораго ссылается Чернышевскій), ни даже Аристотель (не говоря уже о Платонѣ) никогда ничего другого не говорили и не смѣшивали ребячески «прекраснаго» въ искусствѣ съ «прекраснымъ» въ дѣйствительности. Когда говорятъ о той или другой красивой женщинѣ, то говорятъ о «прекрасномъ» въ дѣйствительности, но такое «прекрасное» не имѣетъ ничего общаго съ искусствомъ, ибо какая нибудь Венера Милосская и Мадонна delle sedia Рафаэля не есть красивая женщина, а выраженіе извѣстнаго, опредѣленнаго идеала художника и, къ тому же, выраженіе не внѣшней физической красоты, а цѣлаго строя идей, выработанныхъ извѣстной цивилизаціей, извѣстной культурой. Художественное творчество есть психологическая сила, глубоко внѣдрившаяся въ человѣческую натуру, не знающая никакихъ принциповъ полезности и утилитаризма, и развивающаяся самостоятельно, какъ потребность психическаго организма. Но она живетъ въ пространствѣ и во времени, она выражается въ отношеніяхъ человѣка къ человѣку, человѣка—къ обществу, человѣка—къ природѣ, и потому всѣ вопросы человѣческой жизни, человѣческаго общества, природы и тайнъ мірозданія встрѣчаютъ въ ней естественное и неизбѣжное выраженіе. Вотъ почему искусство, являясь не требующимъ ни оправданія, ни объясненія, не будучи подчинено никакому другому явленію,—тѣсно соприкасается и съ обществомъ, и съ исторіей, и съ философіей. Такимъ образомъ, становятся понятными слова Гете, который сказалъ: «Наполняйте умъ вашъ и сердце ваше, какъ бы обширны они ни были, идеями и чувствами своего времени,—и произведеніе явится». Искусство не даетъ научнаго рѣшенія вопросовъ человѣческой жизни, но въ образахъ и представленіяхъ оно даетъ намъ живую картину того, какъ эти вопросы отражаются въ человѣческомъ со-

знаніи въ данную эпоху и въ данной культурѣ. При такомъ опредѣленіи искусства, критика, по существу своему, является анализомъ, который раскрываетъ, какимъ образомъ величайшіе вопросы человѣческой жизни и міра отражаются въ данномъ произведеніи искусства. Критикъ обязанъ выяснить его значеніе по отношенію къ обществу и его самостоятельное достоинство въ области отвлеченной мысли и художественнаго творчества. Само собою разумѣется, что въ основѣ подобнаго анализа должны лежать незыблемые научные устои и строгія логическія положенія, — слѣдовательно, нѣчто совсѣмъ объективное, не имѣющее ничего общаго съ личнымъ вкусомъ. Все это было хорошо извѣстно Бѣлинскому, знакомому съ нѣмецкой философіей и съ состояніемъ науки его времени. Авторъ же «Эстетическихъ отношеній» нарочно игнорировалъ эти основныя положенія, какъ игнорировала ихъ вся публицистическая школа, превративъ критику въ орудіе практическихъ цѣлей и публицистики, упразднивъ эстетику на томъ основаніи, что, будто бы, прекрасное не имѣетъ самостоятельнаго значенія, что оно якобы зависитъ отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ, утверждая, поэтому, что критика самостоятельнаго значенія не имѣетъ, что она есть лишь выраженіе личнаго вкуса и мнѣнія, и этими самыми утвержденіями упраздняя критику. Писаревъ, идя по слѣдамъ автора «Эстетическяхъ отношеній», упразднилъ эстетику. Разсмотрѣнію этой диссертаціи онъ посвятилъ статью подъ заглавіемъ «Разрушеніе эстетики»[1]). Писаревъ высказываетъ здѣсь такія мнѣнія, что будто бы эстетика, порожденная умственною неподвижностью нашего общества, поддерживала эту неподвижность и мѣшала «пробудить въ разслабленной литературѣ сознаніе ея высокихъ серьезныхъ гражданскихъ обязанностей» до тѣхъ поръ, пока Чернышевскій съ учениками не отправилъ ее туда, куда «отправлены алхимія и астрологія». Критикъ съ апломбомъ и увѣренностью говорилъ, что эстетика можетъ морочить только «философ-

[1]) Соч., IV, стр. 101—119, Спб. 1867.

ствующее и тунеядствующее филистерство». Развивая положенія Чернышевскаго и договаривая недоговоренное имъ, Писаревъ съ развязностью, достойною лучшаго примѣненія, заявляетъ, что «у каждаго отдѣльнаго человѣка образуется своя собственная эстетика, и, слѣдовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможною». Онъ говоритъ, что въ дѣлѣ эстетики «каждый здоровый человѣкъ признается высшимъ авторитетомъ» и что поэтому, очевидно, «эстетика, какъ наука, становится такою же нелѣпостью, какою была бы, напримѣръ, наука о любви». Отчасти со словъ Чернышевскаго, отчасти по собственнымъ соображеніямъ Писаревъ глумился надъ архитектурой, которую онъ сравнивалъ даже «съ клюквеннымъ киселемъ, вылитымъ въ форму», ибо въ такомъ видѣ и онъ «не только удовлетворяетъ эстетическому вкусу обѣдающаго человѣка, но даже пробуждаетъ въ его отзывчивой душѣ высокія размышленія, точно такія же размышленія, какія обыкновенно обуреваютъ впечатлительнаго путешественника, созерцающаго какой нибудь обвалившійся портикъ временъ Септимія Севера или какой нибудь опустѣлый палаццо венеціанскаго патриція». Онъ замѣчаетъ, что «архитектура такого-то вѣка и такого-то народа» вовсе не воплощаетъ «въ себѣ всю жизнь, все міросозерцаніе, всѣ духовныя стремленія этого вѣка и этого народа». Его доказательства полнаго ничтожества архитектуры забавны до каррикатурности, натянуты до крайности, софистичны до чудовищнаго парадокса. Онъ говоритъ, что ни одинъ «мыслитель» не возьмется утверждать, будто бы странная мода ношенія огромныхъ пудреныхъ париковъ при Людовикахъ XIV и XV находилась «въ необходимости внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и образомъ мысли тогдашнихъ людей», «ни одинъ мыслитель въ мірѣ не объяснитъ намъ общими причинами, заключавшимися въ духѣ времени и народа» такой искусственности и вычурности. Конечно, это замѣчаніе почти вѣрно. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Причемъ же архитектура? «То же самое можно сказать,— само-

надѣянно умозаключаетъ Писаревъ,—и объ архитектурныхъ памятникахъ», ибо, если въ какой нибудь странѣ много «великолѣпныхъ и безполезныхъ» зданій, то это значитъ, что много праздныхъ капиталовъ и «громадныя массы дешеваго человѣческаго труда». «По этой канвѣ политической и соціальной безалаберщины, — продолжаетъ съ апломбомъ критикъ,—пылкая фантазія архитекторовъ и декораторовъ, подогрѣваемая хорошимъ жалованьемъ или страхомъ наказанія, конечно, должна была вышивать самые величественные и самые пестрые узоры; но видѣть въ этихъ узорахъ проявленіе народнаго созерцанія, а не индивидуальной фантазіи — позволительно только тѣмъ, которые серьезно разсуждаютъ о благородствѣ круглой арки или о возвышенности стрѣльчатаго окна».

Думая, что читатель убѣжденъ цитованными разсужденіями Чернышевскаго о живописи и скульптурѣ, думая, что всѣ эти отрасли искусства ниже дѣйствительности, и убоявшись, повидимому, разсуждать объ этихъ отрасляхъ искусства такъ же чудовищно-парадоксально, какъ объ архитектурѣ, Писаревъ заканчиваетъ свою статью общими разсужденіями о томъ, какое же направленіе должна принять современная критика, проникнувшись мыслями «Эстетическихъ отношеній». Такъ какъ «Эстетическія отношенія» говорятъ, что искусство ни въ какомъ случаѣ не можетъ создавать свой собственный міръ и что оно должно ограничиваться воспроизведеніями того міра, который существуетъ въ дѣйствительности,— то это основное положеніе обязываетъ критика разсматривать каждое художественное произведеніе непремѣнно въ связи съ тою жизнью, среди которой и для которой оно возникло. «Эстетическія отношенія» представляютъ критику полнѣйшую свободу, освобождая его отъ роли «безличнаго и безпристрастнаго блюстителя неподвижнаго эстетическаго закона» и заставляя вносить въ свою дѣятельность «все свое личное міросозерцаніе, весь свой индивидуальный характеръ, весь свой образъ мыслей, всю совокупность своихъ человѣческихъ и гражданскихъ убѣжденій, надеждъ и

желаній». Такимъ образомъ, отказывая критикѣ въ самостоятельномъ значеніи, утверждая, что она есть лишь выраженіе личнаго вкуса и мнѣнія, Писаревъ этимъ самымъ упраздняетъ и критику. И дѣйствительно, если свести критику на дѣло личнаго вкуса, то придется заключить, что Писаревъ правъ, что критика такой же вздоръ, какимъ онъ считаетъ искусство и эстетику. Удивительно, что все это говорилось не только послѣ Бѣлинскаго, но даже послѣ Добролюбова; удивительно, что ни предшествующее литературное движеніе, ни опытъ, ни размышленіе не могли создать въ Писаревѣ болѣе широкаго воззрѣнія на дѣло, которому онъ самъ посвятилъ свою жизнь. Такъ разсуждать могъ только человѣкъ, лишенный всякаго историческаго и философскаго образованія. Кромѣ того, Писаревъ обязывалъ критика быть проповѣдникомъ той новой морали, которая возникла на нашемъ горизонтѣ въ шестидесятыхъ годахъ, — морали, въ основѣ которой лежатъ математика и естествознаніе (единственныя науки, на которыя смотрѣли тогда съ нѣкоторымъ уваженіемъ), а въ видѣ путеводной звѣзды свѣтитъ принципъ прогресса. Эта мораль утвердила въ обществѣ самонадѣянность и самомнѣніе, новой формы филистерство, проповѣдуя, что нѣтъ спасенія внѣ естественныхъ наукъ, что всѣ философіи недостойны «мыслящаго реалиста». Съ другой стороны нужно замѣтить, что проповѣдь не только этой, но и всякой другой морали, не есть функція критика, который вовсе не проповѣдникъ и не моралистъ: критикъ, имѣя дѣло съ произведеніями искусства, обязанъ выяснить ихъ значеніе по отношенію къ обществу и ихъ самостоятельное достоинство въ области отвлеченной мысли и художественнаго творчества. Писаревъ до такой степени упростилъ точку зрѣнія публицистической критики, что ея полнѣйшая несостоятельность сказалась во всей своей очевидности. Въ этомъ одна изъ главныхъ заслугъ Писарева.

Заключимъ характеристику Писарева его общими воззрѣніями на литературу. Критикъ смотрѣлъ на писателей съ чисто утилитарной точки зрѣнія. Онъ говорилъ, что они со-

ставляютъ только живую связь между «передовыми мыслителями и полуобразованною толпою всякаго пола, возраста, состоянія», что они «популяризаторы разумныхъ идей, по части психологіи и физіологіи общества». Форму литературнаго произведенія онъ ставилъ ни во что, отрицая стихи и драму, ибо на нихъ не стоитъ тратить времени. Историческій романъ отрицался критикомъ, ибо онъ не болѣе какъ «рядъ картинъ и арабесковъ». Вальтеръ-Скотта и Купера онъ считалъ «усыпителями человѣчества». Писаревъ утверждалъ, что «поэтомъ можно сдѣлаться точно такъ же, какъ можно сдѣлаться адвокатомъ, профессоромъ, публицистомъ, сапожникомъ и часовщикомъ». Вообще художникъ, по мнѣнію критика, такой же ремесленникъ, какъ и всѣ остальные ремесленники, удовлетворяющіе своимъ трудомъ различнымъ естественнымъ или искусственнымъ потребностямъ общества (искусство вообще критикъ относитъ къ потребностямъ искусственнымъ). Вотъ рецептъ Писарева, по которому, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще не изготовили ни одного поэта: «Подобно всѣмъ остальнымъ ремесленникамъ (т. е. сапожникамъ, часовщикамъ и пр.), поэтъ или художникъ нуждается въ извѣстныхъ врожденныхъ способностяхъ (отчего критикъ не объясняетъ—какія нужны природныя способности для сапожника, столяра, маляра, слесаря и пр.?); но та доза способностей, которая необходима для того, чтобы человѣкъ могъ приступить къ изученію ремесла (развѣ поэзію прежде изучаютъ, а потомъ пишутъ стихи?), встрѣчается у всѣхъ нормальныхъ и здоровыхъ экземпляровъ человѣческой природы (слѣдовательно, всѣ «здоровые и нормальные экземпляры» могутъ сдѣлаться поэтами?). Затѣмъ, все остальное довершается въ образованіи художника впечатлѣніями жизни, чтеніемъ и размышленіемъ, упражненіемъ и навыкомъ (слѣдовательно, если «здоровый экземпляръ» будетъ ежедневно исписывать по двѣ дести бумаги, то онъ вскорѣ «сдѣлается» Шекспиромъ, Гёте, Пушкинымъ или чѣмъ нибудь въ этомъ же родѣ?).

Какъ только эти предварительныя знанія дали человѣку способность придумывать идеи (неужто идеи придумываются, сочиняются, высиживаются? Неужто «навыкъ» даетъ «способность» придумывать идеи?) и втискивать ихъ въ формы, такъ поэтъ оказывается готовымъ къ услугамъ всѣхъ любителей легкаго чтенія [1]). Подобной логикѣ можно только удивляться. Возражать же на подобныя разсужденія совершенно излишне, ибо эта логика и такъ привела критика къ чудовищнымъ нелѣпостямъ. Притомъ нужно замѣтить, что самъ Писаревъ, повидимому, чувствовалъ несообразность своихъ теорій; онъ совѣтовалъ читать великихъ поэтовъ и относился съ уваженіемъ къ Шекспиру, Байрону, Гёте и особенно къ Гейне, котораго онъ называлъ «титаномъ фантазіи», созданнымъ самой природой. Какъ же помиришь этотъ взглядъ съ тѣмъ, въ силу котораго можно сдѣлаться поэтомъ? Вообще же Писаревъ замѣчалъ, что «въ наше время быть поэтомъ и въ то же время не быть глубокимъ реалистомъ—это совершенно невозможно» (мы говорили, какъ понимается Писаревымъ слово реалистъ). Кто не реалистъ, тотъ не поэтъ, а просто даровитый неучъ, или ловкій шарлатанъ, или мелкая, но самолюбивая козявка [1]). Въ Россіи Писаревъ съ совершенно хлестаковской развязностью не находилъ ни одного замѣчательнаго поэта или писателя. Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоѣдова онъ считалъ «зародышами поэтовъ», а Пушкина и Жуковскаго — «пародіями на поэта». Читая подобные отзывы, можно усумниться—Писаревъ ли говоритъ это? Не встали ли изъ гроба покойные Никодимъ Аристарховичъ Надоумко и Мартыновъ съ своими разсужденіями, относящимися «къ области одиннадцатой версты»? Тотъ же Писаревъ утверждаетъ, что вообще замѣчательныхъ поэтовъ у насъ нѣтъ, «никогда не было, никогда не могло быть—и, по всей вѣроятности, очень долго

[1]) Соч., томъ III, стр. 194.
[1]) Соч., томъ II, стр. 202.

еще не будетъ». Если изъ зародышей первой категоріи при благопріятныхъ обстоятельствахъ, по мнѣнію критика, «могло еще выработаться «что нибудь порядочное», то поэты второй категоріи не могли произвести рѣшительно ничего плодотворнаго. Они процвѣтали «яко кринъ», щебетали какъ птицы пѣвчія, и совершили «въ предѣлѣ земномъ все земное»; имъ было весело и хорошо жить на свѣтѣ и «это обстоятельство, конечно, останется вѣчнымъ пятномъ на ихъ прославленныхъ именахъ» (какъ остается «вѣчнымъ пятномъ» на «прославленномъ» имени Писарева его дѣтское непониманіе русской литературы и ея историческаго хода, его жестокое и безсмысленное глумленіе надъ Пушкинымъ). О Жуковскомъ и Пушкинѣ критикъ категорически заявляетъ, что они «ничѣмъ не связаны съ современнымъ развитіемъ нашей умственной жизни» и что ихъ прославленныя имена скоро обратятся въ такіе же «пустые звуки, въ какіе уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всякихъ другихъ бардовъ прошлаго столѣтія». Замѣчая, что съ Жуковскимъ совершилось уже подобное «превращеніе», Писаревъ говоритъ, что «Пушкина мы все еще не рѣшаемся забыть», о Пушкинѣ все еще бродятъ нелѣпые слухи, пущенные въ ходъ эстетическими критиками. Общество повторяетъ ихъ съ чужого голоса и считаетъ ихъ за непреложную истину. Между тѣмъ Пушкинъ вовсе не великій поэтъ, по мнѣнію Писарева, а только «великій стилистъ» (крайности сходятся: прогрессистъ Писаревъ повторяетъ мнѣніе печальнаго рыцаря мракобѣсія Мартынова), о которомъ держится вздорное мнѣніе, будто бы онъ основалъ новѣйшую литературу. Свои по-истинѣ «возмутительно-дерзкія мнѣнія о Пушкинѣ критикъ обѣщаетъ подкрѣпить «серьезными и подробными фактическими доказательствами» въ статьяхъ: «Пушкинъ и Бѣлинскій», въ которыхъ онъ намѣревается разобрать «дѣятельность прославленнаго поэта» и, «съ точки зрѣнія послѣдовательнаго реализма», перерѣшить тѣ вопросы, которые Бѣлинскій рѣшалъ на основаніи «эстетическихъ догма-

товъ, потерявшихъ для насъ всю свою обязательную силу» [1]). Ниже мы разберемъ эти статьи Писарева и покажемъ, каковы были его «серьезныя и фактическія доказательства», убѣдившись вмѣстѣ съ тѣмъ въ раціональности принциповъ «послѣдовательнаго реализма». Повторяемъ, что самой крупной заслугой Писарева нужно считать то, что онъ, увлеченный общимъ теченіемъ и ролью вожака современнаго общественнаго мнѣнія, упростилъ точку зрѣнія публицистической критики настолько, что ея полнѣйшая несостоятельность сказалась во всей своей очевидности и наготѣ. Лучшимъ «серьезнымъ и фактическимъ доказательствомъ» этого мнѣнія, какъ намъ кажется, являются статьи: «Пушкинъ и Бѣлинскій». Теперь же мы обратимся къ характеристикѣ Ап. Григорьева, которому принадлежитъ въ нашей литературѣ столь важная и крупная роль въ дѣлѣ истолкованія цѣлой половины поэтической дѣятельности Пушкина, не понятой и не оцѣненной самимъ Бѣлинскимъ.

Ап. Григорьевъ при жизни не пользовался такимъ успѣхомъ и такой популярностью, какъ его современники критики-публицисты, хотя критическія статьи зрѣлаго періода его дѣятельности обнимаютъ тринадцать лѣтъ [1]), время немного меньше, чѣмъ дѣйствовалъ Бѣлинскій [2]), не говоря уже о Добролюбовѣ и Писаревѣ, которые оба умерли до тридцати лѣтъ, причемъ Добролюбовъ, напр., подвизался на критическомъ поприщѣ всего четыре года. Непопулярность Ап. Григорьева объясняется съ одной стороны общимъ характеромъ времени, когда главенствующая роль въ журналистикѣ и критикѣ принадлежала «Современнику», съ его публицистическими наклонностями, а съ другой стороны—характеромъ дѣятельности критика, который въ эпоху увлеченія злобой дня стоялъ въ сторонѣ отъ всякихъ текущихъ общественныхъ интересовъ. Противники-публицисты были до нѣкоторой степени правы,

---

[1]) Соч. II т., статья «Реалисты», стр. 203.
[1]) 1851—1864 гг.
[2]) 1834—1848 гг.

обвиняя Ап. Григорьева въ томъ, что всѣ его статьи составляютъ только «введеніе» къ критическимъ разборамъ, что дальше введеній этотъ критикъ не пошелъ, что широко задумавъ статью, чуть-чуть не съ яицъ Леды, критикъ на нихъ и останавливался, обѣщая между тѣмъ продолженіе. Этотъ недостатокъ дѣйствительно былъ за Ап. Григорьевымъ, онъ любилъ писать къ своимъ статьямъ обширныя «вступленія» и на нихъ останавливаться. Такъ случилось, напр., съ нимъ, когда онъ задумалъ писать: «О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ». Критикъ поставилъ себѣ весьма похвальную цѣль разсмотрѣть общее отношеніе поэта къ жизни, типы, имъ созданные, манеру ихъ изображенія, самобытность постройки его произведеній, особенности языка. Но къ этой цѣли онъ пошелъ окольной дорогой. Критикъ совершенно справедливо говоритъ, что «новое слово Островскаго есть самое старое слово—народность; новое отношеніе есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни!» Поэтому, критику понадобилось 1) въ краткомъ очеркѣ представить различныя отношенія литературы нашей къ народности и 2) въ таковомъ же схватить предшествовавшее отношеніе литературы къ жизни вообще. Безъ сомнѣнія, критикъ началъ слишкомъ ужъ ab ovo. Критикъ остановился на лѣтописи Нестора и на Посошковѣ. Народность же и значеніе Островскаго такъ и остались неразъясненными. Такъ же неокончены его письма къ И. С. Тургеневу: «Послѣ «Грозы» Островскаго»; неокончены и письма къ Ѳ. М. Достоевскому о «Парадоксахъ органической критики». Безъ сомнѣнія слишкомъ широкій размахъ Ап. Григорьева не мало вредилъ ему и въ глазахъ журналистики, и въ глазахъ читающей публики, которая, читая по большей части все «вступленія», да «общіе взгляды»—«о чемъ бишь нѣчто? Обо всемъ»,—все только «присказки», не дождавшись обѣщанныхъ «сказокъ»,—могла дѣлать неблагопріятные для критика заключенія о несоотвѣтствіи замысловъ съ размѣрами его критическихъ способностей. Притомъ, повторяемъ, въ «органической» критикѣ

Ап. Григорьева было слишкомъ мало публицистическихъ элементовъ, требовавшихся духомъ прогрессивнаго времени, и слишкомъ много общихъ взглядовъ, попытокъ многое объяснить, но остановившихся на полъ-дорогѣ, хотя эти попытки были несомнѣнно даровитыми. Въ этомъ, какъ намъ кажется, коренятся причины малаго успѣха и малой популярности Ап. Григорьева. Между тѣмъ, по своимъ взглядамъ это былъ замѣчательный человѣкъ. Еслибы ему удалось разсмотрѣть нашу литературу согласно съ общими воззрѣніями, мы бы имѣли по значенію нѣчто равное дѣятельности Бѣлинскаго, притомъ существенно дополняющее эту дѣятельность тѣми народными элементами, которыхъ Бѣлинскій не имѣлъ. Художественная литература составляла для Ап. Григорьева часть его жизни, была сокровищемъ его сердца. Поэтому всѣ его статьи поражаютъ глубочайшимъ воодушевленіемъ, тономъ горячаго убѣжденія. Самъ критикъ превосходно охарактеризовалъ свое собственное мышленіе и свое отношеніе къ дѣлу. «Наши мысли вообще (если онѣ точно мысли, а не баловство одно), говоритъ онъ, суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо и немногіе имѣютъ счастіе или несчастіе рождать изъ себя собственныя, а не чужія мысли»[1]). Искусство для Ап. Григорьева было средствомъ самаго яснаго убѣдительнаго созерцанія идеаловъ красоты, добра и правды. Искусство онъ называлъ «лучшимъ изъ земныхъ дѣлъ», придавая ему руководящую роль въ движеніи человѣчества и признавая за нимъ способность сказать «новое слово». Художественныя произведенія были для Ап. Григорьева живыми и всесильными образами, по образу которыхъ складывались его собственныя чувства и взгляды.

Искусство, по взглядамъ Ап. Григорьева было не простымъ изображеніемъ жизни; искусство есть судъ надъ жизнью во имя высшихъ началъ, только не отвлеченныхъ, а живущихъ и стремящихся воплотиться въ изображаемой жизни.

---

[1]) «Эпоха», 1865 г. № 2.

Искусство есть выраженіе единственно доступной намъ «цвѣтной истины, ибо неизмѣнный идеалъ человѣческой души въ своемъ чистомъ и общемъ видѣ не можетъ ни воплотиться, ни быть познаваемъ. Только искусство можетъ, при посредствѣ созерцанія и чувства, вполнѣ понять и изобразить проявленія одного и того же идеала въ частныхъ формахъ, смотря по народнымъ и историческимъ эпохамъ: отвлеченная же мысль всегда понимаетъ жизнь односторонне. Изъ такого значенія искусства логическій выводъ, что оно по самой сущности—національно, ибо самое творчество заключается главнымъ образомъ въ созданіи типовъ, представляющихъ органически-цѣльный складъ душевной жизни, носящій поэтому на себѣ печать извѣстной народности. Критикъ различаетъ понятія «типоваго» и «типическаго». Первое конкретно, многосложно, какъ явленіе дѣйствительной жизни, оно улавливаетъ черты опредѣленнаго типа; второе—отвлеченно, односторонне, оно улавливаетъ общія черты душевныхъ явленій. Искусство должно стремиться къ уловленію чертъ извѣстнаго типа, т. е. къ типовому. Людей, не признавшихъ высшаго значенія искусства, Ап. Григорьевъ называлъ вообще «теоретиками», понимая подъ словомъ теоріи все, что противоположно жизни, а слѣдовательно и искусству, какъ прямому ея «органу». Статья «О правдѣ и искренности въ искусствѣ», направленная противъ одного рода теоретиковъ, излагаетъ вопросъ объ отношеніи искусства къ нравственности; статья «Критическій взглядъ на основы, значеніе и пріемы современной критики искусства», направленная противъ другаго рода теоретиковъ, говоритъ объ отношеніяхъ критики и искусства къ требованіямъ времени.

Въ первой своей статьѣ Ап. Григорьевъ говоритъ, что искусство постолько нравственно, посколько жизненно и посколько самую жизнь повѣряетъ идеаломъ. Искусство, какъ жизненное и народное, становясь выраженіемъ высшихъ понятій жизни, непремѣнно и нравственно, ибо коренныя нравственныя начала жизни народа суть неминуемо и коренныя начала художества. Критикъ доказываетъ также, что истин-

ное искусство постоянно стремится къ храненію высшихъ, идеальнѣйшихъ началъ, независимыхъ отъ народныхъ особенностей, къ храненію того вѣчнаго идеала, которымъ повѣряется народный идеалъ. Искусство не носитъ въ себѣ разъединенія съ нравственнымъ созерцаніемъ, ибо разъединеніе вредитъ его стройности, мѣрѣ и гармоніи. Во второй статьѣ критикъ говоритъ, что какъ «искусство, такъ и критика искусства подчиняются одному критеріуму». Искусство есть отраженіе идеальнаго, критика—разъясненіе отраженія. Законы для разъясненія идеальнаго извлекаются изъ сущности самаго идеальнаго. Критика «должна быть, или по крайней мѣрѣ стараться быть, столь же органическою, какъ само искусство, осмысливая анализомъ тѣ же органическія начала жизни, которымъ синтетически сообщаетъ плоть и кровь искусство»[1]). Слѣдовательно критеріумъ для критика берется ни въ явленіяхъ жизни, ни въ явленіяхъ искусства; слѣдовательно критика не должна быть ни отрѣшенно-художественною, совершенно отвлеченной эстетическою, ни историческою, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе того стремленія къ идеалу, которымъ управляется самая жизнь. Но каковъ же этотъ идеалъ? Къ сожалѣнію, на этотъ вопросъ яснаго и опредѣленнаго отвѣта въ сочиненіяхъ Ап. Григорьева мы не находимъ. Критикъ на вдохновеніе смотритъ, какъ на состояніе близкое къ ясновидѣнію, въ которое «художникъ вноситъ всѣ Богомъ данныя ему средства: и свой общій типъ, и свою мѣстность, и свою эпоху, и свою жизнь». Самый процессъ творчества есть нѣчто таинственное. Справедливость требуетъ замѣтить, что отсутствіе объясненія: что же такое «высшій идеалъ», къ которому стремится жизнь—составляетъ слабую сторону критическаго ученія Ап. Григорьева, ибо оно является основаннымъ на прорицаніи, ибо въ немъ чувствуется несомнѣнно мистическій элементъ. Поэтъ представляется чѣмъ-то въ родѣ прорицателя въ смыслѣ древняго vates, который вѣщаетъ

[1]) Соч., томъ I, стр. 229.

слово жизни по какому-то внутреннему убѣжденію и наитію. Въ основѣ своей это ученіе бездоказательно и въ критикѣ легко можетъ привести къ довольно произвольнымъ выводамъ. Такъ, напр., Ап. Григорьевъ преувеличивалъ значеніе Лажечникова и Загоскина, и это произошло оттого, что въ этихъ двухъ писателяхъ онъ увидалъ отчасти свои собственныя симпатіи и свои собственные взгляды. Недостатокъ всякой слишкомъ обобщающей, апріорной теоріи заключается въ томъ, что ею весьма легко оправдать всякіе взгляды, всякіе направленія. У Ап. Григорьева теорія, до извѣстной степени, оправдывала славянофильскій взглядъ и въ свое время онъ былъ однимъ изъ столбовъ консерватизма тогдашней русской печати. Ап. Григорьевъ, слѣдуя Шеллингу, который желалъ примирить разумъ съ природой, соединивъ ихъ въ единой душѣ міра, пытылся примирить философію съ критикой, надѣясь въ философіи найти прочный объективный критеріумъ. Но едва ли найденный имъ «высшій идеалъ» былъ прочнымъ основаніемъ. Тѣмъ не менѣе въ историко-литературномъ отношеніи его «органическая критика» была явленіемъ въ высшей степени плодотворнымъ. Его широкія воззрѣнія на искусство, его требованія отъ искусства типоваго, народнаго, помогли даровитому критику понять народныя начала Пушкина, понять нравственно-общественное значеніе великаго поэта и снять съ него упреки будто бы въ исключительно художественныхъ заслугахъ передъ русской литературой.

Ап. Григорьевъ писалъ о явленіяхъ литературы, относящихся главнымъ образомъ къ періоду времени отъ Карамзина до конца жизни критика (1864 г.). Отзывы о до-Карамзинской литературѣ высокомѣрны и небрежны, эта литература какъ будто не существовала для Ап. Григорьева. Значеніе же Карамзина, которымъ критикъ уже жилъ, указано имъ съ величайшей мѣткостью. Объясніе значенія Пушкина было для Ап. Григорьева той центральной точкой, съ которой онъ смотрѣлъ на развитіе нашей литературы, ибо вся новая русская литература, возникнувъ подъ вліяніемъ чужихъ литературъ и развиваясь подъ ихъ непрерывнымъ воздѣйствіемъ,

самостоятельною, народною стала только съ Пушкина. Поэтому-то Пушкинъ и составляетъ, по мнѣнію Ап. Григорьева, величайшую задачу для русскаго критика. Имя Ап. Григорьева останется навсегда связаннымъ съ именами Пушкина, Островскаго и Тургенева. Критикъ показалъ, какъ пробудилось въ Пушкинѣ «наше типовое, народное», какъ поэтъ велъ борьбу съ различными идеалами, съ различными исторически-сложившимися типами душевной жизни, тревожившими натуру поэта и пережитыми ею. Критикъ показалъ, что эти чужіе идеалы и типы находили въ душѣ Пушкина стихіи и силы для созданія соотвѣтствующихъ идеаловъ, которые не были простымъ подражаніемъ, а, напротивъ, усвоеніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ап. Григорьевымъ замѣчено, что природа эта не покорялась чужимъ типамъ, а отзываясь и доростая до нихъ, мѣрялась съ ними, боролась, относилась къ нимъ критически, питая въ душѣ и признавая законными сочувствія, вовсе и несогласныя съ ними. Изъ борьбы съ чуждыми типами Пушкинъ всегда выходилъ самимъ собой. Пушкинъ, живя другими типами, наравнѣ съ ними поставилъ типъ, явившійся отраженіемъ всего яснѣе въ созданіи лица Бѣлкина. Бѣлкинъ есть «голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго». Пушкинъ въ положительномъ образѣ простого, правдиваго и добраго Бѣлкина, въ типѣ смирнаго человѣка, выразилъ протестъ противъ всего ложнаго, злого и преувеличеннаго въ какихъ бы то ни было героическихъ типахъ раньше Гоголя, у котораго слышится столь глубокая тоска о прекрасномъ человѣкѣ рядомъ съ ироніей и негодованіемъ противъ пошлости русской дѣйствительности. Смирный типъ есть простѣйшая форма нашего народнаго типа. Простѣйшую форму противоположнаго типа, создавшагося подъ вліяніемъ «романтическаго вліянія» или «тревожнаго начала», общаго источника чуждыхъ вліяній, съ которыми боролся Пушкинъ и которымъ подчинялся Лермонтовъ, Ап. Григорьевъ называлъ хищнымъ. Въ послѣ-пушкинской литературѣ происходитъ какъ бы борьба

между хищнымъ и смирнымъ типомъ. Сильнѣйшимъ врагомъ этого «тревожнаго начала» Ап. Григорьевъ считалъ Л. Н. Толстого, котораго по художественной силѣ ставилъ наравнѣ съ Островскимъ. Въ Островскомъ критикъ указалъ новое слово нашей литературы, съ жаромъ истолковывая его и доказывая, что онъ не простой продолжатель Гоголя, не чисто отрицательный поэтъ, а, напротивъ, поэтъ, совершенно просто подходящій къ изображаемому имъ быту и выводящій изъ него цѣлый рядъ новыхъ образовъ,—и положительныхъ и отрицательныхъ, новыхъ, вполнѣ драматическихъ отношеній, новыхъ явленій русской души, не только смѣшныхъ и пошлыхъ, но и глубокихъ, трогательныхъ, нѣжныхъ. Съ удивительною глубиною и тонкостію охарактеризовалъ Ап. Григорьевъ дѣятельность Тургенева. Разборъ сосредоточенъ около лучшаго произведенія Тургенева «Дворянскаго гнѣзда», причемъ критикъ, перебирая всѣ другія произведенія Тургенева, показалъ намъ развитіе художника, главные пункты, около которыхъ колебались его настроенія. Вообще же у Ап. Григорьева можно встрѣтить мѣткіе отзывы о массѣ писателей.

Такимъ образомъ, въ Пушкинѣ, по взгляду даровитаго критика, обозначились и объемъ, и мѣра нашихъ писателей. Всѣ послѣдующія явленія представляютъ развитіе тѣхъ элементовъ, которые сказались въ Пушкинѣ. Онъ одинъ есть полный образъ русской души, но лишь въ очеркѣ, безъ красокъ, которыя лишь потомъ являются въ предѣлахъ его очертаній; въ немъ проявилось наше типовое, народное, и съ тѣхъ поръ ростетъ и выясняется. Вотъ общій взглядъ Ап. Григорьева на развитіе нашей литературы. Различныя литературныя явленія вытекаютъ изъ этого одного взгляда, единственнаго въ нашей критикѣ по своей цѣльности. Критикъ отгадалъ внутреннюю силу развитія нашей литературы и смыслъ ея движенія. Разрѣшеніе этой глубокой и важной задачи составляетъ огромную заслугу Ап. Григорьева въ исторіи русской литературы, русской критики и русскаго общественнаго сознанія.

Первыя значительныя критическія статьи о Пушкинѣ послѣ смерти Бѣлинскаго появляются въ 1855 году по поводу собранія сочиненій поэта, сдѣланнаго П. В. Анненковымъ. Статьи о Пушкинѣ и рецензіи, начиная съ 1855 г., напечатаны ва слѣдующихъ журналахъ и газетахъ: статьи, имѣющія литературное значеніе, нами подчеркнуты. Въ «Библіотекѣ для Чтенія», 1855 г. т. 130, № 3—4 (двѣ статьи Дружинина); въ «Москвитянинѣ» 1855 г. т. 3, № 12, стр. 1—4 и №№ 13—14, стр. 105—148; въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 1855 г., №№ 42 и 70; въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» 1855 г., № 52, «Отеч. Записк.» 1855 г., т. 100, стр. 31—70 (статья В. П. Гаевскаго); «Спб. Вѣдомостяхъ» 1855 г., №№ 50, 88 и 162, въ «Современникѣ» 1855 г., т. 49, стр. 27—58, т. 50, стр. 1—34 и т. 52, стр. 1—21 и 27—52 (четыре статьи Н. Г. Чернышевскаго). Кромѣ того, въ 1855 же году въ «Журн. Мин. Нар. Просвѣщ.» напечатана рѣчь проф. К. Зеленецкаго: «О художественно-національномъ значеніи просвѣщенія Пушкина», «Русскій «Вѣстникъ» 1856 г., т. 1 (январь, кн. 1 и 2), стр. 157—172 и т. 2 (мартъ, кн. 2), стр. 281—310 (четыре статьи Каткова); «Сынъ Отечества» 1856 г. № 1.—О седьмомъ дополнительномъ томѣ рецензіи появились въ «Москов. Вѣдомостяхъ» 1857 г., № 147, «Русскій Инвалидъ» 1857 г., № 267, «Сынъ Отечества» 1857 г., № 52, «Сѣверн. Пчела» 1857 г., № 276, «Атеней» 1858 г., т. 1, № 2, «Библіот. для Чтенія» 1858 г., т. 147, № 2, стр. 43—75, «Современникъ» 1858 г., т. 67, стр. 29—43. Въ «Русской Бесѣдѣ» 1859 г., № 5, кн. 17, стр. 11—64 напечатана большая статья Кохановской подъ заглавіемъ «Степной цвѣтокъ на могилу Пушкина», въ «Русскомъ Словѣ» 1859 г., № 2, стр. 1—63 и № 3, стр. 1—39, очень важныя статьи Ап. Григорьева: «Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина», въ томъ же году въ сборникѣ «Утро» большая статья Б. Алмазова: «О поэзіи Пушкина», стр. 139—192. Въ 1860 году въ «Свѣточѣ» № 8, стр. 1—22, помѣщена статья: «Крестовый походъ нашихъ передовыхъ журналовъ на Пушкина»; въ 1861 году замѣчательна статья Ап. Григорьева, «Время», т. 1, № 1 стр. 83—112 «Народность и литература»; въ «Отечеств. Запискахъ, т. 135, № 4, стр. 130—143, помѣщенъ отвѣтъ Ап. Григорьеву, и т. 136, № 5, стр. 45—48, статейки: «Еще о народности и о Пушкинѣ»; «Спб. Вѣдомости» 1861 г., № 61 (статья Гьемалэ). Въ 1862 году въ «Кіевск. Телеграфѣ», № 55, напечатана статья Ч—в—аго: «Евг. Онѣгинъ, Печоринъ и Базаровъ»; въ 1864 г. въ «Одесскомъ Вѣстникѣ», № 49, стр. 195—196 и № 51, стр. 203—204 «Объ Евг. Онѣгинѣ». Въ 1865 году въ «Русск. Словѣ», №№ 4 и 6, стр. 1—10 и 1—18 (двѣ статьи Писарева) и отвѣтъ на нихъ М. Лонгинова въ «Соврем. Лѣтописи» 1865 г., № 32: «Что значитъ договориться»; въ 1867 г. напечатана статья графа В. Соллогуба въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности», в. I, стр. 1—32, 1868 г.—«Бѣдность нашей литературы, критич. и историч. очеркъ. Н. Страхова». Здѣсь, между прочимъ, есть статья: «Нѣчто о Пушкинѣ». «Дѣло», № 6, стр. 79—112, № 7, стр. 153—163, статья Шелгунова: «Русскіе идеалы, герои и типы», 1870 г. Въ «Вѣстн. Европы, № 10 и № 12 за 1870 г. и № 2 за 1871 г.—статья Пыпина «Очерки общ.

движ. при Александрѣ I», въ 1871 г. въ «Вѣстн. Европы»—«Характеристики литерат. мнѣній отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ: о романтизмѣ Пушкина», статья А. Н. Пыпина, т. 3, № 5, стр. 233—291; т. 6, № 12, стр. 461, 470 и 507.—1872 г.—Въ сборникѣ «Гражданинъ» статья Ш., ч. I, стр. 166—193, «О нѣкоторыхъ направленіяхъ въ нашей поэзіи послѣ Пушкина». «Биржевыя Вѣдомости» 1873 г. № 109 «Герои и героини русской литературы».—«Онѣгинъ».—«Наше общество (1820—1870) въ герояхъ и героиняхъ литературы». М. В. Авдѣевъ, Спб. 1874. Часть I. Герои: Онѣгинъ, стр. 23—44; ч. II, Героини: Татьяна. «Иллюзія критическаго оптимизма», «Дѣло» 1875 г., № 8, стр. 265—295, статья Н. Языкова. Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземскаго, т. 2, Спб. 1879, стр. 348—379, статья: «Взглядъ на литературу нашу послѣ смерти Пушкина» Вотъ всѣ статьи о Пушкинѣ, появившіеся въ журналахъ и газетахъ за періодъ времени отъ 1855 до 1880 года и имѣющія то или другое литературное значеніе. Библіографическій указатель статей и рѣчей по поводу открытія памятника Пушкину въ Москвѣ мы приведемъ ниже.

ГЛАВА XVI.

Мнѣніе Ап. Григорьева о характерѣ русской критики по сравненію съ западной. — Непониманіе русской критикой своихъ задачъ по отношенію къ Пушкину.—«Домашняя бесѣда» и «Современникъ» о Пушкинѣ.— Отзывы Добролюбова и статьи Чернышевскаго.— Узкость и близорукость воззрѣній послѣдняго критика на Пушкина.— Катковъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», какъ наиболѣе доказательный защитникъ Пушкина-художника.

Ап. Григорьевъ въ своей статьѣ: «Замѣчанія объ отношеніяхъ современной критики къ искусству»[1]) вполнѣ справедливо замѣчалъ, говоря вообще объ отношеніяхъ критики къ Пушкину и въ частности о статьяхъ, вызванныхъ новымъ собраніемъ сочиненій поэта, что ни въ одной литературѣ не провозглашаются печатно такія странныя мысли «кромѣ несчастной русской литературы, страдающей постояннымъ недугомъ безпорядицы». Ежегодно въ Германіи и нерѣдко въ самой Англіи появляются новыя сочиненія о Шекспирѣ, и никто не говоритъ о безплодности трудовъ Кольриджей, Дрэковъ, Ульрицы, Гервинусовъ, даже Зиферсовъ; во Франціи до сихъ поръ занимаются историческою и эстетическою оцѣнкою старыхъ и древнихъ писателей. Только русская критика можетъ заявлять, что съ Пушкинымъ всякіе счеты уже покончены, что старая критика совершила все нужное по отношенію къ поэту.

Все предшествовавшее изложеніе отношеній критики къ

---

[1]) «Москвитянинъ», 1855 г., т. III.

Пушкину, вѣроятно, достаточно ясно показало, что въ статьяхъ, современныхъ появленію произведеній поэта, было много хорошихъ частностей: нѣсколько дѣльныхъ замѣчаній найдется и въ статьяхъ Полевого, и въ статьяхъ Надеждина, и въ статьяхъ болѣе мелкихъ журнальныхъ критиковъ, много мѣткихъ эстетическихъ замѣчаній сдѣлано Бѣлинскимъ, написавшимъ даже два положительно хорошихъ разбора лирическихъ стихотвореній и драматическихъ сценъ Пушкина. Но тѣмъ не менѣе въ пятидесятыхъ годахъ даже эстетической критикѣ оставалось еще многое сдѣлать въ этомъ же направленіи. Не было еще изслѣдовано значеніе Пушкина какъ поэта обще-европейскаго, т. е. не были опредѣлены особенности его взгляда на жизнь, особенности художественной манеры и пр. по сравненію, напримѣръ, съ Шекспиромъ, Гёте, Шиллеромъ, Байрономъ и др., не было еще показано значеніе Пушкина какъ поэта народнаго, не были опредѣлены элементы, изъ которыхъ истекала его творческая дѣятельность,— вліянія, которымъ онъ подвергался, и вліянія, имъ произведенныя, не были изслѣдованы во всемъ объемѣ плоды его дѣятельности, точно такъ же, какъ не былъ еще выясненъ изъ собственныхъ произведеній Пушкина его нравственно-поэтическій образъ. Критика совсѣмъ не сознавала, что надъ Пушкинымъ надо еще работать. Такія увѣренія свидѣтельствовали, конечно, о крайнемъ безсиліи и истощеніи критики, которая не находила ничего сказать новаго о великомъ русскомъ поэтѣ. Печальный фактъ разложенія критическихъ началъ Бѣлинскаго на два начинавшіе враждовать элемента — чисто-эстетическій и публицистическій — воочію проявился при сужденіяхъ журналовъ о Пушкинѣ начиная съ 1855 года. Вмѣстѣ съ тѣмъ односторонняя оцѣнка Пушкина, сдѣланная Бѣлинскимъ, начинала приносить свои горькіе плоды. Для критиковъ-эстетиковъ точка зрѣнія на Пушкина знаменитаго критика сдѣлалась отправнымъ пунктомъ для похвалъ великому поэту,—для критиковъ же публицистовъ — оправданіемъ ихъ отрицательныхъ отношеній. Ни тѣ, ни другіе не замѣчали противорѣчій въ статьяхъ

Бѣлинскаго и принимали его выводы безъ всякой повѣрки, совершенно догматически, какъ послѣднее слово истины. Критики-эстетики сами давали оружіе въ руки своихъ противниковъ, настаивая только на художественномъ значеніи Пушкина, находя подчасъ даже его произведенія безсодержательными.

Многіе журналы при появленіи новаго изданія Пушкина удовольствовались скромною цѣлью указать на достоинства и недостатки изданія или перефразировали «Матеріалы для біографіи» Анненкова. Большія же статьи напечатали въ 1855 году только два журнала: «Библіотека для Чтенія» и «Современникъ». Въ 1856 году, въ своемъ «Русскомъ Вѣстникѣ», Катковъ посвятилъ Пушкину три статьи. Въ данномъ случаѣ количество статей вполнѣ гармонируетъ съ ихъ качествомъ. Откровеннѣе всѣхъ журналовъ велъ себя «Современникъ», заявляя, что произведенія Пушкина давно уже оцѣнены превосходно и что теперь рѣшительно нечего прибавить къ раньше сказанному. Критикъ «Современника» поставилъ себѣ задачею — странно сказать — оправдать отношенія предшествующей критики къ дѣятельности Пушкина и показать несправедливость горькихъ жалобъ поэта и его равнодушія къ современнымъ цѣнителямъ, съ которыми мы имѣли случай достаточно познакомиться. Либеральный «Современникъ» не только въ этихъ статьяхъ, но и вообще въ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ вплоть до самаго своего прекращенія принялъ на себя странную роль доказывать почти въ каждой книжкѣ журнала, что Пушкинъ пустъ, что его и сравнивать нельзя съ поэтами, подобными Барбье и Некрасову, что появись онъ теперь, на него никто бы и вниманія не обратилъ и пр. Такъ, при разборѣ стихотвореній Никитина[1]) развязно говорилось: «Прочтите всего Пушкина — много ли найдете вы задушевныхъ звуковъ, вызванныхъ простыми насущными потребностями жизни?—повсюду фантазія, аллегорія, эфиръ».

[1]) «Современникъ» 1860 г., № 4.

И вслѣдъ затѣмъ дѣлаются упреки Пушкину въ недостаткѣ реализма съ такою же основательностью, съ какой рецензентъ имѣлъ бы право упрекнуть въ томъ же и Байрона, и Мицкевича, и Шиллера. Въ той же самой статьѣ критикъ говоритъ еще такимъ образомъ: «Еслибы явился опять поэтъ съ тѣмъ же содержаніемъ, какъ Пушкинъ, мы бы на него и вниманія не обратили».

Мы уже замѣтили при разборѣ статей Мартынова [1]), что позднѣйшіе прогресситы сошлись въ оцѣнкѣ великаго поэта съ проповѣдниками мрака и застоя. Къ числу этихъ прогресситовъ нужно, конечно, отнести и критиковъ «Современника», которые въ пятидесятыхъ годахъ опять подаютъ руку покойному «Маяку» въ лицѣ возродившейся фанатически-набожной «Домашней Бесѣды» Аскоченскаго. «Домашняя Бесѣда» въ № 26 пустила буллу отлученія, проклинающую Пушкина во всѣхъ его произведеніяхъ—и въ мотивахъ его лирики, и въ составѣ его поэмъ, и въ значеніи его драматическимъ сочиненій. При чтеніи этой статьи, чувствуется, будто духъ погребеннаго и истлѣвшаго «Маяка» возсталъ чернымъ призракомъ изъ могилы и заговорилъ ветхимъ голосомъ. «Домашняя Бесѣда», отрицая народность въ авторѣ «Онѣгина», проповѣдывала, что Пушкинъ былъ только бонтонный разсказчикъ закулисной жизни такъ называемаго лучшаго общества и «хотя былъ призванъ для звуковъ сладкихъ и молитвъ, но только на звукахъ и остановиться изволилъ». Признавая въ Пушкинѣ одну внѣшнюю форму (ибо у насъ нѣтъ равнаго ему со стороны внѣшняго изящества), журналъ не находитъ въ немъ никакого внутренняго содержанія, потому, что «въ міросозерцаніи Пушкина нѣтъ идеи истиннаго, добраго и прекраснаго». Объ «Евгеніи Онѣгинѣ» критикъ говоритъ словами Шекспира: «Здѣсь мысли точно два пшеничныхъ зерна въ двухъ четверикахъ мякины; цѣлый день проищешь, пока найдешь, а найдешь, такъ увидишь, что и искать не стоило». Далѣе онъ

[1]) «Маякъ» 1844 г.

прибавляетъ: «въ самыхъ лучшихъ твореніяхъ поэта, каковы «Борисъ Годуновъ» и «Капитанская дочка», тоже есть ложка дегтю». Изъ лирическихъ стихотвореній Пушкина критикъ особенно казнилъ: «Я помню чудное мгновенье», «Даръ напрасный, даръ случайный» и «Я пережилъ свои желанья». Критикъ говоритъ, что въ этихъ стихотвореніяхъ выразился «развращенный вѣкъ и современный человѣкъ», что въ самыхъ произведеніяхъ Пушкина видно поклоненіе своему «я», а въ прочихъ «ученіе сладострастія, варьируемое на разные тоны». Эпическія лица Пушкина критикъ называетъ «незаконнорожденными дѣтьми цивилизаціи» и доказываетъ, что это вовсе не русскіе типы и что будто Пушкинъ отражаетъ черты русскаго характера «въ томъ зеркалѣ, на которое указываетъ Подколесинъ въ «Женитьбѣ» Гоголя, а потому его нельзя назвать народнымъ поэтомъ.

Этотъ хриплый отголосокъ, дошедшій со дна давно засыпанной могилы, въ которой покоился «Маякъ», нашелъ, какъ мы уже видѣли, вполнѣ сочувственный откликъ въ «Современникѣ», раздѣлявшемъ общія положенія «Домашней Бесѣды», но заходившимъ гораздо далѣе и дѣйствовавшимъ гораздо смѣлѣе. Если критикъ «Домашней Бесѣды» считаетъ пьесу Пушкина «Даръ напрасный, даръ случайный» и другія его произведенія выраженіемъ развратнаго вѣка и поклоненіемъ своему «я», то критикъ «Современника» называетъ стихотвореніе «Я васъ люблю, любовь еще быть можетъ», и стихотвореніе «Нѣтъ, нѣтъ, не смѣю, я не долженъ»—альбомными погремушками. Если критикъ «Домашней Бесѣды» называетъ Пушкина quasi-народнымъ поэтомъ за «Кавказскаго плѣнника», «Цыганъ» и «Братьевъ-разбойниковъ», то критикъ «Современника»[1]) при разборѣ «Перепѣвовъ» обличительнаго поэта, указывая на пьесы Пушкина и Лермонтова «Цвѣтокъ засохшій, безуханный» и «Вѣтку Палестины», говоритъ, что въ подобныхъ стихотвореніяхъ видны «quasi-высокія, а въ самомъ дѣлѣ ребяческія и смѣшныя мечты». Въ той же самой книжкѣ журнала рецензентъ прибавлялъ, что «художественный,

младенчески-беззаботный и граціозно-ребяческій періодъ нашей поэзіи уже завершенъ Пушкинымъ».

Въ 1855 году «Современникъ» посвятилъ Пушкину три статьи. Въ общихъ своихъ воззрѣніяхъ на значеніе дѣятельности Пушкина критикъ буквально перефразируетъ слова Бѣлинскаго послѣдняго періода развитія. Чернышевскій заявляетъ, что Пушкинъ «истинный отецъ нашей поэзіи», воспитатель эстетическаго чувства и любви къ благороднымъ эстетическимъ наслажденіямъ русской публики, масса которой значительно увеличилась, благодаря ему. Въ этомъ критикъ находитъ право Пушкина «на вѣчную славу въ русской литературѣ». Становясь на точку зрѣнія Бѣлинскаго, что Пушкинъ былъ исключительно художникомъ и больше ничѣмъ, и говоря, что Пушкинъ ввелъ въ русскую литературу «поэзію, какъ прекрасную художественную форму», Чернышевскій договаривается до положеній истинно-поразительныхъ, переходящихъ даже въ полный абсурдъ. Тѣмъ не менѣе и его взгляды нашли себѣ послѣдователей, напримѣръ, въ извѣстномъ ученомъ А. Н. Пыпинѣ, который, не смотря на свои неоспоримыя обширныя познанія, не можетъ похвастать безпристрастіемъ и проницательностью своихъ взглядовъ, подчасъ крайне тенденціозныхъ. Итакъ, критикъ «Современника» построилъ свои статьи на положеніяхъ, что Пушкинъ былъ поэтъ-художникъ, въ которомъ художественная форма торжествовала надъ живымъ содержаніемъ и что, слѣдовательно, даже для 50-хъ годовъ Пушкинъ не имѣлъ уже значенія: хотя нельзя не увлекаться «дивно-художественною красотою его созданій», однако, эпоха безусловнаго удовлетворенія формою, говорилъ критикъ, для насъ миновала. Эти мысли Бѣлинскаго разбавлены критикомъ собственными водянисто-безцвѣтными разсужденіями и такимъ образомъ получилось три статьи (третья состоитъ изъ двухъ частей) въ 120 страницъ мелкой и убористой печати критическаго отдѣла «Современника». Первая статья представляетъ развитіе общихъ положеній критики въ примѣненіи къ краткому разбору произведеній Пушкина, вторая и третья — говорятъ

о современной поэту критикѣ и дѣлаются общіе выводы изъ всѣхъ статей.

Однимъ существеннымъ эстетическимъ достоинствомъ произведеній Пушкина критикъ считаетъ сжатость, которая такъ же пріятно дѣйствуетъ на нервы Чернышевскаго, раздраженнаго «господствующею эстетическою болѣзнью — водяною», какъ «морозный день, сковывающій почву среди октябрьскаго ненастья, когда повсюду видишь бездонно-жидкія трясины». Другимъ «существеннымъ достоинствомъ» произведеній Пушкина критикъ считаетъ то, что «они прекрасны, или, какъ любятъ нынѣ выражаться, художественны». Пушкинъ не былъ поэтомъ какого нибудь «опредѣленнаго воззрѣнія на жизнь, какъ Байронъ, не былъ даже поэтомъ мысли, какъ напримѣръ, Гёте и Шиллеръ». У Пушкина художественность составляетъ не одну оболочку, по мнѣнію критика, а «зерно и оболочку вмѣстѣ». Замѣтимъ, что въ подобныхъ разсужденіяхъ видна, во-первыхъ, игра словомъ «художественный» (такъ же какъ въ сочиненіи того же автора «Эстет. отнош.» игра словомъ «прекрасное»), а во-вторыхъ, критикъ, заимствовавъ у Бѣлинскаго свои общія положенія, дѣлаетъ изъ нихъ невѣрныя заключенія. Въ самомъ дѣлѣ, слѣдуетъ ли, что произведенія Пушкина безсодержательны изъ того, что онѣ художественны, изъ того, что Пушкинъ не былъ поэтомъ «какого нибудь опредѣленнаго воззрѣнія на жизнь?» Никогда никто въ мірѣ кромѣ тенденціозныхъ софистовъ не будетъ такъ умозаключать. Неужто можно пушкинское спокойствіе, гармоничное равновѣсіе силъ, пушкинскую широту воззрѣній считать неопредѣленностью? Но Чернышевскій не усумнился сдѣлать такіе выводы. Онъ разсуждаетъ такъ: Пушкина называютъ (Бѣлинскій) художникомъ («по преимуществу» въ опредѣленіи Бѣлинскаго Чернышевскій опускаетъ); художественность произведенія заключается въ прекрасной формѣ, — слѣдовательно, произведенія Пушкина безсодержательны, потому что онѣ художественны». Этотъ софистическій, натянутый силлогизмъ, страдающій полнымъ

отсутствіемъ здраваго смысла и знанія простѣйшихъ законовъ логики, позднѣйшими послѣдователями Чернышевскаго повторялся и повторяется до сихъ поръ, какъ непреложная истина. Не находя, вообще, содержанія въ произведеніяхъ Пушкина, критикъ все-таки улавливаетъ «одну опредѣленную сторону въ характерѣ содержанія». Это желаніе Пушкина быть историческимъ поэтомъ, желаніе «выразить свое опредѣленное созерцаніе явленій русской исторіи». Но и здѣсь Пушкинъ, по мнѣнію критика, «остался вѣренъ самому себѣ: онъ не высказалъ ничего принадлежащаго ему (слѣдовательно, критикъ полагаетъ, что Пушкинъ всю свою жизнь повторялъ только чужія мысли или совсѣмъ не имѣлъ никакихъ мыслей?); взгляды его на историческіе характеры и явленія были не болѣе, какъ отраженіе «общихъ понятій». «Петръ — великій человѣкъ, мудрый правитель; Карлъ—опрометчивый герой; Мазепа—коварный измѣнникъ; болѣе ничего не высказано въ «Полтавѣ» въ общихъ лицахъ. «Борисъ Годуновъ»—повтореніе характеровъ и взглядовъ, высказанныхъ Карамзинымъ» и пр., и пр. Словомъ, по мнѣнію Чернышевскаго, Пушкинъ, не будучи поэтомъ-мыслителемъ, не «прозрѣвалъ въ изображаемыхъ событіяхъ глубокій внутренній интересъ» (что хочетъ сказать критикъ этой фразой — онъ не объясняетъ), хотя его историческія произведенія «сильны общею психологическою вѣрностью характеровъ» (а развѣ «общая психологическая вѣрность» не есть «глубокій внутренній интересъ»?). Далѣе, изъ разсужденій критика можно вывести заключеніе, что Пушкинъ потому былъ великъ, что тогдашнее русское общество было слишкомъ пусто и ничтожно, въ которомъ онъ пробудилъ сочувствіе къ поэзіи и умножилъ число читателей въ три раза. «Еслибы Байронъ,—продолжаетъ критикъ,—вздумалъ писать въ 20-хъ годахъ для русскаго общества, то онъ бы не нашелъ и сотой доли того сочувствія, которое было пробуждено Пушкинымъ».

Такимъ образомъ, говоря о величіи Пушкина въ исторіи развитія нашей литературы и общества, должно смотрѣть,

по мнѣнію критика, не на то, до какой степени выразились различныя стремленія въ его произведеніяхъ, встрѣчаемыя на другихъ ступеняхъ развитія общества, а принимать въ соображеніе «потребность тогдашняго времени (и даже настоящаго, прибавляетъ критикъ)—литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще». Близорукое отношеніе къ дѣлу доводитъ критика до вопіющихъ противорѣчій самому себѣ. Сказавъ, напр., раньше, что Пушкинъ былъ только художникомъ, критикъ чрезъ нѣсколько страницъ замѣчаетъ, что поэтъ былъ человѣкомъ «необыкновеннаго ума»; назвавъ раньше его произведенія безсодержательными, критикъ далѣе говоритъ, что «каждая страница ихъ кипитъ умомъ и жизнью образованной мысли», хотя въ нихъ нельзя искать какого-то «глубокаго содержанія, ясно сознаннаго и послѣдовательнаго» («Послѣдовательное» содержаніе—что̀ можетъ означать такое выраженіе?)

Чернышевскій совершенно вѣрно замѣчаетъ, что страницы тощихъ книжекъ журналовъ 20-хъ годовъ наполнялись переводами, безчисленными стихотвореніями и вялыми статейками о неимовѣрно сухихъ предметахъ, что отзывы о литературныхъ явленіяхъ обыкновенно ограничивались очень немногими страничками, если не строками, что, наконецъ, если собрать все, что̀ было написано современной поэту критикой о его произведеніяхъ до «Полтавы», масса будетъ менѣе нежели то, что было написано въ 50-хъ годахъ, напр., по случаю появленія комедіи Островскаго «Бѣдность не порокъ»; вѣрны также замѣчанія критика объ отношеніяхъ Пушкина къ Полевому и обратно, вѣрно, что въ свое цвѣтущее время «Московскій Телеграфъ» объяснялъ Пушкина лучше другихъ (а не «удачно объяснилъ», какъ говоритъ критикъ) и пытался проникать въ сущность его твореній,—вѣрно, наконецъ, что разборъ «Бориса Годунова», сдѣланный Надеждинымъ, былъ, по своему времени, изъ лучшихъ. Все это факты, противъ которыхъ ничего нельзя возразить. Но противъ выводовъ, дѣлаемыхъ Чернышевскимъ изъ этихъ фактовъ, можно выразить многое. Напр., критикъ утверждаетъ,

будто бы «при жизни Пушкина его произведенія были оцѣниваемы не голословно, не пошло, не мелочно» и ссылается при этомъ на Надеждина, защищая его отъ упрековъ въ недостаткѣ эстетическаго вкуса. Мы показали, что эти упреки были совершенно справедливы; иначе Надеждинъ-Надоумко не сталъ бы говорить, что муза Пушкина «зубоскалитъ», что Пушкинъ «геній на каррикатуры», что всѣ его произведенія—«пародіи» и «арабески» и пр. Конечно, частности въ его разборахъ попадались вѣрныя, рецензіи были написаны вообще неглупо, хотя грубо, семинарскивитіевато и часто до нелѣпости странно, какъ напр., его разборъ «Графа Нулина», превосходно пародированный Пушкинымъ. Оцѣнилъ ли Надеждинъ значеніе «Евгенія Онѣгина»?—Нѣтъ. Оцѣнилъ ли какъ слѣдуетъ «Полтаву», «Бориса Годунова», драмы Пушкина, стихотворенія?—Нѣтъ. Написалъ ли дѣльную характеристику Пушкина?—Нѣтъ. Словомъ, Пушкинъ стоялъ въ своихъ твореніяхъ значительно выше всѣхъ критиковъ, не исключая и Бѣлинскаго. Надеждинъ, такъ же какъ и Полевой, былъ только извѣстной необходимой ступенью въ развитіи русской критической мысли, которая тоже пыталась оцѣнивать поэта нѣсколько лучше и основательнѣе своихъ предшественниковъ, и только. Но въ большинствѣ случаевъ, какъ мы видѣли, и его статьи «голословны, пошлы и мелочны», какъ и вообще вся современная Пушкину критика. Поэтому, жалобы поэта на ея тупоуміе, пустоту и пр. намъ раньше казались и теперь кажутся совершенно справедливыми.

Совершенно также превратное пониманіе дѣла обнаруживаетъ критикъ, оправдывая Надоумку тѣмъ, что, говоря о Пушкинѣ, онъ имѣлъ въ виду «не только отдѣльнаго поэта, сколько представителя русской литературы, и потому высказывалъ по поводу его произведеній то, что должно было разумѣть о цѣлой литературѣ». Здѣсь, какъ намъ кажется, Чернышевскій оказался ужъ чрезмѣрно догадливымъ. Такого вывода изъ статей Надоумки-Надеждина никакъ нельзя сдѣлать. Напротивъ, Надеждинъ, нападая вообще на молодыхъ

писателей, всегда имѣлъ въ виду только Пушкина, который стоялъ неизмѣримо выше всей окружавшей его литературы. Отчего защитникъ Надеждина не указываетъ ни на одну изъ статей суроваго аристарха о Пушкинѣ, въ которой бы осуждалась вся литература въ лицѣ поэта. Мы всѣ эти статьи разобрали и не видѣли ничего подобнаго: мы видѣли только въ большинствѣ случаевъ грубыя и поразительно-странныя выходки противъ поэта, котораго критикъ, очевидно, не понималъ. Такимъ образомъ, только пристрастіе и желаніе оправдать во что бы то ни стало, по нашему мнѣнію, современную Пушкину критику могло продиктовать такой голословный приговоръ; только желаніе показать, что Пушкинъ не стоилъ лучшей оцѣнки, чѣмъ оцѣнка Полевыхъ, Надеждиныхъ и пр., ибо произведенія поэта вообще вѣдь «безсодержательны», художественность составляетъ ихъ «зерно и оболочку вмѣстѣ»—неужто такихъ твореній не оцѣнить глубокимъ мыслителямъ въ родѣ Надеждина и энциклопедистамъ въ родѣ Полевого? Изъ нашего изложенія, какъ намъ кажется, на это можетъ быть полученъ и ясный отвѣтъ: «нѣтъ, не могли, не оцѣнили даже художественной стороны произведеній Пушкина, ибо еще не доросли до проникновеннаго пониманія ихъ, ибо только Бѣлинскому удалось послѣ долгаго критическаго искуса отчасти истолковать это художественное значеніе. Критикъ «Современника» повидимому, до того проникся духомъ современной Пушкину критики, что оправдываетъ даже ея охлажденіе къ поэту въ тридцатыхъ годахъ, защищаетъ непониманіе этой критикой самыхъ зрѣлыхъ произведеній послѣдняго періода дѣятельности Пушкина. Чернышевскій говоритъ, что холодность публики и критики «усиливалась холодностью самихъ произведеній», которыя, по увѣренію критика, имѣли передъ прежними то преимущество, что были совершеннѣе въ художественномъ отношеніи, но въ которыхъ общество не находило уже ничего, имѣющаго связь съ его жизнью». Такое явленіе, такое «торжество формы (и это говорилось про «Скупого рыцаря», про «Повѣсти Бѣлкина», про «Капитанскую

дочку», про стихотворенія въ родѣ «Анчаръ», «Мадонна» и др.,—про эти глубоко-содержательныя произведенія) надъ живымъ содержаніемъ» было, по мнѣнію критика, «слѣдствіемъ самой натуры великаго поэта, который былъ по преимуществу художникъ». Послѣ подобныхъ разсужденій, послѣ перевоплощенія изъ критиковъ 50-хъ въ критики 20-хъ годовъ, конечно, нельзя было и ожидать отъ Чернышевскаго пониманія народности Пушкина. Критикъ считаетъ «скромною и вѣрною» только старую мысль, что Пушкинъ «первый далъ намъ прекрасные стихи, написанные на родномъ языкѣ»; старыя же фразы о томъ, что Пушкинъ «ввелъ народность въ нашу литературу», лишены, по мнѣнію Чернышевскаго, «внутренняго содержанія» и поэтому весьма удобны «для риторическихъ распространеній»; кромѣ того, проницательно замѣчалъ критикъ, къ этимъ фразамъ «уже успѣли привыкнуть—обстоятельство важное для людей, неимѣющихъ охоты думать (какъ напр., замѣтимъ мы, для Гоголя, для Фарнгагенъ-фонъ-Энзе, наконецъ для Полевого и даже Шевырева?). Странное дѣло, отчего это всѣ названные нами писатели не поняли, что фраза о народности Пушкина лишена внутренняго содержанія, что она удобна для риторическихъ распространеній? Или всѣ названные писатели сильно любили риторику? Отчего не пояснилъ этого удивительнаго обстоятельства Чернышевскій? Неужто перечисленные нами писатели, говорившіе о народности Пушкина, не имѣли охоты думать? Вѣдь если они додумались до такой мысли, значитъ имѣли охоту и думать. Какъ же, напр., Полевой, первый заговорившій о народности Пушкина, не имѣя охоты думать, могъ высказать такое мнѣніе? Вѣроятно, самъ Чернышевскій хорошенько не обдумалъ такого страннаго и противорѣчащаго фактамъ замѣчанія.

Сѣмена отрицательнаго отношенія къ Пушкину, брошенныя прогрессивнымъ «Современникомъ» въ рыхлую и воспріимчивую почву неустановившагося русскаго общественнаго сознанія, принесли чрезъ 10 лѣтъ горькіе плоды, которые преподнесъ русскому обществу Писаревъ въ своихъ

статьяхъ: «Пушкинъ и Бѣлинскій». Это десятилѣтіе было для «Современника» самымъ цвѣтущимъ временемъ его существованія: въ немъ группировались лучшія литературныя силы того времени,—Тургеневъ, Л. Толстой, Некрасовъ, Чернышевскій, Добролюбовъ и др. «Современнику» принадлежала роль популярнаго руководителя общественнаго мнѣнія, этотъ журналъ пользовался огромнымъ вліяніемъ въ свое время и былъ наиболѣе распространенъ среди молодыхъ поколѣній, начавшихъ свою общественную дѣятельность въ 60-хъ годахъ. Вліяніе идей «Современника» на общество усиливалось еще тѣмъ обстоятельствомъ, что другіе журналы не умѣли или не могли вести дѣло такъ бойко, такъ толково, такъ угадывать вкусы современной молодежи и съ тактомъ забрать въ руки неустановившееся общественное мнѣніе. Поэтому-то идеи «Современника» о Пушкинѣ въ послѣдовательномъ развитіи привели къ полному отрицанію самобытности искусства, къ полному отрицанію въ лицѣ Пушкина всей эпохи, въ которую онъ жилъ и дѣйствовалъ, къ увѣреніямъ въ несовременности пушкинской поэзіи. Развитію отрицательнаго взгляда на поэта не мало способствовали, какъ намъ кажется, сами защитники поэта, критики-эстетики, усердно повторявшіе одностороннія сужденія Бѣлинскаго о будто бы исключительно-художественномъ, даже отвлеченномъ міросозерцаніи поэта. Одинъ голосъ Ап. Григорьева былъ безсиленъ противъ хора настойчивыхъ голосовъ, какъ критиковъ-публицистовъ, такъ и критиковъ-эстетиковъ. Притомъ даровитый критикъ не успѣлъ развить своихъ взглядовъ на Пушкина съ той полнотой и систематической опредѣленностью, которая была необходима для того, чтобы эти новые плодотворные взгляды упрочились въ общественномъ сознаніи. Сами эстетики, такимъ образомъ, приготовляли почву для послѣдующаго жестокаго глумленія надъ великимъ поэтомъ. Ни Дружининъ, ни Катковъ, ни Б. Алмазовъ и пр., изъ посвящавшихъ Пушкину обширные разборы не съумѣли увидѣть въ его поэзіи ничего кромѣ художественности, которую оправдывали, защищали, пиша горячо и увлекательно многія

краснорѣчивыя страницы, подмѣчали, наконецъ, новыя черты въ художественной физіономіи поэта,—но никто ни словомъ не обмолвился ни о нравственно-общественномъ значеніи его поэзіи, ни о народности Пушкина, которая нѣкоторыми эстетиками даже заподозрѣвалась, вѣроятно, по примѣру Бѣлинскаго.

Наиболѣе обоснованнымъ, если можно такъ выразиться, защитникомъ Пушкина-художника явился Катковъ. Пушкинъ подвергался укорамъ за то, что оставался вѣренъ цѣлямъ искусства. Такіе укоры совершенно несправедливы: искусство должно имѣть свою внутреннюю цѣль, какъ имѣетъ ее «все на свѣтѣ», ибо это общій законъ всякой организаціи, всякаго самостоятельнаго существованія, всякой дѣятельности, условленной природою человѣческою. Поэзія есть, прежде всего, «одна изъ формъ нашего сознанія». Вдохновеніе есть самое усиленное состояніе сознанія, когда весь человѣкъ становится «внутреннимъ зрѣніемъ и слухомъ». Цѣльность сознанія не составляетъ исключительной принадлежности искусства въ тѣснѣйшемъ значеніи этого слова. Это общее условіе всякаго творчества. Поэтъ долженъ постигать и воспроизводить всѣ явленія жизни, имѣя въ виду истину, которая есть первая и необходимая основа всякой поэзіи, которая даетъ искусству великое значеніе и дѣлаетъ необходимымъ «въ общей экономіи человѣческаго духа». Поэзія въ истинномъ смыслѣ есть познающая мысль, направленная на все то, что не подвластно отвлеченному мышленію. Знаніе имѣетъ въ виду отвлеченное, общія отношенія предметовъ. Искусство же имѣетъ своимъ предметомъ все безконечное разнообразіе жизни, незримый міръ человѣческой души, міръ человѣческихъ отношеній и силъ, которыя непосредственно дѣйствуютъ въ нихъ и управляютъ ими. Тамъ, гдѣ знаніе изслѣдуетъ индивидуальное (напримѣръ, въ исторіи) или принимаетъ характеръ созерцанія (напримѣръ, въ философіи),—въ этихъ сферахъ оно сближается съ поэзіей. Художникъ есть истинный естествоиспытатель въ этомъ мірѣ. Онъ производитъ въ немъ самыя разнообразныя наблюденія, которыя не усту-

паютъ въ богатствѣ наблюденіямъ науки. Поэзія относится большею частію къ такимъ явленіямъ, смыслъ которыхъ непосредственно сказывается въ нашемъ сердцѣ, въ нашемъ нравственномъ чувствѣ, въ нашемъ самосознаніи. Внѣшняя природа входитъ въ вѣдѣніе поэзіи лишь по своему отношенію къ человѣческому міру. Во всемъ внѣшнемъ есть свое внутреннее, и поэтическій взглядъ угадываетъ это внутреннее по аналогіи съ душой человѣческой, поэзія открываетъ намъ своимъ вдохновеннымъ прозрѣніемъ глубины космической жизни, сходясь здѣсь снова съ философскою мыслью. Художественное обобщеніе есть ничто иное, какъ уразумѣніе всего случайнаго въ предметѣ. Признакъ красоты или изящнаго, придаваемый искусству, относится столько же къ свойству художественнаго сознанія, сколько къ его выраженію, къ исполненію его замысловъ. Искусство практическаго значенія имѣть не можетъ: если вдохновеніе не есть пустое слово, то оно есть творческое созерцаніе жизни и истины. Творческое воспроизведеніе дѣйствительности въ сознаніи — вотъ вдохновеніе художественное, вотъ цѣль и задача его. Если поэзія удовлетворяетъ этому внутреннему закону своего существованія, то она и полезна: минуты вдохновеннаго созерцанія идеи и жизни сами по себѣ драгоцѣнны. Художественная мысль, какъ и мысль познающая, открываетъ намъ внутренній взоръ на явленія жизни и черезъ то расширяетъ наше сознаніе, сферу нашего умственнаго господства. Вдохновенная мысль, воспитанная стремленіемъ къ истинѣ, первая усматриваетъ признаки времени. Въ ея произведеніяхъ сами собою отражаются господствующія начала и направленіе эпохи. Поэма, повѣсть, драма, написанныя съ дидактическою или ораторскою цѣлью, часто только вредятъ вызвавшей ихъ мысли. Такимъ образомъ, цѣль искусства есть сознаніе, художественное творчество есть дѣятельность мысли, приводящей къ сознанію то, что безъ ея посредства оставалось бы для него чуждымъ и нѣмымъ — дѣятельность мысли, которая

вноситъ жизнь въ человѣческое сознаніе и сознаніе въ самые потаенные изгибы жизни.

Мы нарочно болѣе или менѣе подробно изложили длинное предисловіе Каткова къ его статьямъ о Пушкинѣ, — предисловіе въ духѣ отвлеченной нѣмецкой философіи и въ духѣ второго философскаго періода дѣятельности Бѣлинскаго. Говоритъ такъ послѣ смерти Бѣлинскаго, который въ послѣднее время своей жизни перешелъ уже къ историко-общественному направленію,—значитъ регрессировать, значитъ смотрѣть на художественныя произведенія совершенно отвлеченно, внѣ всякихъ условій мѣстности и времени. Во взглядахъ, подобныхъ взглядамъ Каткова, нѣтъ и слѣдовъ даже исторической точки зрѣнія, — ибо произведенія искусства разсматриваются только какъ вѣчныя и общечеловѣческія. Между тѣмъ, подобные же взгляды съ тѣми или другими несущественными измѣненіями въ частностяхъ были во всеобщемъ употребленіи среди тогдашнихъ критиковъ-эстетиковъ. Отвлеченный догматизмъ эстетической критики не заключалъ въ себѣ ничего плодотворнаго и жизненнаго, онъ свидѣтельствовалъ лишь объ упадкѣ русской критики; поэтому онъ не могъ сказать ничего существенно-новаго о великомъ поэтѣ, кромѣ повторенія взглядовъ Бѣлинскаго съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ вновь-открытыхъ и незамѣченныхъ еще чертъ художественной физіономіи Пушкина. Отвлеченность эстетиковъ была причиной совершеннаго вырожденія у насъ къ 60-мъ годамъ эстетической критики, такъ же какъ крайній утилитаризмъ публицистовъ показалъ всю узость и ограниченность воззрѣній критики публицистической и сдѣлалъ невозможнымъ дальнѣйшее существованіе этой критической школы. Какъ же съ своей отвлеченной точки зрѣнія характеризуетъ Пушкина Катковъ? На первыхъ порахъ онъ находитъ огромной заслугой Пушкина, что «въ его словѣ пришли въ равновѣсіе всѣ стихіи русской рѣчи», что установленіе Пушкинымъ литературнаго языка было великимъ дѣломъ въ жизни народа, что благодаря литературному языку, мысли находятъ себѣ внутреннюю силу

для оригинальнаго живого движенія и народная физіономія выясняется изъ тумана. Такъ какъ общее значеніе Пушкина «было давно оцѣнено и оцѣнено весьма вѣрно», по мнѣнію Каткова, то онъ и ограничивается съ своей стороны указаніемъ этой формальной заслуги Пушкина, повидимому, не находя болѣе въ поэтической дѣятельности великаго писателя никакихъ неразъясненныхъ сторонъ. Такова была безплодность эстетиковъ.

Только третью, послѣднюю статью Катковъ посвящаетъ разбору произведеній Пушкина. Критикъ разбираетъ стихотворенія: «Подъ небомъ голубымъ страны своей родной» и «Для береговъ отчизны дальной» для доказательства того, что Пушкинъ впервые «въ исторіи нашего умственнаго образованія» коснулся индивидуальнаго, личнаго существованія, что его звуками были предъявлены права человѣческаго сердца въ нашемъ общественномъ сознаніи. Далѣе, обращаясь къ изслѣдованію природы Пушкинскаго генія, критикъ заявляетъ, что «Пушкинъ былъ поэтомъ мгновенья», что его даръ состоялъ въ изображеніи отдѣльныхъ состояній души, отдѣльныхъ положеній жизни. Напрасно искать у Пушкина «полныхъ характеровъ» (здѣсь, кажется, критикъ черезчуръ уже увлекся отысканною чертою, распространивъ ее на всѣ созданія Пушкина: значитъ и Онѣгинъ не полный характеръ, и Татьяна, и Борисъ Годуновъ, и Скупой рыцарь, и пр., и пр.?). По странному мнѣнію Каткова, Пушкинъ не обладалъ даромъ «созерцать въ единствѣ многообразіе явленій: для него все сосредоточивалось въ отдѣльномъ моментѣ», «внутренней послѣдовательности» въ его драмахъ и повѣстяхъ нѣтъ. Разсуждая такъ, критикъ, какъ намъ кажется, совершенно несправедливо внѣшнюю черту Пушкинскаго творчества возводитъ во внутренній характеристическій признакъ. Въ разборѣ Каткова, вообще не отличающемся новизною и оригинальностью, мы встрѣчаемъ старое мнѣніе тридцатыхъ годовъ, что «Повѣсти Бѣлкина» вялы и безцвѣтны, что это простые разсказы, не имѣющіе даже внѣшней занимательности, хотя и напи-

саны языкомъ чистымъ, гладкимъ, правильнымъ и свободнымъ отъ риторики, что даже «Капитанская дочка» не представляетъ «сильно организованнаго цѣлаго» и страдаетъ «той же сухостью» (?!) какъ и всѣ прозаическіе опыты Пушкина. Причину такого явленія Катковъ видитъ не только въ томъ, что Пушкинъ былъ поэтъ мгновенья, но и въ «недостаточности умственнаго развитія и нравственныхъ интересовъ въ общественномъ сознаніи, органомъ котораго былъ Пушкинъ». У Пушкина не хватало обширной и богатой системы воззрѣній, чтобы постигать «многообразіе жизни»,—поэтому-то, по недостатку понятій, у него и обрывалась всегда нить развитія. Здѣсь, очевидно, Катковъ противорѣчитъ самому себѣ, сказавъ ранѣе, что Пушкинъ по природѣ поэтъ мгновенія; теперь же тѣ же качества критикъ объясняетъ недостаткомъ понятій. Какъ же согласить эти разнорѣчія?

Не больше литературнаго значенія имѣютъ статьи Дружинина и Алмазова. Дружининъ въ своемъ разборѣ произведеній послѣдняго періода дѣятельности Пушкина проводитъ главнымъ образомъ ту мысль, что въ Пушкинѣ, подъ конецъ его жизни, готовился поэтъ европейскій, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ всѣхъ временъ и народовъ; въ другой статьѣ тотъ же критикъ не безъ успѣха подмѣчаетъ нѣкоторыя черты пушкинскаго міровоззрѣнія. Такъ, критикъ сочувствуетъ «бодрымъ, успокоительно-мудрымъ» воззрѣніямъ поэта на жизнь, такъ, онъ отмѣчаетъ характерную черту Пушкинской поэзіи — изображать по преимуществу положительно-идеальныя явленія жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаетъ, что поэтъ былъ чуждъ односторонности, не былъ привязанъ «къ грязному хвосту жизни», какъ это случилось съ писателями натуральной школы, которые дали въ своихъ лицахъ «коллекцію чудаковъ, каррикатуръ,ословъ, плутовъ, негодяевъ и жертвъ». Б. Алмазовъ въ своей обширной статьѣ, помѣщенной въ 1829 г. въ сборникѣ «Утро», пытается доказать, что Пушкинъ, являя собой чистый типъ поэта, въ отличительныхъ чертахъ своей поэзіи — глубинѣ, широтѣ и

силѣ—выразилъ ту сторону души и поэзіи русскаго человѣка, которая сказывается «въ какой-то необыкновенной силѣ, стремительности, широкомъ полетѣ, но куда, къ какому идеалу — неизвѣстно»; что цѣль поэзіи Пушкина — «возвысить душу читателя до той высоты, которой достигаетъ душа поэта въ минуту вдохновенія». Цѣль, положимъ, весьма неопредѣленная, но критика она удовлетворяла. Далѣе идутъ замѣчанія, что Пушкинъ любилъ «жизнь для жизни», любилъ ее безкорыстно, относился къ ней «просто, не мудрствуя», что въ этомъ отношеніи онъ походилъ на античныхъ писателей, ибо «смотрѣлъ на исторію съ простодушіемъ Плутарха и созерцалъ жизнь съ терпимостью Горація» и пр., и пр.

ГЛАВА XVII.

Статьи о Пушкинѣ Писарева и Ап. Григорьева. — Статья Добролюбова о седьмомъ дополнительномъ томѣ сочиненій Пушкина. — «Пушкинъ и Бѣлинскій». — Разборъ этихъ статей Писарева. — Подтасовки, противорѣчія, легкомысленное глумленіе и нелѣпости «мыслящаго реалиста». — Статьи Ап. Григорьева. — Истолкованіе народнаго значенія Пушкина и оригинальный взглядъ на типъ Бѣлкина въ связи съ общимъ міровоззрѣніемъ великаго поэта.—Значеніе Ап. Григорьева, какъ критика Пушкина. Открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ. — Общій характеръ «Пушкинскихъ дней». — Рѣчи въ Москвѣ и Петербургѣ.—Чествованіе Пушкина въ другихъ городахъ. — Рѣчи проф. Стороженко, Ключевскаго, Незеленова, Миллера и академика Я. К. Грота. — Рѣчь Достоевскаго, составившая «событіе». — Причины ея громаднаго впечатлѣнія. — Четыре пункта въ значеніи Пушкина. — Парадоксальность двухъ послѣднихъ пунктовъ. — Отчего Татьяна не пошла за Онѣгинымъ?—Своеобразное пониманіе Достоевскимъ русскаго народнаго идеала. — «Всечеловѣчность». — Общее заключеніе о Пушкинскомъ праздникѣ.

Переходимъ къ разбору статей о Пушкинѣ двухъ видныхъ критиковъ—Ап. Григорьева и Писарева. Первый въ дѣлѣ оцѣнки Пушкина, какъ мы уже упоминали раньше, дѣлая его характеристику, имѣетъ громадное положительное значеніе; второй являетъ собой исключительный примѣръ отрицательнаго отношенія къ великому поэту, если не въ общихъ выводахъ (похожихъ на приговоры «Маяка» и «Домашней Бесѣды»), то въ частностяхъ, которыя касаются «Евгенія Онѣгина» и лирическихъ пьесъ Пушкина. Но прежде чѣмъ приступить къ разбору обширныхъ статей двухъ помянутыхъ критиковъ, мы считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ объ отношеніяхъ Добролюбова къ Пушкину. Въ общихъ

чертахъ о мнѣніяхъ этого критика мы уже упомянули, говоря по поводу статей Чернышевскаго о нападкахъ «Современника» на великаго поэта. Всѣ цитованные нами отзывы о Пушкинѣ изъ этого прогрессивнаго журнала принадлежатъ Добролюбову; имъ же написана рецензія въ № 1 «Современника» за 1858 годъ о седьмомъ дополнительномъ томѣ сочиненій Пушкина[1]); онъ же говоритъ о народности Пушкина въ статьѣ: «О степени участія народности въ развитіи русской литературы»[2]). Первая рецензія написана хотя холодно и сухо, но тѣмъ не менѣе болѣе сдержанно и мягко, чѣмъ вторая, въ которой доказывается, что Пушкинъ не могъ понять духа русской народности, уловивъ только форму. Въ рецензіи о седьмомъ томѣ Добролюбовъ останавливается главнымъ образомъ на примѣрахъ «несправедливаго увлеченія» Пушкина, на томъ кругѣ идей, которыя уже были для него неприкосновенны въ своей святынѣ, хотя бы даже несправедливость ихъ и была очевидна», на томъ, наконецъ, «направленіи», которое было принято Пушкинымъ въ послѣдніе годы. Примѣромъ несправеливаго увлеченія «прямодушіемъ, необходимымъ въ авторскомъ дѣлѣ», критикъ считаетъ статью Пушкина о Радищевѣ, въ которой господствуетъ «взглядъ весьма поверхностный и пристрастный». Критикомъ дѣйствительно удачно подмѣчены противорѣчія въ статьѣ Пушкина, двойственное отношеніе къ Радищеву, котораго поэтъ-критикъ то считаетъ полуневѣждой и полунегодяемъ, клеймя его эпитетами слабоумнаго, невѣжественнаго, слѣпого, то относится къ нему съ видимымъ уваженіемъ, несомнѣнно признавая въ немъ и образованіе, и умъ, и честность.

Далѣе критикъ комментируетъ весьма неостроумно стихи: «Да будетъ проклятъ правды голосъ» и пр., въ томъ смыслѣ, что будто бы «возвышающій обманъ» сталъ для Пушкина, дѣйствительно, дороже «тьмы низкихъ истинъ», что въ раздѣленіи истинъ на высокія и низкія сказалось вліяніе

[1]) Соч. Добролюбова, т. I, стр. 515—530.
[2]) «Современникъ», 1858 г., № 2, и соч. т. I, стр. 598—600.

старой риторической школы, что въ послѣднее время жизни поэта «вмѣстѣ съ полнымъ обращеніемъ къ чистой художественности въ немъ будто бы усилилось пристрастіе къ нѣкоторымъ исключительнымъ истинамъ». Поэтъ заглушалъ въ себѣ, по мнѣнію критика, нѣкоторые изъ прежнихъ сердечныхъ звуковъ, называя ихъ дѣйствіемъ безумства, лѣни и страстей, прежнія задушевныя мечты поэтъ высказывалъ тономъ шутливымъ и даже насмѣшливымъ, благоговѣлъ предъ тѣмъ, что въ молодости вызвало насмѣшки,—мечты о словѣ пророка-обличителя своей земли смѣнились мечтами о лѣни и тишинѣ». Послѣднее обстоятельство—забвеніе и мечтаніе о славѣ пророка-обличителя—было, какъ намъ кажется, причиной нападокъ на Пушкина и упрековъ ему, сдѣланныхъ критикомъ-публицистомъ, страстно любившимъ обличеніе. Критикъ повторяетъ старые упреки Пушкину въ генеалогическихъ предразсудкахъ, въ измѣнѣ взглядамъ молодости и вмѣстѣ съ тѣмъ (въ этомъ его добросовѣстность, которой лишены нѣкоторые позднѣйшіе изслѣдователи) отмѣчаетъ «странное бореніе, какую-то двойственность», свидѣтельствующую о живучести молодыхъ порывовъ, гордыхъ, независимыхъ стремленій прежнихъ лѣтъ. Этотъ фактъ, дѣйствительно вѣрно подмѣченъ критикомъ. Но, къ сожалѣнію, онъ не получилъ у него должнаго объясненія и вѣрнаго освѣщенія. Иначе критикъ не сталъ бы упрекать Пушкина въ предразсудкахъ, въ пристрастіи къ исключительнымъ истинамъ, въ отреченіи отъ прежнихъ убѣжденій и пр. Критикъ, повидимому, предчувствуетъ, что Пушкину нельзя сдѣлать подобныхъ упрековъ, нельзя поэта обвинить въ томъ, что онъ отталкивалъ отъ себя общественные вопросы жестокимъ восклицаніемъ: «Подите прочь! Какое дѣло поэту мирному до васъ?»... ибо это стихотвореніе діаметрально противоположно другому, написанному въ томъ же 30 году и начинающемуся словами: «О, муза пламенной сатиры! приди на мой призывный кличъ!» — Еслибы критикъ лучше понялъ натуру поэта, онъ, вѣроятно, не упрекалъ бы его «въ уклоненіи отъ здравыхъ идей. Но до проницательнаго пониманія

у Добролюбова дѣло не дошло, остановившись на предчувствіи и на противорѣчивыхъ отзывахъ, что Пушкинъ и какъ будто отрекался отъ здравыхъ и свѣтлыхъ взглядовъ молодости, удаляясь отъ общества въ область чистаго художества и чуть-чуть не подавая руку обскурантизму, и какъ будто не отрекался, продолжая вѣровать «въ силу убѣжденія», придавать значеніе «оружію слова» и пр. Отчего критикъ не потрудился поискать рѣшенія такихъ противорѣчій, которыя, можетъ быть, и не оказались бы противорѣчіями, если взглянуть на дѣло безъ предвзятости?

Отвѣтъ на это даетъ намъ вторая статья Добролюбова. Критикъ считаетъ натуру Пушкина неглубокой, живой, легкой, увлекающейся и притомъ, вслѣдствіе «недостатка прочнаго образованія», болѣе внѣшностью. «Его генеалогическіе предразсудки, говоритъ критикъ, его эпикурейскіе наклонности, первоначальное образованіе подъ руководствомъ французскихъ эмигрантовъ конца прошлаго столѣтія, самая натура его, полная художнической воспріимчивости, но чуждая упорной дѣятельности мысли,—все препятствовало ему проникнуться духомъ русской народности». Пушкинъ, по мнѣнію Добролюбова, умѣлъ только изображать красоты мѣстной природы, употреблять мѣткія народныя выраженія, вѣрно рисовать народные образы, обычаи и пр. Но онъ не проникся народнымъ духомъ, не прожилъ его жизнью, не сталъ вровень съ нимъ, отбросивъ всѣ предразсудки сословій, книжнаго ученія и пр., не прочувствовалъ всего тѣмъ простымъ чувствомъ, какимъ обладаетъ народъ и пр., и пр. Очевидно, у Добролюбова были своеобразныя понятія о народности, которыя можно назвать усовершенствованною простонародностью, противъ которой такъ ратовалъ Бѣлинскій въ своемъ предисловіи къ разбору «Онѣгина»[1]). Народнымъ писателемъ Добролюбовъ назвалъ бы Рѣшетникова, Глѣба Успѣнскаго, Златовратскаго и проч. «беллетристовъ-народниковъ»,

[1]) Т. VIII, стр. 518 и слѣд.

народнымъ поэтомъ Некрасова но развѣ аристократъ Пушкинъ могъ понимать народъ? Онъ былъ слишкомъ эпикурейцемъ, онъ былъ полуфранцузомъ и пр. Какъ же онъ могъ быть народнымъ поэтомъ? У Добролюбова просто не хватало чутья (а можетъ быть сильна была и тенденція), чтобы понять истинно народныя начала пушкинской поэзіи, которыя понялъ только одинъ Ап. Григорьевъ. Странными и совершенно несправедливыми покажутся также упреки критика Пушкину за то, что будто бы поэтъ покаралъ новое литературное движеніе, начавшееся съ появленіемъ Гоголя, въ стихотвореніи «Чернь», что подъ конецъ жизни поэтъ сдѣлалъ шагъ назадъ къ Державинской и Ломоносовской эпохѣ, начавъ пѣть Бородинскую годовщину и отвѣчать клеветникамъ Россіи знаменитыми стихами и пр.,—если припомнить, какъ Пушкинъ относился къ Гоголю, какъ онъ далъ ему лучшіе сюжеты, какъ онъ привѣтствовалъ появленіе его «Вечеровъ на хуторѣ», если также понимать, что Пушкинъ воспѣвалъ Бородинскую годовщину и отвѣчалъ клеветникамъ Россіи, руководимый истинно патріотическимъ чувствомъ. Повторяемъ, что критикъ чувствовалъ въ прежней рецензіи и чувствуетъ теперь несправедливость своихъ упрековъ Пушкину (здѣсь Добролюбовъ повторяетъ, что «воспріимчивая натура поэта не оставалась глуха къ призывамъ общественныхъ вопросовъ»). Но такова была теорія практическихъ воззрѣній на искусство,—теорія, влюбленная до страстности и слѣпоты въ современность, прогрессъ и утилитаризмъ.

Для того чтобы покончить съ отношеніями публицистической школы къ Пушкину, мы разберемъ статьи Писарева, поставивъ Ап. Григорьева въ концѣ изложенія критическихъ отношеній 50-хъ и 60-хъ годовъ, ибо онъ занимаетъ совершенно уединенное и оригинальное мѣсто въ ряду прочихъ толкователей Пушкина, рѣзко выдѣляясь самобытностью и и новизною своихъ воззрѣній среди полнаго безсилія критической мысли сказать что либо новое о великомъ поэтѣ, среди повторенія чужихъ мыслей или при недостаткѣ своихъ

собственныхъ—сначала скромнаго признанія значенія Пушкина въ формальномъ развитіи русской литературы, затѣмъ обвиненій поэта въ отреченіи отъ здравыхъ взглядовъ молодости, хотя съ противорѣчіями и оговорками, и, наконецъ прямолинейнаго отрицанія всякихъ заслугъ поэта, кромѣ версификаторскихъ, отрицанія всякаго современнаго значенія и жестокаго, безпощаднаго глумленія надъ будто пустымъ содержаніемъ его поэзіи.

Писаревъ въ своей статьѣ «Реалисты» обѣщалъ разобрать дѣятельность Пушкина и перерѣшить съ точки зрѣнія послѣдовательнаго реализма тѣ вопросы, которые Бѣлинскій рѣшалъ на основаніи эстетическихъ догматовъ, потерявшихъ для «мыслящихъ реалистовъ» свое значеніе. Писаревъ хочетъ доказать, въ своей статьѣ, что онъ совершенно солидаренъ въ основныхъ идеяхъ съ великимъ критикомъ, если только съ него соскоблить «шелуху гегелизма» и эстетики, такъ же какъ и съ Добролюбовымъ, что онъ, Писаревъ, только будто бы продолжаетъ дѣло предшественниковъ. Критикъ пользуется всѣми противорѣчіями, недосказанными положеніями и промахами Бѣлинскаго, чтобы такъ или иначе доказать ошибочность его преувеличенной оцѣнки Пушкина. Изъ всѣхъ большихъ произведеній великаго поэта Писаревъ выбираетъ для разбора только «Евгенія Онѣгина», какъ самое задушевное произведеніе Пушкина, какъ самое любимое дитя его фантазіи—это составляетъ первую часть разбора; во второй же части, носящей обманчивое заглавіе «Лирика Пушкина», разбираются только «19 октября», написанное въ 1825 году, стихотворенія, выражавшія взгляды на произведенія поэта и, наконецъ, «Памятникъ». Неужели этимъ исчерпывается все лучшее изъ написаннаго поэтомъ, неужели въ этихъ произведеніяхъ высказался весь Пушкинъ, все его міросозерцаніе, весь его поэтическій кругозоръ, неужели на этихъ только произведеніяхъ и зиждется поэтическая слава Пушкина, его общественное и міровое значеніе? Гдѣ же остальныя лирическія, эпическія и драматическія творенія великаго поэта. Отчего они не разобраны? На такіе

вопросы Писаревъ откровенно и смѣло до дерзости отвѣчаетъ, что «предпринимать такой объемистый и утомительный трудъ, въ настоящее время, значило бы придавать вопросу о Пушкинѣ слишкомъ важное значеніе, котораго онъ уже не можетъ имѣть въ 1865 году»[1]).

Опираясь въ своихъ статьяхъ на «Онѣгина» и на семь стихотвореній, Писаревъ стремится доказать, что Пушкинъ вовсе не великій поэтъ, а «легкомысленный версификаторъ, опутанный мелкими предразсудками, погруженный въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособный анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка». Вмѣстѣ съ тѣмъ статьи, какъ мы говорили, преслѣдуютъ и другую цѣль: доказать, что Бѣлинскій всецѣло сходится въ своихъ публицистическихъ взглядахъ съ воззрѣніями «мыслящихъ реалистовъ», что слѣдовательно, эстетики несправедливо обзываютъ знаменитаго критика своимъ учителемъ. Это доказывается выписками изъ восьмого тома, которыя тщательно подобраны въ одномъ духѣ, что, конечно, очень легко можно было продѣлать съ Бѣлинскимъ, у котораго эстетики столь же успѣшно подбирали авторитетныя цитаты для подкрѣпленія своихъ взглядовъ. Если не принимать во вниманіе различныхъ періодовъ въ развитіи Бѣлинскаго, то—еслибы чудомъ въ 60-хъ годахъ могла воскреснуть романтическая школа критики—она бы могла опереться, какъ на авторитетъ, на первый періодъ; эстетическая черпала щедрой рукой свои аргументы изъ второго періода, а публицистическая и ультра-реалистическая—изъ третьяго, отбрасывая постоянно присутствовавшій въ Бѣлинскомъ могучій эстетическій элементъ, не обращая вниманія на развивающуюся въ третьемъ періодѣ историческую точку зрѣнія у Бѣлинскаго и выбирая тщательно публицистическія разсужденія критика. Если писаревскую манеру доказательствъ своихъ мнѣній относительно Бѣлинскаго можно назвать не-

[1]) Т. III, 239 стр.

добросовѣстнымъ, тенденціознымъ подборомъ фактовъ, то относительно Пушкина критикъ поступаетъ такъ, чему на литературномъ языкѣ приличнаго названія не можетъ быть подыскано. Здѣсь онъ злонамѣренно подтасовываетъ факты, здѣсь онъ является истиннымъ «мошенникомъ пера», по удачному выраженію Каткова.

Критикъ поясняетъ, что «Онѣгина» онъ выбираетъ потому, что въ этомъ произведеніи нужно искать «отвѣтовъ на тѣ вопросы, которые ставитъ дѣйствительная жизнь», если вообще творческая дѣятельность Пушкина даетъ какіе нибудь и на что нибудь отвѣты. Но какая «дѣйствительная жизнь»—современная ли Пушкину, или современная Писареву? Читатель изъ разбора убѣждается, что историко-психологическая точка зрѣнія вполнѣ отсутствуетъ у рьянаго защитника реализма. Слѣдовательно, и точка зрѣнія на «Онѣгина» не вѣрна. Самого героя Писаревъ разбираетъ съ точки зрѣнія, «мыслящаго реалиста» по своему истолковывая понятія: «жизнь, мыслить и чувствовать» и прикидывая свою мѣрку къ человѣку двадцатыхъ годовъ. Конечно, писаревская мораль расходится съ моралью Онѣгина. При этомъ, Писаревъ взгляды Онѣгина приписываетъ и Пушкину. Разсуждая такимъ же образомъ, критикъ съ успѣхомъ могъ бы доказать, что Гоголь по воззрѣніямъ похожъ на Ноздрева и Собакевича, Грибоѣдовъ—на Скалозуба и Молчалина, Шекспиръ—на Яго и Фальстафа и пр. Для того, чтобы обрисовать личность героя романа, Писаревъ считаетъ нужнымъ отвѣчать на вопросы: чѣмъ же охлажденъ умъ Онѣгина? Какую игру страстей онъ испыталъ? На что тратилъ и истратилъ онъ жаръ своего сердца? Что подразумѣваетъ онъ подъ словомъ жизнь, когда онъ говоритъ себѣ и другимъ, что жизнь томитъ его? Что значитъ, на языкѣ Пушкина и Онѣгина, жить, мыслить и чувствовать. Чтобы отвѣчать на эти вопросы, критикъ разсматриваетъ занятія Онѣгина, которымъ онъ предавался съ самой ранней молодости и которыя, наконецъ, вогнали его въ хандру. Чѣмъ наполненъ день Онѣгина? Гуляньемъ, обѣдомъ, театромъ, переодѣваньемъ, ба-

ломъ и сномъ, когда рабочій Петербургъ начинаетъ уже просыпаться. Словомъ, Онѣгинъ ведетъ очень веселую жизнь: ѣстъ, пьетъ, критикуетъ балы, танцуетъ цѣлыя ночи напролетъ.

Физіологическимъ послѣдствіемъ такой жизни явилась у Онѣгина скука, которая, по мнѣнію дальновиднаго критика, не имѣетъ ничего общаго съ недовольствомъ жизнью, въ ней нѣтъ никакого протеста противъ неудобныхъ формъ и отношеній общественной жизни. Скука Онѣгина есть, по мнѣнію Писарева, «видоизмѣненіе этого чувства, которое нѣмцы называютъ Katzenjammer и которое обыкновенно посѣщаетъ каждаго кутилу на другой день послѣ хорошей попойки». Превосходство Онѣгина надъ окружающей свѣтской пошлостью заключается въ томъ, что онъ лучше другихъ умѣлъ «тревожить сердца кокетокъ записныхъ». «Объѣвшійся Онѣгинъ, чтобы побѣдить Katzenjammer и чтобы снова помириться съ жизнью», неудачно принимается сначала за писаніе, затѣмъ за чтеніе тоже «безъ толку», расправляясь съ книгами такъ же, какъ «расправлялся съ балетами Дидло» и какъ будетъ «расправляться съ глупою луною и съ глупымъ небосклономъ». Словомъ, Онѣгинъ скучаетъ оттого, что у него въ карманѣ лежатъ шальныя деньги, которыя даютъ ему возможность много ѣсть, много пить, много заниматься «наукой нѣжной страсти» и корчить всякія гримасы. Скука Онѣгина, по игривому понятію Писарева, похожа на скуку пушкинскаго Фауста, «который совсѣмъ не высшая натура, а просто развеселый купеческій сынокъ, которому свойственно не топить трехмачтовые испанскіе корабли, а разрушать большія зеркала въ русскихъ увеселительныхъ заведеніяхъ». Какъ только бумажникъ опустѣетъ, то, говоритъ проницательный критикъ,—«Онѣгинъ тотчасъ пойдетъ въ чиновники и превратится въ Фамусова». Послѣ такой безподобной характеристики Онѣгина, Писаревъ, не смущаясь, стремительно отвѣчаетъ на всѣ раньше предложенные вопросы, что умъ Онѣгина вовсе не охлажденъ, — онъ совершенно нетронутъ и неразвитъ, что игру страстей онъ испыталъ настолько, на-

сколько эта игра входитъ «въ науку страсти нѣжной», что жаръ своего сердца Онѣгинъ растратилъ на будуарныя сцены и на маскарадныя похожденія, что жизнь его не томитъ—это чистый вздоръ, что, словомъ, жить—на языкѣ Онѣгина—значитъ «гулять по бульвару, обѣдать у Талона, ѣздить въ театры и на балы», мыслить—значитъ критиковать балетъ Дидло и ругать луну дурой за то, что она кругла, чувствовать — значитъ «завидовать волнамъ, которыя ложатся къ ногамъ хорошенькой барыни». Такимъ образомъ, Онѣгинъ «просто коварный измѣнникъ и жестокій тиранъ дамскихъ сердецъ».

Ленскій—«недоучившаяся пиѳія», геттингенская душа которой «только и дѣлаетъ, что тянетъ шампанское да вретъ эротическія глупости». Его тупоуміе, какъ и тупоуміе Онѣгина, по мнѣнію Писарева, вполнѣ высказывается въ сценѣ дуэли, которую нельзя ничѣмъ объяснить, кромѣ того, что Ленскій и Онѣгинъ «совершенно ошалѣли отъ бездѣлья и отъ мертвящей скуки». Геттингенская душа Ленскаго не имѣетъ никакого понятія о «разумномъ взглядѣ на женщину», ибо иначе онъ изъ такихъ пустяковъ не сталъ бы драться на дуэли съ своимъ пріятелемъ. Пушкинъ, по мнѣнію Писарева, напрасно посылалъ Ленскаго «въ туманную Германію за плодами учености и за какими-то вольнолюбивыми мечтами, когда этому Ленскому суждено было сказать и сдѣлать въ романѣ нѣсколько плоскостей», которымъ онъ могъ бы научиться «въ букеевской ордѣ». Ленскій принадлежалъ къ самымъ несноснымъ, пустымъ и пошлымъ людямъ.

Писаревъ сознается, что характеръ Татьяны выдержанъ превосходно до конца романа; но здѣсь, по мнѣнію критика, «какъ и вездѣ, Пушкинъ понимаетъ совершенно превратно тѣ явленія, которыя онъ рисуетъ совершенно вѣрно». Нравственная высота этого типа совершенно обезоруживаетъ критика-моралиста, которому удалось поглумиться надъ недостатками Онѣгина и Ленскаго. Татьяна поддается глумленію не такъ легко, хотя мы видимъ плоскія и пошлыя пародіи, шутовскія кривлянья, дешевыя остроты, но за всѣмъ этимъ

чувствуется невольно сочувствіе критика этому типу, чувствуется, что свои горькія замашки критикъ не можетъ оставить лишь по привычкѣ. Писаревъ считаетъ Татьяну неглупой отъ природы, но вмѣстѣ съ тѣмъ глумится надъ ея «глупыми выходками, надъ сочиненіемъ письма Онѣгину, котораго видала только разъ и сразу влюбилась». Писаревъ пародируетъ это письмо въ пошлѣйшемъ стилѣ. Такъ, онъ говоритъ, что Татьяна, повидимому предчувствуя, что Онѣгинъ не станетъ ѣздить къ нимъ разъ въ недѣлю, такимъ образомъ нѣжно упрекаетъ его въ письмѣ: «уже если, дескать, не будете вы, коварный тиранъ, ѣздить къ намъ разъ въ недѣлю, такъ незачѣмъ было и показываться у насъ; безъ васъ, я бы, можетъ быть, сдѣлалась вѣрной женою и добродѣтельною матерью; теперь я, по вашей милости, жестокій мужчина, пропадать должна» и пр., и пр. Татьяна исковеркала себя до такой степени, что потеряла способность думать, чувствовать и дѣйствовать по-человѣчески. Ея болѣзненно-развитое воображеніе постоянно создаетъ, по мнѣнію критика, «поддѣльныя чувства, поддѣльныя потребности и поддѣльныя обязанности». Она воображала, что влюблена въ Онѣгина, начала пылать страстью и «дѣлать глупости, подобныя кувырканьямъ влюбленнаго Донъ-Кихота въ горахъ Сіерры-Морены». Потомъ, по мнѣнію Писарева, Татьяна вообразила, что жизнь ея разбита, напустила на себя равнодушіе, позволила везти себя на ярмарку невѣстъ, гдѣ была сбыта, какъ хорошій товаръ, толстому генералу. Очутившись въ домѣ новаго хозяина, Татьяна поставила себя подъ стеклянный колпакъ и обязала себя простоять подъ этимъ колпакомъ всю жизнь». Когда Онѣгину, по выраженію критика, пришло «предосудительное желаніе вытащить это украшеніе изъ-подъ стекляннаго колпака», Татьяна прочитала оттуда «предпріимчивому дэнди» проповѣдь. Эта проповѣдь заключаетъ, по мнѣнію догадливаго критика, слѣдующій смыслъ: «Зачѣмъ вы не влюбились въ меня прежде? Теперь вы ухаживаете за мною потому, что я превратилась въ блестящее украшеніе богатаго

дома. Я васъ все-таки люблю, но прошу убираться къ чорту; свѣтъ мнѣ противенъ, но я намѣрена безусловно исполнять всѣ его требованія». Съ одной стороны, критикъ говоритъ, что чувство Татьяны мелко и дрябло, если она отталкиваетъ Онѣгина, а съ другой — Писаревъ замѣчаетъ, что Онѣгинъ не стоитъ лучшихъ отношеній. Почему чувство Татьяны «мелко и дрябло», если она знала, съ какимъ человѣкомъ имѣетъ дѣло, если она понимала, что Онѣгину нужно было завести веселую интрижку съ таинственными свиданіями, съ пламенными объятіями и безъ всякихъ будничныхъ, то есть серьезныхъ и спокойно-дружескихъ отношеній? Какъ же можно на основаніи отвлеченной морали осуждать Татьяну, а на основаніи ея собственнаго убѣжденія оправдывать? Писаревъ совершенно не соглашается со взглядомъ Бѣлинскаго на Татьяну: въ ней нѣтъ никакой глубокости, никакой страсти, никакой исключительности. Бѣлинскій,—говоритъ критикъ,— сочинилъ свою Татьяну, какой совсѣмъ нѣтъ въ романѣ Пушкина. Въ молодости Татьяна отличалась эксцентричностями, а созрѣвши, обратилась въ «воплощенную солидность». Пушкинъ и не могъ создать иного типа, ибо онъ смотрѣлъ на женщину «исключительно съ точки зрѣнія ея миловидности». Таковы характеры «Онѣгина», по разумѣнію парадоксальнаго моралиста.

Историческаго и общественнаго значенія «Евгеній Онѣгинъ», по мнѣнію Писарева, не имѣлъ и не могъ имѣть. Романъ не можетъ назваться ни «актомъ сознанія», какъ говоритъ Бѣлинскій, ни «энциклопедіей русской жизни», ибо сознаніе общества должно состоять въ томъ, чтобы общество отдавало себѣ полный и строгій отчетъ въ своихъ собственныхъ потребностяхъ, страданіяхъ, предразсудкахъ и порокахъ; ибо «энциклопедія» не можетъ быть «коллекціей старинныхъ костюмовъ и прическъ, старинныхъ прейсъ-курантовъ и афишъ, старинной мебели и ужимокъ». А таковъ, по мнѣнію Писарева, «Онѣгинъ». Изъ этой энциклопедіи, по сознанію критика, нельзя извлечь почти ничего «для физіологіи, имѣя патологію тогдашняго времени». Изъ романа,

по мнѣнію критика, мы только и узнали, что образованнѣйшая часть русскаго общества «ѣла, пила, плясала, посѣщала театры, влюблялась и страдала то отъ скуки, то отъ любви». Какія человѣческія страданія, — восклицаетъ Писаревъ, — Пушкинъ съумѣлъ подмѣтить и счелъ необходимымъ воспѣть? На какіе пороки «величайшій поэтъ Россіи долженъ былъ обратить свое просвѣщенное вниманіе»? «Во-первыхъ,— отвѣчаетъ, не смущаясь, критикъ,—въ тогдашней Россіи было слишкомъ много благъ жизни, такъ что русскіе юноши могли объѣдаться ими, разстраивать себѣ желудки и, вслѣдствіе этого, впадать въ хандру. Во-вторыхъ, русскіе мужчины и русскія женщины были такъ устроены отъ природы, что они не всегда одновременно влюблялись другъ въ друга; случалось, напримѣръ, такъ, что женщина уже пламенѣетъ, мужчина еще едва начинаетъ разогрѣваться; потомъ мужчина пылаетъ, а женщина уже сгорѣла до тла и гаснетъ». Въ этомъ, по мнѣнію критика, единственное значеніе «Онѣгина». На такой разборъ, конечно, совершенно нечего возражать, ибо онъ представляетъ одно сплошное недоразумѣніе, одну сплошную нелѣпость, одинъ сплошной парадоксъ. Ап. Григорьевъ, еслибы онъ былъ живъ въ то время, когда появились эти примѣчательныя въ своемъ родѣ статьи,—вѣроятно отнесъ бы ихъ «къ области одиннадцатой версты». «Маякъ» и Писаревъ стоятъ на одной моральной точкѣ зрѣнія; вся разница въ томъ, что мораль перваго—аскетически-церковная, мораль второго—прогрессивно-утилитарная. Первый, поэтому, обвинялъ Пушкина въ безнравственности и въ безбожіи, а его героевъ въ уголовныхъ преступленіяхъ; второй—въ легкомыслiи, пустотѣ и мелочности, въ неспособности «анализировать» и понимать всяческіе «общественные и философскіе вопросы», всѣхъ героевъ называетъ «мокрицами», а весь романъ — «яркой и блестящей апоѳеозой самаго безотраднаго и самаго безсмысленнаго statu quo». «Маякъ» и Писаревъ должны храниться вмѣстѣ въ музеѣ всякихъ рѣдкостей, какъ исключительные и любопытные

экземпляры «игры природы». Сейчасъ мы разберемъ статью о «Лирикѣ Пушкина» и въ заключеніе покажемъ, что идя по разнымъ моральнымъ дорогамъ, «Маякъ» и Писаревъ пришли къ одной цѣли, къ однимъ выводамъ.

Приступая къ разбору пушкинской лирики, которая вмѣщалась для Писарева въ семи стихотвореніяхъ, критикъ старается прикрыться авторитетомъ Бѣлинскаго и, такимъ образомъ, снять съ себя половину вины, показавъ, что если не обращать вниманія на «эстетическія оргіи великаго критика», то онъ окажется вполнѣ сходящимся съ писаревскимъ мнѣніемъ о Пушкинѣ. Для достиженія этой цѣли, Писаревъ выдергиваетъ изъ Бѣлинскаго отдѣльныя фразы и мысли,— и на этихъ фразахъ, безъ всякой связи съ общимъ смысломъ разсужденій Бѣлинскаго, строитъ свои пресловутыя, глумливыя разглагольствованія, свои грубыя, дерзкія и плоскія насмѣшки надъ великимъ поэтомъ. Выдернувъ изъ Бѣлинскаго фразу о томъ, что нѣмецкая эстетическая критика односторонняя, что искусство не должно быть цѣлью самому себѣ и что жизнь выше искусства, Писаревъ говоритъ, что такими же принципами руководствуется и современная критика, ведущая свое начало отъ «Эстетическихъ отношеній», которыя, въ свою очередь, развивали идеи Бѣлинскаго. Поэтому всѣ «солидные люди», проклинающіе современный нигилизмъ и вычеркивающіе изъ исторіи русской литературы Чернышевскаго и Добролюбова, по мнѣнію Писарева, должны начать «работу вычеркиванья» съ Бѣлинскаго. Выписавъ далѣе мнѣніе Бѣлинскаго о томъ, что только поэтомъ по натурѣ и по развитію можетъ быть написано истинно-поэтическое произведеніе, являющееся плодомъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ, и что человѣкъ безъ таланта при всей глубинѣ, истинности и даже святости придуманной мысли напишетъ произведеніе «мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое»,—Писаревъ не соглашается съ этими глубоко-вѣрными словами Бѣлинскаго, говоря, что «здѣсь Бѣлинскій, очевидно, платитъ богатую дань эстетическому мистицизму». По фантастическому мнѣнію Писарева, нѣтъ

никакой разницы между поэтомъ и не-поэтомъ, что всѣ поэтическія произведенія создаются такъ, что придуманная мысль втискивается въ придуманную же форму, что поэтъ, «какъ плохой портной, кроитъ и перекраиваетъ, урѣзываетъ и приставляетъ, сшиваетъ и утюжитъ до тѣхъ поръ, пока не получится въ окончательномъ результатѣ нѣчто правдоподобное и благообразное». Подтвержденіе своей теоріи втискиванія Писаревъ будто бы нашелъ въ «Матеріалахъ» Анненкова, показавшаго многообразные примѣры тяжелой черной работы втискиванія придуманной мысли въ придуманную форму. Совершенно неумѣстно, нимало не опровергая Бѣлинскаго, Писаревъ говоритъ, что страстно влюбленные въ идею бываютъ вообще великіе люди, какъ Колумбъ, Ньютонъ, Джонъ Броунъ и пр. Что же изъ этого слѣдуетъ? Бѣлинскій вѣдь и не думалъ исключительно поэтамъ приписывать влюбленность въ идею. Ради чего же Писаревъ обрушивается на Бѣлинскаго? А ради того, что у искусства не было и не можетъ быть мученика». Какое же это имѣетъ отношеніе къ положеніямъ Бѣлинскаго? Никакого. Но Писаревъ вообще стремится стереть искусство съ лица земли, доказать его ничтожество, доказать, что оно совершенно безполезно для умственнаго и нравственнаго развитія человѣчества, а что напротивъ, «наука и общественная жизнь уже давно потеряли счетъ своимъ мученикамъ». Поэтому-то парадоксальный критикъ и говоритъ [1]), что въ будущемъ могутъ появляться люди самыхъ различныхъ сортовъ: «великій Бетховенъ, великій Рафаэль, великій Канова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря». Поэтому-то онъ и рекомендуетъ рецептъ (приведенный нами раньше), по которому всякій нормальный и здоровый экземпляръ можетъ сдѣлаться поэтомъ. Затѣмъ, поглумившись надъ опредѣленіемъ Бѣлинскаго стиха Пушкина и сказавъ, что напрасно критикъ не прибавилъ, что «стихъ Пушкина красенъ, какъ ракъ, сладокъ, какъ сотовый медъ, питате-

[1]) См. т. II, стр. 209, статья «Реалисты».

ленъ, какъ гороховый кисель, вкусенъ, какъ жареная тетерька, упоителенъ, какъ рижскій бальзамъ, ѣдокъ, какъ сарептская горчица»[1]) (Бѣлинскій говоритъ, что стихъ Пушкина «нѣженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ, какъ молнія» и пр.),— Писаревъ издѣвается надъ Гоголемъ, который говорилъ о необходимости «тонкаго обонянія» для пониманія антологіи.

Одностороннее опредѣленіе Бѣлинскаго, что Пушкинъ былъ художникомъ по преимуществу, служитъ для Писарева главной точкой опоры въ окончательномъ развѣнчаньи Пушкина, который былъ просто «великимъ стилистомъ», по признанію Писарева (буквальное повтореніе словъ «Маяка»), что художественная виртуозность для поэта то же, что «приличное платье для каждаго изъ насъ», и, слѣдовательно, отзывъ о Пушкинѣ «совершенно равносиленъ отзыву близкихъ друзей о господинѣ, одѣтомъ по послѣдней модѣ». По логикѣ Писарева оказывается также, что если Пушкинъ — художникъ и больше ничего, то значитъ онъ «пользуется своею художественною виртуозностью, какъ средствомъ посвятить всю читающую Россію въ печальныя тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственнаго безсилія», ибо иначе Бѣлинскій обратилъ бы вниманіе на его характеръ и складъ ума. Такъ какъ Бѣлинскій признавалъ, что жизнью всякой истинной поэзіи сдѣлалось страстное мышленіе, полное вражды и любви, то, очевидно, поэзія Пушкина— не поэзія, а только «археологическій образчикъ» того, что̀ считалось поэзіею въ старые годы, мѣсто Пушкина «не на письменномъ столѣ современнаго работника, а въ пыльномъ кабинетѣ антикварія, рядомъ съ заржавленными латами и изломанными аркебузами». На этомъ мы и покончимъ разборъ Писаревскихъ статей, ибо въ дальнѣйшемъ изложеніи о Пушкинѣ въ отрицательномъ смыслѣ не сказано ничего новаго—идетъ такое же поруганіе надъ поэтомъ, такое же

[1]) Т. III, стр. 195. «Пушкинъ и Бѣлинскій».

безстыдное глумленіе, разборъ стихотвореній замѣняется плоскими пародіями на нихъ въ прозѣ и безконечными, нелѣпыми, ругательными комментаріями.

Публицистическая школа, порожденная послѣднимъ моментомъ критическаго сознанія Бѣлинскаго, полнаго Бѣлинскаго не хотѣла знать. Въ лицѣ Писарева эта школа договорилась до отрицанія искусства и сознанія, что пора бросить литературныя занятія и заняться естественными науками, до безстыднаго глумленія надъ первымъ великимъ русскимъ поэтомъ и до отрицанія исторіи русской литературы. Первый камень этому отрицательному отношенію къ Пушкину былъ положенъ самимъ Бѣлинскимъ въ его рядѣ статей въ «Отеч. Запискахъ» сороковыхъ годовъ. Здѣсь Бѣлинскій уже договорился, громоздя противорѣчія на противорѣчія, то восторгаясь Пушкинымъ подъ вліяніемъ своего великаго эстетическаго чутья, то упрекая его за недостатокъ современности,—до тѣхъ положеній, которыя развивалъ «Современникъ»; еще шагъ, и Бѣлинскій назвалъ бы «побрякушками» множество благоуханнѣйшихъ созданій, красоту и важность которыхъ онъ растолковывалъ. Бѣлинскій упрекалъ Пушкина за сухость и холодность Татьяны, не понималъ великаго нравственнаго процесса, породившаго Пушкина-Бѣлкина; Бѣлинскій не понималъ народности Пушкина, считая его только художникомъ. Всѣми этими промахами воспользовались послѣдователи Бѣлинскаго — критики-публицисты — и низвели Пушкина на степень «кимвала звенящаго и мѣди брящающей, громкаго и равнодушнаго эхо, сладко поющей птицы», по мѣткому выраженію Ап. Григорьева. Но отчего же эстетики не возражали публицистамъ на ихъ обвиненія Пушкина въ безсодержательности, младенчествѣ, пустотѣ и пр. Оттого, что до Писаревской статьи нападки публицистовъ были слишкомъ еще робки, со ссылками на Бѣлинскаго, съ повтореніемъ его взглядовъ. Когда же по-

явилась Писаревская статья — силы эстетиковъ были слишкомъ слабы, на его пресловутую статью никто даже не отвѣчалъ толково, кромѣ Лонгинова, написавшаго слабую замѣтку въ «Соврем. Лѣтописи». Возражать Писареву могъ бы только Ап. Григорьевъ, но его въ это время уже не было на свѣтѣ: онъ умеръ въ 1864 году, Писаревская статья о Пушкинѣ появилась въ 1865 г. Притомъ нужно замѣтить, что у эстетиковъ не было ни одной сравнительно большой статьи, разсматривающей съ свой точки зрѣнія ряды произведеній Пушкина, какъ, напримѣръ, статья Писарева. Къ сожалѣнію, Ап. Григорьевъ, къ которому мы теперь обращаемся, высказалъ свои оригинальные взгляды на Пушкина лишь въ общихъ чертахъ. Эти взгляды не успѣли упрочиться въ общественномъ значеніи, а восторжествовали глумленія «мыслящаго реалиста» Писарева. Эти взгляды какъ-то затерялись въ послѣдующей литературѣ, и Пушкина то стали трактовать какъ отрѣшеннаго художника, то заставляли «жреца взять метлу» и служить ихъ условнымъ теоріямъ. Между тѣмъ взгляды Ап. Григорьева заслуживали исключительнаго вниманія, но, повторяемъ, жаль, что они остались въ общемъ очеркѣ.

Ап. Григорьевъ говорилъ, что «Пушкинъ—наше все». Онъ—единственный «полный очеркъ нашей народной личности», контурами набросанный образъ нашей народной сущности. Пушкинъ есть представитель «всего нашего душевнаго, особеннаго», что остается такимъ послѣ столкновенья съ чужимъ, съ другими мірами. Сфера душевныхъ сочувствій не исключала ничего «органически нашего», до него бывшаго и грядущаго послѣ него. Въ его полную натуру вошли сочувствія старой русской жизни, стремленія новой, сочувствія Ломоносовскія, Державинскія, Новиковскія, Карамзинскія. Здѣсь разумѣется, по замѣчанію критика, не сущность до-Петровская и не сущность послѣ-Петровская, а органическая цѣлость русской души, какою она казалась послѣ столкновеній съ другими жизнями, послѣ усвоенія однихъ элементовъ, какъ родственныхъ, и отрицанія чуждыхъ, вра-

ждебныхъ. Пушкинъ есть первая наша душевная физіономія, хотя еще въ очеркѣ, но уже выдѣлившаяся ясно изъ круга другихъ народныхъ типовыхъ физіономій. Пушкинъ—нашъ первый самобытный типъ, мѣрявшійся съ другими европейскими типами, боровшійся съ ними сознаніемъ и вынесшій изъ этой борьбы свою «физіологическую, типовую самостоятельность».

Все послѣдующее литературное движеніе было наполненіемъ красками «рафаэлевски-правдивыхъ и изящныхъ очерковъ» нашихъ физіологическихъ особенностей, обозначившихся въ Пушкинѣ. Натура великаго поэта отзывалась на все, но въ мѣру русской души,— она не исключала «ни тревожно-романтическаго начала, ни юмора здраваго разсудка, ни страстности, ни сѣверной рефлексіи». Въ юности, въ эпоху лицейскихъ и первыхъ послѣлицейскихъ стихотвореній Пушкинъ носилъ въ себѣ мутно-чувственную струю ложнаго классицизма, которая впослѣдствіи очистилась у него до наивнаго пластицизма древности, сказавшагося въ удивительныхъ, совершенно «ваятельныхъ» стихотвореніяхъ. Это направленіе продолжали Майковъ и Фетъ въ своихъ антологическихъ стихотвореніяхъ. Молодое кипѣніе этой струи отражалось и въ послѣдующія эпохи удивительными, пламенными стихотвореніями, которыя нашли себѣ послѣдователя въ пламенномъ Языковѣ и поэзіи Щербины. Способность русскихъ силъ доходить до крайнихъ предѣловъ, соединенная «съ типовою, болѣзненно-критическою отрыжкою», порождаетъ состояніе страшной борьбы, изъ которой даже гармоническія натуры въ родѣ Пушкинской не выходятъ побѣдительницей: Пушкина скосила отдѣлившаяся отъ него стихія—Алеко, Лермонтова—страшный идеалъ, который сіялъ предъ нимъ «какъ царь нѣмой и гордый», Кольцова — раздражительная и начинавшая сомнѣваться во всемъ стихія, которую онъ тщетно заклиналъ своими «Думами». Въ Пушкинѣ по преимуществу отразилась эта борьба, въ высокой степени поучительная, борьба съ различными идеалами, изъ которой великій поэтъ всегда выходилъ самимъ собою, осо-

беннымъ типомъ, совершенно новымъ. Такъ, напр., мрачный сплинъ и язвительный скептицизмъ Чайльдъ-Гарольда замѣнился въ лицѣ Онѣгина-хандрою отъ праздности, такого человѣка, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрѣе своихъ идеаловъ, который надѣленъ природною критическою способностью здраваго русскаго типа. Донъ-Жуанъ южныхъ легендъ—это сладострастное кипѣніе крови, соединенное съ демонскискептическими началами, обращается въ созданіи Пушкина «въ какую-то безпечную, юную, безграничную жажду наслажденія, въ сознательное даровитое чувство красоты, въ способность «по узенькой пяткѣ» дорисовать весь образъ. Столь же поучительна борьба съ Байроновскимъ типомъ, борьба, сказавшаяся въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», въ Алеко, и въ Гиреѣ, и въ Онѣгинѣ, и въ ироническомъ, лихорадочномъ и вмѣстѣ сухомъ тонѣ «Пиковой дамы», и въ отношеніяхъ Ив. Петр. Бѣлкина къ мрачному Сильвіо въ повѣсти «Выстрѣлъ». Въ этомъ типѣ для души Пушкина было что-то неотразимо-влекущее и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то такое, чему она постоянно измѣняетъ. Въ Пушкинѣ заключается, по мнѣнію Ап. Григорьева, все—отъ двойственныхъ отношеній нашего сознанія къ Петру, до нашихъ тщетныхъ усилій насильственно создать себѣ и утвердить въ душѣ обаятельные призраки и идеалы чужой жизни, до нашихъ столь же тщетныхъ усилій вовсе отъ нихъ оторваться и замѣнить ихъ чисто-отрицательными и смиренными идеалами. Наше славянское коренное и типовое есть вмѣстѣ и наиболѣе удобная подкладка для истиннаго человѣческаго, т. е. христіанскаго, проявиться которому въ просвѣтленномъ образѣ Тазита, полнаго духа кротости и любви, помѣшала только преждевременная смерть Пушкина, сроднаго по духу съ Рафаэлемъ Санціо и Моцартомъ, тоже «набрасывателями многообъемлющаго и многосодержащаго идеала».

Въ современной литературѣ нѣтъ ничего истинно замѣчательнаго и правильнаго, что бы въ зародышѣ своемъ не находилось у Пушкина. Всѣ простыя отношенія къ окружающей дѣйствительности и къ русскому быту ведутъ свое

начало отъ взгляда на жизнь Ив. Петр. Бѣлкина, типъ котораго былъ почти любимымъ типомъ Пушкина въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Душевный процессъ, создавшій типъ Бѣлкина, подготовлялся постепенно. Ап. Григорьевъ весьма проницательно подмѣчаетъ начало этого процесса еще въ послѣднихъ главахъ Онѣгина, въ которыхъ сказалось негодованіе поэта на прозаизмъ и мелочность окружающей его обстановки на ряду съ невольнымъ сознаніемъ того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою, что онъ остался въ душѣ, какъ осадокъ послѣ всѣхъ тщетныхъ попытокъ окамениться въ Байроновскихъ формахъ. Когда же, наконецъ, въ эпоху зрѣлости самосознанія поэтъ помирилъ всѣ противоположныя явленія, совершавшіяся въ его натурѣ, всю удивительную отзывчивость на «вся добрая и злая», отъ которой пошло въ нашей литературѣ все разнообразіе Лермонтовскихъ, Островскихъ и Некрасовскихъ отношеній къ изображаемому типу,— отзывчивость, доводящую всякое сочувствіе до крайности, и при этомъ непрестанную любовь къ своему типовому, къ своей почвѣ, — тогда онъ «умалилъ себя до образа Ив. Петр. Бѣлкина, не переставая мѣряться съ самыми могучими типами». Въ Бѣлкинѣ узаконилась отрицательно, критически чисто-типовая сторона личности поэта, ибо Пушкинъ не думалъ отрекаться отъ прежнихъ своихъ сочувствій. Пушкинскій Бѣлкинъ есть простой здравый смыслъ и здравое чувство, кроткое и смиренное, вопіющее противъ злоупотребленія нашей широкой способности чувствовать и понимать. Бѣлкинъ, зная, что онъ не Сильвіо боится этого типа, идетъ къ простымъ людямъ, опускаясь въ низшіе слои жизни: въ «Гробовщикѣ»,—по мнѣнію Ап. Григорьева, зерно всѣхъ нашихъ теперешнихъ отношеній къ этимъ слоямъ, а въ «Станціонномъ Смотрителѣ»—зерно всей натуральной школы. Въ лицѣ Бѣлкина, автора «Лѣтописи села Горохина», необыкновенно ярко обрисованъ комизмъ положенія человѣка, нахватавшаго верхушекъ образованности и считающаго себя выше той среды, съ которой у него слишкомъ много общаго. Бѣлкинъ, который написалъ въ «Ка-

питанской дочкѣ» хронику семейства Гриневыхъ, написалъ и «хронику семейства Багровыхъ», Бѣлкинъ и у Тургенева, и у Писемскаго,—Бѣлкинъ отчасти и у Толстого,—ибо Бѣлкинъ-Пушкинъ былъ «первымъ выраженіемъ критической стороны нашей души, очнувшейся отъ сна, въ которомъ грезились ей различные міры.

Пушкинъ, освобождаясь отъ робости, принадлежащей цѣлымъ поколѣніямъ, давая просторъ чистымъ народнымъ стихіямъ своей художнической натуры, положительно переходя отъ идеаловъ призрачныхъ и наносныхъ къ идеаламъ кореннымъ и дѣйствительнымъ, къ кореннымъ созерцаніямъ, къ кореннымъ нравственнымъ идеаламъ, становясь уже прямо на сторону послѣднихъ въ своихъ послѣднихъ, наиболѣе зрѣлыхъ произведеніяхъ,—Пушкинъ приведенъ былъ и къ идеальнымъ, т. е. религіознымъ, основамъ народной нравственности. Къ сожалѣнію, Ап. Григорьеву не пришлось выяснить, въ чемъ же состояли чистыя народныя стихіи Пушкинской натуры, каковы вообще наши «коренные нравственные идеалы», каковы религіозныя основы народной нравственности. Ап. Григорьевъ говорилъ, что съ Пушкина начинаются «дѣйствительныя, заправскія, самостоятельныя отношенія литературы къ жизни», что Пушкинъ былъ «единственный всесторонній представитель нашей народной физіономіи» не только въ мірѣ художественныхъ, но и всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ сочувствій. Взглядъ глубоко проницательный и глубоко-вѣрный. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нужно сознаться, что доказать народность Пушкина и его великаго нравственнаго значенія Ап. Григорьевъ не успѣлъ. Совершенно вѣрно замѣчаніе, что Пушкину было дано «непосредственное чутье народной жизни», непосредственная любовь къ ней, что эта неоспоримая истина подтверждается не только складомъ рѣчи въ Борисѣ, Русалкѣ, Утопленникѣ, отрывкѣ о Медвѣдицѣ и въ др. произведеніяхъ, но и самымъ складомъ міросозерцанія. Все это глубоко-вѣрно. Но удалось ли критику прослѣдить по произведеніямъ это чутье, эту любовь, удалось ли проанализировать Пушкинское міросозер-

цаніе?—Нѣтъ. Даровитый критикъ мѣтко указывалъ на то, что высоко-артистическое чувство правды запрещало Пушкину употребленіе фальшивыхъ красокъ и часто заставляло рисовать народную жизнь одними очерками, что великій поэтъ только тамъ писалъ красками, гдѣ зналъ краски, и поэтому все писанное имъ такимъ образомъ — вѣчно-народная сущность,—будутъ ли это рѣчи Татьяниной няни и разсказъ ея о выходѣ замужъ, будутъ ли это рѣчи Наташи въ балладѣ «Женихъ», рѣчи дочери мельника, въ которыхъ даже пятистопный ямбъ превращается въ складъ народнаго стиха, будутъ ли это народныя сцены въ Борисѣ. Пушкинъ, этотъ «барченокъ», писавшій по-французски свои замѣтки объ исторической драмѣ и о своемъ «Борисѣ»,—свято чтилъ народъ, «религіозно боялся солгать на народъ, на складъ его мышленія, чувства, на способность его выраженія. Все это, повторяемъ, глубоко-замѣчательныя мысли,—мысли, которыхъ не встрѣтишь во всей предшествовавшей литературѣ и къ которымъ ничего не прибавлено даже впослѣдствіи,—но жаль, что онѣ не получили должнаго развитія у Ап. Григорьева. Повторяемъ, еслибы критикъ разобралъ съ своей точки зрѣнія поэтическую дѣятельность Пушкина,—русская литература имѣла бы капитальнѣйшій трудъ о великомъ русскомъ поэтѣ. Теперь же мы встрѣчаемъ у даровитаго критика только общіе взгляды на Пушкина, среди которыхъ случайно затерялись двѣ-три странички мѣткаго анализа отношеній Пушкинской поэзіи къ любви и къ женщинѣ.

Этотъ образчикъ разбора показываетъ, какъ Ап. Григорьевъ могъ бы мѣтко, удачно выполнить весь разборъ Пушкинскихъ произведеній. Отношенія Пушкина къ этому существенному вопросу самыя правильныя, тонкія, нѣжныя и высокія. Поэтъ совершенно чуждъ «какъ ложнаго идеализма, выдаваемаго за высокое, такъ и грубаго матеріализма, принимающаго различные обольстительные виды». Ап. Григорьевъ сравниваетъ въ этомъ отношеніи Пушкина съ другими великими поэтами—Шиллеромъ, Гёте, Гюго, Байрономъ. Шиллера, напр., какъ поэта эротическаго, по справедливому замѣчанію критика,

нѣтъ возможности читать въ наше время безъ страннаго чувства, граничащаго со смѣхомъ: гдѣ Шиллеръ нѣженъ,—онъ впадаетъ въ приторную сантиментальность,—гдѣ онъ страстенъ,—впадаетъ въ неистовство идеализма, близкаго къ грубѣйшему матеріализму. Пушкинъ столь же мало матеріалистъ, какъ и идеалистъ: въ его взглядѣ на любовь нѣтъ ничего похожаго на взглядъ величайшаго и тончайшаго матеріалиста Гёте, такъ же какъ нѣтъ ничего похожаго на хитрый и ловкій матеріализмъ Гейне. Словомъ, одинъ Пушкинъ по отношенію къ этому чувству окажется полнымъ, цѣльнымъ, неразорваннымъ человѣкомъ. Взгляды на Пушкина Ап. Григорьева нашли себѣ даровитыхъ послѣдователей особенно среди нашихъ ученыхъ и, вѣроятно, еще найдутъ, ибо они кажутся намъ въ высшей степени глубокими, оригинальными и мѣткими. Будущій изслѣдователь народности Пушкина, общественнаго и нравственнаго значенія великаго поэта всегда обратится къ взглядамъ Ап. Григорьева, такъ же, какъ при художественной оцѣнкѣ непремѣнно коснется его лучшаго художественнаго критика—Бѣлинскаго.

Время все болѣе и болѣе отдаляло живущее поколѣніе отъ Пушкина и его эпохи; историческое изученіе начало вступать въ свои права и указывать на необходимость провѣрки прежнихъ сужденій. Живая душа русскаго общества все сильнѣе чувствовала потребность обратиться къ оставленному поэту, сознавая все яснѣе духовное родство съ нимъ и убѣждаясь, что истинно прекрасное не находится въ противорѣчіи ни съ высшимъ благомъ, ни съ высшей правдой. Скоро солнце пушкинской поэзіи озарило насъ своимъ немеркнущимъ свѣтомъ, снова засіявъ надъ нами, прогнавъ послѣднія тучи разсѣянной бури, послѣдніе остатки печальныхъ заблужденій. Это случилось въ знаменательномъ 1880 году, въ годъ открытія памятника Пушкину въ Москвѣ, въ годъ великаго проявленія національнаго чувства къ Пушкину, какъ къ ве-

ликому народному поэту, какъ къ одному изъ главныхъ представителей нашей національной мысли. Открытіе памятника поэту было торжественнымъ, всенароднымъ признаніемъ его заслугъ, возведеніемъ его на ту высоту, на которой онъ долженъ стоять, какъ наша національная гордость и слава и какъ поэтъ всемірный. Съ этого времени и въ отношеніяхъ критики къ Пушкину начинается рѣшительный поворотъ отъ прежнихъ эстетическихъ воззрѣній къ болѣе широкому и внимательному изученію историко-литературному.

Представители русской интеллигенціи, съѣхавшіеся на Пушкинское торжество въ Москву, соединились въ единодушное поклоненіе предъ чистымъ образомъ генія, которому удалось проложить впервые новые пути къ свободному развитію общественной мысли. Во всѣхъ разнообразныхъ привѣтствіяхъ, обращенныхъ къ великому поэту, поражала серьезная братская теплота общественной манифестаціи въ честь мирнаго подвижника мысли и слова. Въ громадномъ количествѣ телеграммъ и привѣтствій, присланныхъ по поводу празднества, звучала одна нота, чтобы русскій человѣкъ пересталъ чувствовать себя одинокимъ среди своего общества и народа. Свѣтила иностранной литературы прислали привѣтъ «благородному празднику», въ которомъ всѣ еще неиспорченныя души съ живымъ участіемъ могутъ чувствовать себя объединенными. Праздникъ вышелъ вполнѣ литературно-общественный: обществу принадлежалъ починъ въ устройствѣ памятника и общество же участвовало въ чествованіи. Здѣсь общественное желаніе впервые развернулось у насъ на безусловно законной почвѣ и въ безусловно законныхъ, безукоризненно законныхъ предѣлахъ съ такою широкою свободою. Съѣхавшіеся чувствовали себя полноправными гражданами, впервые вкушавшими сладость блестяще обставленнаго исполненія гражданскаго долга. Каждый изъ ораторовъ на праздникѣ высказалъ особое пожеланіе, но всѣ сходились въ одномъ, что настоящее торжество должно явиться радостнымъ благовѣстомъ нашего мужающаго самосознанія, что въ лицѣ Пушкина чествуется русская народность и просвѣщеніе,

чаемое примиреніе прошлаго съ настоящимъ. «Пушкинскіе дни» были отпразднованы въ обоихъ столицахъ и въ другихъ городахъ Россіи. Въ Москвѣ говорили рѣчи академикъ Я. К. Гротъ, профессора Тихомировъ, Ключевскій, Стороженко, Сухомлиновъ, И. С. Аксаковъ, Катковъ, Юрьевъ, Тургеневъ, Потѣхинъ, Чаевъ, Островскій, Достоевскій, который всѣхъ побѣдилъ, растрогалъ, увлекъ и примирилъ. Его рѣчь была дѣйствительно глубокой и блестящей, хотя, быть можетъ, и парадоксальной. Свои стихотворенія читали — Майковъ, Плещеевъ, Полонскій. На литературномъ утрѣ 6-го іюня въ Петербургѣ были прочитаны рѣчи профессорами О. Ѳ. Миллеромъ и А. И. Незеленовымъ. Память Пушкина чествовалась также и въ провинціальныхъ городахъ—Одессѣ Варшавѣ, Ригѣ, Тулѣ, Самарѣ, Псковѣ, Кишиневѣ и Тифлисѣ.

Рѣчь Достоевскаго о Пушкинѣ, произнесенная 8-го іюня 1880 года въ Москвѣ, въ торжественномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, произвела на всѣхъ присутствовавшихъ поразительное впечатлѣніе: у мужчинъ были слезы на глазахъ, дамы рыдали отъ волненія, стонъ и громъ оглашали воздухъ, группа словесниковъ обнимала высокодаровитаго писателя, а нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ спѣшили къ нему съ лавровымъ вѣнкомъ и увѣнчали его тутъ же, на эстрадѣ, среди дошедшихъ до своего апогея овацій. И. С. Аксаковъ заявилъ съ каѳедры, что рѣчь Достоевскаго «составляетъ событіе». Громадное впечатлѣніе рѣчи Достоевскаго объясняется тѣмъ, что онъ одинъ изъ всѣхъ ораторовъ затронулъ и развилъ весьма важный вопросъ, касающійся будущности Россіи,—вопросъ о грядущей роли Россіи въ семьѣ европейскихъ народовъ. Утверждая, что русской душѣ, «всечеловѣчной и всесоединяющей», предстоитъ изречь окончательное слово «великой общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону», Достоевскій указывалъ на пророческое значеніе Пушкина въ этомъ отношеніи, который въ художественномъ творчествѣ проявилъ эту «всемірность стремленія русскаго духа», эту «всемірную отзывчивость».

Рѣчь Достоевскаго была страстной, искренной исповѣдью своихъ завѣтныхъ общественныхъ и политическихъ идей, зародыши которыхъ можно подмѣтить въ статьяхъ того же писателя двадцать лѣтъ тому назадъ[1]). Какъ страстная исповѣдь высоко-талантливаго человѣка, она и произвела потрясающее впечатлѣніе, ибо только въ этой рѣчи русское общество нашло вдохновенное истолкованіе серьезности и знаменательности переживаемой минуты всероссійскаго чествованія своего великаго народнаго поэта. Другой вопросъ — насколько основательны взгляды Достоевскаго, насколько вѣрна и доказательна основная идея его рѣчи. Этого вопроса мы коснемся ниже. Но тѣмъ не менѣе въ одной этой рѣчи, повторяемъ, было вдохновенное истолкованіе общественнаго значенія чествованія Пушкина.

Другіе ораторы говорили о вліяніи на поэзію Пушкина европейскихъ мыслителей и художниковъ, какъ Вольтеръ, Байронъ, Шекспиръ и др., замѣчая при этомъ, что при посредствѣ изученія твореній западныхъ писателей, муза Пушкина прониклась общечеловѣческимъ содержаніемъ (Н. А. Стороженко). Новизной и оригинальностью отличалась рѣчь, выяснявшая и освѣщавшая историческій элементъ Пушкинскаго творчества, значеніе его произведеній для русскаго историка (Ключевскій). Ораторъ указывалъ, что въ поэмахъ и романахъ Пушкина выставлены многіе типы XVIII и начала XIX вѣка, которые наглядно знакомятъ насъ съ характеромъ эпохи. Арапъ Петра Великаго, Троекуровъ, капитанъ Мироновъ, поручикъ Гриневъ — все это типы, представляющіе большой интересъ для историка. Евгеній Онѣгинъ представляетъ намъ типъ человѣка, воспитаннаго въ гуманныхъ идеяхъ начала Александровской эпохи и разочаровавшагося въ своихъ идеалахъ послѣ двадцать пятаго года. Эти поэтическіе образы, по мнѣнію Ключевскаго, составляютъ для историка важное и существенное дополненіе къ историческимъ актамъ и мемуарамъ современниковъ.

---

[1]) «Время» 1861 г.

Посвящались также рѣчи и характеристикѣ Пушкина, какъ поэта и человѣка, характеристикѣ его поэзіи, причемъ указывалось, что своей кончиною Пушкинъ вполнѣ искупилъ страстные порывы и заблужденія бурной молодости, что его страдальческая кончина была «событіемъ, исполненнымъ драматической силы и глубоко-нравственной идеи», что великій поэтъ и нравственно-возвышенная, благородная, человѣческая личность неразрывно связаны въ нашемъ Пушкинѣ, что главные элементы его поэзіи заключаются въ простотѣ и жизненной правдѣ его произведеній. Таковы рѣчи академика Я. К. Грота, профессоровъ А. И. Незеленова и О. Ѳ. Миллера. Особенно много тонкихъ и проницательныхъ замѣчаній разсыпано въ рѣчи А. И. Незеленова; самая удачная и оригинальная часть рѣчи—вторая, въ которой ораторомъ сжато и талантливо объясняются заслуги Пушкинской поэзіи. Живая красота—вотъ главная характеристическая черта поэзіи Пушкина. И красоту природы, и, главное, красоту человѣческаго духа Пушкинъ умѣлъ понимать и изображать, какъ ни одинъ художникъ въ мірѣ. Изображеніе же зла и пошлости жизни не входило въ кругъ поэзіи Пушкина. Въ каждомъ изъ безчисленнаго множества созданныхъ имъ лицъ можно замѣтить слѣды духовной красоты. «Сколько прекрасныхъ людей, — говорилъ ораторъ, — въ жизни не обратятъ на себя нашего вниманія, потому только, что въ нихъ нѣтъ ничего выдающагося, эффектнаго; мы пройдемъ мимо ихъ и не думая, что за ихъ обыденной наружностью кроются духовныя богатства. А Пушкинъ показываетъ намъ эти богатства и заставляетъ насъ невольно любить такихъ людей. Вотъ, напримѣръ, старики Мироновы въ «Капитанской дочкѣ». Мы, можетъ быть, свысока отнеслись бы къ этимъ простымъ людямъ за ихъ наивность, грубость, невѣжество, простодушіе... Но поэтъ подмѣтилъ ихъ безконечную доброту, ихъ вѣчную преданность другъ другу, красоту ихъ смиренія, ихъ героизмъ, которому они сами не придаютъ значенія,— и мы останавливаемся передъ ними съ благоговѣйнымъ уваженіемъ». Странное впечатлѣніе произвела и производитъ

рѣчь И. С. Тургенева, въ которой знаменитый романистъ признавался, что онъ «по совѣсти» не можетъ утверждать—имѣетъ ли Пушкинъ всемірное значеніе или нѣтъ, хотя несомнѣнно—онъ поэтъ національный. А. Н. Островскій говорилъ на тему, что Пушкинъ завѣщалъ русскимъ писателямъ искренность, самобытность, завѣщалъ каждому русскому писателю быть русскимъ, что, слѣдовательно, Пушкинъ раскрылъ русскую душу. А. А. Потѣхинъ, замѣтивъ, что Пушкина справедливо называютъ великимъ художественнымъ синтезомъ русской мысли, русскаго чувства и вообще народнаго самосознанія, обратилъ вниманіе на тяжелое призваніе Гоголя, который работалъ въ другомъ направленіи. По словамъ оратора, «явилась и потребность анализа, съ цѣлью самоусовершенствованія: многія застарѣлыя общественныя язвы потребовали или лѣченія, или хирургическаго ножа». Этотъ анализъ впервые началъ Гоголь, поэтому ораторъ предложилъ въ дни всенароднаго чествованія памяти Пушкина положить начало всенародной подписки на памятникъ Гоголю.

Такимъ образомъ, во всѣхъ рѣчахъ до рѣчи Достоевскаго мы читаемъ исключительно единодушныя и убѣдительныя восхваленія геніальнаго поэта. Но, къ сожалѣнію, рядомъ съ хвалами Пушкину, какъ преобразователю литературы, какъ творцу новаго самобытнаго періода, не было почти никакого указанія для современности; вмѣстѣ съ тѣмъ, ораторы почти совсѣмъ не касались его какъ человѣка своего времени, ставившаго патріотическіе вопросы о предметахъ общественныхъ, горячо желавшаго для нихъ работать; также почти не было затронуто въ рѣчахъ историческое значеніе поэта, искавшаго прямой и непосредственной пользы своему народу, считавшаго своей заслугой, что онъ «пробуждалъ добрыя чувства» и «милость къ падшимъ призывалъ». Въ Москвѣ отъ лица русскаго общества поклонились памятнику Пушкина И. С. Тургеневъ, А. Н. Островскій, Я. П. Полонскій, А. Н. Майковъ, А. Н. Плещеевъ, А. А. Потѣхинъ,—нѣсколько талантливыхъ публицистовъ—И. С. Аксаковъ, Юрьевъ, Кат-

ковъ произнесли прекрасныя рѣчи. Но ими не было сказано такого слова, которое бы выражало собою современную русскую мысль и потому было бы достойно памяти поэта, дорогого именно тѣмъ, что въ немъ русское общество впервые познало свое народное «я».

Попытка Достоевскаго показать значеніе дѣятельности Пушкина для современнаго общественнаго сознанія, для нашихъ цѣлей въ будущемъ — едва ли доказательна, едва ли могла быть плодотворна и вѣрна. Истолкованію своей рѣчи о Пушкинѣ, вызвавшей возраженіе со стороны профессора А. Д. Градовскаго, Достоевскій посвятилъ весь августовскій единственный номеръ своего «Дневника Писателя» за 1880 годъ. Въ «Объяснительномъ словѣ» по поводу рѣчи о Пушкинѣ Достоевскій поясняетъ, что онъ хотѣлъ отмѣтить лишь слѣдующіе четыре пункта въ значеніи великаго поэта для Россіи. Во-первыхъ, Пушкинъ своимъ прозорливымъ и геніальнымъ умомъ и чисто-русскимъ сердцемъ отыскалъ и отмѣтилъ главнѣйшее и болѣзненное явленіе нашего интеллигентнаго, исторически-оторваннаго отъ почвы общества, типъ «несчастнаго скитальца въ родной землѣ». Во-вторыхъ, Пушкинъ первый далъ намъ художественные типы положительной красоты русской, обрѣтавшейся «въ народной правдѣ». Таковы типы Татьяны, инока-лѣтописца, типы бытовые въ «Капитанской дочкѣ» и многіе другіе. Въ-третьихъ, только у Пушкина встрѣчается особая характернѣйшая черта художественнаго генія — «способность всемірной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй», и въ-четвертыхъ, способность эта, по вѣрованію Достоевскаго, есть всецѣло способность русская, національная, и Пушкинъ только дѣлитъ ее со всѣмъ народомъ нашимъ и, какъ совершеннѣйшій художникъ, онъ есть и совершеннѣйшій выразитель этой способности въ своей дѣятельности художника. Конечно, противъ первыхъ двухъ пунктовъ рѣчи не можетъ быть возраженій. Пушкинъ дѣйствительно первый подмѣтилъ типъ «несчастнаго скитальца въ родной землѣ», дѣйствительно, онъ создалъ типы поло-

жительной русской красоты, изъ которыхъ Достоевскій анализируетъ Татьяну, своеобразно развивая положенія Ап. Григорьева не только относительно Татьяны, но и вообще относительно народности Пушкина. Это лучшая часть рѣчи Достоевскаго. Особенно важно, мѣтко, ново и оригинально толкованіе романистомъ вопроса: отчего Татьяна не пошла за Онѣгинымъ, — вопроса, который въ нашей литературѣ имѣетъ своего рода исторію. Большинство критиковъ повторяло взглядъ, пущенный въ свое время Бѣлинскимъ, что женщина должна слѣдовать своему влеченію. Достоевскій же представилъ своей характеристикой Татьяны трезвый и цѣльный отпоръ этому одностороннему взгляду. По справедливому мнѣнію Достоевскаго, Татьяна не могла пойти за Онѣгинымъ потому, что понимала его, видѣла, что онъ любитъ «только свою новую фантазію, а не ее, смиренную, какъ и прежде, Татьяну». Достоевскій говоритъ—«смиренную» потому, что свѣтская придворная жизнь не коснулась ея души, Татьяна не испорчена, а напротивъ, удручена этой пышной петербургской жизнью, надломлена и страдаетъ. Она не хочетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, измѣнять своему любящему мужу, не хочетъ основывать свое счастіе на его несчастіи, свято почитая таинство брака. Но и въ страдальческомъ сознаніи Татьяны, что ея жизнь погибла, все-таки есть нѣчто твердое и незыблемое: это ея воспоминанія дѣтства, воспоминанія родины, деревенской глуши, въ которой началась ея «смиренная, чистая жизнь,—это крестъ и тѣнь вѣтвей надъ могилой ея бѣдной няни», ибо въ этихъ воспоминаніяхъ, по словамъ Достоевскаго, «соприкосновеніе съ родиной, съ роднымъ народомъ, съ его святынею». Отдать эту святыню на позоръ Татьяна не можетъ, сознавая, что Онѣгинъ «любитъ фантазію» и завтра же разочаруется и взглянетъ на свое увлеченіе насмѣшливо. Повторяемъ, анализъ Татьяны есть единственное цѣнное мѣсто въ рѣчи Достоевскаго. Все же остальное намъ кажется по своей бездоказательности парадоксомъ.

Русскій народный идеалъ толкуется Достоевскимъ весьма своеобразно. Это не толкованіе, а вѣщаніе, это личное вѣ-

рованіе Достоевскаго, фантастическое и утопическое. Ораторъ, толкуя съ значительной натяжкой «Цыганъ» и «Онѣгина», видитъ въ Пушкинѣ «всечеловѣка», провозвѣстника «будущаго всемірнаго братства», признаетъ народность Пушкина ради его всечеловѣчности. Но отчего же стремленіе къ «всечеловѣчности» и къ «великой гармоніи» есть и должно быть отличительнымъ свойствомъ русской народности—этого ораторъ не доказывалъ. Мысль о братствѣ всѣхъ людей не есть и не можетъ быть достояніемъ одного народа уже просто потому, что еслибы другіе народы не могли проникнуться ею, то сама она оказалась бы совершенно безполезной. Гдѣ же доказательство, что именно въ этомъ заключается особый идеалъ русской народности? Неужели только въ томъ, что Пушкинъ «одинаково художественно создавалъ и русскіе, и иностранные типы и въ этомъ смыслѣ онъ выше всѣхъ поэтовъ вселенной»? Но Шекспиръ создалъ безсмертные типы ревниваго мавра и скупца-еврея; Шиллеръ далъ живые и вѣрные типы Филиппа испанскаго, Доминго, Фіеско, Карла VII французскаго; у Виктора Гюго національно вѣрны и Эрнани, и Лукреція Борджія. Положимъ, изъ этого слѣдуетъ, что великіе писатели всѣхъ народовъ—«всечеловѣки»; но ужъ никакъ не слѣдуетъ, что мысль о всечеловѣческомъ братствѣ есть спеціальная принадлежность которой либо литературы и какого либо одного народа. Въ двухъ послѣдующихъ пунктахъ рѣчи Достоевскаго не было ничего особенно новаго: такія мысли высказывались издавна въ славянофильской школѣ и ораторъ только примѣнилъ ихъ къ Пушкину, сдѣлавъ его поэзію—предвѣщаніемъ. Теорію національнаго самопрославленія можно встрѣтить у нѣмцевъ, французовъ, англичанъ, даже китайцевъ, которые увѣрены, что въ мірѣ нѣтъ ничего совершеннѣе серединнаго царства. Не была ли вмѣстѣ съ тѣмъ «всечеловѣчность» русскаго народа, о которой говорилъ Достоевскій, просто признакомъ исторической ступени развитія, — стремленіемъ усвоить себѣ пріобрѣтенія, сдѣланныя ранѣе другими? Наклонность вживаться въ умственную жизнь Европы не была

ли слѣдствіемъ умственной бѣдности нашего собственнаго быта? Всечеловѣчность можетъ быть только результатомъ всей полноты національнаго развитія. Гдѣ же въ Россіи можно найти эту полноту и скоро ли всечеловѣчность разовьется въ русскомъ міровоззрѣніи? Скоро ли нашъ богатоодаренный народъ, сохраняющій много прекрасныхъ свойствъ, но лишенный образованія, экономически нуждающійся, религіозно раздѣленный расколомъ, общественно слабо-представленный,—скоро ли достигнетъ этой полноты національнаго развитія, чтобы претендовать на всечеловѣчность?

Такимъ образомъ, памятникъ Пушкину пробудилъ въ собравшейся у его подножія интеллигенціи сложныя и разнообразныя чувства; грусть овладѣвала всѣми, кто, возносясь мыслью къ Пушкину, углублялся въ созерцаніе тѣхъ громадныхъ духовныхъ силъ русскаго общества, о которыхъ такъ громко говорила всѣмъ присутствовавшимъ память о поэтѣ. Но она же доставляла гордое удовлетвореніе своею мощью, и еще болѣе распаляла жажду подвиговъ на широкой аренѣ общечеловѣческихъ интересовъ и невольно задерживала думы всѣхъ на великомъ моментѣ перехода дремлющей энергіи въ осязательный фактъ претворенія слова и мысли въ живое дѣло. Пушкинскіе дни были небывалыми днями единодушнаго увлеченія и возбужденія лучшихъ сторонъ общественнаго чувства. Этотъ первый со времени Рюрика чисто литературный праздникъ былъ апоѳеозомъ, который впервые обратился къ русской жизни и особенно къ жизни народа. Летературное торжество въ память Пушкина вышло вполнѣ національнымъ, праздникъ далъ исходъ идеальнымъ надеждамъ и ожиданіямъ русскаго общества, которое цѣнило значеніе Пушкина съ восторженнымъ чувствомъ поклоненія, отвѣчавшимъ настроенію минуты. Поэтому-то Достоевскій и произвелъ своей рѣчью потрясающее впечатлѣніе, утверждая, что Пушкинъ — пророкъ, а его поэзія предсказаніе будущаго Россіи, когда русскій народъ возвѣститъ истину всему человѣчеству.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А.

Аббадонна—16.
Аксаковъ, И. С.—325, 393, 396.
Алмазовъ—361, 366.
Анненковъ, П. В.—7, 23, 219, 351.
„Арапъ Петра Великаго"—309.
Арзамасъ—25, 26, 27.
Аскоченскій—352.
„Атеней"—19, 20, 110, 146, 171, 186, 191, 194, 195, 196, 197.

Б.

Баратынскій—20, 21, 210.
Батюшковъ—32, 86, 89, 90.
„Бахчисарайскій Фонтанъ"—66, 68, 69, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 85, 102, 122, 167, 171, 178.
Беккендорфъ—210, 211.
„Бесѣда Любителей Рус. Слова"— 25.
„Библіотека для Чтенія" — 18, 232, 235, 236, 241, 242, 276, 279, 282, 285, 351.
„Благонамѣренный"—19, 25, 38, 58, 81.
Богдановичъ—23, 29, 33.
„Бородинская годовщина"—269.
„Борисъ Годуновъ"—14, 80, 112, 114, 151, 152, 202, 208, 210 — 215, 224 — 230, 263, 265, 268, 272, 305—308.
„Братья Разбойники"—112, 114, 167, 168.
Б—въ, Григорій—51, 52.
Бутырскій классикъ—36—38, 50.
Булгаринъ, Ѳ. В.—19, 30, 72, 77, 103, 104, 117, 186, 187, 191, 200, 201, 202, 233, 234, 247.
Бѣлинскій, В. Г.—6, 7, 18, 22, 29, 55, 73, 79, 91, 93, 94, 96, 148, 150, 151, 154, 163, 204, 227, 230, 232, 233, 241, 243—263 (Характеристика Бѣлинскаго) 272, 275, 276, 280, 290—311 (Разборъ статей о Пушкинѣ), 315, 316, 325, 326, 335, 338, 339, 349, 350, 354, 364, 384.
„Бѣсы"—267.

В.

Веневитиновъ—187, 188, 210.
Воейковъ—38, 41, 46, 47, 49, 50, 51.
Вольное Общество Любителей Словесности—25.
Востоковъ—22.
„Второй разговоръ между Классикомъ и Издателемъ"—85, 87, 89.
Кн. Вяземскій—20, 21, 26, 28, 58, 60, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 81, 82—92, 101, 102, 108, 117—120, 145, 146, 164, 209.
„Вѣстникъ Европы"—20, 34, 36, 46, 48, 50, 52, 63, 76, 81, 88, 92, 106, 110, 117, 126, 128, 130, 133, 135, 141, 146, 156, 160, 163, 169, 185, 186, 206.
Вульфъ, А. Н.—210.

Г.

„Галатея"—110, 199, 200, 282.
Гнѣдичъ, Н. П.—41, 56, 164, 268.
Гоголь, Н. В.—6, 17, 19, 22, 93, 233, 278, 279, 337.
Горчаковъ, В. П.—55.
„Горе отъ ума"—258, 260.

Градовскій, А. Д.—397.
Гречъ—19, 21, 202, 234, 247.
Грибоѣдовъ—17, 177, 245, 259, 337.
Григорьевъ, Ап. — 7, 8, 16, 23, 134, 227, 274, 312, 314, 315, 325, 326, 328, 339—349, 361, 366—368, 380, 384, 385, 388, 389, 390, 391.
Гротъ, Я. К.—393.

Д.

„Дамскій журналъ“—68, 188, 207.
„Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“—32, 38.
Дельвигъ — 28, 29, 30, 32, 108, 164.
„Денница“—173.
„Демонъ“—309.
Державинъ—15, 22, 29, 30, 33, 96.
Дмитріевъ, Ив. Ив.—23, 24.
Дмитріевъ, М.—76, 85, 87, 88, 89 — 91, 127.
„Дневникъ“—30.
„Дневникъ Писателя“—397.
Добролюбовъ — 326, 327, 335, 339, 369—372.
„Домашняя Бесѣда“—352, 353, 368.
„Доминъ въ Коломнѣ“—308.
Достоевскій, Ѳ. М.—393, 397—400.
Дружининъ—325, 361, 366.
„Дубровскій“—309.

Е.

„Европеецъ“—220.

Ж.

Жуковскій, В. А.—13, 14, 15, 23, 25, 32, 37, 76, 95, 96, 104, 337, 338.

З.

Загоскинъ—16.
Зыковъ—50, 51, 52.

И.

Исторія Пугачевскаго Бунта—310.

К.

Катковъ, М. Н.—351, 361—366, 375, 393, 397.
„Кавказскій Плѣнникъ“—63—65, 122, 167, 178, 245.
Камашевъ, Ѳ.—222.
„Каменный Гость“—22, 309.
„Капитанская дочка“—230, 309.
Калайдовичъ—22.
Карамзинъ, М. Н.—13, 20, 23, 26, 34, 51, 8 , 90, 93, 96, 106, 107, 214, 222, 273, 306, 307.
Катенинъ—108.
Каченовскій, М. Т. — 20, 34, 89, 126, 127, 128, 129, 146.
Кеппенъ—22.
„Клеветникамъ Россіи“—269.
Ключевскій—393.
Кирѣевскій—210, 214, 215, 219—221, 312, 325.
Крыловъ, Ив. А.—29, 143, 144, 337.
Кукольникъ—16, 228.

Л.

Лажечниковъ—16.
Лермонтовъ, М. Ю.—337.
„Литературная Газета“—106, 109, 199, 200.
„Литературныя Листки“—69—71.
Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду“—18, 199, 275.
Ломоносовъ, М. В.—29, 30, 81, 83, 85, 86, 88—90.
Лонгиновъ—385.
„Лѣтопись села Горохина“—310.

М.

Мартыновъ—312, 316, 318, 319—324, 337, 338, 352.
Майковъ, А. Н.—393, 396.
„Маякъ“ — 40, 312 — 316, 324, 352, 353, 368, 380, 381.
Марлинскій (Бестужевъ) — 16, 21, 27, 34, 57, 77, 95—98, 165.
Макаровъ—23.
Мерзляковъ — 23 — 24.
„Мертвыя Души“—22.
Мицкевичъ, А.—210.
Миллеръ, О. Ѳ.—393.
„Мнемозина“—20, 27, 76.
„Могильщикъ“, баллада—36.
„Молва“—232, 250, 252.
„Москвитянинъ“—282, 286.
„Московскія Вѣдомости“ — 18.
„Московскій Вѣстникъ“ — 19, 22, 23, 108, 110, 115, 120, 125, 186, 187, 190, 191,

„Московскій Наблюдатель“—232, 250.
„Московскій Телеграфъ“—19, 21, 22, 77, 78, 92, 94, 96, 98—101, 103, 104, 107, 108, 133, 168, 185, 191, 199, 209, 275, 357.

Н.

Надеждинъ, Н. И. (Никодимъ Аристарховичъ Надоумко)—6, 22, 78, 91, 93, 110, 117, 118, 128—167 (Характеристика Надеждина), 173, 186, 200, 202, 204, 214—219, 250, 253, 255, 268, 270, 279, 337, 350, 358.
Нащокинъ, П. В.—248.
„Недоросль“—161.
Незеленовъ, А. И.—393.
Новиковъ, Н. И.—25.
„Новости Литературы“—19, 72.
„Невскій Зритель“—19, 38.
„Нулинъ, графъ“—112, 126, 155—157, 161, 163, 173, 308.

О.

Одоевскій, кн. В.—76.
Озеровъ—29, 86, 89.
Олинъ—71, 72, 77.
„Онѣгинъ“—112, 114, 124, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 192, 195—199, 202, 203, 204, 205, 245, 263—265.
Осетровъ, Семенъ—45, 48—50.
Осиповъ—34.
Островскій, А. Н.—345, 393, 396.
„Очерки Гоголевскаго періода русской литературы“—93.

П.

Панаевъ, Ив. Ив.—130, 247.
„Пиръ во время чумы“—269.
Писаревъ, Д. Ив.—41, 271, 326, 328, 332—339 (Характеристика Писарева), 360, 373, 385 (Разборъ статей: „Пушкинъ и Бѣлинскій“).
Плаксинъ—222.
Плетневъ—58, 60—62.
„Повѣсти Бѣлкина“—274.
Погодинъ—22, 58, 63—66, 108, 157, 210, 247.
Полевой, Ксен.—103.
Полевой, Н. А.—6, 16, 21, 22, 24, 77, 78, 91—111 (Характеристика Полевого), 129, 132, 145—148, 169, 181—185, 214, 215, 222, 224, 228, 230, 272—275, 276, 279, 350, 357.
Полежаевъ—337.
Плещеевъ, А. Н.—393, 396.
Полонскій, Я. П.—393, 396.
„Полтава“—112, 113, 126, 163—175, 235.
Потѣхинъ, А. А.—393, 396.
„Полярная Звѣзда“—27, 28.
Петербургское Общество Любителей Словесности, Наукъ и Художествъ—25.
Пыпинъ, А. Н.—248, 354.

Р.

Раевскіе, Николай и Александръ—58.
„Разговоръ“—81, 82,8 4, 85, 86, 88.
„Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“—23.
Рачъ—282—284.
„Ревизоръ“—22, 259.
„Родословная моего героя“—308.
Розенъ, баронъ—268, 277, 278.
„Русскій Вѣстникъ“—106, 351.
„Русскій Инвалидъ“—18, 59, 276, 279, 282, 285.
„Русалка“—309.
„Русланъ и Людмила“—27, 32—46, 82, 114, 121, 184, 198, 202, 264, 265, 272.
Рылѣевъ—27, 28, 178.

С.

Савельевъ—133.
Свиньинъ—20.
Сенковскій (Баронъ Брамбеусъ)—18, 202, 233, 232, 236—240, 242, 243, 247.
„Скупой рыцарь“—230, 232, 309.
„Сказка о царѣ Салтанѣ“—268.
„Славянинъ“—19.
„Слово о полку Игоревѣ“—29.
Смирдинъ—232, 242.
Снегиревъ—22.
Соболевскій—210.
Соловьевъ—325.
Сомовъ, Ор.—108.
„Современникъ“—30, 230, 235, 247, 262, 339, 351—354, 360—362, 369, 384, 385

„Соревнователь Просвѣщенія“—19, 25.
„Спб. Вѣдомости“—279, 282, 284, 285.
„Спб. Зритель“ — 18, 19, 186, 191, 194, 198.
Срезневскій—130.
Станкевичъ — 250 — 253, 255.
Стороженко, Н. И. 393.
Страховъ, Н. Н.—326.
Строевъ—22, 25.
Сухомлиновъ, М. И. — 393.
Сумароковъ, А. П.—24, 29, 143.
„Сцена изъ Фауста“—308, 309.
„Сѣверный Архивъ“—19, 20, 27, 104.
„Сѣверный Меркурій“—212.
„Сѣверная Пчела“— 18, 19, 114, 115, 116, 180, 186, 191, 199, 200, 201, 233—236, 241, 267, 274—276.
„Сынъ Отечества“ — 18, 19, 20, 21, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 48, 50, 56, 59, 67, 71. 114, 115, 116, 159, 166, 169, 171, 183—186, 191, 215, 224, 226, 269—271, 274, 276—278.

Т.

„Телескопъ“—110, 130, 131, 133, 148, 186, 200, 232, 247, 250, 252, 268.
Тихомировъ, Н. И.—393.
Тургеневъ, Ив. С.—428, 345, 393, 396.

Ф.

Фарнгагенъ-фонъ-Энзе — 62, 79, 280, 281, 284.
Фонвизинъ—30.

Х.

Херасковъ—24, 29, 76.
Хомяковъ, А. С.—210.

Ц.

„Цыгане“—112, 114, 115, 122, 123, 163, 167, 168, 171, 363, 265.

Ч.

Чаевъ—393.
Чернышевскій, Н. Г. — 326, 328, 330, 332, 333, 334, 354—357, 359, 360.

Ш.

Шаликовъ, кн.—189.
Шевыревъ — 22, 120, 125, 191, 210, 232, 233, 247, 286 — 288.

Щ.

Щепкинъ, М. С.—247.

Э.

Эдельсонъ—325.

Ю.

Юрьевъ—393, 396.

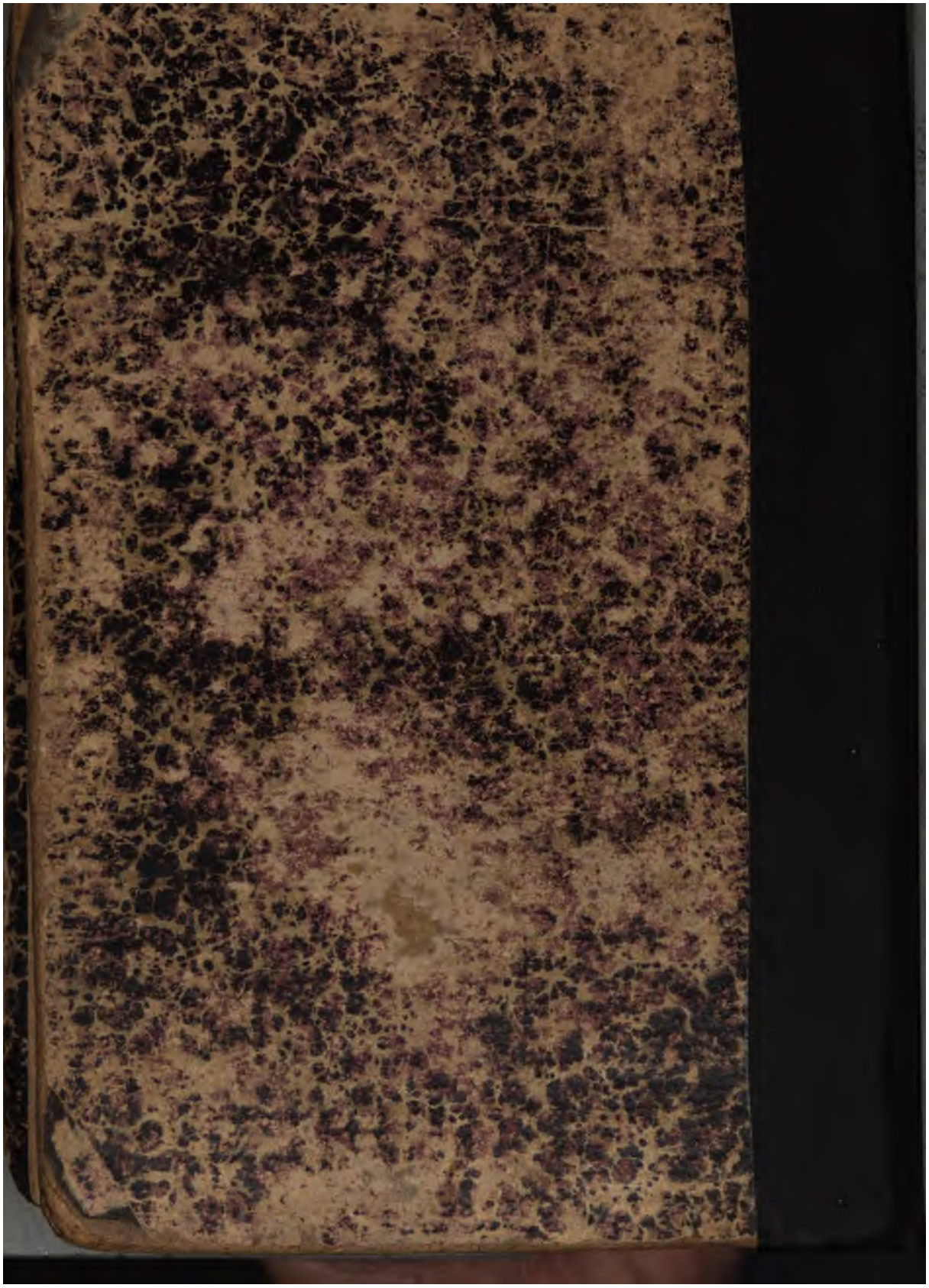
PG 3356 .T74 C.1
Pushkin v russkoi kritikie, 18
Stanford University Libraries
3 6105 036 555 022

3

0150105

STANFORD UNIVERSITY LIBRAR
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 c

DATE DUE

AUG 25 1998 -ILL
AUG